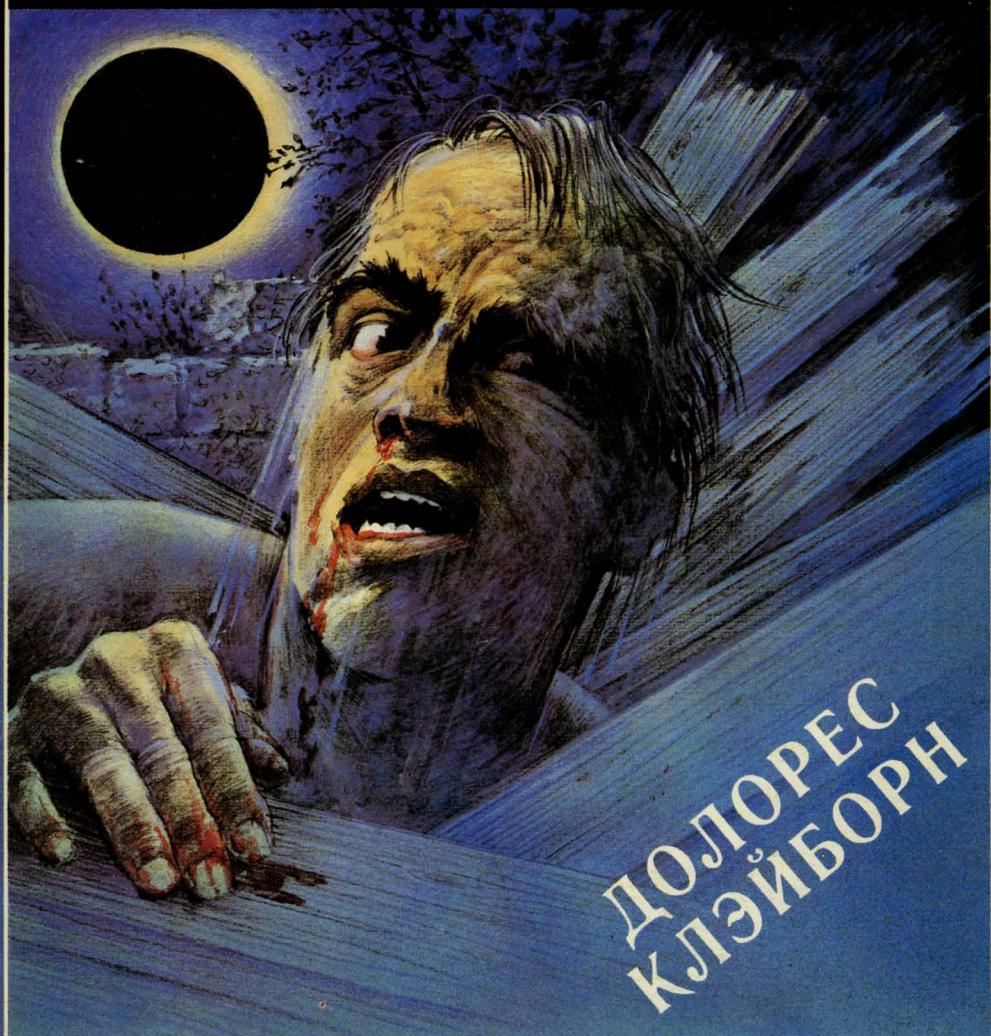


СТИВЕН КИНГ

МАСТЕРА ОСТРОСЮЖЕТНОЙ МИСТИКИ



ДОЛОРЕС
Клэйборн

МАСТЕРА
ОСТРОСЮЖЕТНОЙ
МИСТИКИ

МАСТЕРА ОСТРОСЮЖЕТНОЙ МИСТИКИ

Стивен Кинг

ДОЛОРЕС
КЛЭЙБОРН



Львов
СИГМА
1995

Мастера остросюжетной мистики

Выпуск 24

Stephen King

GERALD'S GAME
DOLORES CLAIBORNE

Стивен Кинг
ДОЛОРЕС КЛЭЙБОРН: романы

Copyright © 1992 by Stephen King

ISBN 0-450-58886-6

Игра Джеральда

Сэнди взяла себя в руки. Невозможно было описать все пренебрежение и презрительную ненависть, вложенную в ее ответ: — Вы, мужчины! Вы, сытые, грязные свиньи!

В. Сомерсет Моэм
«Дождь»

С любовью и восхищением эта книга посвящается шести великолепным женщинам: Маргарет Сирюс Морехаус, Катрин Сирюс Грейвс, Стефани Сирюс Леонора, Энн Сирюс Кинг, Марселле Сирюс.

1

Джесси слышала, как тихонько хлопала дверь черного хода под напором разгулявшегося октябрянского ветра. Осенью, во время дождей, косяк двери всегда разбухал, и, чтобы дверь плотно закрылась, нужно было хорошенько хлопнуть ею. В этот раз они забыли об этом. Лучше бы попросить Джеральда закрыть дверь сейчас, пока еще есть время, иначе этот звук вымотает ей все нервы. Потом Джесси подумала о том, как нелепо это будет выглядеть, особенно в данных обстоятельствах. Это испортит все настроение.

Какое настроение?

Отличный вопрос. В то время, когда Джеральд повернул полый стержень ключа во втором замке и она услышала щелчок слева над головой, Джесси осознала, что для нее не так уж важно, сохранится ли ее настроение. Именно поэтому она так упорно думала о незакрытой двери. Ее давно уже перестала возбуждать эта игра в распятую рабыню.

Однако о Джеральде этого сказать было нельзя. Теперь на нем были одни лишь плавки, и Джесси вовсе не нужно было видеть его лицо, чтобы понять, что его интерес продолжает увеличиваться.

«Это глупо, — подумала она. — Но глупость — далеко не полное определение». Во всем этом было нечто жуткое. Ей не хотелось в этом признаваться, но факт оставался фактом.

— Джеральд, может, лучше прекратить, забыть об этом?

На мгновение Джеральд заколебался, выражение его лица стало мрачным, потом он направился к шифоньеру, стоявшему слева от двери, которая вела в ванную комнату. Пока он шел, лицо его прояснилось. Джесси наблюдала за ним, лежа на кровати, ее руки были подняты и распяты, что делало ее похожей на закованную в цепи Фэй Рэй, ожидающую появления огромной обезьяны в «Кинг Конге». Ее запястья были прикованы наручниками к столбикам

кровати. Цепи давали свободу движения рукам в пределах шести дюймов. Не так уж и много.

Джеральд положил ключи на шифоньер — более продолжительное постукивание. Кажется, слух безупречно служил Джесси в эту среду. Потом Джеральд повернулся к ней. Над его головой на белом потолке спальни плясали солнечные блики, отражающиеся от поверхности озера.

— Знаешь, это уже потеряло для меня свое очарование и прелесть.

«Да и с самого начала мне это не нравилось», — подумала про себя Джесси.

Он усмехнулся. У Джеральда было тяжелое розовое лицо под черными, как вороново крыло, остатками волос с залысинами. Именно его усмешка творила с ней нечто, о чем она старалась не думать. Она не могла точно описать это чувство, но...

* * *

«Ну, конечно, ты же можешь объяснить. Усмешка делает его глупым. Практически ты видишь, как коэффициент его умственного развития снижается на десять баллов в те мгновения, когда он усмехается, а, усмехаясь максимально широко, твой убийственный муж-юрист становится похожим на развлекающегося сторожа психиатрической лечебницы».

Это было жестоко, но не так уж далеко от истины. Но как можно сказать мужу, с которым прожито уже почти двадцать лет, что каждый раз, когда он усмехается, у нее возникает чувство, будто он страдает легким умственным расстройством. Ответ был предельно прост: «Невозможно». А вот улыбка у Джеральда была совершенно иная.

Улыбался он мило. Джесси полагала, что именно из-за этой улыбки, такой нежной и открытой, она стала встречаться с ним. Его улыбка напоминала Джесси улыбку отца, когда тот рассказывал семье удивительные истории о «старых добрых временах», потягивая предобеденную порцию джина с тоником.

Теперь это была не улыбка. Это была именно усмешка (одна из ее версий), которую Джеральд обычно приурочивал исключительно к подобным случаям. Она думала, что Джеральд считал эту усмешку волчим оскалом. Возможно, даже бандитской ухмылкой. С ее точки зрения, когда она лежала в одних трусиках с поднятыми над головой руками, эта усмешка казалась глупой.

Нет... *пороумной*. В конце концов, Джеральд не был одним из тех мужчин в дьявольском обличье из порнографических журналов, над которыми он пережил столько неистовых извержений в пору полового

созревания, когда был таким одиноким и толстым; Джеральд был адвокатом с розовым, слишком большим лицом под залысинами, грозящими перейти в полную лысину. Просто адвокатом с бесформенным, увеличенным комком под плавками. Лишь немногого увеличенным, вот и все.

Размер его эрекции не был таким уж важным фактом. Самым главным была усмешка. Она не сильно изменилась, а это означало, что Джеральд не воспринял ее слова всерьез. Заранее предполагалось, что Джесси должна сопротивляться, в конце концов это была всего лишь игра.

— Джеральд, я серьезно.

Усмешка стала шире. Стали видны еще несколько неповрежденных зубов адвоката; коэффициент его умственного развития упал еще на двадцать или тридцать баллов. И Джеральд все еще не слышал ее.

«Ты уверена в этом?»

Она была уверена. Джесси не могла читать его, как открытую книгу — для этого, ей казалось, нужно больше, чем семнадцать лет замужества, — но она думала, что обычно понимает, что с ним происходит. Ей казалось, что произойдет нечто ужасное, если она перестанет понимать Джеральда.

«Если это правда, малышка, почему же тогда он не понимает тебя? Почему же он не понимает, что это не просто новая сцена в старом эротическом фарсе?»

Теперь наступил черед Джесси нахмуриться. Внутри у нее всегда звучали голоса — Джесси считала, что то же самое происходит со всеми, однако обычно люди говорят об этом не чаще, чем о функциях кишечника, — большинство из этих голосов были старыми друзьями, такими же удобными и уютными, как комнатные тапочки. Но это был новый голос... и в нем не было ничего уютного и приятного. Голос был громким, звучал молодо и энергично. В нем сквозило нетерпение. Теперь он снова заговорил, отвечая на собственные вопросы:

«Это не потому, что он не понимает тебя, малышка, просто иногда он не хочет понимать».

— Джеральд, действительно... я не хочу. Принеси ключи и открай наручники. Мы сделаем кое-что другое. Я буду сверху, если ты хочешь. Или ты будешь просто лежать, закинув руки за голову, а я помогу тебе, ты знаешь, по-другому.

«А ты уверена, что хочешь этого? — спросил новый голос. — Действительно ли ты хочешь заниматься сексом с этим мужчиной?»

Джесси закрыла глаза, как будто таким образом могла заставить замолчать этот голос. Когда она опять взглянула на Джеральда, он стоял в ногах кровати, перед его плавком выпирал, как нос корабля.

Ну, возможно... как нос маленькой игрушечной лодочки. Его усмешка стала еще шире, обнажая коренные зубы с золотыми коронками с обеих сторон. Джесси поняла, что она не просто не любит эту бессмысленную усмешку — она ее органически не переваривает.

— Я позволю тебе встать... если ты будешь очень, очень хорошей. Можешь ты быть очень, очень хорошей, Джесси?

«Банально», — прокомментировал голос. — Очень банально».

Большими пальцами Джеральд зацепил пояс плавок, имитируя нелепый жест прожженного гангстера. Плавки быстренько соскользнули вниз, минуя незначительный аппарат любви. И вот он здесь, обнаженный. Не такой уж грозный и устрашающий, как тот двигатель любви, который она впервые увидела подростком на страницах «Фанни Хилл», а нечто мягкое, розовое, усеченное, длиною всего в пять дюймов почти незаметной эрекции. Два или три года назад в одну из своих редких поездок в Бостон она посмотрела фильм «Брюхо архитектора». В голове пронеслось: «Отлично. Теперь я смотрю на пенис адвоката». Она прикусила кончик языка, чтобы не рассмеяться. Смех сейчас выглядел бы неучтивостью.

А потом мелькнула мысль, которая убила смех в зародыше: «Он не воспринял мои слова всерьез, потому что для него на самом деле здесь не было никакой Джесси Махо Белингейм, сестры Мэдди и Вилла, дочери Тома и Сэлли, бездетной жены Джеральда». Она прекратила свое существование, как только щелкнул ключ, закрывая замочки наручников. Приключенческие журналы для мужчин подросткового возраста периода Джеральда сменились журналами в нижних ящиках его письменного стола, где женщины, увешанные дешевым жемчугом, стояли на коленях на протертых ковриках, в то время как мужчины с помощью сексуальных приспособлений, вид которых разжигал похоть у Джеральда, входили в них со спины. На обложках этих журналов номера «секс по телефону» перемежались рекламой надувных резиновых женщин, расписывающей их как анатомически безупречные модели; — такая концепция казалась Джесси довольно-таки странной и экстравагантной.

Теперь она думала об этих надувных куклах, об их розовой коже, о бесформенных резиновых телах и безразличных лицах с каким-то отвращением. Джесси не испытывала ужаса, вовсе нет, но внутри у нее вспыхнул напряженный свет, и то, что осветилось, было более пугающим, чем эта глупая и бессмысленная игра или тот факт, что теперь они развлекаются в летнем домике у озера, когда лето давним-давно убежало в следующий год.

Но ни одна из этих мыслей не отразилась на ее способности воспринимать звуки. Теперь она слышала позвякивание циркуляр-

ной пилы о дерево на значительном расстоянии — возможно, милях в пяти отсюда. Поближе, над поверхностью озера, отставшая от стаи гагара, начинавшая свой естественный перелет на юг, бешено вопила в синем октябрьском небе. А еще ближе, где-то на северном берегу, захлебывалась лаем собака. Это были резкие, хриплые звуки, но Джесси они казались странно приятными. Это означало, что здесь, в октябре, в середине недели, есть еще кто-то живой. Иначе бы слышен только звук хлопающей двери, о которой забыли, как об использованной жевательной резинке. Она чувствовала, что если ей придется слушать его слишком долго, то это сведет ее с ума.

Джеральд, оставшийся в одних очках, теперь подбирался к ней на четвереньках. Глаза его все еще блестели.

Джесси казалось, что именно из-за этого блеска она продолжала подыгрывать ему даже после того, как ее собственное желание уже было удовлетворено. Прошло уже много лет с тех пор, как она впервые увидела этот огонь желания в глазах Джеральда. Она выглядела неплохо — Джесси удалось сохранить фигуру и не поправиться, но интерес Джеральда все равно терял свою интенсивность. Джесси считала, что частично виной тому было спиртное — он так чертовски много пил теперь, не то что в первые годы их семейной жизни, — но она знала, что выпивка, — не единственная тому причина. Недаром же существует пословица: «Чем ближе знаешь, тем меньше почтешь». Конечно, предполагается, что это не относится к влюбленным мужчинам, по крайней мере по концепции романтических поэтов, которых Джесси читала, изучая английскую литературу, но за годы, отделившие ее от колледжа, она выяснила, что в жизни существуют некоторые факты, о которых Джон Китс и Перси Шелли никогда не писали. Но, конечно же, оба они умерли более молодыми, чем Джесси и Джеральд были сейчас.

Да и не так уж это важно в данный момент. Единственное, что имело значение, так это то, что она продолжала эту игру даже дольше, чем хотела, из-за этого горячечного блеска в глазах Джеральда. Это сияние давало ей возможность чувствовать себя молодой, красивой и желанной. Но...

«...но если ты думаешь, что он видит тебя, когда его глаза загораются страстью, ты глубоко ошибаешься, малышка. А возможно, ты просто обманываешь себя. И теперь тебе придется решить, действительно решить, согласна ли ты мириться с подобным унижением. Потому что именно так ты чувствуешь себя в эти мгновения. Оскобленной, ведь так?»

Джесси вздохнула: «Да, именно так».

— Джеральд, я действительно не хочу.

Теперь она говорила громче, и вспыхнувший было огонь в его глазах погас. Хорошо. По крайней мере, он ее хотя бы слышит. Возможно, все не так уж и плохо. Не отлично, как это было давным-давно, когда все было просто великолепно, а просто хорошо. Затем огонек появился снова, за ним последовала усмешка.

— Я проучу тебя, моя гордая красавица, — произнес он. Он действительно сказал это, произнося слово «красавица», как некий лорд в плохонькой мелодраме о викторианской эпохе.

«Ладно, пусть уж он забавляется. Просто позволь ему продолжать, и скоро все закончится».

С этим голосом Джесси была более знакома и собиралась последовать его совету. Она не знала, одобрила бы ее Глория Стейнем или нет, да для нее это было и не важно, — этот совет привлекал своей практичностью. Пусть он делает, что хочет, и скоро все закончится. Что и требовалось доказать.

Затем его мягкая рука с короткими пальцами, с такой же розовой, как и на пенисе, мякотью потянулась к ней и обхватила ее грудь, и что то внутри нее взорвалось — так лопаются перенапряженные сухожилия. Джесси с силой повела бедрами и отбросила его руку.

— Оставь, Джеральд. Открой эти дурацкие наручники и позволь мне встать. Меня перестала забавлять эта игра еще в марте, когда на земле лежал снег. Меня это не возбуждает, напротив, я чувствую себя нелепо.

Теперь он услышал ее. Она заметила это по тому, как потухло желание в его глазах; так гаснут свечи под порывом сильного ветра. Она считала, что до него дошли по крайней мере два слова: «дурацкие» и «нелепо». Он был жирным ребенком в очках с толстыми линзами, ребенком, который не встречался с девушками до восемнадцати лет — целый год до этого он сидел на жесточайшей диете и пытался опоясать себя тугим ремнем, прежде чем тот действительно сошелся на нем. К тому времени, когда он стал второкурсником, жизнь его, по его собственному описанию, «более или менее была под контролем» (как будто жизнь — по крайней мере его жизнь — была необъезженным жеребцом, которого следовало укротить), но она знала, что годы, проведенные в высшей школе, были для него сплошным кошмаром, оставившим глубокий след в его психике, чувство презрения к себе и подозрительности по отношению к другим.

Его профессиональный успех и женитьба на ней (Джесси считала, что именно это сыграло решающую роль) впоследствии восстановили в нем уверенность и самоуважение, но ей казалось, что его постоянно преследуют ночные кошмары. Где-то в затаенной глубине сознания хулиганы и задиры продолжают давать ему затрецины и пинки в

коридорах школы, высмеивая неспособность Джеральда ответить им по-мужски, и именно эти слова — «дуряцкие» и «нелепо» — снова вернули его в школьные годы, или Джесси просто так показалось. Ей часто казалось, что все эти психологи абсолютно не разбираются во многих вещах, но расчет постоянства некоторых воспоминаний они были безусловно правы, в этом Джесси полностью соглашалась с ними. Некоторые воспоминания присасываются к человеку, как дьявольские пиявки, и определенные слова — «дуряцкие» и «нелепо», например, — постоянно воскрешают в душе эти беспорядочные воспоминания.

Джесси ожидала волны стыда, обычно охватывающей человека при нанесении удара ниже пояса, и обрадовалась (возможно, она почувствовала облегчение), когда не испытала угрызений совести. «Просто я так устала притворяться», — подумала Джесси; за этой мыслью последовала другая: «Ведь, может быть, у меня собственный стиль сексуального поведения, а коль скоро это так, то вся эта процедура с наручниками определенно не подходит мне». От нее она чувствует себя униженной. Даже сама мысль о наручниках оскорбляла ее. В самом начале она действительно испытывала некоторое неприятное возбуждение — тогда они пользовались шарфами, — два или три раза она даже испытала многократный оргазм, а для нее это было большой редкостью. Но все равно подобные эксперименты давали побочные эффекты, и чувство униженности было только одним из них. Ее преследовали собственные кошмары, начавшиеся после первых вариантов развлечений Джеральда. Она просыпалась вся в поту, тяжело дыша, глубоко запустив руку в развилку любви, исступленно поглаживая маленькие бугорки. Джесси хорошо помнила только один из этих снов, да и то воспоминание было туманным, смутным: абсолютно обнаженная, она играла в крокет, и вдруг погасло солнце.

«Не обращай на это внимания, Джесси; об этом ты можешь подумать в другой день. Самое важное сейчас — заставить его освободить тебя».

Именно так, потому что это не было их игрой; это развлечение полностью принадлежало ему. Она играла только потому, что Джеральд хотел этого. Теперь ей это было неприятно.

Над озером снова разнесся крик одинокой гагары. Одурманенная усмешка ожидания на лице Джеральда сменилась выражением мрачного неудовольствия. «Ты разбила мою игрушку, сука», — говорил его взгляд.

Джесси вспомнила, когда видела его таким же в последний раз. В августе Джеральд принес глянцевую брошюру и показал, чего именно он хочет, и она согласилась: конечно, он может купить «порш», если

хочет, они действительно могут *позволить* себе купить «поршэ», но, как ей кажется, ему лучше было бы купить членство в Лесном клубе здоровья, что он грозился сделать уже года два.

— Сейчас ты абсолютно не соответствуешь «поршэ», — сказала она, сознавая, что это не дипломатично, однако ей было не до дипломатии. Он разозлил Джесси до такой степени, что ее уже не интересовали его чувства.

В последнее время она все чаще и чаще выходила из себя, и это приводило ее в уныние, потому что она не знала, как с этим бороться.

— На что ты намекаешь? — спросил Джеральд ледяным тоном. Обычно она не утруждала себя ответом; она уже знала, что почти все такие вопросы были чисто риторическими. Основной смысл содержался в подтексте: *«Ты расстраиваешь меня, Джесси. Ты не соблюдаешь правила игры»*.

Но в данном случае она предпочла проигнорировать подтекст и ответила на вопрос.

— Это означает, что тебе все равно исполнится сорок шесть этой зимой, независимо от того, купишь ты «поршэ» или нет, Джеральд... и все равно ты весишь на тридцать фунтов больше нормы.

Жестоко. Да, она могла позволить себе быть откровенно грубой, особенно теперь, когда перед ее глазами маячила фотография спортивного автомобиля с обложки брошюры, принесенной Джеральдом. В это мгновение она увидела пухлого маленького мальчика с розовым лицом и залысинами.

Джеральд выхватил брошюру из ее рук и удалился, не проронив ни слова. С тех пор вопрос о покупке «поршэ» больше не возникал... но она часто замечала его в обиженном, как бы ничего не выражавшем взгляде Джеральда.

Сейчас она наблюдала более впечатляющую версию этого взгляда.

— Ты говорила, что это выглядит заманчиво. Вот твои собственные слова: *«Это выглядит забавно»*.

Неужели она *действительно* говорила так?

Возможно, что и так, но это было ошибкой.

Настолько глупо, все равно что поскользнуться на банановой кожуре. Конечно. Но как можно сказать об этом собственному мужу, когда нижняя губа у него начинает дрожать, как у малыша, готового закатить истерику?

Этого Джесси не знала, поэтому она отвела взгляд... и увидела нечто, что абсолютно ей не понравилось. Версия мистера Ухаря, принадлежащая Джеральду, нисколько не увяла. Очевидно, мистер Ухарь не ведал о том, что ее планы несколько изменились.

— Джеральд, я просто не...

— ...хочу? Ну что ж, это чертовски ценное замечание, правда? Я специально взял на работе выходной. А если мы проведем здесь и ночь, то я также потеряю и завтрашнее утро. — Он поразмышилял немного и добавил: — Ты сказала, что это выглядит заманчиво.

Она собралась выполнить свои обязанности, как уставший карточный шулер («Да, но сейчас у меня болит голова; да, но сейчас у меня перед менструацией разламывается низ живота; да, но я женщина, поэтому могу и передумать; да, но сейчас в этом Пустынном Одиночестве ты испугал меня, ты, грубый, неотесанный самец»), это вполне удовлетворило бы его самообман, или его «я» (эти два понятия часто становятся взаимозаменяемыми), но прежде чем она успела выложить карту, любую карту, снова зазвучал новый голос. Впервые он зазвучал громко, и Джесси была разочарована, уяснив, что вслух он звучит так же, как и в уме: сильно, сухо, решительно, уверенно.

Он звучал до удивления знакомо:

— Ты — прав. Кажется, я говорила так, но то, что было забавным, ты разрушил сам. Я думала, что, возможно, мы возродим наши отношения, вспомним нашу юность, а потом посидим на террасе, покопаемся в саду. Возможно, немного поразвлекаемся после захода солнца. Разве в этом есть что-то преступное, Джеральд? Как ты думаешь? Скажи мне, потому что я действительно хочу знать.

— Но ты сказала...

Последние пять минут разными способами Джесси говорила ему о том, что хочет освободиться от этих проклятых наручников, а он все еще не снимал их. Ее нетерпение переросло в ярость.

— Господи, Джеральд, это перестало забавлять меня почти сразу же, как только мы начали, и, если бы ты не был таким же непробиваемым, как стенка, ты бы давно понял это!

— Твой ротик. Твой милый ироничный ротик. Иногда я так устаю от...

— Джеральд, когда тебе что-то приходит в голову, до тебя невозможно дотучаться. Кто же в этом виноват?

— Мне не нравится, когда ты в таком настроении, Джесси. Когда ты такая, я тебя совсем не люблю.

Все изменилось от плохого к ужасному, но самое жуткое было то, как быстро это случилось. Внезапно она почувствовала себя смертельно уставшей, на ум ей пришли строчки из старой песни Поля Симона: «Мне не нужна такая сумасшедшая любовь». «Ты прав, Поль. Может быть, ты и невысок ростом, но в песнях твоих много смысла».

— Я знаю, что ты не любишь. Ну и хорошо, что не любишь. Потому что сейчас вся проблема в этих наручниках, а не в том,

иравится тебе это или нет, когда я говорю тебе, что изменила решение. Я хочу освободиться от этих проклятых железок. Ты слышишь меня?

С охватившим ее разочарованием Джесси поняла, что нет. Джеральд действительно не слышал ее. Он наполовину все еще был захвачен игрой.

— Ты так чертовски *противоречива, так саркастична. Я люблю тебя, Джесс, но я ненавижу твою дерзость. Всегда ненавидел.*

Он вытер пальцами розовую мягкоть надутых губ, потом печально взглянул на нее — *бедный, одураченный Джеральд, обремененный женщиной, которая притянула его сюда, в первобытный лес, а потом отказалась от своих женских обязанностей. Бедный, обманутый Джеральд, не проявляющий ни малейшего желания достать ключи от наручников со шкафа, стоящего рядом с дверью, ведущей в ванную комнату.*

Ее беспокойство переросло в нечто иное — пока она переворачивалась со спины. Теперь это была смесь гнева и страха. Такое чувство она испытывала раньше только однажды. Когда Джесси было лет двенадцать, ее брат Вилл подшутил над ней в свой день рождения. Это видели все ее друзья, и все они смеялись над ней. *«Ха-ха, очень смешно, сеньор».* А ей вовсе не было смешно.

Вилл смеялся громче всех, он корчился от смеха, бил себя руками по ляжкам, волосы его свисали на лицо. Это происходило через год после появления «Битлз», «Стониз» и других групп, поэтому волосы у Вилла были очень длинными. Эти свисающие волосы закрыли от него Джесси, поэтому он не имел ни малейшего представления о том, насколько сильно Джесси разозлилась... однако он прекрасно знал, как быстро меняется ее настроение. Он продолжал смеяться, пока волна эмоций не переполнила ее настолько, что она поняла: нужно что-то делать с этим, иначе она просто взорвется. Поэтому она скжала обе ладони в один кулак и что есть силы двинула своего возлюбленного братца по зубам, когда тот наконец-то разогнулся и посмотрел на нее.

Удар пришелся в самую цель, и Вилл вскрикнул от пронзительной боли.

Позже она пыталась убедить себя, что он кричал скорее от неожиданности, чем от боли, но даже тогда, когда ей было двенадцать, она знала, что это не так. Она ударила его, ударила очень сильно. Нижняя губа лопнула в одном месте, а верхняя — в двух, она очень сильно ударила его. А за что? Неужели только за то, что он поступил глупо? Но ведь ему было всего девять лет (именно в тот день ему исполнилось девять), а в этом возрасте *все* дети глупы. Нет,

это была не ее глупость. Это был ее страх — боязнь того, что если она и сделает что-нибудь с этой отвратительно зеленой волной злобы и смущения, то эта волна

(потушит солнце),

взорвет ее изнутри. Правда же была такова: внутри нее был колодец, вода в нем была отравлена и, когда брат подштил над ней, это значило, что Вильям опустил ведро в колодец и вытащил его наполненным пенящимся дерьмом. Она вознавидела его за это, она предполагала, что именно ненависть подтолкнула ее к подобным действиям. То, что таилось в глубине ее души, испугало Джесси. И теперь, спустя столько лет, она осознала, что все это еще в ней... и оно все так же приводило ее в бешенство.

«Ты не хочешь, чтобы погасло солнце, — подумала Джесси, не отдавая себе ни малейшего отчета в смысле этой фразы. — Будь ты проклята, если ты этого хочешь».

— Я не хочу сориться, Джеральд. Просто возьми ключи от этих дурацких штучек и *освободи меня!*

А потом он произнес слова, настолько поразившие Джесси, что сначала она даже не поняла его:

— А что если я не сделаю этого?

Первое, что дошло до нее, — Джеральд произнес эти слова другим тоном. Обычно его голос был хрипловатым, добродушным. *«Вам чертовски повезло, что именно я забочусь о вас»*, — казалось, говорил его голос. Но сейчас голос был низким, мурлыкающим, Джесси никогда не слышала его раньше. В щелочках глаз Джеральда вновь загорелась похоть, скрывающаяся за очками в золотой оправе, — желание все же вернулось к нему, Джесси отлично видела это.

Да и с мистером Ухарем творилось что то странное. Этот мистер нисколько не увял, напротив, он еще подрос, Джесси не могла вспомнить, чтобы он был таким большим... хотя, возможно, ей это просто казалось.

«Ты что, правда так думаешь, малышка? Я не согласна с тобой».

Все эти мысли пронеслись в ее голове, прежде чем до Джесси дошел смысл вопроса, повергшего ее в изумление. *«А что если я не сделаю этого?»* Сейчас она вдумывалась в смысл сказанного и когда окончательно все поняла, то почувствовала, как ее злость и страх набрали максимальные обороты. Где-то внутри нее ведро опускалось в скользящую глубину колодца — пенистая вода наполнялась ядом, становясь такой же отравой, как и яд мокасиновой змеи.

Кухонная дверь билась о косяк, собака продолжала захлебываться лаем. Это были ужасные, доводящие до отчаяния звуки. Если слушать их слишком долго, то они могут довести до мигрени.

«Послушай, Джеральд», — услышала Джесси, как заговорил сильный голос, зародившийся внутри нее. Она отлично понимала, что этот голос выбрал не лучшее время для того, чтобы нарушить тишину, — в конце концов она находилась на пустынном северном берегу озера, прикованная к кровати, на ней были только нейлоновые трусики, — но все-таки Джесси нравился этот голос. Почти против собственной воли она восхищалась новичком.

— Ты слушаешь меня? Я знаю, что обычно ты не прислушиваешься, когда я говорю, но сейчас мне действительно важно, чтобы ты послушал. Поэтому... да слушаешь ли ты меня в конце концов?!

Джеральд стоял на четвереньках на кровати, разглядывая ее, как невиданное существо. Его щеки, испещренные тоненькими красными прожилками (Джесси считала их отличительным признаком всех пьяниц), стали почти багровыми. Такие же жилки прорезали и его лоб. Они были такого темного цвета и такой четкой формы, что казались родимыми пятнами.

— Да, — произнес Джеральд новым, мурлыкающим тоном, и это прозвучало как «Да-а-а-а-а-р-р». — Я слушаю, Джесси, я очень внимательно слушаю тебя.

— Хорошо, тогда ты подойдешь к шифоньеру и принесешь ключи. Ты откроешь сначала этот, — Джесси стукнула правым запястьем о столбик кровати, — а потом — вот этот. — Точно так же Джесси стукнула левой рукой. — Если ты сделаешь это прямо сейчас, мы займемся не садистским, а нормальным, приносящим удовлетворение нам обоим сексом, прежде чем вернуться к нашей спокойной жизни в Портленде.

«Бессмысленной», — подумала Джесси. — Ты не добавила это слово. Нормальной, спокойной, бессмысленной жизни в Портленде». Возможно, так оно и было, а может быть, она немного преувеличила, но все-таки хорошо, что она не произнесла вслух это слово. Это свидетельствовало о том, что новый, дерзкий голос все же не был таким уж неосторожным. А затем, как будто противореча этому, она услышала, что голос, который был все-таки *ее* голосом, начал звиваться вверх, выбирируя от еле сдерживаемого гнева.

— Но если ты будешь заставлять и издеваться надо мной, то прямо отсюда я поеду к моей сестре, узнаю, кто вел дело о ее разводе, и подам в суд. Я не шучу. Я не хочу играть в эту игру!

Теперь действительно случилось нечто ужасное, чего она не могла даже предположить: его усмешка вернулась снова. Она появилась, как подводная лодка, достигшая наконец-то родного берега после длительного и опасного вояжа. Хотя и это не было так уж страшно. Страшно было то, что эта усмешка больше не делала Джеральда

похожим на безобидного недоумка. Теперь она превращала его в опасного лунатика.

Джеральд снова протянул руку, поласкал ее левую грудь, а затем сильно сжал. В довершение всего он ушипнул ее за сосок, чего раньше не делал никогда.

— *Ой, Джеральд! Мне же больно!*

Он торжественно, понимающе кивнул, и этот жест абсолютно не соответствовал усмешке, превратившейся в жуткий оскал.

— Это отлично, Джесси. Я имею в виду, что все это хорошо. Ты можешь быть великолепной актрисой или девушкой по вызову. Одной из самых высокооплачиваемых.

Он помолчал, а потом добавил:

— Можешь расценивать это как комплимент.

— Господи, о чем ты говоришь? — Но ведь прекрасно понимала, о чем. Теперь она действительно испугалась. Что-то тревожное прокралилось в их спальню; оно кружило в воздухе, застилая все вокруг черной дымкой.

Но все равно Джесси была разъярена — она была так же зла, как и в тот день, когда Вилл подщупил над ней.

Джеральд чуть ли не смеялся.

— О чем я говорю? Всего лишь минуту назад ты заставила меня поверить в это. Вот о чем я говорю. — Он опустил руку на правое бедро Джесси. Когда он снова заговорил, голос его был бодрым, почти деловым: — А теперь соизволишь ли ты раздвинуть их для меня или мне сделать это самому? Может быть, это тоже входит в условия игры?

— *Дай мне встать!*

— Ну, конечно... в самом конце. — Он протянул вторую руку. Теперь он сжал ей правую грудь, движение было настолько болезненным, что все ее тело пронзило током до самых пальцев ног. — А теперь раздвинь свои прекрасные ножки, моя гордая красавица!

Она внимательно посмотрела на него и увидела ужасную вещь: он знал. Он знал, что она не дурачится, говоря о своем нежелании продолжать эту дурацкую сцену. Неужели такое возможно?

«Конечно, — произнес дерзкий голосок. — Если ты являешься отчаянным стряпчим в одной из крупнейших юридических контор на север от Бостона и на юг от Монреаля, то, конечно, ты просто обязан понимать то, чего хочешь, и не понимать то, чего не хочешь. Мне кажется, что ты в большой опасности, милая, в той большой опасности, которой оканчиваются браки. Лучше уж стисни зубы и зажмурь глаза, тебе придется пережить еще одно вливание».

Ох уж эта ухмылка. Грубая безумная усмешка. Притворяется непонимающим. И делает это с таким совершенством, что даже

сможет провести детектор лжи, если ему будут задавать вопросы по этому поводу. «Я думал, что это тоже часть игры, — допустим, скажет он, обиженно тараща глаза. — Я действительно так считал». А если она будет настаивать, обрушивая на него свою злость, он, возможно, прибегнет к старой, уже не раз использованной защите... «Тебе ведь нравилось это. Разве ты не веришь мне?»

Разыгрывает непонимание. Знает, но все равно собирается продолжать. Он приковал ее к кровати и сделал это при ее попустительстве, а теперь он, черт побери, собирается взять ее силой, действительно изнасиловать ее в то время, когда хлопает дверь, лает собака, звонит циркулярная пила, а одинокая гагара кричит над озером. Он серьезно собирается сделать это. И если она все же *поедет* к Мэдди, когда закончится это унижение, он будет продолжать утверждать, что у него и в мыслях не было ее насиливать.

Он скжал ее бедра своими жирными розовыми руками, пытаясь раздвинуть ноги. Джесси слабо сопротивлялась: она была слишком напугана и поражена происходящим, чтобы оказывать сильное сопротивление.

«Это самое правильное решение, — заговорил более знакомый голосок. — Просто лежи спокойно, и пусть он сделает свое вливание. Собственно говоря, что уж тут такого ужасного? Он совершил подобное и раньше бесчисленное количество раз, ты же не рассыпалась от этого. Прошло уже столько лет с тех пор, когда ты перестала быть краснеющей от смущения девственницей».

А что случится, если она не последует увещеваниям этого голоса? Есть ли еще какой-то выход?

Как бы в ответ на этот вопрос перед ней возникла ужасная картина: она увидела себя, свидетельствующую на бракоразводном процессе. Себя, одетую в классический розовый костюм и персиковую блузку. В руках она нервно теребит маленькую белую сумочку. Она увидела себя, говорящую судье, похожему на Гарри Ризонера в старости, что да, это правда, что она поехала вместе с Джеральдом в загородный дом по собственной воле, да, она позволила приковать себя к кровати наручниками также по собственной воле, да, они и раньше разыгрывали подобные сцены, однако никогда не делали этого в своей резиденции у озера.

— Да, Ваша Честь, да.

— Да. Да. Да.

Джесси слышала свою речь перед судьей, в то время как Джеральд продолжал раздвигать ей ноги, она рассказывала этому судье, похожему на Гарри Ризонера, о том, что сначала они пользовалисьшелковыми шарфами, о том, как она позволяла развиваться этой

игре дальше, переходя от шарфов к веревкам, а потом уже и к наручникам, несмотря на то, что ей все это быстро надоело. Стало виншать отвращение. Это было настолько отвратительно, что она позволила Джеральду увезти ее за тридцать восемь миль от Портленда в середине недели; настолько отталкивающе, что она даже позволила ему посадить себя на цепь, как собаку; настолько скучно, что на ней не было ничего, кроме нейлоновых трусиков, таких прозрачных, что сквозь них можно было читать заголовки в «Нью-Йорк таймс». Судья поверит всему этому и отнесется к ней с сочувствием. Именно так он и сделает. Как же можно не почувствовать ей? Она видела себя, стоящую перед судьей и говорящую: «И вот, когда я была уже прикована к кровати и на мне не было ничего, кроме трусиков и улыбки, я передумала, и Джеральд знал об этом, поэтому я считаю, что он изнасиловал меня».

Да, именно так это и будет выглядеть. Она очнулась от этого ужасного видения, когда почувствовала, что Джеральд стаскивает с нее трусы. Он стоял на коленях между ее ног, лицо выражало столько усердия, будто он готовился сдавать экзамен, а не овладеть сопротивляющейся женой. На подбородок с пухлой нижней губы стекала слюна.

«Пусть он сделает это, Джесси. Пусть он сделает свое вливание. Именно жидкость, бурлящая внутри него, делает его сумасшедшим, и ты все прекрасно понимаешь. Это делает полоумными всех мужчин. Когда он избавится от нее, ты сможешь объясниться с ним. Тогда с ним можно будет договориться. Поэтому не суетись, а просто лежи и жди, пока он не извергнет ее».

Отличный совет, и Джесси последовала бы ему, если бы в ней не появился новичок. Этот безымянный пришелец полагал, что обычный советчик Джесси — голос, о котором все эти долгие годы она думала как об Образцовой Женушке Белингейм, был настоящей проституткой самого высокого пошиба. Джесси все еще могла сохранить обычное течение вещей, но одновременно произошли два события. Первым было осознание того, что, хотя ее руки прикованы, ноги остались свободными. И в это же мгновение капелька слюны оторвалась от подбородка Джеральда. Она поболталась немного, удлиняясь, а потом упала ей на живот, рядом с пупком. Это ощущение было чем-то знакомо Джесси, ее окатило волной ощущения безысходности. Казалось, что в комнате стало темно, как если бы солнечный свет проникал в нее через затемненные окна.

«Это его желание, — подумала Джесси, хотя она прекрасно знала, что это не так. — Это его проклятое желание».

Ее реакция была направлена не так на самого Джеральда, как на то ненавистное чувство, которое поднялось из глубины ее сознания.

В действительности Джесси действовала бездумно, почти инстинктивно, поддавшись паническому отвращению женщины, понявшей, что трепыхающееся существо, задевшее ее волосы, — летучая мышь.

Она поджала голые ноги, почти касаясь поднятым правым коленом подбородка Джеральда, а потом с силой опустила их. Правая ступня глубоко увязла в жирном брюхе Джеральда. Пята левой ноги ударила о затвердевший корень пениса, заставив закачаться яички, похожие на бледные переспевшие фрукты.

Джеральд откинулся назад, опускаясь на толстые икры ног и обращая лицо к небесному свету и белому потолку, отражавшему солнечные блики, прыгающие на поверхности воды, и хрюплю завопил. В это же время над озером снова закричала гагара; Джесси показалось, что это один самец выражает сочувствие другому.

Теперь глаза Джеральда не казались щелками, они утратили свой блеск. Глаза были широко открыты, их цвет напоминал сегодняшнее безоблачное небо (возможно, именно мысль об этом небе над озером стала решающим фактором, когда он позвонил Джесси из своего офиса и сообщил, что у него выдался перерыв в работе, и не желает ли она поехать в их загородный домик на день, а может быть, остаться там и на ночь), в них была такая агония, что Джесси не могла в них смотреть.

На шее вздулись жилы. Джесси подумала: «Я не видела ничего подобного с того дождливого лета, когда Джеральд слишком увлекался садоводством».

Вопли начали затихать, как будто кто-то убавил звук, используя дистанционное управление. Но, конечно же, это было не так: он вопил так долго, секунд тридцать, что просто выдохся.

«Наверное, я его слишком сильно ударила», — подумала Джесси. Красные пятна на его щеках стали багровыми.

«Конечно, — выкрикнул голос Образцовой Женушки. — Ты действительно сильно ударила его!»

«Ха, великолепный удар, правда?» — задумчиво произнес новый голосок.

«Ты ударила собственного мужа по самомульному месту! — вопила Женушка. — Ответь, ради Бога, кто дал тебе право поступать подобным образом? Кто дал тебе право даже просто шутить над этим?»

Она знала ответ на данный вопрос или думала, что знает: она сделала это потому, что ее муж собирался изнасиловать ее, сознательно переступая границу дозволенного между двумя состоящими в гармоничном браке партнерами, увлекшимися безобидной сексуальной игрой. «В игру вкраялась ошибка, — может позже сказать он. — Это не только моя игра. Мы не повторим ее снова, Джесси, если ты не

захочешь». Отлично сознавая, однако, что ничто на свете не заставит ее больше подставить руки под браслеты наручников. Нет, это была расплата за все. Джеральд знал это, но продолжал настаивать.

Это черное существо, присутствие кого-рого Джесси ощутила в комнате, как она и опасалась, вырвалось из-под контроля. Казалось, что Джеральд все еще продолжал вопить, хотя ни единого звука (по крайней мере, она их не слышала) не вырвалось из его искривленного болью рта. Кровь так прихлынула к его лицу, что местами оноказалось черным.

Джесси видела, как яремная вена — а может, это была сонная артерия, если это имело какое-либо значение в данный момент, — бешено пульсировала под тщательно выбритой кожей его подбородка. Что бы это ни было, но она собиралась взорваться. Джесси похолодела от страха.

— Джеральд? — Ее голос прозвучал тихо и неуверенно, как голосок девочки, разбившей что-то ценное на дружеской вечеринке. — Джеральд, с тобой все в порядке?

Конечно, это был глупый вопрос, ужасно глупый, но именно его задать было легче, чем те, которые вертелись у нее на языке: «Джеральд тебе очень больно? Джеральд, ты ведь не умираешь?»

«Конечно же, он не умрет, — вспылила Образцовая Женушка. — Ты ударила его, тебе должно быть стыдно, но от этого он не умрет. Никто от этого не умирает».

Джеральд продолжал хватать воздух искривленным ртом, но ничего не ответил на ее вопрос. Одной рукой он держался за живот, другой прижимал яички. Теперь оба они немножко поднялись и устроились на его левой ляжке, усевшись подобно паре пухлых розовых птичек, слишком уставших, чтобы лететь дальше. Джесси видела отпечаток голой ступни (ее голой ступни) на круглом животе мужа. Это было отчетливое красное пятно на фоне белой кожи.

Джеральд пытался выдохнуть, распространяя вокруг запах гнилого лука. «Это предсмертный выдох, — подумала она. — Десять процентов воздуха в легких остается для такого вот последнего выдоха — кажется, так сказано в учебниках биологии, которые она читала когда-то в колледже. Последний предсмертный выдох утопленников и повесившихся. Если выдохнуть этот запас, то можно потерять сознание или...»

— Джеральд! — истерично выкрикнула она. — Джеральд, вдохни!

Его глаза выкатились из глазниц, как голубые шарики, ему удалось сделать маленький глоток воздуха. Он использовал его для единственного последнего слова. Этот мужчина, порой казавшийся просто набитым словами:

— ...сердце...

И ВСЕ.

— *Джеральд!*

Теперь ее голос звучал испуганно-сварливо, как кричит старая учительница, застукавшая второклассницу, поднимающую юбку, чтобы показать мальчикам рюшечки трусиков: *«Джеральд прекрати притворяться и вдохни, черт побери!»*

Но Джеральд не сделал этого. Вместо этого глаза его закатились, обнажая пожелтевшие белки. Язык вывалился изо рта. Струя мутно-оранжевой мочи вырвалась из его обмякшего пениса, обдав горячими каплями колени и трусики Джесси. Она вскрикнула. Теперь она бессознательно воспользовалась наручниками и, поджав под себя ноги, подтягивалась на них, чтобы быть как можно дальше от Джеральда.

— Прекрати, Джеральд! Прекрати, иначе ты упадешь с...

Слишком поздно. Даже если он все еще слышал ее, в чем она сомневалась, было уже слишком поздно. Тело его изогнулось дугой, и Джеральд Белингейм, с которым когда-то однажды Джесси ела пирожные прямо в постели, свалился вниз головой, задрав ноги кверху, как неуклюжий ребенок, копирующий своего более ловкого приятеля, прыгающего с трамплина в бассейн. Звук от удара черепа по жесткому полу вновь заставил ее содрогнуться. Это напоминало удар огромного яйца о каменный утес. Она отдала бы все на свете, лишь бы не слышать этот звук.

Затем наступила тишина, нарушаемая только позыванием цепей. Огромная серая роза вдруг стала распускаться в воздухе перед взором Джесси. Лепестки этой розы раскрывались все шире и шире, пока наконец не сомкнулись над ней, закрывая ее от всего света.

2

Джесси казалось, что она находится в длинном холодном коридоре, наполненном белым туманом и кренившемся в одну сторону, наподобие тех коридоров, по которым приходится пробираться героям фильмов типа «Кошмары на улице Вязов» или телепостановок «Сумеречная зона». Джесси была раздета, теперь холод действительно добрался до нее, все тело ломило, особенно спину, шею и плечи.

«Мне необходимо выбраться отсюда или я простужусь, — подумала она. — Я и так уже чертовски замерзла в этом тумане и сырости».

(Хотя она и знала, что это не из-за тумана или сырости.)

«К тому же что-то случилось с Джеральдом. Я точно не помню, что, но, по-моему, ему плохо».

(Хотя она знала, что «плохо» не совсем точное слово.)

Странно, но другая ее часть вовсе не хотела покидать туманный кренящийся коридор. Эта часть считала, что ей лучше всего побывать там еще немного. Потому что она пожалеет, если уйдет отсюда. И она осталась.

Из этого состояния ее вывел лай собаки. Он сопровождался необычайно злобным, хриплым рычанием. Всякий раз, когда животное заливалось лаем, казалось, что оно вот-вот захлебнется.

Джесси уже слышала этот лай, но было бы лучше, намного лучше, если она не вспомнит, когда, где или что случилось тогда.

Лай собаки вывел ее из оцепенения, и Джесси пошевелила сначала левой ногой, потом правой, бедрами — и внезапно поняла, что ей лучше будет видно в тумане, если она откроет глаза. То, что она увидела, оказалось не коридором из «Сумеречной зоны», а обыкновенной спальней летнего домика на северном берегу озера Кашвакамак, в районе, известном под названием Горная Бухта. Джесси поняла, что ей холодно оттого, что на ней ничего нет, кроме прозрачных трусиков, а шею и плечи ломит потому, что руки ее прикованы наручниками к столбикам кровати, а туловище соскользнуло вниз, когда она потеряла сознание. Никакого намека на кренящийся коридор или туман. Реальным был лишь лай собаки, переходящий в хриплое рычание. Сейчас собака была ближе к дому. Если Джеральд это слышит, то... Мысль о Джеральде заставила ее содрогнуться, все тело закололо острыми иголочками. Это пощипывание доходило до локтей, и Джесси смутно поняла, что руки у нее, онемев, почти потеряли чувствительность, что это и не руки вовсе, а перчатки, набитые застывшим картофельным пюре.

«*Мне так больно*», — подумала она, и тут память вернулась к ней... особенно ярким было воспоминание о Джеральде, падающем с кровати вниз головой. Теперь ее муж лежал на полу, он был мертв, а может быть, просто потерял сознание, сама же она лежала на кровати, размышая о том, какие неприятные ощущения возникают, когда немеет рука. Как можно быть такой самоуверенной эгоисткой.

«*Он мертв, но это ведь его вина*», — произнес дерзкий голосок. Он попытался добавить еще парочку прописных истин, но Джесси заставила его замолчать. Находясь в почти бессознательном состоянии, порывшись в архивах своей памяти, Джесси все же поняла, кому принадлежит этот немного гнусавый, готовый разразиться саркастическим смехом голосок. Он принадлежал Руфи Ниери, Джесси жила с ней в одной комнате, когда училась в колледже. И Джесси вовсе не удивилась этому: Руфь всегда была щедра на советы, частенько шокируя ее, свою девятнадцатилетнюю соседку с глазами на мокром

месте, — скорее всего, ее проповеди и были рассчитаны на подобную реакцию; Руфь никогда не теряла голову, и Джесси не сомневалась в том, что Руфь и сама верит в то, что говорит, процентов на шестьдесят, да и поступает так же, особенно когда дело касается секса. Руфь Ниери была первой знакомой Джесси женщиной, которая принципиально отказывалась брить ноги и подмышки; Руфь посещала все студенческие собрания и не пропускала ни одного экспериментального студенческого спектакля. *«Если все вокруг разваливается, малышка, то почему бы какому-нибудь симпатичному пареньку и не снять с тебя одежду, —* сказала она удивленной, но очарованной Джесси после посещения студенческого спектакля под названием *«Попугай Ноя»*. — Я не говорю, что это случается всегда, но обычно так и происходит. Я думаю, что именно для этого пишутся и ставятся студенческие спектакли, поэтому парни и девушки срывают с себя одежды и делают это публично».

Джесси вовсе не вспоминала о Руфи, а теперь Руфь пробралась внутрь Джесси, рассыпая самородки мудрости, как и во время оно. А почему бы и нет, собственно говоря? Кто лучше мог дать квалифицированный совет, смущающий ум и приводящий в замешательство, как не Руфь Ниери, которая после окончания Нью-Хэмпширского университета успела трижды побывать замужем, два раза пытаться покончить с собой и четыре раза оказывалась в реабилитационном центре, пытаясь избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Старушка Руфь, еще один убедительный пример того, как прежнее золотое поколение переживает изменения среднего возраста.

— Господи, это как раз то, что мне нужно, — прошептала Джесси, и смазанное, еле слышное звучание своего голоса испугало ее больше, чем отсутствие чувствительности в руках.

Джесси попыталась подтянуться и занять почти сидячее положение, в котором она находилась до того, как Джеральд нырнул вниз головой (может быть, этот ужасный звук разбивающегося яйца также был частью ее сна? Джесси могла поклясться, что именно так оно и было). Воспоминания о Руфи были вытеснены внезапным приступом паники оттого, что она абсолютно не могла пошевелиться. Вибрирующее покалывание возобновилось, но она так и не сдвинулась с места. Руки ее, все так же вывернутые назад, оставались без движения и по-прежнему ничего не чувствовали, подобно стволам окаменевшего клена. Дурман, царивший в ее голове, исчез — паника била во все колокола, паника была едкой и соленой, а сердце набрало такие бешеные обороты, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.

Джесси наяву увидела литографию из учебника древней истории: толпа хохочущих людей, тыкающих пальцами в молодую женщину,

закованную в колодки. Женщина была согнута, наподобие ведьмы в сказке, волосы свисали на лицо, как покаянный саван.

«Ее зовут *Образцовая Женушка Белингейм*, она несет наказание за убийство собственного мужа, — подумала Джесси. — Они наказывают женщину потому что не могут обвинить кого-то еще в нанесении побоев Джеральду... ту так похожую на мою приятельницу, с которой я делила комнату, обучаясь в колледже».

Но неужели «нанесение побоев» достаточно точное определение? Больше похоже на то, что сейчас она делит комнату с мертвым мужчиной. И разве, несмотря на присутствие собаки, Горная Бухта не безлюдна? Настолько пустынина, что если она начнет кричать, то ответом ей будут только крики гагары. Только это, и ничего больше.

Именно эта мысль, так странно перекликающаяся с «Вороном» Эдгара По, помогла ей осознать, что предстоит ей испытать и пережить, на что она обрекла себя. Безумный ужас обуял Джесси. Секунд двадцать (но если бы кто-нибудь спросил ее, как долго длилась паника, Джесси ответила бы, что не меньше трех минут) она полностью находилась в объятиях животного страха. Тоненький лучик разума сохранился где-то в глубине ее сознания, но он был беспомощен — всего лишь обескураженный открывшимся ему зрелищем, наблюдающий за корчащейся на кровати женщиной, прислушивающейся к ее хриплым испуганным воплям.

Глубокая, острая боль, пронзившая шею как раз там, где начиналось левое плечо, положила конец размышлению Джесси. Боль стала очень сильной, сводящей все мышцы. Застонав, Джесси положила голову между столбиками из красного дерева, формирующими спинку в изголовье кровати. Мыщца, которой Джесси попыталась пошевелить, застыла в напряжении и напоминала камень. Тот факт, что ее усилия вызвали покалывание в руках, не шел ни в какое сравнение с этой ужасной болью. Джесси поняла, что, пытаясь подтянуться поближе к спинке кровати, она напрасно утруждает и без того перенапряженные мышцы.

Двигаясь инстинктивно, без единой мысли, Джесси уперлась пятками в покрывало, приподняла ягодицы и оттолкнулась ногами. Локти согнулись, и давление на плечи и предплечья ослабло. Резкая боль в дельтовидной мышце стала ослабевать. Джесси испустила продолжительный, хриплый выдох облегчения.

Ветер — она заметила, что он усилился, — бушевал снаружи, шумя в соснах, растущих на склоне между домом и озером. Где-то в кухне (которая теперь казалась Джесси отдельной Вселенной) хлопала дверь, которую они с Джеральдом накануне не потрудились закрыть поплотнее: раз, два, три, четыре. Доносился только звук хлопающей двери,

и ничего другого. Собака больше не лаяла, по крайней мере теперь. Даже гагара, казалось, удалилась на обеденный перерыв.

Мысль об озерной гагаре, наслаждающейся чашечкой кофе и болтающей с подружками, вызвала пыльный, хриплый звук, застрявший в горле. В более благоприятных обстоятельствах этот звук мог бы вполне сойти за смешок. Он рассеял остатки паники, но, несмотря на страх, теперь она по крайней мере была в состоянии здраво мыслить. Но он также оставил неприятный металлический привкус во рту.

«Это адреналин, малышка, или секрет какой-нибудь железки, вырабатываемый твоим телом, когда ты раскидываешь кleşни и начинаешь карабкаться на стены. Если тебя когда-нибудь спросят, что такое паника, то теперь ты сможешь ответить, что это бесчувственное, слепое состояние, после которого остается впечатление, будто ты обсосала целую горсть никелированных монет».

Руки до локтей гудели, пощипывание и покалывание стало добираться до кончиков пальцев. Джесси несколько раз попыталась сжать и разжать кулаки, вздрагивая при этом. Она слышала слабое позвякивание цепочек наручников о столбики кровати и подумала, что неужели они с Джеральдом сошли с ума? Теперь это выглядело именно так, хотя она и не сомневалась в том, что тысячи людей в мире играют в подобные игры каждый божий день. Она читала также, что существуют даже такие раскрепощенные сексуальные души, которые вешаются в туалете, а потом бываются в экстазе, когда кровь медленно перестает поступать в мозг. Такие сообщения наводили Джесси на мысль, что обладание пенисом для мужчины становится не столько благодарением, сколько проклятием судьбы.

Но если это была только игра (только это, и ничего другого), почему же Джеральду было так необходимо купить настоящие наручники? Это интересный вопрос, не так ли?

«Возможно, но я не думаю, что сейчас это действительно такой уж важный вопрос, Джесси», — произнесла Руфь Ниери в глубине Джесси.

Было просто удивительно, в скольких направлениях начинает действовать человеческий мозг в одно и то же время. В одном из них Джесси думала о том, что же стало с Руфью теперь, ведь в последний раз она видела ее лет десять назад. А последнюю весточку она получила от Руфи три года назад. Это была открытка, изображающая молодого человека в претенциозном вельветовом красном костюме и в сорочке с рюшами вокруг шеи. Рот юноши был открыт, а длинный язык вызывающе высунут. **«ОДНАЖДЫ МОИМ ПОВЕЛИТЕЛЕМ СТАНЕТ ЯЗЫК»** — гласила открытка. **«Остроумие Новой эры»**, — подумала тогда Джесси. У викторианцев был Энтони Троллок, у

потерянного поколения — Х. Л. Менкен, а у нас — только пошлые поздравительные открытки и глубокомысленные глупые остроты типа «СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, Я НАШЕЛ СВОЮ ДОРОГУ».

В открытке со смазанным штемпелем Аризоны сообщалось, что Руфь вступила в коммуну лесбиянок. Джесси не слишком удивилась этому сообщению и даже подумала тогда, что ее старинная приятельница, которая ужасно раздражала и портила окружающих, но была все-таки печально милой, наконец-то нашла прибежище в великой игре жизни, которая отказалась принять и приютить эту странную женщину.

Джесси положила открытку Руфи в левый верхний ящик своего письменного стола, где она хранила другую случайную корреспонденцию, которая, возможно, так и останется без ответа; после этого и до сегодняшнего дня она больше никогда не вспоминала о девушки, с которой жила когда-то в одной комнате — о Руфи Ниери, страстно мечтавшей о карьере блестящего врача; Руфи, частенько терявшейся на территории Нью-Хэмпширского университета даже прожив там три года; Руфи, постоянно забывавшей, что она готовит, и превращавшей еду в обугленные головешки. Она так часто забывала о кастрюльке, оставленной на горящей плите, что было просто чудом, как она не сожгла их комнату или даже все общежитие. Как странно, что этот самонадеянный дерзкий голос, звучавший в ее голове, Джесси ассоциирует именно с Руфью.

Снова залаяла собака. Лай не приблизился, но и не отдалился. Хозяин собаки не охотился на дичь, теперь это было ясно; на охоте нечего делать с собакой, захлебывающейся лаем. А если хозяин и его собака просто вышли на вечернюю прогулку, то почему же тогда лай раздается с одного и того же места уже минут пять?

«Потому что ты была права, — прошептал голосок. — Нет никакого хозяина». Этот голос не принадлежал Руфи Ниери, или Образцовой Женушке, или тому существу, о котором Джесси думала, как о себе самой; он был очень молодой и очень пугающий. И, как и голос Руфи, он был знакомым до боли: *«Это бездомный пес. Он не поможет тебе, Джесси. Он не поможет нам».*

Но, возможно, это была слишком мрачная оценка. В конце концов она не знала, что это была одичавшая собака, ведь так? Она не знала этого наверняка. И она отказывалась поверить в это.

— И если тебе это не нравится, можешь подать на меня в суд, — произнесла Джесси низким, хриплым голосом.

Между тем снова встал вопрос о Джеральде. Панический ужас и невыносимая боль вытеснили его из мыслей Джесси.

— Джеральд? — Голос ее звучал приглушенно, как бы издалека. Джесси откашлялась и сделала еще одну попытку:

— Джеральд?

Ничего. Абсолютная тишина. Никакого ответа.

«Но это вовсе не означает, что он мертв, так что держи себя в руках, женщина, не поддавайся истерике».

Она держала себя в руках, огромное спасибо, и у нее не было ни малейшего желания пережить еще один приступ истерики. Но все равно она чувствовала безудержную растерянность, которая напоминала сильный приступ ностальгии. То, что Джеральд не отвечает, еще не означает, что он мертв, это правда, но это значит, что он, по крайней мере, без сознания.

«И возможно, мертв, — добавила Руфь Ниери. — Я не хочу испортить тебе настроение, Джесси — но ведь ты же не слышишь его дыхания. Я имею в виду то, что обычно, даже находясь без сознания, люди дышат, они почти храпят».

— Откуда, черт подери, я могу знать об этом? — сказала Джесси, но это было так глупо. Она знала, потому что в студенческие годы с таким энтузиазмом подрабатывала в больнице, что могла теперь понять, какой звук издают мертвые, — никакого, вообще никакого. Руфь знала о том, сколько времени Джесси провела в Портлендской городской больнице (о том, что сама Джесси называла «годы с подкладным судном»), но этот голос знал бы об этом, даже если бы Руфи не было известно, потому что он не принадлежал Руфи; это был ее голос. Джесси приходилось напоминать себе об этом, потому что этот голос был сверхъестественно самоуверен.

«Так же, как и те голоса, которые ты слышала прежде, — пробормотал молодой голосок. — Голоса, зазвучавшие в тебе после темного дня».

Но Джесси не хотела думать об этом. Никогда не хотела думать об этом. Неужели у нее мало других проблем?

Однако Руфь была права: люди, находясь без сознания, особенно лишившиеся сознания при сильном ударе, обычно храпят. А это значит...

— Возможно, он мертв, — глухо произнесла Джесси. — Ну, что ж, ладно.

Она наклонилась влево, передвигаясь осторожно, сосредоточившись на мышце у основания шеи, которая причиняла ей непереносимую боль. Она использовала не всю длину цепочки, приковавшую ее запястье и позволившую ей наклониться в сторону, когда увидела розовую пухлую руку и половину ладони — только два пальца, если уж говорить точно. Это была правая рука Джеральда; она поняла это по тому, что на безымянном пальце не было обручального кольца. Джесси видела белые овалы его ногтей. Джеральд с таким тщесла-

вием заботился о своих руках, так тщательно делал маникюр. До настоящего момента Джесси не отдавала себе отчета, насколько тщательно. Забавно, что часто мы многое не замечаем. Как мало мы видим, даже утверждая, что видим все.

«Я допускаю это, но скажу тебе одну вещь, дорогая: сейчас ты можешь отбросить призраки, потому что не хочешь больше ничего видеть». Да, ни единой вещи. Но ничего не видеть сейчас было для нее непозволительной роскошью.

Продолжая двигаться с чрезвычайной осторожностью, оберегая шею и плечо, Джесси наклонилась влево так далеко, насколько это позволила цепь наручника. Не так уж и далеко, всего каких-нибудь два-три дюйма, но это увеличило панораму, теперь она могла видеть часть предплечья и правого плеча Джеральда и фрагмент головы. Джесси не была уверена, но ей показалось, что она заметила капельки крови на волосах. Она предположила, что это последнее вполне могло быть ее воображением. Она надеялась на это.

— Джеральд? — прошептала она. — Джеральд, ты меня слышишь? Пожалуйста, отвешь мне.

Ни единого звука. Она почувствовала, как панический ужас снова запульсировал в ней, как незаживающая рана.

— Джеральд? — снова прошептала она.

«Почему ты шепчешь? Он мертв. Мужчина, удививший тебя однажды поездкой в Арубу — именно в Арубу, из всех ваших многочисленных поездок, — и однажды надевший твои туфли из крокодиловой кожи себе на уши в новогоднюю ночь... этот мужчина мертв. Так почему же ты шепчешь?»

— Джеральд! — Теперь она выкрикнула его имя. — Джеральд, проснись!

Звук ее собственного вопящего голоса вновь едва не сбросил ее в конвульсивно сжимающуюся пропасть паники, и самое ужасное было не то, что Джеральд не двигается и не отвечает; самым пугающим было то, что паника присутствовала здесь, *все еще здесь*, без устали кружась в ее сознании так же терпеливо, как кружит хищник вокруг затухающего костерка, разведенного женщиной, отбившейся от друзей и затерявшейся в лесных дебрях.

«Ты не заблудилась, — произнесла Хозяюшка Белингейм, но Джесси не поверила этому голосу. Его уверенность казалась фальшивой, его разумность — поверхностной. — Ты отлично знаешь, где находишься».

Ну, конечно, она знала. Она находилась в тупике ухабистой, редко используемой дороги, которая отделялась от трассы в двух милях южнее отсюда. Эта дорога представляла собой просеку, зава-

ленную багряными и желтыми листьями, по ковру которых ехали они с Джеральдом, и листья были немым свидетельством того, что этот отрезок, ведущий к Горной Бухте, почти не использовался для проезда уже недели три с тех пор, как начали падать первые листья. Это место было пристанищем людей в основном только в летнее время, и, скорее всего, этим участком дороги не пользовались со Дня Труда*. Дорога простиралась миль на пять, сначала мимо ущелья, а затем вдоль бухты, пока не сливалась со 117-м шоссе, вдоль которого стояло несколько домиков, в которых жили круглый год.

«Я здесь совершенно одна, мой муж лежит мертвый на полу, я прикована к кровати. Я могу кричать до посинения, но это не поможет мне, никто меня не услышит. Собака, может быть, и услышит мой крик, но она одичала. Джеральд мертв, и это ужасно (я никогда не хотела убивать его, даже если я и сделала это), но для него, по крайней мере, все закончилось достаточно быстро. Для меня вряд ли произойдет все так быстро; если в Портленде никто не начнет беспокоиться о нас, а для беспокойства нет никаких оснований...»

Она не должна думать подобным образом, это приближало взрыв паники. Если она не изменит ход мыслей, то вскоре опять увидит чудовищные глаза панического страха. Нет, она ни в коем случае не должна думать так. Но дело в том, что, раз начав, очень трудно остановиться.

«Но, может быть, именно этого ты и заслуживаешь, — желчно заговорила Хозяюшка Белингейм. — Возможно, потому что ты действительно убила его, Джесси. Ты не должна обманываться на этот счет, потому что я не позволю тебе. Я уверена, что он был не в лучшей форме, и я уверена, что рано или поздно это бы случилось — сердечный приступ в офисе, а может быть, и на шоссе, по дороге домой, когда он пытался бы прикурить сигарету, а позади следовал бы тяжелый грузовик, сигналя, чтобы он перестроился в правый ряд и уступил ему дорогу. Но ты не смогла подождать немного, ведь так? О нет, не ты, умненькая дочка Тома Махо. Ты не смогла просто тихонько полежать и позволить ему сделать свое вливание. Порядочная девочка Джесси Белингейм сказала: «Ни один мужчина не посадит меня на цепь». И ты ударила его в живот и по яичкам, ведь так? И ты сделала это, когда его термостат совсем перегрелся. Давай перестанем играть в прятки, милая: ты

* День Труда — национальный праздник США, отмечаемый в первый понедельник сентября.

убила его. Поэтому ты, возможно, заслуживаешь того, что ты здесь и прикована к кровати. Может быть...»

— О, это такое дермо, — простонала Джесси. Было невообразимым блаженством услышать этот другой голос, голос Руфи, вырвавшийся из ее уст. Джесси иногда (ну что ж... может быть, *часто*, по правде говоря) ненавидела голос Хозяюшки, ненавидела и боялась его. Частенько он бывал глупым и капризным, она признавала это, но он был достаточно *сильным*, чтобы отрицать его.

Женушка с удовольствием уверяла Джесси, что она купила плохое платье или выбрала плохого поставщика продуктов для вечеринки, устраиваемой Джеральдом каждый год в конце лета для остальных совладельцев фирмы и их жен (хотя именно Джесси придумала ее; Джеральд был парнем, который просто держался поблизости, молол чепуху и оплачивал все расходы). Женушка всегда утверждала, что ей необходимо похудеть на пять фунтов. И этот голосок не отстал бы от нее, даже если бы у Джесси начали выпирать ребра.

«Что ты городишь о каких-то ребрах? — вопил в праведном гневе этот голосок. — Посмотри на свои ляжки, старушка! А если тебе и этого недостаточно, то посмотри на бедра, и ты поймешь, что выглядишь, как кубышка!»

— Какое дермо, — произнесла Джесси, стараясь говорить погромче, но теперь ее голос дрогнул, а это было плохо. Не так уж и хорошо. — Он знал, что я шучу... он знал это. Так чья же в этом вина?

Но было ли это действительно правдой? В какой-то мере, да. Она видела, что он отказался воспринять то, что было написано на ее лице и что слышалось в ее голосе, потому что это испортило бы его забаву, его игру. Но с другой стороны — более фундаментальной стороны, Джесси знала, что это не совсем так, потому что Джеральд не воспринимал ее всерьез последние десять или двенадцать лет их совместной жизни. Он делал карьеру, не прислушиваясь к тому, о чем она говорит, если речь не заходила о еде или о том, где они должны быть в такое-то время, в такой-то вечер («Так что не забудь, Джеральд»). Единственным исключением из общих правил были случаи, когда речь шла о враждебных замечаниях насчет его веса или чрезмерной тяги к спиртному. Он слышал все, что она говорила по этому поводу, и ему не нравились ее высказывания, это стало неотъемлемым, как часть какого-то мифического природного порядка: рыбы должны плавать, птицы должны летать, а жены должны изводить придирками.

Итак, чего собственно она ожидала от этого мужчины? Чтобы он сказал: «Да, дорогая, я сейчас же освобожу тебя и, между прочим, спасибо за то, что ты подняла мое сознание?»

Джесси подозревала, что какая-то наивная часть ее, какая-то девственno непронутая часть, ожидала именно этого.

Внезапно наступила тишина. Собака, гагара, даже ветер умолкли, по крайней мере на время, тишина была такой густой и ощутимой, как десятилетиями не вытиравшаяся пыль в покинутом доме. Джесси не слышала шума машин даже вдалеке. И тогда заговорил голос, не принадлежащий никому, кроме нее самой.

«*О Господи, — произнес он. — О Господи, я здесь совершенно одна. Я одна.*»

3

Джесси плотно закрыла глаза. Шесть лет назад у нее был период глубокой депрессии, когда она пять месяцев ходила к психоаналитику, не посвящая в это Джеральда, зная, что он высмеет ее и, возможно, забеспокоится о том, сколько денег она выкинула на ветер. Все началось со стресса, и Нора Калиган, ее врач, научила ее методу расслабления.

«*У большинства людей счет до десяти ассоциируется с Утенком Дональдом, пытающимся сдержать свой гнев, — сказала тогда Нора, — но на самом деле этот счет дает нам возможность привести в порядок все свои чувства... и любой человек, которому хотя бы раз в день не нужно восстанавливать эмоциональный баланс, возможно, имеет более серьезные проблемы, чем у тебя или меня.*»

Этот голос также был четким, достаточно ясным, чтобы вызвать грустную улыбку на лице Джесси.

«*Мне нравилась Нора. Она мне очень нравилась.*»

Знала ли она, Джесси, об этом тогда? Она была немного поражена, уяснив, что не может вспомнить, почему, собственно говоря, она прекратила ходить к Норе. Кажется, тогда на нее навалилось очень много разных дел — благотворительность, помощь новой библиотеке и тому подобное. Случаются дерзкие вещи, когда бессмысличество нового поколения сменяет устоявшуюся мудрость. Но что ни делается, все к лучшему. Если не попытаться оградить себя, то лечение будет все углубляться и углубляться, пока ты, вместе со своим лекарем, не очутишься на небесах.

«*Не думай об этом — лучше принимайся за счет, начиная с носочков. Сделай это так, как она учила тебя.*»

— Хорошо. Почему бы и нет?

Раз — это ступни, десять миленьких пальчиков, милых малышек, выстроенных в ряд.

Если не обращать внимания на то, что восемь из них были комично подогнуты, а большие пальцы выступали, как головки круглых молоточков.

Два — это ноги, красивые и длинные.

Ну что ж, не *такие* уж и длинные (рост ее был только пять футов семь дюймов, да и талия расположена низковато), но Джеральд клялся, что они и теперь самая привлекательная ее черта, хотя бы по старым меркам женской красоты. Джесси всегда поражало это утверждение, хотя Джеральд говорил очень искренне и убедительно. Ему как-то удавалось обходить вниманием колени — уродливые, как шишки на стволе яблони, и пухлые ляжки.

Три — это мой секс: что естественно, то не безобразно.

Пухленькая умничка, возможно, *чересчур* разумная, многие могут возразить, но не слишком просвещенная. Джесси немного приподняла голову, как бы намереваясь посмотреть на предмет обсуждения, но глаза ее остались закрытыми. Ей не нужно было смотреть, чтобы видеть; она уже давно сосуществовала именно с этой частью себя. То, что находилось между ее бедер, было треугольником рыжеватых курчавых волос, окружающих скромную щелку, обладающую всей эстетической красотой плохо залеченного шрама. Эта штучка, этот орган, который был действительно лишь немногим больше, чем глубокая складка плоти, чьей колыбелью является пересечение многих мышц, не казалась Джесси источником легенд, но все же удерживающей легендарный статус в коллективном мужском уме, некой волшебной долиной*, не так ли? Загон, в котором можно удержать даже самого дикого быка.

— *Мамма тіа*, что за дерымо? — улыбнувшись, произнесла Джесси, но так и не открыла глаза.

Хотя это *вовсе и не было* дерымом. Эта щелка была предметом вожделения каждой мужчины, по крайней мере гетеросексуалов, но чаще всего она была предметом их необъяснимого презрения, недоверия и ненависти. Не во всех их шутках присутствует одно темное вожделение — в некоторых из них можно уловить гневное раздражение, которое выступает наружу, как сукровица на свежей ране: «*Что такое женщина? Система жизнеобеспечения для полового органа*».

«*Прекрати, Джесси*, — приказала Женушка Белингейм. Голосок у нее был расстроенный и возмущенный. — *Прекрати сейчас же*».

«*Это была чертовски отличная мысль*», — решила Джесси. Она снова вернулась к счету до десяти по системе Норы.

* Игра слов: *vale* — это и долина, и сточная канава.

Четыре — это бедра (излишне широкие), пять — это талия (слишком толстая). Шесть — это груди, которые она считала самой красивой частью тела. Джеральда, возможно, отталкивали еле заметные очертания голубых вен, проглядывающие сквозь гладкую, нежную кожу этих крутых холмиков. Груди у девочек из журналов Джеральда не были такими большими, к тому же у них не росли тоненькие волоски у темных ореолов вокруг сосков.

Семь — это ее широковатые плечи, восемь — это шея, которая раньше была так хороша, но в последние несколько лет кожа на ней стала несколько дряблой; девять — это ее срезанный подбородок, а десять...

«Подожди минуточку! Задержись здесь еще на мгновение! — гневно выкрикнул дерзкий голосок. — Что это за бессмысленная игра?»

Джесси еще плотнее закрыла глаза, ужасаясь силе и глубине гнева этого голоса и пугаясь его самостоятельности. Гнев мешал понять, что голосок исходит из глубины ее сознания, это выглядело так, как будто он принадлежал постороннему человеку, чужому духу, пытающемуся овладеть ею, как дух Пазузы овладел маленькой девочкой в «Экскурсии».

«Ты не хочешь отвечать на мой вопрос? — спросила Руфь Ниери, она же Пазуза. — Хорошо. Может быть, он слишком сложен. Я тогда спрошу проще: Джесси, кто превратил плохо рифмованную молитву расслабления Норы Калиган в мантру самоуничтожения?»

«Никто, — кротко возразила Джесси, но сразу же поняла, что дерзкий голос не поверит ей, поэтому тотчас добавила: — Образцовая Женушка. Она».

«Нет, не она, — вмешался голос Руфи, осуждающий глупую попытку переложить вину на другого. — Хозяюшка глупа, к тому же она теперь сильно напугана, но в душе она неплохой человек, и ее намерения всегда были хорошими. А твои намерения переделать считалку Норы были всегда дурны, Джесси. Разве ты не понимаешь этого? Неужели ты...»

— Я ничего не понимаю и ничего не вижу, потому что у меня закрыты глаза, — произнесла Джесси тонким и дрожащим детским голосом.

Она почти открыла глаза, но что-то подсказало ей, что это только ухудшит ситуацию.

«Кто же сделал это, Джесси? Кто убедил тебя в том, что ты безобразна и бесполкова? Кто выбрал Джеральда Белингейма в качестве наперсника твоей души и Небесного Возлюбленного, возможно, задолго до того, как вы встретились на собрании Респуб-

ликанской партии? Кто решил, что он был не только тем, кто нужен тебе, но и тем, кого ты заслуживаешь?»

Огромным усилием воли Джесси стерла этот голос — все голоса, как она страстно надеялась, — в своем сознании. Джесси начала мантру сначала, теперь уже произнося ее вслух.

— Раз — это мои ступни, пальчики в ряд, два — это ноги, стройные и длинные, три — это секс, что естественно, то не безобразно, четыре — это мои бедра, крутые и нежные, пять — это мой желудок, в котором я храню то, что ем. Джесси не смогла вспомнить остальные рифмы (что, в принципе, было не удивительно, так как она подозревала, что Нора сама придумала их в надежде опубликовать в одном из журналов, лежавших в великом множестве на журнальном столике в приемной), поэтому продолжала без них. Шесть — это мои груди, семь — это мои плечи, восемь — моя шея.

Она остановилась, чтобы передохнуть, и поняла, что сердце с галопа перешло на легкий бег.

— ...девять — мой подбородок, десять — глаза. Глаза, откройтесь!

Джесси выполнила команду, и спальня ворвалась к ней яркой реальностью существования, в чем-то новая (на какое-то мгновение), почти такая же восхитительная, как в то время, когда они с Джеральдом провели здесь первое лето. Это было в фантастическом 1979 году, который теперь был в невероятно далеком прошлом.

Джесси смотрела на обшитые серым деревом стены, на высокий белый потолок с прыгающими по нему солнечными зайчиками, на два больших окна, по одному с каждой стороны кровати. То, которое было слева, выходило на запад, открывая вид на террасу, пологий склон за ним и ослепительно серое озеро. Окно справа предлагало менее романтическую панораму — подъездную дорожку и серый величественный «мерседес», которому было уже восемь лет и на котором появились первые пятнышки ржавчины.

Прямо напротив себя, в рамочке на стене над шкафом, Джесси увидела бабочку, выполненную в технике батик, и вспомнила с суеверным отсутствием удивления, что это был подарок Руфи к ее тридцатилетию. Отсюда Джесси не видела подписи, но она знала, что там тоненькой красной ниткой было вышито: *«Ниери, 1983»*. Еще один фантастический год.

Рядом с бабочкой (совершенно не соответствующей ей, хотя Джесси никогда не доставало мужества, чтобы сказать об этом мужу) висела подаренная Джеральду пивная кружка; Джеральд с какой-то непонятной гордостью поместил ее на стену и пил из нее пиво каждое лето, когда они приезжали сюда в июне. Эта церемония, еще задолго

до сегодняшних событий, наводила ее на мысль, была ли она в своем уме, когда решила выйти замуж за Джеральда.

«*Кто то должен был положить этому конец, — подумала Джесси. — Кто то должен был сделать это, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.*»

На кресле, по другую сторону от двери, ведущей в ванную комнату, Джесси увидела модную юбку-брюки и блузку без рукавов, которые были на ней в этот не по сезону теплый день; бюстгальтер висел на ручке двери. А поверх простынь и ее ног, превращая пушок на бедрах в золотое сияние, расположился яркий поток послеобеденного солнца. Уже не солнечный квадрат, лежащий неподвижно в центре покрывала, каким он был в час дня, и не прямоугольник, расположившийся там в два часа; теперь это была широкая полоса, которая скоро превратится в тонкую ленточку, и, хотя циферблат электрических часов, вероятно испорченных, снова и снова вспыхивал цифрой «12», полоска солнечного сияния говорила ей, что уже около четырех часов. Вскоре ленточка соскользнет с кровати, и Джесси увидит на стене тени от журнального столика и в углах спальни. А когда лента превратится в тоненький лучик, который, пробираясь сначала по полу, а потом карабкаясь по стене, тускнел по мере своего передвижения, эти тени начнут выползать из своих убежищ и расплываться по комнате, как чернильные пятна, разрастаясь и пожирая свет; через час, самое большое через полтора, лучик совсем исчезнет, а минут через сорок после этого станет совсем темно.

Эта мысль не вызвала панического ужаса, по крайней мере не сразу, но она повергла Джесси в уныние, а ее сердце — в ноющую тоску. Она представила себя, прикованную к кровати, лежащую рядом с мертвым Джеральдом, представила их, лежащих здесь в темноте, когда в других домах уже зажгутся яркие огни, собака убежит прочь, а здесь останется только эта проклятая гагара, чтобы ей не было так скучно, только глупая птица, и никого больше.

Мистер и миссис Белингейм, проводящие вместе последнюю ночь..

Разглядывая пивную кружку и бабочку (такое несоответствующее соседство возможно только в сезонном жилье) Джесси подумала о том, что легче вспоминать прошлое или (хотя и не менее неприятно) размышлять об ожидающем ее будущем. Самым трудным было оставаться в настоящем, но Джесси казалось, что ей все же лучше попытаться сделать это. Эта ужасная ситуация станет еще хуже, если ей не удастся остаться в настоящем. Она не могла надеяться на какую-то *Божественную машину*, способную вытащить ее из этой напасти, это было ясно, как божий день, но если ей самой удастся освободить себя, она получит крупный приз: во-первых, она избавит

себя от необходимости умирать от голода, пока какой-нибудь шериф не освободит ее, спрашивая, что же, черт побери, произошло, причем одновременно разглядывая белое тело новоиспеченной вдовы.

К тому же были еще две достаточно веские причины. Она старалась выбросить их из головы, хотя бы на время, но не могла. Ей необходимо было в туалет и она хотела пить. Желание облегчиться прямо сейчас было сильнее, чем желание утолить жажду, но именно оно и пугало ее. Джесси еще не сильно хотела пить, но если она не сможет освободиться от наручников, то все сразу изменится. Джесси даже боялась думать об этом.

«Вот будет смешно, если я умру от жажды в двухстах ярдах от девятого по величине озера штата Мэн», — подумала она, а потом покачала головой. — Это не было по величине девятым озером штата, о чем она думает?

Она думала о Черном озере, куда вместе с родителями, сестрой и братом ездила давным-давно. Еще до появления голосов. Еще до того...

Она оборвала мысль. Джесси уже давно не вспоминала о Черном озере и не имела ни малейшего желания сделать это сейчас, несмотря на наручники, держащие ее на привязи. Уж лучше думать о жажде.

«О чём же тут думать, малышка? Это же психосоматика. Ты хочешь пить, так как знаешь, что не можешь встать и напиться. Чего уж проще».

Но все было не так уж и просто. Она боролась с мужем, и два удара, нанесенные ему Джесси, вызвали цепную реакцию, приведшую к его смерти. Сама же она пострадала от выброса гормонов. По-научному это называлось шоком, и одним из самых распространенных симптомов его была жажда. Ей нужно считать себя рожденной в рубашке, во рту у нее не совсем пересохло и...

«И, возможно, это единственная вещь, которую я все-таки могу сделать».

В Джеральде было собрано множество привычек, и одной из них было то, что он всегда держал стакан с водой на своей стороне полочки, висевшей над изголовьем кровати. Джесси подняла голову. Ну, конечно же, там он и был, высокий стакан с пузырьками вокруг тающего кубика льда. Без сомнения, стакан стоял на подносе, чтобы не оставлять круги на полочке, — в этом был весь Джеральд, продумывающий все до мельчайших деталей. Капельки воды выступали на стекле, как капли пота.

Глядя на стакан, Джесси испытала первый приступ настоящей жажды. Она облизнула губы и потянулась направо, насколько позволила ей цепочка левого наручника. Всего лишь шесть дюймов, но все же это позволило ей перебраться на половину кровати, занимаемую

ранее Джеральдом. Двигаясь, Джесси заметила слева на покрывале несколько темных пятен. Она тупо разглядывала их, пока не вспомнила, как Джеральд, бывающий в агонии, опорожнил мочевой пузырь. Затем Джесси молниеносно перевела взгляд на стакан с водой.

Она потянулась вверх, делая это очень осторожно, сознательно замедляя движения. Нет, не удалось. Кончики пальцев остановились в трех дюймах от стакана. Приступ жажды — легкая сухость во рту и горле и покалывание языка — возобновился и вновь отступил.

«Если никто не придет или я не придумаю способ освободиться до завтрашнего утра, я буду не в состоянии даже смотреть на этот стакан».

Эта мысль была настолько обоснованной, что пугала даже сама по себе. Но к завтрашнему утру она уже *не будет* в подобном положении. Даже сама мысль об этом была глупой. Смешной. Дикой. Не стоило даже думать об этом. Это...

«Прекрати, — произнес дерзкий голосок. — Просто замолчи».

Так Джесси и сделала. То, с чем она столкнулась, говорило о том, что это вовсе *не было забавным*. Она отказывалась соглашаться или хотя бы обдумывать возможность того, что может *умереть* здесь; это было глупо, конечно, но ей придется пережить долгие, томительные часы, если она не сотрет паутину со старой мыслительной машины и вновь не запустит ее ход.

«Длинные, неуютные... и, возможно, болезненные, — нервно произнесла Хозяюшка. — Боль станет актом возмездия, ведь так? Это ты сама навлекла на себя беду. Надеюсь, я не слишком назойлива, но если бы ты просто позволила ему сделать свое дело...»

— Ты действительно надоела мне, Женушка, — ответила громко Джесси. Она не могла вспомнить, чтобы хоть когда-нибудь разговаривала так громко с голосами, звучавшими у нее внутри. Уж не сходит ли она с ума? Нет, пока еще вроде бы не свихнулась.

Джесси вновь закрыла глаза.

Теперь уже не свое тело разглядывала она в темноте за плотно закрытыми веками, а всю комнату. Конечно, она все равно была в центре внимания, да, Джесси Махо Белингейм, дамочка под сорок, с неплохой фигурой, серыми глазами, рыжевато-каштановыми волосами (она закрашивала появившуюся впервые лет пять назад седину, о которой, Джесси была уверена в этом, Джеральд даже не догадывался). Джесси Махо Белингейм, навлекшая на себя все эти несчастья, даже не вполне понимая, почему и как могло случиться

подобное. Джесси Махо Белингейм, теперь, вероятно, уже вдова Джеральда, прикованная к этой проклятой кровати двумя наборами полицейских наручников.

В общей сложности четыре наручника, каждая пара разделена шестидюймовой цепочкой, на каждой стоит серийный номер «М-17», выдавленный рядом с замочной скважиной. Она вспомнила, как Джеральд говорил ей, когда эта игра еще была им в новинку, что на каждом браслете есть ручка, которая позволяет регулировать длину цепочки. Можно сократить ее, пока руки заключенного не сожмутся болезненно вместе, ладонь к ладони, но Джеральд милостиво согласился на максимальную длину.

«*А почему бы и нет? — подумала Джесси — В конце концов, это ведь была игра... не так ли, Джеральд?*»

Снова этот вопрос встал перед ней, и снова она размышляла над тем, действительно ли это было лишь игрой для Джеральда.

«*Что такое женщина?* — Еще какой-то голос — голос НЛО — мягко зашелпал из глубины колодца внутри нее. — *Система жизнеобеспечения для полового органа*».

«*Пошел вон, — подумала Джесси. — Уходи, тебя никто не звал*. Но голос НЛО не подчинился приказу.

«*Почему у женщины есть рот и вагина?* — спросил он. — *Чтобы она могла писать и стонать одновременно. Еще есть вопросы, прекрасная леди?*»

Нет. После такого выбивающего почву из-под ног ответа у Джесси больше не было вопросов. Она повращала кистями внутри наручников. Кожа запястий соприкоснулась с металлом, заставляя ее вздрогнуть, но боль была незначительной, и руки достаточно легко поворачивались. Джеральд мог верить, а мог и не верить в то, что единственным предназначением женщины было жизнеобеспечение вагины, но он не слишком тую затянул наручники, чтобы ей не было больно, хотя до сегодняшнего дня Джесси игнорировала этот факт (или убеждала себя в этом, и ни один из внутренних голосов не был достаточно подлым, чтобы отрицать это).

Но все-таки они были достаточно узкими для того, чтобы ее руки могли выскохнуть.

Или нет?

Джесси сделала пробный рывок. Наручники скользнули вверх по запястьям, когда она подняла руки, и стальные браслеты врезались в соединения кисти, там, где запястья таинственным и чудесным образом переходят в ладони.

Она дернула сильнее. Теперь боль стала немного чувствительнее. Неожиданно Джесси вспомнила, как отец нечаянно прищемил левую

руку Мэдди дверцей машины. Как она кричала! У нее было сломано несколько костей, Джесси не помнила их названий, но она помнила, как Мэдди гордо показывала их и говорила: «К тому же у меня порваны задние связки».

Это поразило Джесси и развеселило Вилла, так как все знали, что «задние связки» было научным названием попы. Они смеялись скорее от удивления, чем издеваясь, но Мэдди все равно рассердилась, пригрозив пожаловаться маме; лицо ее напоминало грозовую тучу.

«Задние связки, — думала Джесси, постепенно усиливая давление на наручник, несмотря на все возрастающую боль. — Задние связки или что-то еще. Неважно. Если ты сможешь выдернуть руку из наручников (я думаю, что тебе лучше сделать это, малышка), потом уж пусть какой-нибудь доктор собирает тебя по кусочкам».

Медленно, упорно она увеличивала давление, стремясь освободиться от наручников. Если они продвинутся вверх еще немного, то, возможно, даже четверти дюйма, а уж полдюйма наверняка хватит, чтобы освободить самое широкое место, а потом уже придется иметь дело с более податливым материалом. В этом еще была надежда. Конечно, пальцы имели кости; но она побеспокоится о них в свое время.

Она тянула вниз еще сильнее, рот искривился гримасой боли и напряжения. Мышцы рук напряглись. Капельки пота покрыли ее брови, щеки, пушок под носом. Джесси высунула язык и слизнула пот, даже не отдавая себе отчета в своих действиях.

Боль была сильная, но не она заставила ее остановиться. Просто Джесси поняла, что даже если она приложит все усилия, то все равно не сможет продвинуть наручники дальше. Ее краткая надежда на такой простой выход вспыхнула и погасла.

«А ты уверена, что тянула изо всех сил? А может быть, ты немного обманываешь себя, потому что тебе очень больно?»

— Нет, — ответила Джесси, все еще не открывая глаз. — Я тянула изо всех сил, правда.

Но этот другой голос остался, скорее ощутимый, чем слышимый, как вопросительный знак в книжке комиксов.

На запястьях в тех местах, где стала врезалась в них, остались белые рубцы, запястья продолжало саднить даже после того, как она ослабила давление, подняв руки вверх.

Действительно ли она тянула изо всех сил?

«Неважно, — подумала Джесси, разглядывая танцующие на потолке блики. — Неважно, и я объясню тебе, почему: даже если я смогу тянуть сильнее, тогда то, что случилось с левой рукой Мэдди, случится с обеими моими руками: кости сломаются, сухо-

жилия лопнут, как натянутые струны. Произойдет единственное изменение: вместо того чтобы лежать здесь прикованной и умирать от жажды, я буду лежать здесь и умирать, умирать от жажды, да еще со сломанными руками в придачу. К тому же они опухнут. Я вот о чем думаю: Джеральд умер, так и не успев оседлать меня, но он все же отлично меня трахнул».

Отлично. Что еще можно придумать?

«Ничего», — плаксиво произнесла Образцовая Женушка тоном женщины, находящейся на грани срыва.

Джесси подождала, появится ли другой голос — голос Руфи — со своим собственным мнением. Тишина. Кажется, Руфь присоединилась к гагаре, чтобы выпить вместе чашечку кофе. В любом случае Руфь отвлеклась от Джесси, чтобы позаботиться о себе самой.

«Ну и ладно, заботься, — подумала Джесси. — Что ты собираешься делать с наручниками теперь, когда стало ясно, что невозможно высколизнуть из них? Что можешь ты сделать?»

«В каждом наборе по два наручника, — решительно произнес молодой голос, которому Джесси еще не придумала имя. — Ты попыталась высколизнуть из тех наручников, которые надеты на твои руки, это не сработало... а как насчет других? Тех, которые зацеплены за спинку кровати? Ты подумала о них?»

Джесси вжалась затылком в подушку и выгнула шею, чтобы взглянуть на изголовье и столбики кровати. Тот факт, что она смотрела снизу вверх, делал картину впечатляющей. Кровать была меньше, чем королевская, но намного больше, чем простая двуспальная. У нее было фантастическое название, возможно, Размер для Придворных или Первая Леди в Ожидании. Становясь старше, Джесси замечала, что ей все труднее было запоминать такие вещи; она не знала, называется ли это хорошим вкусом или просто страстью. В любом случае кровать, на которой она лежала, была достаточно просторной, чтобы спать на ней хоть по диагонали, но слишком маленькой, чтобы двое могли со всеми удобствами провести на ней ночь.

Для нее и Джеральда это не было помехой, потому что они спали в разных комнатах как здесь, так и в их доме в Портленде уже лет пять. Это было ее, а не его решение — она устала от его храпа, тем более что с каждым годом он храпел все громче и громче. В тех редких случаях, когда здесь у них оставались ночевать гости, они с Джеральдом спали вместе, что было очень неудобно в этой комнате; в других случаях они делили эту постель только тогда, когда занимались любовью. И его храп не был настоящей причиной того, что они спали раздельно: просто это был наиболее дипломатичный повод.

Настоящей причиной был запах. Джесси сначала просто не нравился, а потом стал раздражать запах пота, исходящий от Джеральда. Даже если он принимал душ перед тем как лечь в постель, сильный запах шотландского виски начинал к утру испаряться из его пор.

До этого года Джеральд обычно быстренько трахал ее, а потом затихал (именно это стало для нее любимой частью всего этого дела), после чего принимал душ и оставлял ее в покое.

В марте, однако, произошли некоторые изменения. Шарфы и наручники (именно последние), казалось, настолько изнуряли Джеральда, насколько традиционный секс никогда не выматывал его, и он частенько засыпал рядом с ней. Она не возражала; большинство их сексуальных занятий приходилось на дневное время, от Джеральда пахло конфеткой, а не виски. Он даже не сильно храпел.

«Но все эти занятия, все эти полуденные часы с шарфами и наручниками происходили в доме в Портленде, — подумала Джесси. — Мы провели здесь почти весь июль и начало августа, но в тех случаях, когда мы занимались любовью (а таких было не так то уж и много), это был старый, протертый и обезжиренный пресный секс: Тарзан сверху, Джейн снизу. Мы никогда не играли в нашу игру здесь до сегодняшнего дня. Интересно, почему это было так?»

Возможно, из-за окон, слишком высоких и странной формы, чтобы на них повесить шторы. Они так и не заменили простое стекло зеркальным, хотя Джеральд и поговаривал об этом до... хорошо...

«До сегодняшнего дня, — закончила Хозяюшка, и Джесси оценила ее тактичность. — И ты права — возможно, именно из-за окон. Ему не понравилось бы, если бы Фред Лаглан или Джеми Брукс заехали к ним под влиянием минутного желания пригласить его поиграть в гольф и увидели его, исследующего миссис Белингейм, которая случайно оказалась прикованной к кровати с помощью наручников. Возможно, его сдерживали приблизительно такие мысли. Конечно, Фред и Джеми неплохие ребята...»

«Парочка стареющих пердунов, если тебе интересно знать мое мнение, — раздраженно вставила Руфь. — Но ничто человеческое им не чуждо, а подобная история слишком хороша, чтобы не рассказать о ней. Но за всем этим кроется нечто иное, Джесси...»

Джесси не позволила ей закончить. Это была не та мысль, которую она хотела бы услышать из уст Женушки, говорящей приятным, но безнадежным голосом.

Возможно, Джеральд никогда не просил ее поиграть в их игру здесь, поскольку боялся, что какой-то сумасшедший шутник может внезапно появиться на террасе. Какой шутник?

«Хорошо, — подумала Джесси. — Давайте просто скажем, что какая-то часть Джеральда действительно верила, что женщина — это просто система жизнеобеспечения вагины... а какая-то другая часть, назовем ее «Джеральд-благородный», чтобы быть уж совсем точными, знала об этом. И эта часть могла бояться, что события вырвутся из-под контроля. Разве не так все случилось?»

С этой мыслью было трудно спорить. Не очень подходило определение «вырвутся из-под контроля», но Джесси не могла подобрать более точного слова.

Джесси стало грустно, но она подавила желание посмотреть на то место, где лежал Джеральд. Она не понимала, испытывает ли она печаль и сожаление к своему бывшему мужу, но она знала, что даже если это и так, то время для этого совершенно не подходящее. И все-таки было бы хорошо вспомнить что-нибудь приятное о мужчине, с которым она провела вместе столько лет, и воспоминание о том, как он иногда засыпал рядом с ней после занятий сексом, было одним из них. Ей не нравились шарфы и она возненавидела наручники, но ей нравилось смотреть на него, когда он плыл в волнах наслаждения, нравилось наблюдать, как смягчалось выражение его большого розового лица.

Он и сейчас, в каком-то роде, спал рядом с ней...

От этой мысли мурашки побежали по коже, даже по бедрам, там, где устроился сузившийся луч солнца. Она отбросила эту мысль, по крайней мере попыталась сделать это, и снова вернулась к изучению изголовья кровати.

Набалдашники немного выпирали в стороны, удерживая ее руки раскинутыми, но не причиняя им особого неудобства, если учитывать возможности, ограниченные шестидюймовыми цепочками. Между набалдашниками находились четыре горизонтальные рейки. Они также были выполнены из красного дерева, красиво изогнуты. Однажды Джеральд предложил украсить спинку кровати их инициалами. Он знал одного человека, который был бы просто счастлив приехать и сделать это, но ей не понравилась эта мысль. Для нее это было странной детской показухой, подобно крошечным сердечкам на обоях в их коридоре.

Прикроватная полка была прибита достаточно высоко, чтобы никто из них, садясь, не ударился об нее головой. На полке стоял стакан с водой, пара покетов*, оставшихся с лета, а на ее стороне полки валялась косметика, наверное, уже высохшая. Она также

* Покет (pocket — англ.) — книга небольшого размера в мягком переплете.

лежала там еще с лета. Какой позор! Ничто не может так украсить прикованную женщину лучше, чем румяна цвета утренней зари. Так утверждают все женские журналы.

Джесси медленно подняла руки под небольшим углом, боясь удариться ладонями о полку. Она отклонила голову назад, чтобы увидеть, что же творится на дальнем конце цепей. Вторые наручники были закреплены на столбиках кровати между второй и третьей перекладинами. Когда она поднимала сжатые в кулаки руки, похожая на женщину, выжимающую невидимую штангу, наручники скользили вдоль столбиков, пока не достигали верхней перекладины. Если бы она могла откинуть эту доску и еще одну, тогда было бы просто снять наручники со столбиков. *Voila*!

«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, милашка, слишком легко, чтобы быть правдой, но ты все же можешь попробовать. В любом случае это способ хоть как-то скоротать время».

Джесси обхватила руками горизонтальную перекладину, сделала глубокий вдох, задержала дыхание и дернула. Одной попытки было достаточно, чтобы понять, что и этот путь закрыт: это было все равно, что пробить бетонную стену прутом. Планка не поддалась даже на миллиметр.

«Я могу биться здесь десять лет, но так и не сдвину ее», — подумала Джесси и опустила руки в прежнее положение, диктуемое цепями наручников. Крик безысходности и растерянности, напомнивший ей карканье умирающей от жажды вороны, вырвался из ее груди.

— Что же мне теперь делать? — спросила Джесси блики на потолке и наконец-то дала волю слезам. — Что же мне теперь, черт побери, делать?

Как бы в ответ снова залаяла собака, теперь она была так близко, что насмерть испугала Джесси. Казалось, лай доносился прямо под восточным окном, на подъездной дорожке.

5

Собака стояла не на подъездной дорожке, она была еще ближе. Ее тень на асфальте почти достигала переднего бампера «мерседеса». Это означало, что собака стоит у заднего крыльца. Эта длинная, крадущаяся тень, казалось, принадлежала скрюченному и уродливо-му животному, и Джесси сразу же возненавидела его.

* Voila — Вот! (фр.)

«Не будь такой непроходимой туцицей, — одернула она сама себя. — Ведь это только тень в лучах заходящего солнца. Открой рот, девочка, и закричи — ведь это не обязательно бродячая собака».

Вполне правдоподобно, что, может быть, где-то недалеко ее хозяин, но Джесси не возлагала на это слишком больших надежд. Она была почти уверена, что собаку привлек мусорный бачок, стоявший возле двора. Иногда Джеральд называл это маленькое сооружение с крышкой из кедрового дерева и двойным американским замком «приманкой для енотов». Но на этот раз бачок привлек собаку вместо енота — почти наверняка это была одичавшая собака-бродяга. Голодная, несчастная собачонка.

Но все-таки нужно попробовать.

— Эй! — крикнула Джесси. — Эй! Есть кто-нибудь? Мне нужна помощь! Есть там кто-нибудь?

Собака мгновенно перестала лаять. Ее крадущаяся, искривленная тень дернулась, развернулась и стала отступать... потом снова застыла. По дороге из Портленда они с Джеральдом ели большие сборные сэндвичи с салами и сыром, и первое, что сделала Джесси, приехав сюда, — это выбросила остатки сэндвичей и оберточную бумагу в мусорный бачок. Скорее всего, именно сильный запах масла и мяса привлек собаку и, несомненно, как раз он и удержал животное от того, чтобы убежать в лес при звуку голоса Джесси. Этот запах был сильнее инстинктивного импульса одичавшего сердца.

— Помогите! — крикнула Джесси, и какая-то часть ее сознания попыталась предупредить, что крик, возможно, был ошибкой, что она только сорвет голос и еще сильнее захочет пить. Но эта рациональная, осторожная мысль не пробилась к ней. Она почувствовала запах собственного страха, он был таким же сильным и манящим, как запах остатков еды для собаки, и он почти мгновенно привел ее в такое состояние, которое было не просто паникой, а каким-то времененным безумием. — ПОМОГИТЕ! КТО-НИБУДЬ, ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕ! ПООМОООГИИИТЕЕЕЕ!

Она замолчала, откинув голову направо, волосы прилипли к щекам и лбу потными прядями, глаза чуть не вылезали из орбит. Страх быть найденной обнаженной и прикованной наручниками к кровати рядом с мертвым мужем, лежащим на полу, перестал преследовать ее. Эта новая атака паники была похожа на странное помутнение рассудка, затмившее яркий свет надежды и раскрывшее перед ней все возможные ужасы — холод, сводящую с ума жажду, судороги, конвульсии, смерть. Она не была Хитер Локлер или Викторией Принсипал, и это не было сценой из фильмов ужасов,

пребладающих в программах кабельного телевидения. Не было камер, юпитеров, режиссер не выкрикивал свои замечания. Это было наяву, и если не придет помощь, то это будет продолжаться наяву, пока она не прекратит свое бренное существование. Не заботясь об обстоятельствах своего заключения, Джесси достигла такого состояния, когда она пригласила бы Маури Павич и всю команду, снявшую фильм «Обычное дело», со слезами благодарности.

Но никто не ответил на ее безумные вопли — не было ни сторожа, решившего проверить, все ли в порядке в этом местечке около озера, ни случайно оказавшегося здесь местного жителя, прогуливающегося с собакой (возможно, пытающегося выяснить, не выращивают ли здесь по соседству марихуану среди шелестящих сосен), и уж, конечно, не было никакой Маури Павич. Была только эта длинная уродливо-паршивая тень, вызвавшая в ее воображении образ паукообразной собаки, покачивающейся на лихорадочно дрожащих лапах. Джесси сделала глубокий вдох и попыталась снова взять под контроль свой пугливый разум. В горле пересохло и горело огнем, в носу было неприятно мокро от подступивших слез.

Что же теперь?

Джесси не знала. Разочарование пульсировало, билось в ее голове, заполняя почти все пространство, не оставляя места для более разумных мыслей. Единственное, в чем она была абсолютно уверена, так это в том, что собака ничем не могла ей помочь: она просто стоит на заднем крылечке, а потом убежит прочь, поняв, что привлекшее ее сюда находится вне пределов ее досягаемости.

Джесси издала глухой стон и закрыла глаза. Слезы медленно выступили из-под закрытых век и покатились по щекам. В лучах вечернего солнца они были похожи на золотые капельки.

Что же теперь?

Снаружи бушевал ветер, шумели сосны, хлопала входная дверь.

«Что же теперь, Женушка? Что же теперь, Руфь? Что же теперь, вы, непрошеные и незнакомые голоса? У кого-нибудь из вас — у кого-нибудь из нас — есть какая-нибудь идея? Я хочу пить, мне нужно в туалет, мой муж мертв, а единственный мой компаньон — бродячая собака, чье представление о рае не простирается дальше остатков сэндвича с салами и сыром. Итак... что же теперь?»

Никто не ответил. Все внутренние голоса замерли в молчании. Это было плохо — какая-никакая компания! Но паника тоже исчезла, оставив во рту металлический привкус, а это было уже хорошо.

«Я немного посплю, — подумала Джесси, удивленная тем, что она действительно может сделать это, если захочет. — Я немного

посплю, а когда проснусь, возможно, я что-нибудь придумаю. А если и нет, то хоть на какое-то время избавлюсь от страха».

Тоненькие морщинки в уголках глаз и две более глубокие складочки между бровями начали смягчаться. Джесси почувствовала, как сон уносит ее. Она с облегчением и благодарностью пряталась в это убежище. Новый порыв ветра показался ей теперь каким-то далеким, а звук хлопающей двери доносился совсем издалека: «Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп».

Дыхание, ставшее более глубоким и замедленным, когда она начала засыпать, неожиданно остановилось. Глаза открылись. Единственным чувством, в котором она была уверена в этом убаюкивающем состоянии, была странная обида: она почти заснула, а потом эта проклятая дверь...

«Так как же насчет двери? Что ты имеешь против нее?»

Эта проклятая дверь сбилась со своего привычного ритма, вот что. Эта мысль как будто оживила Джесси. Она услышала отдаленное цоканье собачьих когтей по коридору. Собака вошла внутрь через открытую дверь. Она была в доме.

— *Пошла вон!* — выкрикнула Джесси, не осознавая, что ее перенапряженный голос стал хриплым и тихим. — *Пошла вон, дрянь! Ты слышишь меня? ПОШЛА К ЧЕРТУ ИЗ МОЕГО ДОМА!*

Она замолчала, тяжело дыша и широко раскрыв глаза. Мыщцы лица вздрогивали, как будто она была подключена к току высокого напряжения. Джесси была почти уверена, что волосы у нее на макушке вздыбились, как иголки дикобраза. Желание заснуть сразу же прошло.

Она слышала только несмелое царапанье собачьих когтей по полу... потом наступила тишина. «*Я должна спугнуть собаку. Возможно, она уже убежала. Мне кажется, что бродячие собаки должны бояться людей и их жилищ.*»

«*Я так не думаю, малышка,* — произнес голос Руфи. В нем звучало не свойственное ей сомнение. — *Я не вижу ее тени на подъездной дорожке.*»

«*Конечно, ты не видишь, возможно, она убежала в лес с другой стороны. Или к озеру. Испуганная до смерти. Разве такое не возможно?*»

Руфь не ответила. Промолчала и Женушка, хотя в таком положении Джесси обрадовалась бы любому голосу.

— *Я спугнула собаку,* — сказала она громко. — *Я уверена в этом.*

Джесси все же продолжала внимательно прислушиваться, но уловила только шум приливающей крови в ушах. По крайней мере, больше она пока ничего не слышала.

Она не спугнула собаку. Действительно, собака боялась людей и их жилищ, но Джесси недооценивала ее отчаянного положения. Прежнее имя собаки — Принц — теперь звучало как насмешка. Он обошел уже столько мусорных баков во время голодных поисков вокруг озера, что очень быстро распознал запах сыра, салами и оливкового масла, исходящий из бачка возле дома Белингеймов. Запах воодушевлял его, но горький опыт предыдущих попыток научил бывшего Принца одной маленькой истине, что еда — вне пределов его досягаемости.

Однако здесь были и другие запахи; собака вдыхала их всякий раз, когда ветер приоткрывал входную дверь. Эти запахи были слабее, чем доносящиеся из мусорного бачка, но их источник находился внутри дома, и ОНИ были слишком ароматными, чтобы их игнорировать. Собака знала, что ей, возможно, придется отступить под криками хозяев, прогоняющих и пинающих ее своими странными, твердыми ногами, но запахи пересиливали страх. Единственная вещь могла бы укротить ее голод. Но до сих пор собака ничего не ведала об оружии. Все было бы иначе, если бы она оказалась здесь в охотничий сезон, но он начинался только через две недели, а сейчас самым ужасным впечатлением оставались кричащие и пинающие ее своими твердыми ногами люди. Собака прокралась в дом через приоткрытую ветром дверь и направилась внутрь... но не успела пробраться слишком далеко. Внезапный крик остановил ее, и она уже была готова в страхе убежать.

Слух подсказывал собаке, что хозяева этого дома очень паскудные, собака прекрасно понимала это, потому что хозяйка кричала на нее, но в голосе хозяйки звенел страх, а не угроза. После минутного желания убежать собака застыла на месте. Она подождала: не послышится ли еще один окрик, но его не последовало, и она двинулась вперед, вдыхая спертый воздух дома.

Вначале она свернула направо, направляясь к кухне. Оттуда, из-под хлопающей двери, вырывался запах. Пахло приятно: арахисовым маслом, изюмом, хлебом.

Собака сделала несколько шагов в этом направлении, потом повернула голову назад, чтобы убедиться, что там нет хозяина: обычно люди кричат, но они могут появляться и неслышно. В коридоре, ведущем налево, никого не было, но она уловила иной запах, исходящий оттуда, запах, заставивший заурчать ее желудок.

Собака направилась туда по коридору, глаза ее горели страхом и диким желанием, верхняя губа длинной морды дрожала, обнажая в

нервном оскале острые зубы. Струйка мочи, вырвавшись наружу, забарабанила по полу, отмечая коридор и, таким образом, весь дом как территорию, принадлежащую именно ей. Этот звук был настолько незначительным, что даже обостренный слух Джесси не уловил его.

Доносящийся запах был запахом крови. Запах был сильным и дурманящим. Голод стал невыносимым, собака чувствовала, что должна поесть как можно скорее, иначе она умрет. Бывший Принц медленно направился к спальне. По мере продвижения вперед запах усиливался. Конечно, это была кровь, но это была плохая кровь. Пахло человеческой кровью. Но, несмотря на это, запах был слишком великолепен, чтобы игнорировать его, он просто пульсировал в мозгу собаки. Она продолжала идти, а когда приблизилась к спальне, зарычала.

7

Джесси услышала цоканье собачьих когтей по полу и поняла, что пес все еще в доме и направляется сюда. Она начала кричать. Джесси знала, что это, возможно, самое ужасное, что можно предпринять в подобной ситуации, это противоречило основному правилу поведения с потенциально опасными животными: никоим образом не выказывать своего испуга, но она не могла сдержаться. Джесси прекрасно понимала, что привлекало пса в спальню.

Она подняла ноги вверх, одновременно подтягиваясь с помощью наручников и не сводя глаз с двери, ведущей в коридор. Вдруг она услышала злобное рычание. Внутри у Джесси похолодело, а потом ее бросило в жар.

Собака остановилась у дверей. Сумерки уже начали сгущаться, так что для Джесси собака была лишь расплывчатой тенью на полу, не очень большой, но и не игрушечной тенью пуделя или чихуа-хуа. Глаза собаки горели оранжево-желтым огнем в пересечении солнечных лучей.

— Прочь! — крикнула Джесси. — Пошел вон! Уходи! Тебя... никто не звал сюда! — Как это глупо звучало... но в данных обстоятельствах все выглядело бы глупо. «Может быть, мне еще попросить принести ключи от наручников?» — подумала Джесси.

Она заметила какое-то движение тени, стоящей у двери: собака начала вилять хвостом. В сентиментальном девичьем романе это могло бы означать, что бродячий пес спутал голос лежащей на кровати женщины с голосом обожаемого, но давно потерянного хозяина. Но Джесси разбиралась во всем этом лучше. Собаки виляли хвостом не только тогда, когда выражали радость; они — как и

кошки — виляли хвостом, когда находились в нерешительности, пытаясь оценить ситуацию.

Собака почти отступила при звуках голоса Джесси, но и она не доверяла сумеречной комнате.

Бывшему Принцу еще предстояло узнать о ружьях, но за эти шесть недель, прошедшие с последнего августовского дня, жизнь преподнесла ему много жестоких уроков. Мистер Чарльз Сатлин, юрист из Брейнтри, штат Массачусетс, отвел Принца в лес, решив, что пусть лучше собака умрет, чем он заберет ее домой и заплатит семидесятидолларовый налог за содержание собаки. Семьдесят долларов — слишком дорого за дворнягу, уж лучше истратить их на что-нибудь другое, считал мистер Чарльз Сатлин. Собака была куплена под влиянием момента. Чарльз никогда бы не купил ее, если бы его дочка просто не влюбилась в щенка. «Хочу щеночка, папа! — сказала она, указывая пальцем на маленький комочек. — Вот этого, с белым пятнышком на носу, он похож на маленького принца». Поэтому он и купил эту собаку. Никто не сможет сказать, что он не знает, как сделать свою дочурку счастливой. Но семьдесят баксов — слишком большие деньги за собаку, у которой даже нет родословной. «Слишком большие», — решил Чарльз, когда пришло время закрывать их летний домик до следующего сезона. Мысль о том, что придется везти пса в Брейнтри на заднем сиденье «сааба», также была весьма болезненной — собака может испачкать или порвать ковровое покрытие. Конечно, можно купить ей конуру, но она стоит целых тридцать долларов без пяти центов. Такая собака, как Принц, не может быть счастливой в конуре. Она будет намного счастливее, бегая на свободе, имея в своих владениях целый сосновый лес. Приблизительно так убеждал себя Сатлин, выталкивая собаку с заднего сиденья машины в районе бухты. У старины Принца сердце счастливого путешественника: нужно просто более внимательно посмотреть на него, чтобы понять это. Сатлин был неглупым человеком, какая-то часть его знала, что все это чепуха, пребывающая для самоуспокоения, но другая часть была воодушевлена такой мыслью, и, когда он садился в машину и уезжал, оставляя Принца, следящего за ним преданными глазами, на обочине дороги, Чарльз напевал мелодию из «Рожденной свободной»*:

Роооожденная сооооообооооднооооий...

Чтобы следовать велению сееердцааа!..

* «Рожденная свободной» — роман английской писательницы Джой Адамс, посвященный жизни животных (в частности, львицы) и одноименный кинофильм.

Он отлично спал той ночью, даже не вспоминая о Принце (вскоре ставшем бывшим Принцем), который провел эту ночь, скрючившись под поваленным деревом, голодный, дрожащий от страха, вскакивая всякий раз, когда раздавалось совиное уханье или какой-то зверек пробегал поблизости.

Теперь собака, выгнанная Чарльзом Сатлином под мотив «Рожденной свободной», стояла в дверях хозяйствской спальни летнего домика Белингеймов (коттедж Сатлина находился на противоположном берегу озера, две семьи не были знакомы, хотя и обменивались церемонными кивками на лодочном причале последних три или четыре лета). Голова собаки была опущена, глаза широко открыты, шерсть стояла дыбом. Пес не отдавал себе отчета в собственном рычании — все его внимание было сосредоточено на комнате. Инстинктивно он понимал, что вскоре запах крови победит всякую предосторожность. Но прежде чем это произойдет, он должен убедиться наверняка, что это не ловушка. Он не хотел быть пойманным такими хозяевами, у которых твердые, больно бьющие ноги, или такими, которые хватают комки земли и швыряют в него.

— Уходи! — попыталась крикнуть Джесси, но голос ее был слабым и дрожащим. Она не надеялась, что отпугнет собаку криком, этот сукин сын каким-то образом знал, что она не может встать с кровати и ударить его.

«Этого не может быть на самом деле, — подумала она. — Как такое могло случиться, если всего три часа назад я сидела на переднем сиденье «мерседеса», пристегнутая ремнем безопасности, и слушала музыку, мысленно напоминая себе не забыть справиться о репертуаре кинотеатров (на тот случай, если мы решим провести здесь ночь). Как может мой муж быть мертвым, когда мы пели с ним вместе, подпевая Бобу Волкенхорстону? «Еще одно лето, — пели мы, — еще один шанс, еще одно переживание любви». Мы оба знали слова этой песни, так как она очень известна, как же может быть, что мой муж мертв? Как же все могло так измениться? Извините, но это все-таки сон. Слишком абсурдно, чтобы быть правдой».

Собака медленно входила в комнату, лапы переступали осторожно, хвост обвис, широко раскрытые глаза потемнели. В оскале обнажался полный набор великолепных клыков. Пес вряд ли знал о таких вещах, как абсурдность.

Бывший Принц, с которым весело играла восьмилетняя Кэтрин Сатлин (по крайней мере, до тех пор, пока ей не подарили в день рождения куклу по имени Марни, после чего она полностью потеряла интерес к собаке), был помесью колли с лабрадором... помесь, но далеко не дворняжка. Когда Сатлин в августе завез Принца в лес,

тот весил восемьдесят фунтов, а шерсть так и лоснилась здоровьем, очаровательная смесь коричневого и черного (с характерным для колли белым воротником и подштанниками). Сейчас он не дотягивал и до сорока фунтов, наощупь можно было легко пересчитать все его ребра. Одно ухо было сильно поранено. Шерсть свисала клочьями и кишила блохами. Полузаживший розовый шрам — память о паническом бегстве через обвитый проволокой забор; в морде, подобно странным, скрюченным усам, застряли иголки дикобраза. Дней десять назад он нашел под бревном мертвого дикобраза, но, загнав в нос только иголки, оставил его в покое. Он был голоден, но не настолько, чтобы тогда решиться на все.

Сейчас же он был доведен голодом до отчаяния. Последний раз его едой были отбросы, добытые им из мусорного бачка два дня назад. Собака, быстро научившаяся приносить брошенный Кэтрин Сатлин мяч, сейчас умирала от голода.

Да, но здесь — прямо здесь, на полу, *на его глазах* — лежали фунты и фунты свежего мяса, сала. Это было подарком от бога бродячих собак.

Бывший любимец Кэтрин Сатлин продолжал медленно приближаться к телу Джеральда Белингейма.

8

«Этого не произойдет, — говорила себе Джесси. — Ни в коем случае, так что расслабься».

Она продолжала твердить эту фразу до тех пор, пока верхняя часть туловища собаки не исчезла из виду, скрытая левой стороной кровати. Пес усиленно вилял хвостом, а потом последовал звук, который был очень знаком, — звук, издаваемый собакой, пьющей из лужи в жаркий летний день. Только сейчас звук был не совсем таким. Он был как-то грубее — не то что от лакания или лизания. Джесси смотрела на быстро виляющий хвост, и ум подсказывал ей то, что было скрыто от ее глаз углом кровати. Этот бродячий пес со свисающей клочьями шерстью слизывал кровь с волос ее мужа.

— НЕТ! — Джесси приподняла ягодицы и перебросила ноги влево. — ОТОЙДИ ОТ НЕГО! ПРОЧЬ! — выкрикнула она и двинула пяткой по спине собаки.

Пес мгновенно отскочил, приподняв морду, глаза его были так широко открыты, что были видны белки. Челюсти разжались, и в лучах заходящего солнца нити слюны, тянущиеся между верхними и нижними клыками, напоминали тоненькие золотые паутинки. Пес отскочил от удара ее босой ступни. Джесси с воплем отдернула ногу

и инстинктивно подобрала под себя обе ноги, не слыша криков боли, доносящихся из перенапряженных мышц плеч, не чувствуя, как неохотно поворачиваются кости в суставах.

Пес смотрел на Джесси, продолжая угрожающе рычать. «*Давай разберемся во всем, леди, — говорили собачьи глаза. — Ты будешь делать свое дело, а я — свое. Вот и поладим. Ты все поняла? Так будет лучше, потому что если ты попробуешь помешать мне, я доберусь и до тебя. Кроме того, он мертв, и ты знаешь это так же хорошо, как и я, и почему он должен пропадать зря, когда я умираю от голода? Ты бы сделала то же самое. Я сомневаюсь, что ты понимаешь это сейчас, но мне кажется, что ты придешь к этой же точке зрения, и даже скорее, чем ты думаешь.*»

— ПОШЕЛ ПРОЧЬ! — крикнула она.

Сейчас Джесси сидела на пятках, раскинув в стороны руки, более чем когда-либо напоминая Фэй Рэй на жертвенном алтаре в диких джунглях. Ее поза — голова вверх, груди вперед, плечи отведены назад так сильно, что даже побелели от напряжения и на них выступили жилы, в глубоких треугольниках у основания шеи застыли густые тени — была подобна той, которую принимали девушки на самых обжигающих фотографиях из журналов Джеральда. Обязательная зазывающая улыбка, однако, отсутствовала; выражение лица было, как у женщины, стоящей у черты, за которой начинается безумие. — УБИРАЙСЯ ПРОЧЬ!

Собака смотрела на Джесси, продолжая рычать. Затем, удостоверившись, что второго удара не последует, опустила голову. Джесси выпала из сферы ее интересов. В этот раз не последовало лижущих или лакающих звуков. Вместо этого Джесси услышала громкое чмоканье. Это напоминало звук поцелуев, какими ее брат Вилл одаривал щеки бабушки, когда они приезжали навестить ее.

Рычание продолжалось еще несколько мгновений, но теперь оно было странно приглушенным, как будто кто-то прикрыл подушкой голову одичавшего пса. Почти касаясь макушкой полки над кроватью, Джесси могла видеть только пухлую ступню Джеральда и его правую руку. Ступня дергалась из стороны в сторону, как будто Джеральд отбивал ритм веселенького мотивчика — «Еще одно лето», например.

Теперь собака была видна ей лучше: Джесси видела все ее туловище начиная от шеи. Джесси увидела бы и голову, если бы собака подняла ее вверх. Но голова была опущена, лапы широко расставлены и с силой упирались в пол. Неожиданно раздался рвущийся звук — сопливый звук, как будто кто-то сильно простуженный попытался высморкаться. Джесси застонала.

— Прекрати... прекрати, пожалуйста.

Собака не обратила на нее никакого внимания. Когда-то она усаживалась рядом со столом своих хозяев и выпрашивала кусочки, ее глаза искрились. Но те дни, как и прежняя кличка, давным-давно канули в вечность, и вряд ли их можно вернуть. Сейчас все было по-другому и шло так, как шло. В борьбе за выживание не было места извинениям и вежливости. Пес не ел два дня, а здесь была пища, и, хотя здесь присутствовал хозяин, который не хотел, чтобы пес съел ее (дни, когда у него были хозяева, которые смеялись и гладили его по голове, говорили ему: «ХОРОШИЙ ПЕС» и награждали лакомыми кусочками за исполнение небольшого циркового репертуара, давно прошли), ноги этого хозяина были маленькими и мягкими, а не твердыми и больно бьющими, а голос свидетельствовал о полном бессилии.

Рычание бывшего Принца перешло в усердное пыхтение, и Джесси увидела, что тело Джеральда начало дергаться вместе с его ногами: сначала из стороны в сторону в темпе джаза, в потом действительно стало скользить, как будто он, несмотря на то что был мертв, двигался наощупь.

«Успокойся, Джеральд! — в бешенстве подумала Джесси. — Прекрати танцевать, лучше разделайся с собакой!»

Пес не смог бы сдвинуть Джеральда с места, если бы ковер лежал на полу, но Джесси приготовилась натирать паркет, так как через неделю наступал День Труда.

Билл Данн, присматривающий за их домом, вызвал из компании, занимающейся натиркой паркета, рабочих, и они сделали свое дело чертовски хорошо. Им хотелось, чтобы молодой хозяйке, когда она приедет сюда в следующий раз, понравилась их работа, так что они оставили ковер свернутым в кладовой, и когда бродячий пес добрался до Танцующего Джеральда, передвигая его по блестящему паркету, тот двигался с легкостью Джона Траволты в фильме «Субботняя лихорадка». Собака столкнулась с единственной проблемой — удержать собственное равновесие. Длинные грязные когти помогали ей в этом, оставляя короткие, но глубокие отметины в полированном паркете, когда собака пятилась назад, крепко зажав вялую руку Джеральда в своей пасти.

«Знаете, я ничего этого не вижу. На самом деле не происходит ничего подобного. Совсем недавно мы вместе слушали музыку, и Джеральд приглушил звук, чтобы сообщить мне, что он собирается поехать в Торонто на футбольный матч в эту субботу. Я помню, как он тер мочку уха, пока говорил со мной. Как же он может быть мертв, как же могло случиться, что собака тащит его за руку по полу?»

Волосы Джеральда были в полном беспорядке (возможно, от того, что собака слизывала с них кровь), но очки плотно сидели на положенном месте. Джесси видела его полуоткрытые и блестевшие из-под припухших век глаза. Его лицо представляло собой застывшую маску с уродливыми красными и пурпурными пятнами, как будто даже смерть не могла смягчить его гнев в ответ на ее внезапный каприс (казалось ли это ему каприсом? Ну, конечно, именно так он и считал), заставивший Джесси передумать.

— Отойди от него, — приказала Джесси собаке, но голос прозвучал сдавленно, печально и как-то бессильно.

Собака лишь слегка повела ушами, но не остановилась. Она продолжала тянуть предмет с вздыбленными волосами и безобразными пятнами на лице. Этот предмет уже не напоминал Танцующего Джеральда. Теперь это был Мертвый Джеральд, скользящий по паркету спальни, в чьи вялые бицепсы вцепились острые зубы пса.

Оторванный кусок человеческой кожи свисал с морды собаки. Джесси пыталась убедить себя, что он похож на кусок обоев, но на обоях — по крайней мере, насколько она знала — не бывает родинок и следов от прививок. Теперь она видела розовый мясистый живот Джеральда, отмеченный маленькой дырочкой, которая была пупком. Его пенис болтался и подергивался в гнезде волос на лобке. Ягодицы с присвистом скользили по натертому до блеска паркету.

Внезапно удушающую атмосферу ужаса пронзило копье злости, такое же яркое, как и молния, взорвавшаяся у нее в голове. Она более чем с радостью приняла это новое настроение. Ярость не поможет ей выпутаться из этой кошмарной ситуации, но она могла бы стать противоядием шокирующей нереальности происходящего.

— Ты, ублюдок, — произнесла она низким, дрожащим голосом. — Ты, коварный ублюдок.

Хотя Джесси не могла дотянуться до чего-нибудь, стоящего на полочке со стороны Джеральда, она поняла, вращая левым запястьем внутри наручника, что может дотянуться пальцами до своей половины полки. Она не могла повернуть голову, чтобы увидеть предметы, к которым она прикасалась (они находились за пределами того, что люди называют боковым зрением), но это не было так уж важно. Она и без этого прекрасно знала, что там может находиться. Она двигала руками из стороны в сторону, касаясь кончиками пальцев тюбиков с косметикой и, стараясь пробраться в глубь полочки, столкнула некоторые из них. Несколько коробочек скатились на покрывало, другие упали на пол, рикошетом отскочив от ее левого бедра. Но ни один из этих тюбиков даже отдаленно не напоминал предмет, который искала Джесси. Ее пальцы сжали коробочку с

кремом «Нивея» для лица, и на мгновение ей показалось, что это то, что нужно. Но коробочка была маленького размера, слишком маленькая и легкая, чтобы поранить собаку, даже если бы она была сделана из стекла, а не из пласти массы. Она отшвырнула коробочку и возобновила свои поиски вслепую.

Продвинув руку немного дальше, Джесси ищущими движениями наткнулась на круглый край стеклянного предмета, который был самым большим из всех уже ощупанных ею. Она не сразу смогла понять, что это такое. Глянцевая пивная кружка, висящая на стене, была лишь одним из многочисленных сувениров, напоминающих Джеральду о былых веселых деньках; теперь она прикасалась к еще одному. Эта была пепельница, и единственной причиной, почему она не сразу узнала ее, было то, что пепельница не принадлежала ее половине полки, обычно она стояла возле стакана со льдом. Кто-то, возможно миссис Дол — прислуга, убирающая в доме, а может, и сам Джеральд передвинул ее с одного края на другой, чтобы вытереть пыль на полке или освободить место для чего-нибудь. Причина не имела никакого значения. Пепельница стояла здесь, а этого было вполне достаточно.

Джесси сомкнула пальцы вокруг круглой поверхности, ощущая два углубления по краям — выемки для сигарет. Крепко зажав пепельницу, она максимально отвела руку назад, а потом выбросила ее вперед. Удача сопутствовала ей, Джесси опустила запястье как раз в тот момент, когда цепь наручников натянулась и звякнула, издав звук разбивающегося на мелкие куски кувшина. Все это было проделано импульсивно, снаряд был разыскиваем, найден, а потом брошен, прежде чем Джесси успела осознать всю бесполезность этой затеи, так как вряд ли женщина, получавшая тройки по физкультуре во время обучения в колледже, могла попасть в собаку пепельницей, особенно учитывая то обстоятельство, что собака находилась в пятнадцати футах, а руки женщины были закованы в наручники.

Но, несмотря на все это, Джесси *попала*. В полете пепельница перевернулась, показывая написанный на боку лозунг. Джесси не могла прочитать его со своего места, да ей и не нужно было читать; там было оттиснуто латинское выражение о служении, процветании и мужестве. Пепельница снова начала переворачиваться, но, так и не успев выполнить переворот, врезалась в костлявые лопатки собаки.

От неожиданности и боли пес взвизгнул, и Джесси ощущала дикий, первобытный триумф. Ее рот растянулся в зловещей ухмылке. Она завопила, как в бреду, выгибая спину и вытягивая ноги. Она не ощущала боли, исходящей от плеч и всех затекших сочленений. Все это придет несколько позже — каждое движение, поворот, но теперь

она двигалась, воодушевленная своим успешным броском, и чувствовала, что если хоть как-то не выразит свой триумф, то просто взорвется. Она отбивала барабанную дробь ногами по покрывалу, раскачивалась из стороны в сторону, пышные пряди волос бились по щекам и вискам, на шее от напряжения выступили жилы.

— ХА! — кричала Джесси. — Я... ДОБРАЛАСЬ ДО... ТЕЕБЯ! ХА-ХА!

Пес отпрянул назад, когда пепельница ударила его, и отпрыгнул снова, когда пепельница грохнулась на пол и покатилась к противоположной стене. Уши прислушивались к изменениям в голосе бесполковой хозяйки. Теперь в нем звучал не страх, а триумф. Сейчас она встанет с кровати и начнет пинать его ногами, которые теперь уже не будут такими мягкими.

Принц знал, что будет очень больно, как бывало уже не раз, если он останется здесь; так что лучше убраться вовсю.

Он повернул голову, чтобы убедиться, что путь к отступлению все еще свободен, но притягательный и дурманящий запах свежей крови и мяса стал еще сильнее. Желудок свело от голода, пес заскулил, колеблясь между двумя противоположными желаниями, и снова выпустил струйку мочи. Запах собственных испражнений — запах, говорящий о слабости и беспомощности вместо силы и уверенности, — усилил его замешательство и расстройство, и он снова заскулил.

Джесси вздрогнула от этого пронзительного и неприятного звука — она заткнула бы уши руками, если бы могла это сделать, и собака сразу уловила изменения, произошедшие в комнате. Что-то в запахе, исходящем от женщины, неуловимо изменилось. Ее начальный запах рассеялся, хотя и был еще свежим и новым, но собака почувствовала, что нового удара, возможно, не последует. Первый удар был скорее пугающим, чем болезненным. Собака сделала неуверенный шаг к руке, которую она выпустила из пасти... к дурманящему запаху крови и мяса. Она внимательно следила за хозяйкой во время своего продвижения. Ее первое представление о хозяйке, как о существе безопасном и беспомощном, было ошибочным. Так что лучше быть крайне осторожной.

Джесси лежала в кровати, ощущая ноющую боль в плечах и пересохшем горле, осознавая, что собака все еще здесь, несмотря на брошенную пепельницу. После бурного приступа триумфа у Джесси собака решила, что ей нужно убраться подальше, но потом почему-то осталась. И, что еще хуже, бродяга перешла в наступление. Настороженно и опасливо, но она все же наступала. Джесси ощутила, что где-то внутри нее закипела зеленая волна яда — горькая, как

таблетка аспирина, и испугалась, что если эта волна выплеснется, то она, Джесси, захлебнется в собственном бессильном гневе.

— Убирайся прочь, срань болотная, — хрюплю выкрикнула Джесси. — Убирайся прочь, или я убью тебя. Я не знаю, как, но, клянусь Богом, я сделаю это.

Собака вновь остановилась, окидывая Джесси тяжелым взглядом.

— Вот так-то лучше, не сбрасывай меня со счетов, — произнесла Джесси. — Так будет лучше, потому что я не шучу. — Голос снова сорвался на крик. — Я убью тебя, я сделаю это, клянусь! УХОДИ!

Собака, бывшая когда-то Принцем для маленькой Кэтрин Сатлин, переводила взгляд с женщины на мясо, с мяса на женщину и снова с женщины на мясо. Она пришла к решению, которое отец Кэтрин назвал бы компромиссом. Она наклонилась вперед, внимательно наблюдая за Джесси, и ухватилась за оторванный кусок сухожилий и мышц, который раньше был правым бицепсом Джеральда Белингейма. Угрожающе рыча, Принц пятился назад. Рука Джеральда поднялась вверх; казалось, что его обмякшие пальцы указывают сквозь восточное окно на «мерседес», стоящий на подъездной дорожке.

— Прекрати! — взвизгнула Джесси. Теперь ее голос достиг верхнего регистра, на котором крик превращается в задыхающийся шепот. — Неужели тебе мало? Оставь его в покое.

Пес не обратил никакого внимания. Он быстро мотал головой из стороны в сторону так же, как во время больших забав с Кэтрин Сатлин, когда они отнимали друг у друга резиновые игрушки. Однако теперь это была не игра. Слюна стекала с нижней челюсти одичавшего Принца, пока он продолжал свое дело, отрывая мясо от кости. Тщательно ухоженная ладонь неистово металась в воздухе. Теперь она напоминала кисть неумелого дирижера, заставляющего музыкантов ускорить темп игры.

Джесси опять услышала звук своего прочищаемого горла и внезапно поняла, что ее сейчас вырвет.

«Нет, Джесси! — Это был голос Руфи, и в нем слышалась неподдельная тревога. — Не делай этого! Запах может привлечь собаку к тебе... ты понимаешь, к тебе!»

Лицо Джесси исказила гримаса отвращения, когда она попыталась подавить приступ тошноты. Звук разрываемых мышц повторился, и Джесси увидела собаку — ее передние лапы, дрожащие от напряжения, упирающиеся в темную полоску эластика. Закрыв глаза, Джесси попыталась прикрыть лицо руками, от ужаса забыв на мгновение о том, что она прикована. Ее руки замерли в футах двух одна от другой, зазвенели цепи. Джесси застонала. Этот стон указывал на то, что

она уже не в состоянии растерянности, а в отчаянии. Это было похоже на предсмертный стон.

Она еще раз услышала влажный, рвущий звук. Он завершился громким причмокиванием. Джесси не открывала глаз.

Бродячий пес начал пятиться к двери, ведущей в коридор, не сводя глаз с хозяйки. В его челюстях был зажат огромный, блестящий кусок того, что еще недавно звалось Джеральдом Белингеймом. Если бы женщина, лежавшая на кровати, собиралась отнять этот кусок, она бы сделала это сейчас. Пес не умел думать, но весь комплекс его инстинктов предлагал очень эффективную альтернативу мыслям: Принц прекрасно понимал, что его действия чудовищны. Но он так долго голодал. Он был оставлен в лесу мужчиной, который, возвращаясь домой, насыщивал мелодию из фильма *«Рожденная свободной»*. И теперь он умирал от голода. Если хозяйка попытается сейчас забрать его еду, он будет сражаться.

Пес бросил на Джесси еще один ненавидящий взгляд, увидел, что та не двигается, и отвернулся. Он оттянул мясо поближе к выходу и зажал его передними лапами. Сильным порывом ветра с грохотом закрыло переднюю дверь. Пес посмотрел в этом направлении и понял своим вполне думающим собачьим умом, что он сможет мордой открыть дверь и быстро улизнуть, если в этом будет необходимость. Покончив со всеми этими неотложными делами, Принц начал есть.

9

Опасность того, что ее вырвет, медленно отступала. Джесси лежала на кровати с плотно закрытыми глазами, только теперь начиная ощущать болезненную пульсацию в плечах, волнами разливающуюся по телу. Джесси смутно догадывалась, что это только начало.

Я хочу заснуть, — подумала она. Это снова был детский голос. Теперь он звучал испуганно. Его не интересовало, можно или нельзя это сделать. — Я уже почти засыпала, когда пришла эта противная собака, да и сейчас я хочу только этого — заснуть.

Джесси всем сердцем сочувствовала этому желанию. Но все дело было в том, что в действительности она никак не могла заснуть. Она представляла, как собака терзает тело ее мужа, и ее сонное настроение полностью улетучивалось.

Чего она действительно хотела — так это пить. Джесси открыла глаза, и первое, что она увидела, был Джеральд, лежащий в собственном отражении на паркете, напоминая какой-то гротескный человеческий атолл. Глаза его были все еще открыты и гневно

смотрели в потолок, но теперь очки съехали с носа и одна их дужка свисала под ухом, вместо того, чтобы быть над ним. Его голова так сильно склонилась набок, что пухлая левая щека почти лежала на плече. Между его правым плечом и локтем не было ничего, кроме темно-красной улыбки, ощерившейся белыми костями.

— Господи, Боже мой! — пробормотала Джесси.

Она быстро отвернулась к западному окну. Золотой свет — теперь это был уже почти закат — ослепил ее, и Джесси снова закрыла глаза, перед которыми мелькали черно-красные пятна и круги, а кровь, выталкиваемая сердцем, пульсировала под прикрытыми веками. Через несколько мгновений Джесси заметила, что снова и снова повторяются те же самые стремительно сменяющие друг друга картинки. Это было похоже на разглядывание протозоя* под микроскопом, отмеченного красной краской. Эти повторяющиеся узоры показались Джесси интересными и успокаивающими.

Джесси полагала, что не нужно быть гением, чтобы понять такой простой призыв, который содержался в повторяющихся узорах при данных обстоятельствах. Когда все связи и представления нормальной жизни распадаются на части — да еще к тому же с такой поразительной внезапностью, просто необходимо найти *что-то*, за что можно зацепиться, что было бы здравым и вполне предсказуемым. Если ритмичный ток крови под тоненькой кожей век и лучи уходящего солнца — единственное, что может быть найдено, тогда ты цепляешься хотя бы за это и говоришь «большое спасибо». Потому что, если ты не можешь найти хоть что-то, за что можно зацепиться, имеющее хоть какой-то смысл, то распадающиеся части нового мирового порядка просто сведут тебя с ума.

Такие части, например, как звуки, доносящиеся из прихожей. Звуки, означающие, что изголодавшаяся собака лакомится мясом человека, который когда-то водил тебя на премьеру фильма Бергмана и в удивительный парк с каруселями на Старом Пляже и уговорил тебя сесть на борт большого корабля викингов, раскачивающегося в воздухе, как маятник, а потом смеялся до слез, когда ты изъявила желание снова покачаться на лодочке. Мужчина, который занимался с тобой любовью прямо в ванне, когда ты буквально стонала от наслаждения. Мужчина, превратившийся теперь в галету для собаки.

Распадающиеся элементы целого, как этот.

— Странные денечки, *mamma mia*, — произнесла Джесси. — Очень странные денечки.

* Протозоа — простейший одноклеточный механизм.

Ее голос превратился в тихий, болезненный хрип. Джесси надеялась, что ей лучше всего замолчать и отдохнуть немножко, но когда в спальне снова стало тихо, она ощутила, что ее панический ужас все еще здесь, он кружит, крадучись по комнате на своих мягких лапах, пытаясь найти вход и ожидая, когда она отпустит свою охрану. Кроме того, в спальне не было настоящей тишины. Гагара продолжала вскрикивать над озером, к ночи усилился ветер, дверь еще громче хлопала — и чаще, чем когда-либо.

Плюс, конечно, звуки, которые издавала собака, обедавшая ее мужем.

* * *

Пока Джеральд расплачивался за сэндвичи, Джесси зашла в соседний магазинчик. Здесь всегда можно было купить отличную рыбку — достаточно свежую, чтобы продолжать шлепать хвостом, как говорила ее бабушка. Там Джесси купила великолепное филе палтуса, рассчитывая поджарить его, если они все же решат остаться здесь на ночь. Палтус был хорош тем, что Джеральд, живущий все время на диете, состоящей исключительно из ростбифов и жареных цыплят (иногда, правда, он заказывал жареные грибы в целях более разнообразного и калорийного питания), утверждал, что он любит мясо палтуса, и она купила рыбку без малейшего предчувствия, что Джеральд будет съеден раньше, чем успеет поесть сам.

— Ты живешь в джунглях, малышка, — хриплым, глухим голосом произнесла Джесси, осознавая, что теперь она не только думает, но и говорит голосом Руфи Ниери, которая во времена их совместной учебы в колледже могла бы жить на диете, состоящей только из сигарет «Мальборо», если бы все зависело только от нее.

«Вспомни песню, которую пел Ник Лоу, когда ты однажды пришла домой после лекции, — снова заговорил дерзкий голосок. — Песню, рассмешившую тебя».

Джесси вспомнила. Она не хотела вспоминать, но вспомнила. Это была именно песенка Ника Лоу, которая называлась «Она привыкла обедать» (а теперь досталась собаке на обед), циничная музыкальная медитация одиночества, решительно не соответствующая солнечному свету, падавшему из окна. Казавшаяся такой забавной в ту зиму, теперь она изменила свой смысл.

— Прекрати, Руфь, — прохрипела Джесси. — Если ты собираешься расположиться в моей голове, так хоть не терзай меня.

«Терзать тебя? Джесс, малышка, я не терзаю тебя, я пытаюсь разбудить тебя!» .

— Я не сплю! — ворчливо заметила Джесси. На озере снова закричала гагара, как бы поддерживая ее. — Частично благодаря тебе!

«Нет, ты спишь. Ты не просыпалась по-настоящему уже много лет. Когда случается что-то плохое, Джесс, знаешь, что ты делаешь? Ты говоришь себе: «О, абсолютно не о чем беспокоиться, это всего лишь плохой сон. Они частенько сняются мне, но, как только я перевернусь на спину, все снова будет хорошо». Именно так ты и поступаешь, дурашка. Это именно то, что ты делаешь».

Джесси открыла рот, чтобы ответить — такую дерзость нельзя оставлять без ответа, независимо от того, пересохло ли у тебя во рту, болит ли у тебя горло или нет, — но Отличная Хозяюшка Белингейм взбралась на трибуну прежде, чем Джесси успела собраться с мыслями.

«Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Как не стыдно! Уходи!»

Дерзкий голос Руфи цинично рассмеялся в ответ на такую вдохновенную тираду, и Джесси подумала о том, как неспокойно — как ужасно неспокойно — слышать, что часть твоего рассудка смеется правдоподобным голосом твоей старой знакомой, находящейся сейчас неизвестно где.

«Уйти? Ты бы хотела этого? Малышок-голышок, сладенький пирожок, папина дочечка. Каждый раз, когда правда подходит слишком близко, каждый раз, когда ты подозреваешь, что сон — это не совсем сон, ты убегаешь прочь».

Это глупо.

«Неужели? Тогда что же случилось с Норой Калиган?»

На секунду, спугнув голос Хозяюшки — и ее собственный, который обычно говорил вслух и который она соотносила со своим «я», — наступила тишина, но в этой тишине образовался странно знакомый образ: круг смеющихся, указывающих пальцем людей, в основном женщин, стоящих вокруг юной девушки, закованной в колодки. Джесси с трудом различала эту картину, потому что было темно — должен был быть день, но по каким-то необъяснимым причинам все же было темно, однако лица девушки не было видно, даже если бы сиял яркий дневной свет. Ее волосы свисали с лица, как покаянное одеяние, хотя с трудом верилось, что она могла совершить что-нибудь слишком ужасное — ей было не больше двенадцати. За что бы там ее ни наказывали, наказание не могло быть за убийство собственного мужа. Эта дочь Евы была слишком юной, у нее вряд ли уже начались менструации, чтобы иметь мужа.

«Нет, это неправда, — внезапно заговорил голос из потаенных глубин ее сознания. Несмотря на свою музыкальность, этот голос

обладал пугающей силой, как крики кита. — У нее пошли месячные, когда ей было десять с половиной лет. Возможно, в этом вся проблема. Возможно, он почувствовал запах крови, как и та собака в прихожей. Возможно, это взбесило его».

— Заткнись! — вскрикнула Джесси. Внезапно она почувствовала, что сама взбесилась. — Заткнись! Мы не будем говорить об этом.

«Говоря о запахах, какой был второй запах? — спросила Руфь. Теперь этот внутренний голосок был жестоким, он горел желанием... как голос золотоискателя, который наконец-то наткнулся на золотоносную жилу, давно, но безуспешно им разыскиваемую. — Этот запах соли и старых металлических монет...»

«Я же сказала, что мы не говорим об этом!»

Джесси лежала на покрывале, ее мышцы напряглись под замерзшей кожей, она забыла о своем плене и о смерти мужа — по крайней мере на какое-то мгновение перед лицом этой новой угрозы. Она чувствовала, как Руфь или какая-то отделившаяся от нее часть, говорящая за Руфь, размышляла: стоит или нет начинать дискуссию по этому поводу. Когда она решила, что не стоит (по крайней мере, не сейчас), Джесси и Женушка Белингейм, обе, вздохнули с облегчением.

«Хорошо, тогда давай поговорим о Норе, твоем консультанте, — сказала Руфь. — О Норе, твоем враче. О том человеке, которого ты стала посещать, когда забросила живопись, потому что некоторые твои картины испугали тебя. Это было тогда, когда сексуальное влечение Джеральда по отношению к тебе начало ослабевать. Уж и не знаю, было ли это простым совпадением. Тогда ты начала обнюхивать воротнички его рубашек, пытаясь уловить запах чужих духов. Ты ведь помнишь Нору?»

«Нора Калиган была сучкой!» — прорычала Образцовая Хозяюшка.

— Нет, — пробормотала Джесси. — У нес были хорошие намерения, я уверена в этом, просто она слишком много хотела знать. И слишком много задавала вопросов.

«Ты говорила, что она тебе очень нравилась. Ведь так?»

— Я не хочу ни о чем думать, — ответила Джесси. Голос ее дрожал от неуверенности. — А больше всего на свете я не хочу слышать эти голоса и разговаривать с ними. Это такое дерьмо.

«Хорошо, но тебе все-таки лучше послушать, — ворчливо ответила Руфь, — потому что ты не сможешь убежать от этого, как убежала от Норы... как ты убежала от меня».

— Я никогда не убегала от тебя, Руфь!

Но, конечно же, она сделала именно это. Просто упаковала чемоданы и уехала из захламленной, но такой гостеприимной ком-

наты, которую они делили с Руфью. Она сделала это не потому, что Руфь в последнее время *стала* задавать много ненужных вопросов — вопросов о детстве Джесси, о Черном озере, о том, что случилось на этом озере летом, после того как у Джесси пошла менструация. Нет, из-за этого могла уехать только плохая подруга. Джесси уехала не потому, что Руфь *начала* задавать лишние вопросы; она уехала потому, что Руфь *не прекратила* задавать их, когда Джесси попросила ее об этом. По мнению Джесси, это сделало Руфь плохой подругой. Руфь видела линию, которую Джесси прочертала в пыли... но потом все равно умышленно переступила ее. То же самое сделала Нора Калиган спустя много лет.

Кроме того, убегать в таких обстоятельствах просто смешно. В конце концов, разве она не прикована наручниками к кровати?

«Не оскорбляй мои умственные способности, пышечка, — произнесла Руфь. — Твой ум не прикован к кровати, и мы обе знаем об этом. Ты все же можешь убежать, если захочешь, но я советую тебе — настоятельно советую — не делать этого, потому что я — это твой единственный шанс. Если ты будешь просто лежать и думать, что тебе снится дурной сон, потому что ты спишь на левом боку, тогда ты умрешь в этих наручниках. Ты этого хочешь? Это что, твоя расплата за жизнь, прожитую тобой в наручниках, даже...»

— Я не хочу думать об этом! — выкрикнула Джесси пустой комнате.

На мгновение Руфь замолчала, но еще до того, как Джесси начала надеяться, что она ушла, Руфь снова вернулась... вернулась в нее, расправляясь с ней, как терьер расправляется с тряпичной куклой.

«Ну, что ж, продолжай, Джесс, — возможно, ты предпочитаешь быть безумной, чем покопаться в старой могиле, но ты же знаешь, что это не так. Я — это ты, Хозяюшка — это тоже ты... ведь мы — это ты, если уж говорить серьезно. Я прекрасно знаю, что произошло в тот день на Черном озере, когда все другие члены семьи уехали, и мне абсолютно не интересно, что там случилось. Но меня действительно интересует одна вещь: есть ли в тебе хоть какая-то часть, о которой я не знаю, которая хочет разделить место рядом с Джеральдом в кишках этой собаки завтра в это же время? Я просто спрашиваю, хотя это звучит некорректно, это звучит безумно».

Слезы снова потекли по щекам Джесси, но она не знала: плачет ли она из-за возможности — наконец-то произнесенной — умереть здесь или потому, что впервые за последние четыре года она размышляла о другой летней резиденции, о Черном озере и о том, что случилось там в тот день, когда погасло солнце.

Когда-то она чуть не выдала свой секрет на собрании группы женского сознания... Это случилось в начале семидесятых, и посещение подобного собрания, конечно, было идеей ее соседки по комнате, но Джесси с удовольствием пошла с ней, по крайней мере начиналось все хорошо. Все было таким безобидным и казалось частью беспрерывного карнавального праздника, которым было обучение в колледже. Для Джесси эти два первых года в колледже с Руфью Ниери, как сообщницей всех развлечений, были просто великолепны — время, когда бесстрашные казалось обычным, а достижения и победы — непреложными. Это были дни, когда ни одна комната общежития не обходилась без фото Питера Макса и никто не уставал слушать незабвенных «Битлз». Все это было слишком великолепным, чтобы быть настоящим, как вещи, которые видишь при лихорадке, но когда температура не слишком высока, чтобы угрожать жизни. Действительно, эти первые два года были просто фейерверком.

Фейерверк закончился при первом же посещении собрания группы женского сознания. Здесь Джесси открыла для себя мир привидений, которые, казалось, одновременно предсказывали будущее, уходящее в восьмидесятые, и пробуждали шепоток детских секретов, погребенных в шестидесятых...

В гостиной коттеджа, прилегающего к небольшой церквушке, находилось двадцать женщин, некоторые сидели на стареньком диванчике, другие пристроились на стульях, а большинство сидело прямо на полу в позе лотоса, образуя неровный круг, — двадцать женщин в возрасте от двадцати до сорока и даже чуть старше. Они соединили руки и помолчали в самом начале встречи.

А потом Джесси была просто атакована ужасающими рассказами о насилии, леденящими кровь историями о кровосмешении и физических пытках. Даже если бы Джесси пришлось прожить тысячу лет, то и тогда бы она не забыла спокойную хорошенечкую блондинку, поднявшую свитер, чтобы показать старые шрамы под грудями от потушенных на ее теле сигарет.

Именно тогда карнавал закончился для Джесси Махо. Закончился? Нет, не так. Это было, как будто ей предоставили возможность увидеть подноготную праздничного карнавала, разрешили увидеть серые опустевшие осенние поля, то, что было единственной и настоящей реальностью: ничего, кроме пустых сигаретных пачек и использованных презервативов да еще нескольких дешевых сломанных наград, затерявшихся в высокой траве в ожидании того, что их либо сдует порыв зимнего ветра, либо покроет снег. Она увидела этот безмолвный, тупой, бесплодный мир, ожидающий за тоненьким слоем залатанной ткани, которая отделяла его от искрящейся весель-

ем суматохи, дешевой подделки, бешеною круговерти развлечений, и он испугал ее. Думать, что только это, и ничего больше, ожидает ее впереди, было ужасно; думать, что это составляет и ее подноготную, прячущуюся под безвкусно залатанной тканью ее вылеченной памяти, было просто невыносимо.

Показав ожоги под грудями, обаятельная блондинка опустила свитер и объяснила, что она ничего не могла рассказать своим родителям о том, что сделали с ней друзья ее брата, когда те уехали в Монреаль на выходные, потому что могло выйти наружу, что делал с ней родной брат в течение последнего года, а ее родители никогда не поверили бы этому.

Голос девушки был такой же спокойный, как и ее лицо. Она говорила так разумно и взвешенно. После ее рассказа последовала оглушительная пауза — мгновение, в которое Джесси почувствовала, как что-то внутри нее, стремительно высвобождаясь, закричало тысячью неясных голосов в смешанном хоре надежды и ужаса, — а потом заговорила Руфь.

— Почему они *не поверили бы тебе?* — требовала она ответа. — Господи, Лив, они тушили о тебя *горячие сигареты!* Ведь ожоги были прямым свидетельством! Почему они *не поверили бы тебе?* Разве они не любили тебя?

«Да, — подумала Джесси. — Да, они любили ее. Но...»

— Да, — ответила блондинка. — Они любили меня. Они и сейчас меня любят. Но мой брат Бэрри был для них *идолом и кумиром*.

Сидя позади Руфи, прикасаясь дрожащей рукой ко лбу, Джесси услышала свой шепот:

— Кроме того, это бы убило ее.

Руфь обернулась к ней и спросила:

— Что..?

И блондинка, все такая же пугающе спокойная, сказала:

— Кроме того, подобное известие могло бы убить мою мать.

А потом Джесси поняла, что она взорвется, если не уйдет отсюда. Поэтому она встала, так быстро отодвигая стул, что чуть не перевернула этот уродливый, громоздкий предмет. Она вылетела из комнаты, не обращая внимания на то, что все они с удивлением смотрят ей вслед. Но Джесси было неважно, что они думают о ней. Единственное, что имело значение — так это то, что солнце погасло, сломано солнце, и если она расскажет свою историю, то та будет неправдоподобной, если только у Бога будет хорошее настроение. А если Господь будет не в духе, то Джесси *проверят...* и если это и не убьет ее *мать*, то семью разорвет на части, как динамический заряд разрывает переспевшую тыкву.

Поэтому она выбежала из комнаты, направилась к кухне и выскользнула бы через кухонную дверь, если бы та была открыта. Руфь кинулась следом за ней, крича: «Остановись, Джесси, остановись!»

И Джесси остановилась, но только потому, что дверь была закрыта. Она прижалась лицом к холодному темному стеклу, желая только одного — в это мгновение она хотела только этого — разбить стекло головой и перерезать себе горло, сделать хоть что-то, что могло бы закрыть ужасную картину будущего вокруг нее, но она просто повернулась и сползла на пол, поджав голые ноги под подол короткой юбки, которая была на ней, закрыв глаза и уткнувшись лбом в колени. Руфь села рядом, обняла ее, глядя по волосам и уговаривая забыть обо всем.

Теперь, лежа в домике на берегу озера Кашвакамак, она размышляла о том, что случилось с пугающе спокойной блондинкой, рассказывающей о своем брате Бэрри и его друзьях — молодых людях, считающих, что женщина — это только система жизнеобеспечения вагины и что клеймение — это самое подходящее наказание для молодой женщины, согласившейся трахаться со своим братом, но отказавшей в этом праве его дружкам. Джесси вспомнила, о чем она рассказывала тогда Руфи, когда они сидели, обнявшись, у закрытой двери черного хода. Единственное, что она помнила наверняка, было бормотание: «Он никогда не прижигал меня, не прижигал. Он вообще не сделал мне больно». Но она наверняка говорила что-то еще, потому что вопросы, в которых Руфь не захотела себе отказывать, тем или иным образом возвращались к Черному озеру и дню, когда для Джесси погасло солнце.

Она предпочла покинуть Руфь, чтобы не отвечать... точно так же она покинула Нору. Она убежала так быстро, как только могла, — Джесси Махо Белингейм, известная также как благовоспитанная девочка, последнее чудо века сомнений, выжившая в тот день, когда погасло солнце, а теперь прикованная наручниками и не имеющая возможности убежать.

— Помоги мне, — сказала она пустой комнате.

Теперь, вспомнив блондинку с пугающе спокойным лицом и голосом и шрамами от сигарет под великолепными грудями, Джесси уже не могла забыть о ней, осознавая теперь, что это было не спокойствие, отнюдь нет, а какое-то грандиозное и бесповоротное рассоединение после того ужаса, случившегося с ней. Непонятным образом лицо блондинки стало ее лицом, а когда Джесси заговорила, то это был дрожащий, смиренный голос атеиста, отвергающего все, кроме последней молитвы:

— Пожалуйста, помоги мне.

Но не Бог ответил ей, а та часть ее, которая могла говорить, только разыгрывая из себя Руфь Ниери. Теперь голос звучал мягко... но не очень обнадеживающе: «*Я попытаюсь, но ты должна помочь мне. Я знаю, что ты не боишься боли, но мысли тоже могут быть болезненными. Ты готова к этому?*»

— Я не говорю о мыслях, — содрогаясь, произнесла Джесси и подумала: «*Именно так говорила бы Образцовая Женушка Белингейм вслух*». — Я говорю о... об освобождении.

«*Тебе необходимо встретиться с ней лицом к лицу*, — заметила Руфь. — *Она — значительная часть тебя, Джесси, нас, и не такой уж плохой человек, но ей так долго приходилось прятаться, что в ситуациях, подобных этой, ее взаимоотношения с миром не очень хороши. Ты что, хочешь поспорить на этот счет?*»

Джесси вообще не хотела спорить. Она так устала. Свет, падающий сквозь окно, по мере приближения заката становился все жарче и краснее. Дул ветер, расшвыривая листья на террасе, которая теперь была абсолютно пуста — вся плетеная мебель теперь была внесена в гостиную. Шумели сосны, хлопала кухонная дверь, собака замерла, а потом снова начала разрывать, разгрызать, жевать.

— Я хочу пить, — со стоном произнесла Джесси.

«Хорошо, тогда мы начнем именно с этого».

Она медленно поворачивала голову, пока не почувствовала солнечное тепло на левой половине шеи и влажные волосы не прилипли к ее щеке, тогда она снова открыла глаза. Оказалось, что она смотрит прямо на стакан с водой, и ее горло непроизвольно издало требовательный хрипящий звук.

«*Давай начнем эту фазу наших боевых действий с того, что забудем о собаке*, — сказала Руфь. — *Собака делает только то, что должна делать, и тебе следует поступать так же*».

— Я не знаю, смогу ли я забыть об этом, — ответила Джесси.

«*Я думаю, что сможешь, малышка, я уверена в этом. Уж если ты скрыла то, что случилось в тот день, когда погасло солнце, то я уверена, что ты сможешь скрыть все, что угодно*».

Джесси подумала, взвесив все «за» и «против», и поняла, что она сможет сделать это, стоит только захотеть. Тайна того дня никогда не была полностью погребена в глубинах ее подсознания, как это бывает в мыльных операх или мелодрамах, хотя могила, вырытая для тайны, была достаточно глубокой. Это была какая-то избирательная анестезия, но абсолютно добровольного характера. Если бы Джесси захотела вспомнить о событиях того дня, когда погасло солнце, то она, возможно, смогла бы сделать это.

Как по заказу, перед ее внутренним взором внезапно предсталас картина потрясающей ясности: кусочек оконного стекла, зажатый щипцами. Рука в перчатке поворачивала его в дымае маленького костерка.

Джесси поджала ноги к подбородку и отогнала это видение прочь.

«Давай договоримся сразу, — подумала она. Джесси предполагала, что разговаривает с голосом Руфи, но не была в этом абсолютно уверена; она больше ни в чем не была уверена. — Я не хочу вспоминать, понятно? События того дня не имеют ничего общего с днем сегодняшним. Это абсолютно разные вещи, как день и ночь. Конечно, ассоциации понятны — два озера, два летних домика, два слuchая (тайное молчание бывает довольно больно) сексуальных проказ, — но воспоминания о том, что случилось в 1963 году, не смогут помочь мне, а лишь сделают меня более несчастной. Так что давай отбросим эту тему, хорошо? Давай забудем о Черном озере».

— Что ты сказала, Руфь? — хрюпнула Джесси, отыскивая на стене взглядом батик с изображением бабочки. Но она увидела там другой образ — маленькой девочки, какого-то милого сорванца, сладко пахнущего одеколоном после бритвии и вглядывающегося в небо сквозь закопченное стекло, — а потом, сомкнувшись над ней, видение отступило.

Джесси еще какое-то время смотрела на бабочку, желая убедиться, что эти старые воспоминания не возвратятся больше, а потом снова посмотрела на стакан с водой. Невероятно, но в нем все еще плавали тоненькие пластинки льда, хотя в сгущающейся темноте комната еще сохраняла тепло послеполуденного солнца.

Джесси скользнула взглядом по стакану, запечатлевая в памяти выступившие по краю прохладные пузырьки воздуха. Она не могла увидеть поднос — его заслоняла полка, — да ей и не нужно было этого, чтобы представить темный расплывающийся круг от влаги, выступившей на стакане.

Джесси высунула язык и облизнула верхнюю губу, но та была пересохшей.

«Я хочу пить, — зазвучал угрожающе требовательный голос ребенка — чьего-то милого сорванца. — Я хочу и хочу прямо... СЕЙЧАС!».

Но она не могла дотянуться до стакана. Он был так притягательно близко и так недостижимо далеко.

Руфь: «Не сдавайся так легко — если ты смогла попасть пепельницей в собаку, малышка, может быть, ты сможешь дотянуться до стакана. Возможно, у тебя это получится».

Джесси снова подняла правую руку, насколько позволяло ей садящее плечо, но все же не дотягиваясь до него всего дюйма' на два. Джесси застонала, скривившись от боли в горле.

— Вот видишь? — спросила она. — Теперь ты довольна?

Вместо Руфи ответила Хозяюшка. Она заговорила мягко, почти извиняющимся тоном внутри Джесси. «Она сказала, что нужно добраться до него, а не достать его. Это... это не может быть одно и то же».

Хозяюшка рассмеялась, и Джесси снова подумала о том, как удивительно странно чувствовать, что часть тебя смеется как будто это была действительно какая-то абсолютно отдельная часть. «Если бы у меня было еще несколько голосов, — подумала Джесси, — то у нас получился бы чертовски интересный словесный турнир».

Она еще раз взглянула на стакан, потом снова опустила голову на подушки, так что теперь она могла изучать полку снизу. Полка не была прибита к стене, она видела это; она крепилась на четырех стальных кронштейнах, которые напоминали прикрепленную к стене букву «L». Но полка не была прикручена к ним — Джесси была уверена в этом. Она вспомнила, что однажды, когда Джеральд разговаривал по телефону и бездумно оперся о полку, то ее край начал подниматься, качаясь из стороны в сторону, и если бы Джеральд немедленно не убрал руку, то полка перевернулась бы.

На какое-то мгновение мысль о телефоне отвлекла ее, но только на мгновение. Телефон стоял на низеньком столике перед окном, выходящим на восток, с видом на подъездную дорожку и «мерседес», но с таким же успехом он мог бы находиться и на другой планете. Ее взгляд вернулся к полке, изучая сначала планку, а потом уже и сами L-образные скобы.

Когда Джеральд надавил на свою сторону, то ее сторона поднялась. Если Джесси с достаточной силой нажмет на свою сторону, то поднимет его, и стакан с водой...

— Он может соскользнуть вниз, — задумчиво произнесла Джесси охрипшим голосом. — Он может скатиться на мою сторону. Конечно, с таким же успехом он может соскользнуть в сторону, разбиваясь об пол на мелкие веселенькие кусочки, стакан может столкнуться с каким-нибудь невидимым препятствием, перевернувшись прежде, чем попадет ко мне, но попробовать все-таки стоит, разве не так?

«Конечно же, — подумала Джесси, — Мне кажется, что я собиралась слетать в Нью-Йорк — пообедать в шикарном ресторане и проптанцевать всю ночь в фешенебельном танцзале, но после смерти Джеральда, по-моему, планы несколько поменялись. И, не имея возможности добраться до хороших книг — как, впрочем, и

до плохих, — я думаю, что стоит попытаться утешить себя хоть чем-нибудь.

Хорошо, но как она предполагает сделать это?

— Очень осторожно, — ответила Джесси. — Вот как.

При помощи наручников Джесси снова подтянулась вверх и снова принялась изучать стакан. То, что она не может видеть поверхность полки, несколько охладило ее пыл. Она прекрасно знала все вещи, которые находятся на ее половине, но Джесси не была уверена в том, что находится на половине мужа и на «ничейной» территории. Да это и не было удивительно: какой же нормальный человек мог бы отчетливо помнить, что именно находится на полке над кроватью? Кто бы мог предположить, что такие вещи приобретут жизненно важное значение?

«Ладно, но теперь это очень важно. Я живу в мире, в котором изменились всякие представления о реальности».

В этом мире одичавшая собака может стать страшнее Фредди Крюгера; телефон находится в «Сумеречной Зоне»; единственным спасением становится стакан воды с плавающими на поверхности тоненькими пластинками тающего льда — этой вожделенной цели для воспетых в множестве баллад поседевших в пустынях иностранных легионеров. При новом мировом порядке полка над кроватью стала фарватером, таким же значительным, как и Панамский канал, и старенький покет с вестерном или мистическим романом, лежащий в ненужном месте, может стать причиной летального исхода.

«Тебе не кажется, что ты несколько преувеличиваешь?» — задала себе вопрос Джесси, но, по правде говоря, это было не так. При наилучшем стечении обстоятельств это будет довольно легкая процедура, но если на пути стакана возникнет препятствие, тогда о ней лучше забыть. Тоненькая книжка детективов об отважном Пуаро — или еще какой-нибудь роман, прочитанный Джеральдом, а потом позабытый, как использованная салфетка, — была скрыта на полке, но этого будет достаточно, чтобы остановить или даже перевернуть стакан. Нет, она не преувеличивала. Перспектива этого нового мира *действительно* изменилась достаточно сильно, чтобы заставить ее вспомнить о герое одного фантастического фильма, который начал сжиматься, пока не стал таким маленьким, что ему пришлось жить в кукольном домике своей дочки и бояться домашнего кота. Ей приходится спешно разучивать новые правила... учить их и жить по ним.

«Не теряй мужества, Джесси», — прошептала Руфь.

— Не беспокойся, — ответила Джесси. — Я хочу попробовать. Я действительно собираюсь сделать это. Но иногда лучше выяснить, с

чем приходится бороться. Мне кажется, что иногда от этого слишком многое зависит. — Джесси отвела правую руку от себя так далеко, как только могла, а потом подняла ее. В такой позе она напоминала фигурку женщины на египетских пирамидах. Пальцы Джесси снова стали ощупывать то место на полке, по которому, как ей казалось, мог скользить стакан.

Она прикоснулась к куску грубой бумаги и зажала ее в руке, пытаясь разобраться, что это такое.

Сначала ей показалось, что это был листок из записной книжки, которая обычно лежала в ящичке на телефонном столике, но он был недостаточно тонким для этого. Джесси заметила журнал — «Тайм» или «Ньюсик», который Джеральд привез с собой, — лежащий перевернутым рядом с телефоном. Она вспомнила, как неуклюже Джеральд задел один из журналов, пока снимал носки и расстегивал рубашку. Кусок бумаги на полке мог оказаться одной из тех надоедливых карточек на подпиську, которыми так и кишают журналы, продаваемые в розницу. Джеральд частенько откладывал такие карточки в сторону, чтобы позже использовать их как закладку. Это могло быть и чем-то другим, но Джесси решила, что это все равно не расстроит ее планы. Карточка не была достаточно толстой, чтобы остановить стакан или перевернуть его. Больше там ничего не было, по крайней мере в тех местах, до которых она смогла дотянуться своими дрожащими от напряжения пальцами.

— Хорошо, — сказала Джесси. Сердце забилось сильнее. Какой-то садист-репортер пытался передать в ее мозг изображение стакана, падающего с полки, но Джесси быстро заблокировала это видение. — Полегче, полегче. Тише едешь — дальше будешь. Я надеюсь.

Оставив правую руку там, где она была, однако отстраняя ее от тела, что доставляло боль всему телу, Джесси подняла левую руку («Руку, метнувшую пепельницу», — с мрачной улыбкой подумала она) и скватали край полки над кронштейном, находящимся на ее стороне кровати.

«Вот так, — подумала она и начала усиливать давление вниз левой рукой. Ничего не произошло. — Возможно, я давила слишком близко от кронштейна, поэтому полка не свинулась. Вся проблема в этой проклятой цепи на наручниках. Я не могу достаточно далеко отвести руку».

Может быть, это и так, но это не меняет того факта, что она ничего не сможет поделать с полкой, если левая рука останется на прежнем месте. Джесси необходимо протянуть пальцы немножечко дальше — если сможет, конечно, — и надеяться, что этого будет достаточно. Как в «Занимательной физике» — просто, но смертельно.

Ирония заключалась в том, что она могла проделать это под полкой и толкнуть ее вверх. Однако здесь была одна маленькая проблема — это могло столкнуть стакан в другую сторону прямо на пол. Если поразмысльить, то ситуация принимала странный оборот; это напоминало сцену из кинокомедии, снятой в аду.

Неожиданно ветер утих, и звуки, доносившиеся из прихожей, стали особенно громкими.

— *Ну как, он тебе понравился, дермо собачье?* — крикнула Джесси. Боль сдавила ей горло, но она не могла остановиться. — Я надеюсь на это, потому что первое, что я сделаю, избавившись от этих проклятых наручников, — так это сверну твою проклятую голову.

«Пустые разговоры, — подумала она. — Очень пустые разговоры для женщины, которая даже не помнит, находится ли револьвер Джеральда — тот, который раньше принадлежал его отцу, — здесь или же на чердаке их дома в Портленде».

Однако наступила благодатная тишина, притаившаяся за дверями спальни. Как будто собака восприняла эту угрозу всерьез и теперь размышляла над ней.

Затем снова послышалось чавканье.

Правое запястье Джесси предостерегающе заныло, угрожая судорогой, предупреждая, что ей лучше прямо сейчас отказаться от своей затеи... если у нее, конечно, есть какая-то затея.

Джесси склонилась влево и протянула руку так далеко, насколько позволяла цепь. Потом Джесси снова начала давить на полку. Сначала ничего не получалось. Она надавила сильнее, прикрыв глаза и опустив ресницы. У нее было лицо ребенка, приготовившегося принять горькую пилюлю. И, прежде чем давление достигло максимальной силы, на которую она была способна при данных обстоятельствах, Джесси ощутила слабый сдвиг доски, настолько незначительное изменение гравитации, что она скорее интуитивно угадала его, чем действительно увидела.

«Тебе хотелось бы этого, Джесс, ты чувствуешь именно это. Воображение — и ничего большего».

Нет, это была вводимая информация всех ее чувств, окутанных стратосферой ужаса, но это не было только ее воображением.

Она оставила полку в покое и несколько мгновений просто лежала, медленно дыша и давая отдых мышцам. Она не хотела бы, чтобы их свела судорога в самый ответственный момент. Благодарю покорно, у нее и без этого достаточно проблем. Когда она почувствовала себя достаточно готовой, то обхватила столбик кровати и потеряла ладонь, пока пот на пальцах не высох и дерево на завизжало

от этих прикосновений. Затем она вытянула руку и снова ухватилась за полку. Пришло время действовать.

«Однако будь осторожна. Полка сдвинулась, несомненно, она сдвинется и дальше, у меня уйдут все силы на то, чтобы привести стакан в движение... если я все-таки сделаю это. А когда человек достигает пределов своих возможностей, самоконтроль ослабевает».

Это было правдой, но и это не было неразрешимой проблемой. Проблемой было то, что в пальцах, сжимавших полку, не было чувствительности. Она абсолютно ничего не ощущала.

Джесси вспомнила, как они дурачились со своей сестрой Мэдди на площадке для игр возле школы — одним летом они вернулись в город так рано, что ей казалось, что они провели весь август, качаясь на качелях вместе с Мэдди, — и то, как им удавалось сохранять равновесие на этих качелях, удивительно напоминало данную ситуацию. Тогда все зависело от Мэдди, которая весила немного больше. Длинные жаркие вечера тренировок под песенки-читалочки, и каждый из них находил точку приземления с почти научной точностью; полдюжины таких же раскачивающихся досок стояли в ряд, их искрящаяся на солнце поверхность казалась почти живой. Теперь она не ощущала той живости под пальцами. Сейчас она могли лишь попытаться все сделать наилучшим образом и лишь надеяться на благополучный финал.

«И что бы там ни говорила Библия по этому поводу, не позволяй своей правой руке забывать о том, что делает левая. Может быть, ты и выбрынула левой рукой пепельницу, но твоей правой руке все же лучше поймать стакан, Джесси. В твоем распоряжении всего несколько дюймов полки, чтобы сделать это. Если он соскользнет мимо, не важно, перевернется он или нет — он будет для тебя также недосыгаем, как и сейчас».

Джесси не была уверена, что она сможет забыть, что делает ее правая рука, — она болела достаточно сильно. Однако сможет ли она сделать то, что нужно, было еще одним трудным вопросом. Она постепенно увеличивала давление на левую половину полки. Жгучий пот застилал глаза, и Джесси моргнула. Где-то далеко снова захлопала входная дверь, но она присоединилась к телефону из другой Вселенной. Здесь были только стакан, полка и она, Джесси. Часть ее ожидала, что полка поднимется сразу же — как выпрыгивает чертик из табакерки, сбрасывая с себя все, и она попытается обезопасить себя от возможного разочарования.

«Не расстраивайся раньше времени, малышка. Я думаю, что-нибудь все-таки получится».

Что-нибудь. Джесси снова почувствовала мгновенный сдвиг — ощутила, как полка начала подниматься со стороны Джеральда. В этот раз Джесси еще увеличила давление, руки ее дрожали от напряжения. Ее горло издало какие-то хрипящие звуки. Крепла уверенность, что полка сдвинется с места.

Внезапно по гладкой поверхности воды в стакане пошли круги, и Джесси услышала, как тоненькие пластинки льда в нем тихонько зазвенели; когда правый край полки еле заметно приподнялся. Однако сам стакан не сдвинулся, и ей в голову пришла ужасная мысль: «Что, если вода от запотевшего стакана просочилась под бумажный подносик, на котором стоит стакан? Что, если он приклеился к полке?»

— Нет-этого-не-могло-случиться. — Слова вырвались сплошным потоком, как заученная наизусть молитва из уст ребенка. Она еще сильнее потянула за левую сторону полки, прилагая все свои усилия. Были запряжены все лошади, в конюшне ни одной не осталось.

— Пожалуйста, не позволь этому произойти. *Пожалуйста*.

Половина полки Джеральда продолжала подниматься, ее конец раскачивался. Тюбик с румянами соскользнул с конца полочки, принадлежащей Джесси, и приземлился на пол рядом с тем местом, где находилась голова Джеральда до того, как пришла собака и оттащила его от кровати. Теперь новая возможность — скорее, вероятность — открылась перед Джесси. Если она слишком сильно увеличит угол наклона полки, то та просто соскользнет вниз с кронштейнов, сбрасывая стакан и все остальное, подобно саням, съезжающим с заснеженной горки. Думая о полке, как о качелях, она боялась навлечь на себя большие неприятности. Это *не* качели — у полки посередине не было никакого крепления.

— *Скользи, ублюдок!* — взвизнула Джесси. Она забыла о Джеральде, она забыла, что хочет пить, забыла обо всем на свете, кроме этого стакана, наклонившегося под таким углом, что вода чуть не переливалась через край, и она не могла понять, почему он до сих пор не упал. Однако стакан не падал, он продолжал стоять на месте, как приклеенный.

— *Скользи!*

Неожиданно он выполнил приказ. Это случилось настолько быстро, что она была почти не в состоянии понять, что же произошло. Позже ей покажется, что приключение со скользящим стаканом не требует восхищения ее способностями, в какой-то мере она была готова к провалу. Но затем все удалось, что повергло ее в шок и недоумение.

Короткое, благополучное путешествие стакана вниз по полке, прямо к ее правой руке, настолько поразило Джесси, что она чуть

не надавила сильнее левой рукой — движение, которое, конечно же, привело бы к нарушению баланса, и полка бы рухнула на пол. Затем ее пальцы коснулись стакана, и Джесси снова застонала. Это был бессловесный крик радости женщины, только что выигравшей миллион долларов в лотерее.

Полка покачалась, начала скользить вниз, потом остановилась, как будто бы раздумывая: действительно ли она хочет сделать это.

«У тебя мало времени, малышка, — предупредила Руфь. — Хватай стакан, пока ты еще можешь сделать это».

Джесси попыталась, но пальцы только скользили по влажной поверхности стекла. Казалось, что хватать нечего. Вода проливалась ей на руку, и теперь она чувствовала, что даже если полка и удержится, то стакан перевернется.

«Это воображение, малышка, всего лишь старое представление, что такая маленькая, грустная малышка, как ты, никогда ничего не может сделать правильно».

Это было недалеко от истины, но все же нестина, по крайней мере не в этот момент. Стакан был уже готов перевернуться, а у нее не было ни малейшего представления, как предотвратить неизбежное. Почему у нее такие уродливые, неуклюжие пальцы? Почему? Если бы только она могла ими чуть подальше обхватить свой стакан...

Кошмарный образ из какого-то старого телевизионного фильма предстал перед ее взором: улыбающаяся женщина с прической пятидесятых годов в голубых резиновых перчатках на руках. «Как легко могли бы они разрешить все проблемы, — продолжая улыбаться, взвизгивала женщина. — Очень плохо, что у тебя нет таких, Сорванец, или Образцовая Женушка, или, черт разберет, кто ты там есть! Возможно, ты смогла бы добраться до этого трахнутого стакана прежде, чем все на этой проклятой полке рухнет вниз!»

Неожиданно Джесси поняла, что улыбающаяся, взвизгивающая женщина в резиновых перчатках на руках была ее матерью, и из ее груди вырвалось глухое рыдание.

«Не сдавайся, Джесси, — возопила Руфь. — Не сейчас! Ты почти у цели! Клянусь тебе!»

Она собрала остатки сил и приложила их к левой стороне полки, молясь одновременно, чтобы та не соскользнула, — не сейчас: «Господи, или кто бы Ты ни был, пожалуйста, не позволяй ей соскользнуть, не теперь!»

Полка соскользнула... но не намного. Затем она снова опустилась, возможно, временно зацепившись за что-то. Стакан пододвинулся немного ближе к ее руке, и теперь казалось, что этот сумасшедший

стакан тоже говорит. Звук его голоса напоминал ворчание обозлившихся на весь мир водителей, вынужденных ездить по большим городам. *«Господи, мадам, что еще вы хотите от меня? Отрастить себе огромную ручку и повернуть ее к вам?»* Новая капелька воды стекла на напряженную правую руку Джесси. Теперь-то уж точно стакан упадет, теперь это было неотвратимо. Она уже предчувствовала, как ледяная вода стекает по ее шее.

— *Hem!*

Она продвинула правое плечо немного вперед, пошире расстопырила пальцы, позволяя стакану соскользнуть прямо в раскрытую ладонь. Наручник врезался в запястье, боль пронзила руку до локтя, но Джесси даже не обратила на это внимания. Мускулы левой руки напряглись до предела и звенели, как натянутые струны, их дрожание передавалось раскачиваемой полке. На пол свалилась еще одна коробочка с косметикой. В стакане звякнули еще оставшиеся там кусочки льда. На стене над полкой Джесси увидела тень от стакана. В удлиняющих все лучах заходящего солнца стакан был похож на водонапорную башню, раскачиваемую напористым ветром прерий.

Немного... еще немного...

Дальше некуда!

Лучше было бы... Должно быть...

Она изо всех сил напрягла руку и ощущила, как стакан немного сдвинулся вниз по полке. Затем она снова сомкнула пальцы, молясь, чтобы этого было достаточно, потому что теперь действительно дальше было некуда — она использовала все свои ресурсы до предела. Ничего не получалось; она чувствовала, как влажное стекло пытается отодвинуться. Теперь стакан был для нее живым существом с полосой чувствительности широкой, как дорожное шоссе. Его целью было заигрывать с ней, а потом устраниться, пока рассудок не оставит ее и она не будет лежать здесь в сумерках заката, скованная и плененная.

«Не позволяй ему уйти, Джесси, не смей. НЕ СМЕЙ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ЭТОТ ТРАХНУТЫЙ СТАКАН УСКОЛЬЗНУЛ ОТ ТЕБЯ...»

И хотя подтягиваться дальше было некуда, ей все же это чуть-чуть удалось, повернув правое запястье на последний миллиметр в сторону полки. И теперь, когда она обхватила пальцами стакан, он не сдвинулся с места.

«Кажется, я добралась до него. Не на все сто, но, возможно, почти. Может быть.»

Или, возможно, она действительно принимает желаемое за действительное. Неважно. Может быть, это, а может быть, и то. Ни одно из этих «может быть» больше ничего не значило, а это приносило

такое облегчение. Определенно было одно — она больше не может удерживать полку.

Она подумала: «*Все имеет перспективу... и голоса, описывающие тебе мир. Они имеют значение. Голоса внутри тебя.*»

Вознося бессвязную молитву, чтобы стакан остался у нее в руке, когда полка уже не будет поддерживать его, она убрала левую руку. Полка с грохотом опустилась на кронштейны, лишь немнога сдвинувшись влево. Стакан остался в ее руке, и теперь Джесси могла видеть поднос. Он прилип к донышку стакана, как летающая тарелка.

«*Господи, пожалуйста, не позволь мне уронить его теперь. Не позволь мне...*»

* * *

Судорога свела ее левую руку, заставляя Джесси содрогнуться всем телом. Ее лицо также начало искажаться, пока губы не превратились в белый шрам, а глаза — в агонизирующие щелки.

«*Господи, это пройдет... это пройдет...*»

Да, конечно. У нее достаточно часто сводило мышцы, чтобы понять это, но в данный момент, о Господи, боль была слишком сильной. Если бы она могла потрогать мускулы левой руки правой, то, она знала, ощущение было бы таким, будто под кожей груда маленьких гладких камешков; казалось, это смертельно.

«*Нет, Джесси, точно такая же судорога, какие бывали у тебя раньше. Пережди, вот и все. Выжди и, упаси Господи, не выпусти стакан с водой.*»

Она подождала. Казалось, что прошла вечность, пока мускулы не начали расслабляться, а боль — ослабевать. Джесси с облегчением вздохнула, а потом приготовилась испить свою награду. «*Да, испить, — подумала Хозяюшка, — но я думаю, что ты обязана себе немного большим, чем просто прекрасным, прохладным напитком, дорогая. Наслаждайся своей наградой... но наслаждайся ею с достоинством. Никакой свинской жадности!*»

«*Хозяюшка, ты никогда не меняешься*», — подумала Джесси, но когда подняла стакан, то сделала это с изяществом человека, присутствующего на обеде у короля, игнорируя сухость во рту и саднящую горло жажду, потому что нужно было заставить замолчать Хозяюшку — иногда она просто вынуждала делать это, — но вести себя с минимальным достоинством в нынешних обстоятельствах (особенно в данный момент) было не такой уж плохой мыслью. Она заработала эту воду, так почему же не оказать себе эту честь и не насладиться ею. Этот первый холодный глоток воды, проскальзыва-

ющий через губы и охлаждающий горячую корочку языка, по вкусу будет похож на победу... и после всех ее неудач у него будет вкус спасения.

Джесси поднесла стакан к губам, предвкушая настоящее наслаждение. Но вдруг скорчилась от отвращения, пальцы на ногах сжались, чувствуя, как на скулах бешено заходили желваки. Она ощутила, как обмякли ягодицы — так бывало не раз, когда она принимала перевернутую позу. *«Тайны женской сексуальности, которые тебе и не снились, Джеральд, — подумала Джесси. — Ты приковал меня наручниками к кровати, но ничего не получилось. Покажи мне стакан воды — и получишь неистовую нимфоманку».*

Эта мысль заставила ее улыбнуться, и когда стакан все еще находился на некотором расстоянии от ее рта, роняя капли на обнаженные бедра так, что мурашки пробегали по коже, улыбка все еще блуждала по ее лицу. В эти первые секунды она ничего не чувствовала, кроме отупляющего удивления и

(ха?)

непонимания. Что было не так? Что могло быть не так?

«Ты знаешь, что», — заметил один из НЛО-голосов. Он говорил со спокойной уверенностью, показавшейся Джесси крайне неприличной. Да, кажется, что она знала где-то в глубине души, но она не хотела позволять этому знанию выходить на освещенное место, каким было ее сознание. Некоторые истины излишне грубы, чтобы осознавать их. Слишком ложны.

К несчастью, некоторые истины бывают очевидными. Пока Джесси разглядывала стакан, в ее налитых кровью припухших глазах начало появляться пугающее понимание. Цепи станут причиной того, что она не получит свой напиток. Цепи наручников были чертовски коротки. Факт был настолько очевидным, что она абсолютно упустила его из виду.

Внезапно Джесси вспомнила ночь, когда Джордж Буш был избран Президентом. Они с Джеральдом были приглашены на прекрасную вечеринку, проводимую в ресторане одного из самых фешенебельных отелей города. Сенатор Вильям Кохен был почетным гостем, и ожидалось, что избранный Президент, Одинокий Джордж, собственной персоной сделает заявление для избранного круга ближе к полуночи. Для подобного случая Джеральд нанял лимузин цвета белой ночи, подъехавший к их дому в семь часов вечера. Оставалась еще уйма времени, но и спустя час Джесси сидела на кровати в своем лучшем вечернем черном платье, переворачивая вверх дном шкатулку для драгоценностей в поисках золотых сережек, которые хотела надеть по этому поводу. Джеральд безучастно заглянул в комнату,

чтобы узнать причину ее задержки, на его лице читалось выражение: «Ну почему все женщины такие глупые?», которое Джесси особенно ненавидела. Затем он сказал, что не уверен, но, по его мнению, она надела именно те сережки, которые ей к лицу. Так оно и было. Она почувствовала себя маленькой и тупой — прекрасное доказательство его повелительного выражения. Ей страстно захотелось подлететь к нему и выбить его великолепные зубы ударом сексуальных, но ужасно неудобных туфель на высоченной шпильке, которые как раз были на ней. То, что она чувствовала тогда, не шло ни в какое сравнение с ее настоящими ощущениями, и если бы сейчас кому-то понадобилось вырвать зуб, то она сделала бы это для него с превеликим удовольствием.

Она вытянула голову вперед насколько могла, выпятив губы, как героиня какого-то смешного черно-белого фильма. Она придинулась к стакану так близко, что видела застывшие пузырьки воздуха в тающих льдинках настолько близко, что вдыхала аромат родниковой воды (или представляла, что делает это), но она не была достаточно близко, чтобы попить. Когда она достигла того положения, после которого уже не могла двигаться дальше, ее вытянутые, как в поцелуе, губы находились в добрых четырех дюймах от стакана. Этого было почти достаточно, но «почти», как Джеральд (так же, как и ее отец) любил говорить, считается только в лошадиных подковах.

— Я не верю этому, — Джесси услышала себя, произносившую слова новым, охрипшим, как от виски и сигарет, голосом. — Я этому просто не верю!

Внутри у нее проснулась злость и прикрикнула на Джесси голосом Руфи Ниери, чтобы она швырнула стакан через комнату; если она не может пить из него, если она не может удовлетворить свою жажду его содержимым, то она, по крайней мере, может удовлетворить свою совесть звуком разбивающегося об стену вдребезги стакана.

Она плотнее сжала стакан, и стальная цепь ослабла, когда Джесси отводила руку назад, намереваясь сделать это. Нечестно! Это было просто нечестно!

Голос, остановивший ее, был мягким и неуверенным, несомненно принадлежавшим Добропорядочной Женушке Белингейм.

«Может быть, есть другой выход, Джесси. Не сдавайся пока — может быть, выход все-таки есть».

Руфь ничего не ответила, но она недоверчиво скривилась, гримаса была тяжелой, как железо, и горькой, как сок лимона. Руфь все еще хотела, чтобы она швырнула стакан. Нора Калиган несомненно сказала бы, что Руфь просто зациклилась на мщении.

«Не обращай на нее внимания, — сказала Хозяюшка. Ее голос потерял не свойственную этой даме неуверенность, теперь он звучал почти взволнованно. — Поставь его обратно на полку, Джесси».

«А что потом? — спросила Руфь. — Что потом, о Великий Белый Гуру, о Благословенный Повелитель?»

Хозяюшка ответила, и голос Руфи затих, пока Джесси и все остальные голоса внутри нее прислушивались к ответу.

10

Джесси осторожно поставила стакан на полку, убедившись, что он на безопасном расстоянии от края. Теперь ее язык напоминал наждачную бумагу, а горло, казалось, просто инфицировано жаждой. Точно то же Джесси чувствовала в свою десятую осень, когда она целых полтора месяца не могла ходить в школу из-за того, что заболела бронхитом и гриппом одновременно. Она отлично помнила томительно длинные ночи во время своей изоляции, когда она просыпалась после пугающие сумбурныхочных кошмаров, содержание которых не могла вспомнить

(*кроме того, что тебе снилось закопченное стекло, погасшее солнце, слабый и пугающий запах, напоминающий запах родниковой воды, тебе снились его руки*).

Тогда она просыпалась вся в поту, но была слишком слаба, чтобы дотянуться до стакана с водой на ночном столике. Она вспомнила, как лежала тогда, потная и липкая, горя в лихорадке; тогда она думала, что действительно болеет, но не бронхитом или гриппом. Сейчас, спустя столько лет, Джесси чувствовала себя точно так же.

Ее мысли все время возвращались к тому ужасному моменту, когда она поняла, что не сможет преодолеть последнюю лучинку расстояния, отделявшего ее от стакана. Она продолжала видеть маленькие пузырьки, застывшие в кусочках тающего льда, ощущала слабый запах минеральных солей, исходящий от воды. Эти образы как бы насмехались над ней.

Однако Джесси заставила себя подождать. Часть ее, бывшая Отличной Женушкой Белингейм, сказала, что ей необходима передышка, несмотря на изdevающиеся над ней образы и агонизирующее горло. Ей необходимо подождать, пока сердце не успокоится, мышцы не перестанут дрожать, а эмоции немного улягутся.

На дворе угасали последние краски; мир становился одиноко унылым и меланхолично грустным. На озере гагара послала пронзительный крик в вечерний сумеречный воздух.

— Заткнись, мистер Гагара, — сказала Джесси и хихикнула. Этот звук прозвучал, как скрип давно не смазывавшихся шарниров.

«Хорошо, милая, — произнесла Женушка. — Мне кажется, что пора попробовать. Однако прежде лучше снова выти руки».

Джесси обеими руками обняла столбики кровати, потирая их вверх и вниз, пока дерево не заскрипело. Она вытянула вперед правую руку и помахала ею перед глазами. «Они смеялись, когда я сидела за пианино», — подумала она. Затем, очень осторожно, Джесси дотянулась до того места, где на полке стоял стакан. Она снова стала постукивать пальцами вдоль кромки полки. Наручник звякнул о стекло стакана, и Джесси застыла в ожидании, что тот перевернется. Когда этого не случилось, она продолжила свои осторожные поиски.

Она уже почти решила, что то, что она ищет на полке, соскользнуло вглубь — когда наконец-то притронулась к рекламной карточке — Джесси зажала ее между указательным и средним пальцами правой руки и, осторожно приподняв, потянула с полки вниз и с удивлением уставилась на нее.

Карточка была ярко-алой, слова текста располагались в перемешку с цветным конфетти и серпантином.

«*Ньюсук*» отмечал БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК.

Те же слова были написаны и на карточке, которая хотела, чтобы Джесси присоединилась к ним. Журналисты, работающие в «*Ньюсук*», будут держать ее в курсе событий, происходящих в мире, познакомят с тайной стороной жизни политических лидеров и предложат ей обширный обзор политических, культурных и спортивных новостей. Хотя там и не было сказано об этом напрямую, но карточка достаточно ясно намекала, что «*Ньюсук*» поможет Джесси объять весь Космос. Кроме того, эти сумасшедшие из отдела подписки «*Ньюсук*» делали настолько необычное предложение, что оно могло заставить вас ужасаться, а голову — взорваться: если она использует ИМЕННО ЭТУ КАРТОЧКУ, чтобы подписаться на «*Ньюсук*» на три года, то будет получать каждый номер НАПОЛОВИНУ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ! Разве проблема в деньгах? Вовсе нет! Она заплатит позже.

«Интересно, есть ли у них служба по доставке журналов прямо в постель, обслуживающая прикованных наручниками дамочек, — подумала Джесси. — Да еще чтобы Джордж Вилл, или Джейн Брайан Куинн, или один из стареющих придурков переворачивал мне страницы — видите ли, в наручниках делать это чертовски трудно и неудобно».

Однако под сарказмом скрывалось странное нервное изумление,казалось, что она просто не могла оторваться от алоей карточки, приглашающей присоединиться к ним, от пустых линий, куда ей следовало вписать свой адрес и имя. *«Всю жизнь я страдала от подобных карточек — особенно когда мне приходилось наклоняться и подбирать одну из этих проклятых вещей и думать, что тебя считают мусоросборщиком, даже не предполагая, что однажды мой здравый рассудок и даже моя жизнь будут зависеть от них».*

Ее жизнь? Неужели такое возможно? Неужели она действительно принимает такую ужасную мысль в расчет? Неохотно, но Джесси все же верила в возможность такого исхода. Она могла пробыть здесь очень долго, прежде чем кто-нибудь обнаружит ее, и, конечно же, она считала вполне допустимым и возможным, что состояние жизни или смерти будет зависеть от одного единственного глотка воды. Эта мысль была сюрреалистичной, но она уже не казалась абсолютно смешной или странной.

«Все, как и раньше, милая: тише едешь — дальше будешь».

Да... но кто же поверит, что конечный пункт находится в такой глупши.

Она действовала медленно и осторожно, с облегчением поняв, что манипулировать такой карточкой одной рукой не так уж и трудно. Частично из-за того, что та была шесть дюймов на четыре — как две игральные карты, приложенные одна к другой, но в основном потому, что Джесси не пыталась производить с ней никаких особенно трудных фокусов.

Джесси зажала карточку между указательным и средним пальцами и стала скатывать ее в трубочку. Сгибы были неровными, но никто ведь не придет проверять ее работу.

Зажав алую карточку поплотнее между двумя пальцами, Джесси завернула еще полдюйма. На это у нее ушло почти три минуты. Когда она проделала свою работу до конца, то получилось нечто, напоминающее бомбометатель, неуклюже завернутый в веселенькую алую обертку.

Конечно, если немного напрячь воображение.

Джесси засунула это в рот, пытаясь плотно обхватить зубами скрученную карточку. Когда она достаточно плотно зажала ее, то снова возобновила поиски стакана.

«Будь осторожна, Джесси. Не испортить все ненужной поспешностью».

«Спасибо за совет. А также за идею. Это было великолепно — я действительно так считаю. Теперь, однако, мне бы хотелось, чтобы ты заткнулась, пока я сделаю свое дело. Согласна?»

Когда ее пальцы прикоснулись к гладкой поверхности стакана, Джесси обвила его с такой нежностью и осторожностью, с какой юный любовник обнимает свою возлюбленную в первый раз.

Захватить стакан в его новом положении было простым делом. Джесси сняла его с полки и подняла на максимальную высоту, которую позволяла длина цепочки. Последние кусочки льда совсем растаяли; все идет своим чередом, несмотря на то, что ее чувства замерли и время для нее остановилось, когда собака появилась впервые. Но она не думала о собаке. Действительно, она трудилась не покладая рук, уверяя себя, что здесь вообще никогда не было никакой собаки.

«Ты ведь прекрасно умеешь убеждать себя, что ничего не произошло, ведь так, малышок-голышок?»

«Эй, Руфь, я пытаюсь держать себя в руках, так же как и стакан, разве ты не видишь этого? Если кое-какое заигрывание помогает мне в этом, то почему бы и не воспользоваться этим? Помолчи немножко, хорошо? Отдохни, не мешай мне делать мое дело».

Однако у Руфи не было ни малейшего желания отдохнуть. «Заткнуться? — удивилась она. — Вы только послушайте, как она со мной разговаривает! Ты прекрасно умеешь затыкать рот, Джесси, — помнишь ту ночь в общежитии, когда мы вернулись после твоего первого и последнего посещения кружка женского самосознания?»

«Я не хочу помнить, Руфь».

«Ну, конечно, не хочешь, поэтому я напомню нам обеим, договорились? Ты все время твердила, что эта девушка со шрамами на груди выбила тебя из колеи, только она и ничего больше, а когда я попыталась напомнить тебе о сказанном тобой в кухне — о том, как ты и твой отец остались одни в том домике на Черном озере в 1963 году, когда погасло солнце, и как он сделал с тобой кое-что — тогда ты тоже приказала мне заткнуться. А когда я не сделала этого, то попыталась ударить меня. А когда я все-таки не замолчала, ты схватила пальто, выбежала и где-то провела всю ночь — возможно, в домишке Сюзи Тиммел около реки, который мы называли Отель Сюзи. А к концу недели ты нашла каких-то девушек, снимавших квартиру в центре и подыскивавших себе еще одну компаньонку. Все произошло так быстро... но ты всегда делала все быстро, когда принимала какое-то решение, Джесс. И, как я уже сказала, ты прекрасно умела затыкать рты».

— Зат...

«Вот! А что я тебе говорила?»

— Оставь меня в покое!

«О, это мне тоже отлично знакомо. Знаешь, что для меня было самым обидным, Джесси? Исчезло доверие — я знала это уже тогда, и в том, что ты ушла, не было ничего личного, просто ты не могла доверять кому-либо, кто знал о том, что случилось в тот день, даже себе самой. Обидно было то, что я знала, насколько близко ты подошла тогда, в кухне, к тому, чтобы выплеснуть из себя все. Мы сидели, обнявшись и прислонившись спинами к двери, и ты начала говорить. Ты сказала: «Я не могла рассказать об этом, это убило бы мою маму, а если бы и нет, то она ушла бы от него, а я любила его. Мы все любили его, мы все нуждались в нем, они могли обвинить меня, а он, в общем-то, и не сделал ничего по-настоящему». Я спросила тебя, кто не сделал ничего, ответ вырвался из тебя настолько быстро, как будто все последние девять лет ты только и ждала этого вопроса. «Мой отец, — сказала ты. — Мы были на Черном озере в тот день, когда погасло солнце». Ты рассказала бы мне все — я знаю это, — но именно тогда вышла эта чертова сучка и спросила: «С ней все в порядке?» Как будто ты выглядела ненормальной. Господи, как невероятно тупы бывают люди. Они считают, что для того, чтобы говорить, необходимо иметь письменное разрешение с печатью. А пока ты не пройдешь свой Разговорный Тест, то должен оставаться немым. Но на самом-то деле все это не так. При ее появлении ты закрылась, как створки раковины. И я ничего не могла поделать, чтобы раскрыть тебя снова, хотя одному Богу известно, как я старалась».

— Лучше бы ты оставила меня в покое! — вставила Джесси. В руке задрожал стакан с водой, а самодельная пурпурно-алая соломинка задрожала во рту. — Тебе не нужно было вмешиваться не в свое дело! Тебя это не касалось!

«Иногда друзья не могут не вмешиваться, Джесси», — прозвучал внутренний голос, в нем было столько доброты, что Джесси промолчала.

«Я проверила все. Я поняла, тебе просто необходимо выговориться. Я абсолютно ничего не помнила о солнечном затмении, которое произошло в начале шестидесятых, ну, конечно, в то время я была во Флориде и меня намного больше занимали подводное плавание и спасатель на водах по имени Делрей — с ним я потерпела самое тяжелое кораблекрушение — и почти не интересовалась астрономическими феноменами. Я хотела убедиться, что вся эта история не является просто плодом больного воображения — возможно, навеянным рассказом той девушки с ужасными шрамами. Но это была не выдумка. Действительно, в штате Мэн было полное солнечное затмение, и ваш летний домик у Черного озера находился в

положе этого затмения. Июль 1963 года. Просто девочка и ее папочка, наблюдающие затмение. Ты не сказала мне, что плохого сделал тебе отец, но я знаю две вещи, Джесси: он был юным отцом, что плохо уже само по себе, а тебе было почти одиннадцать, когда детство переходит в юность... что было еще хуже».

— Руфь, прекрати, пожалуйста. Ты не могла выбрать более неподходящее время, чтобы ворошить прошлое...

Но Руфь не могла остановиться. Руфь, с которой она когда-то жила в одной комнате, всегда пыталась договорить до конца — последнее слово должно было оставаться за ней, — и Руфь, которая поселилась теперь в ней, казалось, ничуть не изменилась.

«Еще я знаю, что вы жили по соседству с тремя маленькими девчушками — принцессами, одетыми в комбинезончики и блузки и, несомненно, владеющими набором трусиков, на которых были вышиты дни недели. Я думаю, что именно тогда ты приняла решение начать тренироваться, чтобы вступить в Олимпийскую команду по Вытиранию Пыли и Натиранию Полов. Тебе не посчастливилось в ту ночь на женском собрании, тебе не повезло со слезами, болью и злостью, тебе не повезло со мной. О, мы продолжали иногда встречаться — выпивали по чашке кофе или вместе ели пиццу, — но наша дружба разбилась, не так ли? Когда пришло время выбирать между мной и событиями 1963 года, ты выбрала затмение».

Стакан с водой задрожал сильнее.

— Почему сейчас, Руфь? — спросила Джесси, не вполне уверенная, что слова эти звучали в пространстве темнеющей комнаты. — Почему сейчас, позволь мне узнать, — учитывая тот факт, что в данной инкарнации ты — часть меня, почему именно сейчас? Именно теперь, когда я изо всех сил стремлюсь держать себя в руках?

Наиболее очевидный ответ на этот вопрос был и наиболее непривлекательным: потому, что враг был внутри, грустная, отвратительная сучка, которой Джесси нравилась именно такой — прикованной наручниками, страдающей от боли, жажды, голодной и несчастной, — враг это почитал за счастье. Враг не хотел видеть, что обстоятельства несколько смягчились. Враг прибегнул бы к любой подлости, лишь бы этого не случилось.

«Полное солнечное затмение продолжилось целую минуту в тот день, Джесси... но только не для тебя. Для тебя оно все так же продолжается, ведь так?»

Джесси закрыла глаза и сконцентрировала все свои мысли на том чтобы удержать стакан в руке. Теперь она мысленно разговаривала

с голосом Руфи, без малейшего смущения, как будто бы действительно вела диалог с другим человеком, а не с частью собственного разума, неожиданно решившего немного поработать на самого себя, как сказала бы Нора Калиган.

«*Оставь меня в покое, Руфь. Если ты так уж хочешь, то давай обсудим все это после того, как я сделаю глоток воды, хорошо? Но сейчас, не могла бы ты просто...*»

— ...заткнуться, — продолжила она тихим шепотом.

«*Да, — сразу же ответила Руфь. — Я знаю, что-то или кто-то внутри тебя пытается помешать тебе, и я знаю, что иногда он пользуется моим голосом — он великий чревовещатель, в этом нет никаких сомнений, — но это не я. Я все-таки любила тебя тогда, и я люблю тебя сейчас. Именно поэтому я пыталась хоть как-то поддерживать с тобой отношения... потому что я любила тебя и потому что нас тянуло друг к другу.*

Джесси слегка улыбнулась, или попыталась сделать это, все так же сжимая ртом самодельную соломинку.

«*А теперь поптайся, Джесси, изо всех сил.*

Джесси немного подождала, но ничего не последовало. Руфь ушла, по крайней мере на какое-то время. Джесси снова открыла глаза, затем медленно вытянула голову вперед. Карточка торчала из ее рта, как сигаретный мундштук.

«*Господи, пожалуйста, я умоляю Тебя... пусть это сработает.*

Самодельная соломинка скользнула в воду. Джесси закрыла глаза и сделала сосательное движение. Вначале ничего не изменилось, разочарование и отчаяние стали охватывать ее. А потом вода заполнила ее рот — холодная, сладкая, она была внутри, приводя ее в состояние экстаза. Она зарыдала бы от радости, если бы ее рот не зажимал свернутую карточку, а так она только издала пару свистящих звуков, вырвавшихся через нос.

Она сделала глоток, чувствуя, как вода обволакивает горло шелковистым сатином, потом снова начала сосать. Она делала это так же жадно и бездумно, как голодный теленок проделывает то же самое с выменем своей матери. Ее соломинка была далеко не идеальной, ручеек не был постоянным, и большинство того, что она всасывала в полость трубы, снова выливалось. Она понимала это, слышала, как капельками дождя вода падала на покрывало, но ее благодарный ум с пылкостью первогооткрывателя считал, что ее соломинка является величайшим изобретением когда-либо придуманным женским умом и что момент, когда она пила из стакана своего мертвого мужа; был апогеем всей ее жизни.

«*Не пей всю воду, Джесси, оставь немного на потом.*

Она не знала, кто из ее фантомных компаний заговорил теперь, да это было и неважно. Это был мудрый совет, но это было все равно, что говорить восемнадцатилетнему парню, сходящему с ума от шестимесячных усиленных мастурбаций, что не так уж и важно, захочет ли девушка в конце концов — если он не потрет, то ему придется ждать. Иногда Джесси понимала, что невозможно внимать голосу разума, не важно, насколько он прав. Иногда плоть восстает и разбивает все разумные советы. Она поняла кое-что еще: удовлетворение простых физиологических потребностей доставляет непередаваемое чувство легкости и свободы.

Джесси продолжала всасывать воду через свернутую трубочкой карточку, наклоняя стакан, чтобы дальний край ее импровизированной соломинки оставался в воде, осознавая, что она проливает воду и что это просто безумие не прекратить пить и не подождать, пока трубочка не высохнет снова, но Джесси не могла остановиться.

Осознание того, что она втягивает в себя только воздух и ничего более, остановило ее. В стакане Джеральда еще осталась вода, но кончик ее самодельной соломинки уже не мог касаться ее. Покрывало потемнело от влаги в том месте, на которое капала вода.

«Я могу выпить то, что осталось. Я могу. Я думаю, что смогу вытянуть шею еще немного дальше, чтобы сделать еще несколько глотков воды. Думаю, что смогу. Я знаю, что смогу».

Джесси знала это, попозже она попробует сделать это. Хотя жажда не была полностью удовлетворена, но все же она чувствовала себя намного лучше как физически, так и морально. Она острее мыслила, да и повеселела.

Она поняла, что рада тому, что в стакане оставалось хоть немного воды. Два глотка воды через размокшую соломинку, возможно, не сотрут разницу между положением прикованной к постели жертвы и нахождением выхода из этого положения — положения между жизнью и смертью, — но эти два глотка могут занять ее мысли, когда и если она снова впадет в уныние. В конце концов приближается ночь, рядом лежит мертвый муж, и, похоже, ей придется ночевать здесь.

Не очень-то привлекательная перспектива, особенно если добавить голодную бродячую собаку, которая также находится где-то рядом, но Джесси почувствовала, что она все равно засыпает. Она попыталась обдумать причины, по которым ей нужно было бы бороться с подступающей дремотой, но не нашла ни одной достаточно убедительной. Даже то, что, когда она проснется, ее руки онемеют до локтей, не показалось ей достаточно важным. Она сможет просто поворачивать ими, пока кровообращение снова не восстановится. Ко-

нечно, это будет не очень приятно, но Джесси не сомневалась в своей способности сделать это.

«К тому же во сне к тебе может прийти какая-нибудь умная мысль, дорогая, — заметила Женушка Белингейм. — В романах именно так и происходит».

— Может быть, ты сможешь что-нибудь придумать, — ответила Джесси. — До сих пор у тебя это неплохо получалось.

Джесси улеглась поудобнее, отодвинув подушку плечами подальше. Плечи болели, руки (особенно левая) мучительно ныли, а мышцы живота дрожали от напряжения, ведь они поддерживали ее в сидячем положении достаточно долго, пока она пила воду через соломинку, но она все равно чувствовала странное удовлетворение. Джесси находилась в мире и согласии с собой.

«Удовлетворение? Как ты можешь чувствовать удовлетворение? Твой муж мертв, и ты тоже сыграла в этом определенную роль, Джесси. Считаешь себя снабженной всем необходимым? Ты думала о том, как будет выглядеть эта ситуация в глазах констебля Тигардена? Как ты думаешь, сколько времени ему понадобится, чтобы позвонить в полицейский участок? Тридцать секунд? Может быть, сорок? Здесь, в деревне, они думают несколько медленнее — может быть, ему понадобится целых две минуты».

Ей нечего было возразить. Это была чистая правда.

«Так как же ты можешь чувствовать удовлетворение, Джесси? Как можно чувствовать удовлетворение в данной ситуации?»

Джесси не знала этого, но это было действительно так. Чувство успокоения, охватившее ее, было таким глубоким, как снежные сугробы, нанесенные мартовским ветром на северо-востоке, и таким же теплым, как пуховая перина. Джесси подозревала, что в основном это чувство вызвано чисто физическими причинами: если вы умирали от жажды, то полстакана воды вполне могли удовлетворить вас.

Но была сторона и чисто психологическая. Десять лет назад Джесси неохотно рассталась с должностью подменного учителя под давлением упорных (возможно, безжалостных — в данном случае это наиболее подходящее слово) логических доводов Джеральда. Он зарабатывал почти сто тысяч долларов в год. Рядом с этой суммой ее пять или семь тысяч казались просто мизерными. Они вызывали только раздражение. Когда приходило время платить налоги, налоговая инспекция забирала большую их часть, в потом рылась в их финансовых книгах в поисках остальной части ее заработка.

Когда она жаловалась на подозрительное поведение налоговых инспекторов, Джеральд смотрел на нее с любовью и раздражением. Это не было его обычное выражение: «Почему все женщины такие

глупые?» — это выражение не появлялось у него еще лет пять или семь назад, — но было очень близко к нему. «Они видят, сколько зарабатываю я, — говорил он Джесси, — видят две большие немецкие машины, стоящие в гараже, они смотрят на фотографии нашего загородного дома у озера, а потом они читают справку о твоей заработной плате и видят, что ты работаешь за деньги, которые кажутся им пустяком. Они не могут поверить этому — им это кажется жульничеством, прикрытием чего-то другого, — и поэтому они начинают рыскать вокруг, считая, что должен быть еще какой-то доход. Они не знают тебя так, как я. Вот и все».

Джесси была не в силах объяснить Джеральду, что значил для нее контракт на подменную работу, а может быть, он просто не хотел слушать. Но все равно, работа учителя, пусть даже и неполный рабочий день, наполняла ее жизнь значимостью, а Джеральд не понимал этого. Как и того, что работа создает мостик к той жизни, которой она жила до того, как встретила его на вечеринке Республиканской партии, когда она работала учителем английского языка в высшей школе и была женщиной, живущей только на свою зарплату, уважаемой и любимой своими коллегами и никому и ничем не обязанной. Она не могла объяснить (или просто он не хотел слушать), что идея оставить преподавание — даже на такой частичной основе — навевала на нее печальные мысли о собственной бесполезности.

Это чувство безысходности, вызванное, возможно, как тем, что она никак не могла забеременеть, так и ее решением вернуть контракт неподписанным, стерлось из памяти где-то через год, но оно никогда не исчезало из затаенной глубины ее сердца. Иногда она сама себе казалась каким-то пошлым клише — молоденькая учительница вышла замуж за преуспевающего юриста, чье имя было отчеканено на табличке над дверью уже в возрасте тридцати лет. Эта молодая (ну ладно, *относительно* молодая) женщина в конечном итоге вступила под своды того изумительного дворца, известного под названием «средний возраст», огляделась и неожиданно поняла, что она совсем одинока: ни работы, ни детей, а муж сосредоточился (следовало бы сказать — зациклился; это было бы абсолютно точно, хоть и жестоко) на карабканье по шаткой карьерной лестнице.

Эта женщина, неожиданно столкнувшаяся с тем, что за следующим поворотом ее ждет от силы лет сорок, относилась к той разновидности представительниц своего пола, которых ожидают неприятности с наркотиками, алкоголем или связь с другим мужчиной. Ничего подобного не случилось с *этой* молодой (ну ладно, когда-то бывшей молодой) женщиной, но Джесси все еще пугалась, сколько же у нее

было свободного времени — она занималась садом, гуляла, посещала различные кружки (живопись, гончарное дело, поэзия...), к тому же у нее мог быть роман с одним молодым человеком, преподавателем поэзии, если бы она этого захотела. И все же оставалось очень много времени, чтобы заняться лично собой; именно так она и познакомилась с Норой. Но ни одно из этих занятий не доставляло ей того чувства, как сейчас, будто усталость и боль были знаками доблести, а ее сонливое состояние — просто заслуженной наградой... еще одна версия закованной в наручники женщины.

«Эй, Джесс, способ, которым ты добралась до воды, был поистине великолепным».

Это был еще один НЛО-голос, но сейчас Джесси ничего не имела против него. К тому же Руфь пока молчала. Руфь была интересным, но очень изматывающим собеседником.

«Многие не смогли бы даже добраться до стакана, — продолжал ее НЛО-друг, — а пользование карточкой для подписки вместо соломинки... это был мастерский удар. Продолжай и дальше в том же духе и не грусти. Можно и вздремнуть».

«Но собака», — неуверенно произнесла Хозяюшка.

«Эта собака пока не собирается надоедать тебе... и ты знаешь почему».

Да. Причина того, что собака не собиралась надоедать ей, лежала рядом на полу их спальни. Джеральд теперь был только тенью среди теней, за что Джесси была ему только благодарна. Снаружи снова подул ветер. Его шум в верхушках сосен успокаивал, укачивал. Джесси закрыла глаза.

«Но запомни хорошенько свой сон! — с неожиданным беспокойством крикнула Хозяюшка, но голос ее доносился издалека и не был неотвязным. Однако она снова попробовала: — Запомни, Джесси, хорошенько свой сон! Я серьезно говорю тебе об этом».

Да, конечно, Образцовая Женушка всегда была серьезной, а это означало, что частенько она бывала надоедливой.

«Что бы мне ни снилось, — подумала Джесси, — это не будет сон, связанный с моей жаждой. В последние десять лет я не одерживала таких внушительных побед. В большинстве случаев одно мрачное партизанское приготовление за другим — но добиться ся глотка этой воды было чистой победой, разве не так?»

«Да, — согласился НЛО-голос. Это был неопределенный мужской голос, в полудреме Джесси подумала о том, что это, возможно, голос ее брата Вилла... Вилла, когда тот был совсем ребенком, в далеких шестидесятых. — Клянусь, так это и было. Это было великолепно».

А спустя пять минут Джесси крепко спала, подняв руки вверх. Вся ее фигура приобрела форму буквы «Y», запястья, поддерживающие наручниками, ослабли, голова склонилась к правому плечу (оно меньше болело), длинное тихое посапывание раздавалось в тишине. И в какой-то момент, намного позже того, как на землю опустилась ночь, а на востоке появился белый диск луны, — в проеме двери снова показалась собака.

Как и Джесси, теперь она была спокойнее, так как самая необходимая ей вещь — мясо — отяжеляла ее желудок. Собака долго смотрела на Джесси, насторожив уши и подняв вверх морду, пытаясь понять, действительно ли эта женщина спит или только притворяется. Она решила (на основании запаха пота, который теперь почти рассеялся, острого запаха адреналина), что женщина спит. В этот раз не последует пинков или криков — если она будет очень осторожной и не разбудит хозяйку.

Собака бесшумно подкралась к груде мяса, лежащей на полу. Хотя голод был теперь не таким сильным, но мясо пахло все-таки лучше. Это происходило потому, что первая трапеза сопровождалась древним, впитанным ею от рождения табу на этот сорт мяса, хотя собака не знала этого, да и не заботилась об этом.

Собака наклонила голову, сначала прислушиваясь, а потом приюхиваясь к ставшему таким привлекательным запаху мертвого юриста со всей деликатностью гурмана, потом осторожно сомкнула зубы на нижней губе Джеральда. Потянула, медленно усиливая давление, вонзаясь в плоть все глубже и глубже. Наконец, губа оторвалась, обнажая нижние зубы в смертельном оскале. Собака проглотила этот маленький кусочек деликатеса одним махом, потом облизала остатки. Пес снова стал вилять хвостом, это были медленные, удовлетворенные взмахи. Два крохотных пятнышка света плясали на потолке: лунное сияние отражалось от двух коронок на нижних зубах Джеральда. Эти коронки были поставлены всего неделю назад, они были маленькими и блестящими, как только что отчеканенная монета. Собака снова облизнулась, с любовью и необыкновенной нежностью глядя на Джеральда. Затем она вытянула шею вперед — почти так же, как Джесси, когда та пыталась попасть соломинкой в стакан. Собака обнюхала лицо Джеральда, но она не только *нюхала*; она позволила своему носу отдохнуть здесь от обязанностей обоняния, вдохнув сначала запах паркетной мастики, впитавшейся в левое ухо мертвого хозяина, затем смешанный запах пота и бриолина у линии волос, а потом острый, восхитительный запах запекшейся крови на макушке Джеральда. Особенно долго собака задержалась у носа хозяина, осторожно исследуя эти непод-

вижные каналы своим поцарапанным, грязным, но таким чувствительным носом. Опять она испытала наслаждение гурмана, ощущение, которое собака выделила бы среди многих сокровищ. В конце концов она глубоко вонзила клыки в левую щеку Джеральда, скжала челюсти и начала тянуть.

Веки Джесси затрепетали, она застонала — высокий взлетающий звук, полный ужаса и отвращения.

Собака сразу вскинула морду, инстинктивно прижимаясь к полу с чувством вины и страха. Но длилось это недолго; собака уже начала ощущать эту груду мяса как свою собственность, за которую она будет драться и, если потребуется, умрет — если ее попробуют отнять. Кроме того, этот звук принадлежал хозяйке, а теперь собака была вполне уверена, что хозяйка бессильна.

Пес снова опустил голову, ухватил Джеральда Белингейма за щеку и попятился назад, мотая головой из стороны в сторону. Длинная полоска щеки мертвого мужчины с треском оторвалась, как отрывается длинная полоска липкой изоленты. Теперь у Джеральда была свирепая, хищная улыбка, как улыбка человека, сорвавшего крупный куш в игре в покер.

Джесси снова застонала, потом последовало невнятное гортанное бормотание. Собака снова взглянула на Джесси. Она была уверена, что хозяйка не может встать с кровати и помешать ей, но эти звуки все равно настораживали. Древнее табу ослабло, но не исчезло совсем. К тому же чувство голода было уже удовлетворено; сейчас пес уже не ел, а просто лакомился. Бывший Принц развернулся и выскочил из комнаты. Кусок щеки Джеральда свисал из его пасти, как скальп младенца.

11

Сейчас 14 августа 1965 года — спустя примерно два года после того, как случилось это страшное событие. Это день рождения Вилла; он целый день ошивается поблизости и торжественно рассказывает всем, что целый год подавал мячи, играя в бейсбол. Джесси не в состоянии понять, почему Виллу это кажется таким важным и он носится с этой новостью, как дурак с писаной торбой, но она решает, что если Вилл хочет сравнить свою жизнь с игрой в бейсбол, то пусть так оно и будет.

Некоторое время все, что происходит в день рождения ее маленького брата, просто замечательно. Звучит песня Марвина Гайе, это неплохая песня, не опасная песня. «Я не буду сожалеть, — как бы угрожая, поет Марвин. — Я уйду навсегда... малышка». В общем-то

милая песенка, а правда в том, что день просто более чем великолепен, как говорила ее внувшая бабушка Катрин: «Лучше, чем пение скрипок». Даже ее папа считает так же, хотя сначала ему не очень понравилась идея отмечать день рождения Вилла в доме, где они жили круглый год. Джесси слышала, как он говорил маме: «Я признаю, что это же была отличная мысль», — и это тоже повлияло на ее отличное расположение духа, потому что именно она — Джесси Махо, дочь Тома и Сэлли, сестра Вилла и Мэдди, тогда еще ничья жена — подала эту мысль. Она была причиной тому, что они здесь, а не в глубине материка в «Солнечном закате».

«Солнечный закат» — это семейные владения на северной стороне Черного озера. В этом году они нарушили свое обычное девятивнадельное уединение там, потому что этого хотел Вилл — он говорил с отцом и матерью тоном благородного умирающего лорда, сознавшего, что дни его сочтены, — он хотел отметить свой день рождения не только с семьей, но и с друзьями.

Сначала Том Махо наложил на эту идею вето. Он был торговым посредником, делящим свое время между Портлендом и Бостоном, в течение долгих лет он убеждал свою семью не верить слухам, что парни, идущие на работу в белых рубашках и галстуках, проводят свои дни, слоняясь без дела или распивая весь день прохладительные напитки, или надиктовывая приглашения на вечеринки хорошенъким белокурым стенографисткам. «Ни один фермер, возделывающий картофельное поле, не работает усерднее, чем я, — часто говорил отец. — Поддерживать рынок сбыта — дело нелегкое, да и не слишком приятное и интересное, что бы там ни утверждали». В действительности же никто из них не слышал никаких *противоположных* мнений, все они (включая его жену, хотя Сэлли никогда не говорила об этом) считали его работу невыносимо скучной, и только Мэдди имела весьма смутное представление о том, чем он занимается.

Том утверждал, что он остро *нуждается* в этих уединенных днях, проведенных у озера, чтобы восстановить силы после стрессов, полученных на службе, и что у его сына будет *множество* дней рождения, отпразднованных с друзьями, но позже. Виллу ведь исполняется всего девять, а не девяносто. «Плюс, — добавил Том, — дни рождения, отмечаемые вместе с друзьями, не так уж веселы, пока ты недостаточно взрослый, чтобы выпить парочку бочонков вина».

Поэтому просьба Вилла отметить его день рождения в их городском доме, возможно, была бы отвергнута, если бы Джесси не оказала неожиданную, удивительную поддержку его плану (для Вилла это было особенно удивительно: Джесси старше его на три года, и в большинстве случаев он не вполне уверен, что Джесси помнит о

существовании брата). За высказанным первоначальным предложением о том, как здорово было бы вернуться домой — конечно, дня на два или три — и устроить вечеринку на воздухе с крокетом, бадминтоном и барбикю*, японскими фонариками, зажженными в сумерках. Том начал смягчаться. Он был мужчиной того сорта, которые думали о себе как о «волевом сучье сыне», но частенько воспринимались окружающими как «старый упрямый козел», с какой бы стороны вы ни смотрели на них, — они были слишком упрямые, чтобы изменить свое первоначальное решение.

Когда же удалось убедить его изменить свое решение, его младшая дочь радовалась сильнее, чем все они вместе взятые. Джесси часто находила способ добиться от отца желаемого, какую-то потайную лазейку, недоступную для остальных членов семьи. Сэлли верила, что их средний ребенок всегда был любимчиком Тома, и Том обманывал себя, думая, что об этом никто не догадывается. Мэдди и Вилл видели все намного проще: они считали, что Джесси подлизывается к отцу, а он, в свою очередь, балует ее. «Если бы папа застал Джесси курящей, — сказал Вилл своей старшей сестре год назад, после того как Мэдди застукали за подобным занятием, — возможно, он купил бы ей зажигалку». Мэдди рассмеялась, согласилась и крепко обняла братишку. Ни они, ни их мать не имели ни малейшего представления о тайне между Томом Махо и его младшей дочерью — тайне, подобной груде тухлого мяса.

Джесси и сама верит, что она просто поддерживает ребячью просьбу своего братишки — что она просто поддерживает его желание. Она даже не представляет себе, не задумывается над тем, насколько сильно ненавидит «Солнечный закат» и с каким бы удовольствием она уехала отсюда. Она возненавидела озеро, так страстно любимое ею прежде, — особенно слабый запах минералов, исходящий от воды. К 1965 году она возненавидела купание в нем, даже в самые жаркие дни. Она знала, что ее мать считает, что это из-за фигуры — у Джесси, как и у ее матери, очень рано начались менструации, и в двенадцать лет у нее уже была вполне женская фигура — но она не купалась не из-за своей фигуры. Она привыкла к этому и знала, что она далеко не красотка из «Плейбоя». Она не купалась не из-за большой груди, бедер или вагины. Причиной всему был запах.

Каковы бы ни были глубинные причины, просьба Вилла Махо в конечном итоге была одобрена главой семьи. Вчера они перебрались

* Барбикю — пикник, во время которого на вертеле жарится туша барашка.

на побережье, выехав достаточно рано, чтобы Сэлли (которой с удовольствием помогали обе дочери) успела сделать все приготовления. А теперь 14 августа — именно этот день является апофеозом лета в штате Мэн, — небо в этот день блекло-голубое, как выцветшее на солнце полотно, по нему плывут ленивые белые облака, и все это освежает легкий соленый бриз.

Глубь материка, включающая в себя Озерный край, где располагалось их поместье «Солнечный закат» на берегу Черного озера с тех пор, когда дедушка Тома Махо построил там домишко в 1923 году, леса и озера, пруды и болота изнемогали от зноя, а здесь, на побережье, было градусов на десять прохладнее. Морской бриз создавал еще одно преимущество, принося легкую свежесть и отгоняя москитов и мух. Лужайка заполнена детьми, в основном это друзья Вилла, но есть и подружки Мэдди и Джесси, и все они веселятся вместе. Не возникает ни единой ссоры, и около пяти часов, когда Том первый раз за день пригубливает мартини, он смотрит на Джесси, которая стоит поблизости с деревянным молоточком для игры в крокет, держа его на плече и напоминая часового с ружьем (и которая стоит достаточно близко, чтобы услышать случайный разговор между мужем и женой, но который может оказаться и косвенным комплиментом дочери), потом снова на жену. «Я согласен, что это все-таки хорошая мысль», — говорит он.

«Более чем хорошая, — думает Джесси. — Просто великолепная и совершенно грандиозная, если хочешь знать». Даже это не совсем то, что она подразумевает и думает на самом деле, но было бы опасно высказывать все вслух; зачем испытывать судьбу. Она думает, что день действительно безупречный — классный денечек. Даже песня, доносящаяся из портативного магнитофона Мэдди (который старшая сестра Джесси любезно вынесла во двор ради такого случая, хотя обычно это была Великая Реликвия, к которой никто не смел прикасаться), хороша. Джесси никогда особенно не нравился Марвин Гайе — не больше, чем ей нравился этот слабый запах испарений минералов от озера в жаркие летние дни — но эта песня хороша. «Я не буду сожалеть, если ты не красавица... малышка». Глупая песня, но не опасная.

Это 14 августа 1965 года, день, который до сих пор длится в голове спящей женщины, прикованной наручниками к кровати в домике на берегу озера в сорока милях на юг от Черного озера (но с таким же запахом минералов, этим ужасным, воскрешающим прошлое запахом в жаркие, все еще летние дни) и, хотя двенадцатилетняя девочка, которой она была, не замечает крадущегося к ней сзади Вилла, когда она склоняется, чтобы ударить по крокетному мячу, превращая свою

попку в мишень, слишком заманчивую для мальчика, который провел целый год, подавая бейсбольные мячи, чтобы проигнорировать ее, часть ее ума знает, что он здесь, и это именно та точка, после которой сон превращается в ночной кошмар.

Она выверяет удар, полностью сосредоточившись на воротах, находящихся в шести футах от нее. Трудный удар, но далеко не невозможный, и если она попадет мячом в ворота, она все-таки сможет догнать Каролину. Это будет здорово, потому что Каролина всегда выигрывает в крокет. Затем, как раз тогда, когда она отвела биту назад, мелодия, доносящаяся из магнитофона, сменилась новой.

«*О, слушайте все, —* пел Марвин Гайе, теперь уже не шутя угрожая Джесси, — *особенно вы, девочки...*»

Мурашки пробежали по загорелым рукам Джесси.

«*...разве это правильно оставаться одному, если твоя единственная любовь никогда не сидит дома?.. Я слишком сильно люблю, иногда говорят мои друзья...*»

Она так сильно сжимает рукоятку биты, что ее пальцы теряют чувствительность. Кисти рук начинают дрожать, как бы скованные невидимыми путами, а сердце неожиданно наполняет ужас. Это уже другая песня, неправильная песня, плохая песня.

«... но я верю... я верю... что именно так нужно любить женщину...»

Джесси смотрит на группу девочек, ожидающих, пока она сделает свой удар, и замечает, что Каролина исчезла. На ее месте стоит Нора Калиган. Ее волосы заплетены в косы, на кончике носа тоненькая полоса цинковых белил, на ней желтые брючки Каролины, а на шее медальон — из тех, в которые вставлена маленькая фотография Пола Маккартни, но это именно Норины зеленые глаза, и они смотрят на нее с недетским состраданием. Джесси неожиданно вспоминает, что Вилл — несомненно подначиваемый приятелями, также помешанными на Поле и немецком шоколаде, как и сам Вилл, — подкрадывается сзади, что он собирается подшутить над ней. Она грубо отреагирует на его диковую выходку, развернувшись и двинув его по зубам, возможно, не полностью испортив вечеринку, но несомненно добавив ложку дегтя в бочку меда. Она пытается оторваться и повернуться, прежде чем произойдет непоправимое. Она хочет изменить прошлое, но прошлое очень тяжело. Джесси понимает, что изменить прошлое — все равно, что пытаться приподнять дом, чтобы посмотреть, не завалась ли под ним потерянная, забытая или спрятанная вещь.

Позади нее кто-то прибавил громкость магнитофона, и эта ужасная песня раздается громче, чем всегда, звучи триумфально, помпезно, почти садистски: «**КАК БОЛЬНО... КОГДА С ТОБОЙ ОБРАЩА-**

ЮТСЯ ТАК ЖЕСТОКО... КТО-ТО, ГДЕ-ТО... СКАЖИТЕ ЕЙ, КАК МНЕ НЕЛЕГКО...»

Она снова пытается избавиться от биты — но не может, как будто кто-то приковал ее к ней.

— *Нора!* — кричит она. — *Нора, ты должна помочь мне! Останься со мной!*

(Именно в этом месте Джесси застонала первый раз, отпугнув собаку от тела Джеральда.)

Нора медленно, в замешательстве трясет головой. «*Я не могу помочь тебе, Джесси. Ты сама по себе — как и все мы. Обычно я не говорю своим пациентам об этом, но мне кажется, что в твоем случае лучше быть откровенной.*

«*Ты не понимаешь! Я не смогу пережить все это снова. НЕ СМОГУ!*»

«*О, не будь такой глупой, — нетерпеливо говорит Нора. Она начинает отворачиваться, как будто больше не может вынести вид искаженного неистовством лица Джесси. — Ты не умрешь — это не отрава.*»

Джесси затравленно оглядывается вокруг (хотя она все еще не может выпрямиться и перестать представлять манящую цель для приближающегося братишкы) и видит, что ее друг, Тамми Хо, исчез, а на его месте в его белых шортах стоит Руф Ниери. Она держит биту Тамми с красными полосками в одной руке и сигарету в другой. На лице Руфи обычная сардническая усмешка, но глаза ее печальны, в них проглядывает сожаление.

— *Руф, помоги мне, — кричит Джесси. — Ты должна помочь мне!*

Руф делает глубокую затяжку, а потом вдавливает сигарету в землю сандалией Тамми Хо. «*Малышка — он собирается подушить над тобой. И ты так же хорошо знаешь это, как и я; ты уже столько раз переживала все это. Итак, в чем же проблема?*»

«*Это не просто розыгрыш! И ты знаешь это!*»

«*Тра-та-та, тра-та-та*», — говорит Руф.

«*Что? Что это зна...*»

«*Это значит — как я могу знать что-нибудь о ЧЕМ-НИБУДЬ? — выпалила Руф в ответ. Злость звенела в ее голосе, но за ней скрывалась боль. — Ты не рассказала мне, ты никому не рассказала. Ты убежала. Ты убежала, как кролик, который видит тень совы на траве.*»

— *Я НЕ МОГЛА рассказать!* — вопит Джесси. Теперь она видела тень на траве, позади себя, как будто слова Руфи были волшебным заклинанием. Однако это не была тень совы, это была тень ее брата.

Она слышит приглушенные смешки его друзей, знает, что он уже приготовился, но все еще не может выпрямиться, сделать хоть какое-нибудь движение. Она бессильна изменить надвигающееся, и она понимает, что именно это является сутью как ночного кошмара, так и трагедии ее жизни.

— Я НЕ МОГЛА! — снова выкрикнула она Руфи. — Я не могла, никогда не могла! Это могло бы убить мою мамочку... или разрушить семью... или то и другое вместе! Он сказал! Папа сказал!

«Мне неприятно быть человеком, сообщающим тебе именно это известие, малышок-голышок, но твой отец мертв уже двенадцать лет. К тому же мы могли бы немного разобраться в этой мелодраме. К тому же он не подвесил тебя на бельевой веревке, а потом не посадил на костер».

Но она не хочет слышать об этом, она не хочет обдумывать это даже во сне — никакой переоценки ее покоренного прошлого; когда-то кости домино начали падать, и кто знает, когда это все закончится. Поэтому она закрыла уши, чтобы не слышать, что говорит Руфь, и продолжала смотреть на свою приятельницу глубоким, просительным взглядом, частенько заставлявшим Руфь смеяться и отступать, делать то, что хочет Джесси.

— Руфь, ты должна помочь мне! Должна!

Но в этот раз просительный взгляд не помог. «Я не думаю так, малышка. Время, когда можно было заткнуть рот, прошло, убежать просто невозможно, а проснуться — вовсе не решение проблемы. Это волшебный мир, Джесси. Ты котеночек, а я — сова. Вот так, вместе, мы и поедем. Пристегни ремень безопасности, пристегни его покрепче. Это очень быстрый экспресс».

— Нет!

Но теперь, к ужасу Джесси, начало темнеть. Может быть, это просто солнце скрылось за тучами, но она знает, что это не так. Солнце гаснет. Вскоре на летнем полуденном небе засияют звезды, и старая сова будет переговариваться с голубями. Приблизилось время солнечного затмения.

— Нет! — снова выкрикнула Джесси. — Это было два года назад!

«Ты ошибаешься, малышка, — сказала Руфь Ниери. — Для тебя это никогда не кончится. Для тебя солнце никогда не появится снова».

Джесси хотела было возразить, сказать Руфи, что та излишне все драматизирует, как и Нора, которая постоянно толкала ее к дверям, которые Джесси не хотела открывать, как Нора, которая уверяла ее, что настоящее можно улучшить, если хорошенько разобраться в

прошлом, — как будто можно улучшить вкус сегодняшнего обеда, если смешать его с остатками обеда вчерашнего. Она хочет сказать Руфи, как сказала она Норе когда-то, что существует огромная разница — жить с чем-то или быть в пленау чегото. «Неужели вы, две старые дурочки, не понимаете, что культ личного — это всего-навсего еще один культ?» — хочет сказать она, но, прежде чем успевает открыть рот, происходит вторжение: рука просовывается между ее двумя слегка расставленными ногами, большой палец грубо тычется в расщелину между ее ягодицами, пальцы давят на материю шорт как раз там, где находится ее вагина, но в этот раз это не невинная маленькая рука брата, рука между ее ног намного больше ладони Вилла, к тому же она вовсе не невинна. Звучит эта отвратительная песня, в три часа дня сияют звезды, вот так

(ты не умрешь, это не смертельно)

взрослые люди подшучивают друг над другом.

Она оборачивается, ожидая увидеть своего отца. Он сделал нечто подобное, когда произошло солнечное затмение, — вещь, которую нытики Культа Личного и Жизни-в-Прошлом, типа Руфи или Норы, назвали бы оскорблением детства. Что бы там ни было, это будет, отец Джесси просто уверен в этом, и она боится, что потребует для него ужасного наказания за совершенное, неважно, насколько серьезным или тривиальным был такой поступок: она поднимет биту для игры в крокет и направит ему в лицо, разбивая нос и выбивая зубы, а когда он упадет на траву, то прибегут собаки и съедят его.

Но не Том Махо стоит позади нее, это Джеральд. Он абсолютно голый. Пенис Адвоката выглядывает из-под свисающего розового брюха. В каждой руке он держит по паре наручников. Он протягивает их Джесси в неясной темноте летнего дня.

— Давай, Джесси, — усмехаясь, говорит он. — И не прикидывайся, будто ты не знаешь, сколько должна по счету. К тому же тебе это нравилось. Первый раз твой оргазм был настолько сильным, что ты чуть не взорвалась от экстаза. И я должен признать, что тот наш эксперимент дал мне такое сильное наслаждение, какое я вряд ли когда-либо испытывал прежде, именно о таком я часто мечтал. И знаешь, почему было так хорошо? Потому что ты ни за что не отвечала. Почти всем женщинам нравится, когда мужчина полностью владеет ею — это неоспоримый факт женской психологии. А ты кончила, когда твой папа ласкал тебя, Джесси? Клянусь, что да. Клянусь, что оргазм был настолько сильным, что ты чуть не взорвалась. Поклоняющиеся Культу Личного могут спорить сколько угодно, но мы оба знаем правду, ведь так? Некоторые женщины могут сказать, что они хотят,

но некоторым необходимо, чтобы мужчина сам сказал им, что он хочет. Ты относишься к последним. Но это нормально, Джесси, именно для этого и существуют наручники. Только на самом деле они не настоящие наручники. Они браслеты любви. Поэтому надень их, дорогая. Надень их.

Она попятилась, качая головой, не зная, плакать ей или смеяться.

— Тема сама по себе нова, но вся эта риторика слишком знакома. Опыт юриста не поможет тебе со мной, Джеральд, я слишком долго была замужем за одним из юристов. Мы оба знаем, что эксперимент с наручниками абсолютно не касался меня. Он касался тебя... чтобы расшевелить хоть немного твоего стареющего Мистера Ухаря. Так что засунь свою версию о пресловутой женской психологии себе в задницу, понятно?

Джеральд улыбается своей всезнающей, смущающей разум и душу улыбкой.

— Отличная попытка, детка. Ты не попала в цель, но все равно это был отличный выстрел. Лучшая защита — нападение, правильно? Кажется, этому я научил тебя. Однако это неважно. Прямо сейчас тебе необходимо сделать выбор. Или надеть браслеты, или поднять эту биту и снова убить меня.

Она оглядывается и с нарастающей паникой и ужасом понимает, что все присутствующие на дне рождения Вилла наблюдают за ее конфронтацией с абсолютно голым (исключая очки), жирным, секуально озабоченным мужчиной... Но это не только члены ее семьи и друзья детства. Миссис Хендерсон, которая станет ее наставником в первые годы учебы в колледже, стоит возле чаши для пунша; Бобби Хаген, который был ее научным руководителем на старших курсах — и трахнул ее на заднем сиденье отцовского «олдсмобиля-88», — стоит во дворике рядом с блондинкой из кружка Женского Самосознания — той, чьи родители любили ее, а боготворили ее брата.

«Бэрри, — думает Джесси. — Ее зовут Оливия, а ее брата — Бэрри».

Блондинка слушает Бобби Хагена, но смотрит на Джесси, лицо ее спокойно, но измождено. На ней надет свитер с изображением идущего мужчины. Надпись на шарике, выходящем изо рта этого мистера, гласит: «Мудрость — это хорошо, но кровосмешение лучше». Позади Оливии Кендалл Вильсон, принявший Джесси на ее первую учительскую должность, отрезает кусочек шоколадного торта для миссис Пейдж, обучавшей Джесси играть на пианино в детстве. Миссис Пейдж выглядит удивительно живой для женщины, два года назад умершей от инфаркта во время сбора яблок в собственном саду.

Джесси думает: «Это не похоже на сон, это как глубокое погружение. Все, кого я когда-либо знала, стоят здесь под звездами, мерцающими в небе летнего дня, наблюдая, как мой голый муж пытается надеть на меня наручники, пока Марвин Гайе поет: «Могу ли я получить доказательства? Единственное удобство подобной ситуации в том, что хуже быть просто не может».

Но становится еще хуже. Миссис Вертс, ее первая учительница, начинает смеяться. Старый мистер Кобб, садовник, работавший у них до 1964 года, смеется вместе с ней. К ним присоединяются Мэдди, Руфф и Оливия со своими шрамами под грудью. Кендалл Вильсон и Бобби Хаген от смеха согнулись почти вдвое, они колотят друг друга по спине, как мужчины, услышавшие сальный анекдот в местной парикмахерской. Возможно, именно тот, в котором высмеивается система жизнеобеспечения вагины.

Джесси опускает голову и видит, что теперь она тоже голая. На ее груди помадой написаны два проклятых слова: «ПАПИНА МАЛЫШКА».

«Мне нужно проснуться, — думает она. — Я умру от стыда, если не проснусь».

Но она продолжала спать. Она поднимает голову и видит, что усмешка Джеральда превращается в зияющую рану. Неожиданно между его челюстями появляется окровавленная морда бродячей собаки. Собака также усмехается, и между ее клыками появляется еще одна голова, принадлежащая ее отцу. Его глаза, обычно голубые, теперь посерели от изнеможения. Это глаза Оливии, понимает она, потом она понимает нечто еще: слабый запах минералов озерной воды, такой мягкий, но также и ужасный, доносится отовсюду.

«Я очень сильно люблю, иногда говорят мои друзья, — поет ее отец изнутри пасти собаки, находящейся в гортани ее мужа. — Но я верю, я верю, что именно так и нужно любить женщину...»

Она отбрасывает биту в сторону и с криком начинает бежать. Когда она пробегает мимо ужасного создания со странной цепью голов, Джеральд защелкивает один из наручников вокруг ее запястья.

— Поймал тебя! — с триумфом вскрикивает он. — Поймал тебя, моя гордая красавица!

Сначала ей кажется, что солнечное затмение еще не было полным, потому что день становится все темнее. Потом ей начинает казаться, что она, возможно, теряет сознание. Эту мысль сопровождает чувство огромного облегчения и благодарности.

«Не будь глупой, Джесс, ты не можешь терять сознание во сне».

Но она думает, что именно это с ней и происходит и, в конечном итоге, не так уж и важно, обморок это или просто более глубокая

ниша сна, в которую она стремится, как человек, выживший после катаклизма. Важно то, что она исчезает из сна, обвиняющего ее сильнее, чем действия отца на веранде в тот день, наконец-то она исчезает, и благодарность выглядит нормальной реакцией в сложившихся обстоятельствах. Она почти исчезла в этой уютной волне темноты, когда в нее вторгся какой-то звук: разбивающий, уродливый, как будто кто-то громко кашлял. Она пытается отстраниться от этого звука и понимает, что не может. Звук как бы поймал ее на крюк и начал тянуть вверх к пустому холодному небу, отделяющему сон от действительности.

12

Экс-Принц, недолго бывший гордостью и радостью юной Кэтрин Сатлин, уже минут десять после своей последней вылазки в спальню сидел у входа в кухню. Он сидел, подняв голову вверх и широко раскрыв глаза. Последние два месяца он питался из рук вон плохо, а сегодня вечером наелся до отвала и теперь должен был бы чувствовать отупение и сонливость. Сначала так и было, но теперь сонливость испарилась. Ее сменила нервозность, которая неумолимо возрастала. Что-то задело несколько раз тонюсенькую струну, протянутую к той мистической зоне, где соединялись собачьи чувства и интуиция. Хозяйка продолжала стонать в соседней комнате, бессвязно бормоча во сне, но не эти звуки были причиной нервозности, не они заставили собаку сесть, когда она уже почти засыпала, и не они были причиной того, что ее уши насторожились и верхние зубы обнажились в оскале.

Было что-то еще... что-то неправильное... нечто опасное.

Когда Джесси начала погружаться в самые темные глубины сна, собака неожиданно вскочила на ноги, будучи более не в состоянии переносить напряжение. Она обернулась, носом толкнула дверь черного хода и нырнула во мрак ветреной ночи. До нее донесся слабый, еле уловимый запах. В запахе была угроза... определенная угроза.

Собака бросилась в лес со скоростью, которую позволял отяжененный желудок. Когда она достигла безопасного места, то развернулась и снова немного приблизилась к дому. Она действительно отступила, но внутри нее должно было раздаться более мощное предупреждение об опасности, прежде чем она действительно примет решение отказаться от великолепного запаса пищи, найденной ею.

Находящуюся пока в безопасности умную морду пересекали тени, отбрасываемые в лунном сиянии; бродяга залаял, это был именно тот звук, который окончательно вернул Джесси к действительности.

Во время летних отпусков, проводимых на озере в начале шестидесятых, когда Вилл мог только плескаться на отмели с парой ярко-оранжевых резиновых крыльшечек, привязанных к спине, Мэдди и Джесси, всегда бывшие хорошими друзьями несмотря на разницу в возрасте, ходили к Нейдермейерам. У Нейдермейеров был плот с мостиком для прыжков в воду, именно здесь Джесси выработала стиль, который помог ей завоевать первое место в школьной команде по плаванию, а потом в команде штата в 1971 году. Второе, что нравилось ей в нырянии с трамплина (первое — тогда и всегда — устремляться сквозь горячий летний воздух в голубое сияние ожидающей воды), — это ощущение, когда она поднималась из глубины, сквозь перемешавшиеся слои холодной и теплой воды.

Освобождаясь от своего тревожного сна, она вновь испытала это ощущение.

Сначала была черная гремящая неразбериха, как будто она находилась внутри грозового облака. Она с усилием пробивалась сквозь этот слой, не имея ни малейшего представления, кто она была, когда она была, а только где она была. Потом последовал более теплый и спокойный слой: она попалась на удочку самого ужасного ночного кошмара в жизни (по крайней мере, в *ее* жизни), но кошмар уже показал все, что мог, теперь он закончился.

Поверхность приблизилась, но тем не менее она попала в еще один холодный слой: мысль о том, что реальность, ожидающая ее на поверхности, будет такой же ужасной, как и снившийся ей кошмар. Возможно, даже хуже.

«Что это? — спросила она сама себя. — Что может быть еще хуже того, что уже пережито мною?»

Она отказывалась думать об этом. Ответ был недостижим, но ей показалось, что она вполне может решить перевернуться и снова опуститься на глубину, если узнает ответ. Сделать это — значило утонуть, и это был не самый лучший выход из ситуации — мысль предоставить свое тело этому слабому, исходящему от воды запаху минералов, напоминающему одновременно запах меди и устриц, была невыносимой, Джесси неистово устремилась вперед, уверяя себя, что она действительно выберется на поверхность.

Последний слой, который она миновала, был таким же теплым и пугающим, как свежевыпущенная кровь: руки совсем омертвили, напоминая высохшие коряги. Но все же она надеялась, что сможет сделать несколько движений, чтобы заставить кровь снова прилить к ним.

Джесси вздохнула, вздрогнула и открыла глаза. Она не знала, как долго продолжался ее сон, часы на бельевом шкафу отбивали свое время, постоянно высвечивая одну и ту же цифру (двенадцать, двенадцать, двенадцать — светились они в темноте, как будто время навсегда остановилось в полночь) и ничем не могли помочь ей. Единственное, что она осознала наверняка, так это то, что вокруг кромешная мгла и луна сияет в небе, заливая комнату серебряным светом.

Руки горели и ныли от напряжения. Обычно ей очень не нравилось это ощущение, но только не теперь; это было в тысячу раз лучше, чем судорога, которую она ожидала как плату за пробуждение ее конечностей от мертвого сна. Через секунду или две она заметила растекающееся мокре пятно под ногами и бедрами, и поняла, что потребность сходить в туалет отпала. Ее тело само позабочилось о своих проблемах, пока она спала.

Джесси сжала кулаки и осторожно подтянулась вверх, морщась от боли в запястьях и саднящей колющей боли в спине, вызванной движением. «*В основном эта боль — результат попытки вырвать руки из наручников*, — подумала она. — *В этом нужно винить только себя, дорогая, и никого больше*».

Снова залаяла собака. Каждый раз пронзительный лай барабанной дробью отдавался в ушах Джесси, и она поняла, что именно этот звук поднял ее на поверхность и вытащил из сна, когда она уже была готова снова нырнуть в снявшийся ей кошмар. Месторасположение звука подсказало ей, что собака уже не в доме. Джесси обрадовалась, что пес покинул дом, но она была в замешательстве. Возможно, собака чувствовала себя несколько неуютно в доме, после стольких проведенных дней на воле. Эта мысль не была лишена некоторого смысла... впрочем, как и многое другое в подобной ситуации.

«Соберись с мыслями, Джесс», — посоветовала она сама себе, и, может быть, именно это она и делала. Панический ужас и беспричинный стыд, испытываемый ею во сне, растворились. Даже сон сам по себе, казалось, испарился, приобретая странное качество передержанной в проявителе фотографии. Вскоре она поняла, что сон полностью уйдет. При пробуждении сны кажутся коконами, покинутыми мотыльками, или раскрытыми раковинами, оставленными моллюсками. Бывали времена, когда эта амнезия — если это действительно была она — поражала ее своей печальной безысходностью. Но только не сейчас. Никогда в жизни Джесси не принимала ее с такой радостью и полнотой.

«*Да это и не важно*, — подумала она. — *Ведь это только сон. Я говорю об этих головах, высывающихся из других голов*.

Говорят, что сны очень символичны, конечно, я знаю это, кажется, и в этом сне должно быть какое-то символическое значение... может быть, даже какая-то истина. И даже если и не это, то теперь мне кажется, что я знаю и понимаю, почему ударила Вилла, когда он подшутил надо мной в тот день. Нора Калиган несомненно затрепетала бы от радости — она квалифицировала бы это как прорыв. Возможно, так и есть. Но это все же не поможет мне выбраться из этого проклятого дома, ставшего тюрьмой, но все-таки это мое высшее достижение. Может быть, кто-то не согласен со мной?»

Ни Руфь, ни Хозяюшка не ответили; НЛО-голоса также молчали. Единственный ответ раздался из ее живота, который чертовски сожалел, что такое случилось, но все-таки заставлял протестовать остатки ужина продолжительным, громким урчанием. Забавно... но завтра будет совсем не до смеха. К тому же снова подступала жажда, и Джесси не питала никаких иллюзий на тот счет, что оставшихся двух глотков воды хватит надолго.

«Я должна сконцентрироваться — просто необходимо сделать это. Проблема не в еде, да и не в воде тоже. Сейчас эти вещи значат не больше, чем то, почему я ударила Вилла в день его девяностолетия. Проблема в том, как я...»

Ее мысли прервались, взорвавшись огненным пучком. Ее глаза, бесцельно блуждавшие по темной комнате, сфокусировались в дальнем углу, где танцевали тени от деревьев, отбрасываемые перламутровым светом, струящимся с небес.

Там стоял мужчина.

Безмерный, темный ужас, которого она никогда ранее не испытывала, охватил Джесси. Мочевой пузырь только что освободился от мучившего его дискомфорта, заполняя пустоту безболезненным изливающимся теплом. Джесси даже не обратила на это внимания. Ужас полностью овладел ее умом, освободив его от всех других мыслей. Джесси не издала ни звука, она была не в состоянии издавать звуки, так же, как и мыслить. Мышцы ее шеи, плеч и рук превратились в нечто, ощущаемое как теплая вода, и Джесси соскользнула вниз от изголовья, пока не повисла на наручниках, почти теряя сознание. Но она не потеряла его — даже не приблизилась к этому состоянию, но та пустота сознания и сопровождающая ее полнейшая физическая прострация были хуже обморока. Когда мысли попытались вернуться к ней, их заблокировала черная, бесформенная стена страха.

Мужчина. Мужчина в углу.

Она видела его темные глаза, пристально взирающие на нее с идиотским вниманием. Она видела восковую бледность его щек и

высокого лба, хотя черты лица вторгшегося к ней человека были размыты диагоналями теней, скользящих по ним. Она видела его сутулые плечи, болтающиеся руки, заканчивающиеся огромными кулаками; она ощущала его ступни где-то в черном треугольнике тени, отбрасываемой шкафом, но это было все, что она могла видеть.

Джесси не представляла, как долго она лежала в этом полуобмочном состоянии, парализованная, но осознающая все, как муха, ставшая жертвой паука. Ей казалось, что это длилось целую вечность. Пролетали секунды, Джесси поняла, что она не только не может закрыть глаза, но и отвести взгляд от своего странного гостя. Первоначальный страх начал понемногу утихать, но то, что сменило его, было еще хуже: ужас и истерическое, атавистическое отвращение. Позже Джесси думала, что источник этих чувств — наиболее сильных отрицательных эмоций, когда-либо пережитых ею, включая недавно пережитое, когда она наблюдала, как бродячая собака готовится отобедать ее мужем, — полнейшая тишина, исходящая от этого создания. Оно забралось сюда, пока она спала, и теперь просто стояло в углу, закамуфлированное изменяющимися тенями, проплывающими по телу и лицу, уставившись на нее странными алчными черными глазами — настолько огромными, что они напоминали ей пустые глазницы черепа.

Посетитель просто стоял в углу; только это, и ничего больше.

Джесси лежала, раскинув руки, прикованные наручниками, чувствуя себя, как на дне колодца. Время шло, отмечаемое только идиотским мерцанием электронных часов, доказывающих, что сейчас двенадцать, двенадцать, двенадцать, а потом связность мышления снова вернулась к ней, принеся мысль, кажущуюся одновременно опасной, но и удивительно комфортной.

«Здесь никого нет, кроме тебя, Джесси. Мужчина, стоящий в углу, — просто комбинация теней и воображения — и ничего больше».

Джесси с трудом снова приняла сидячее положение, подтянувшись на руках и морщась от боли в плечах, отталкиваясь ногами и упираясь пятками в одеяло, задыхаясь от чрезмерных усилий... но не сводя глаз с прячущейся удлиненной тени в углу.

«Тень слишком высокая и слишком тощая, чтобы быть настоящим человеком, Джесс, разве ты не видишь этого? Это не что иное, как ветер, тень и лунное сияние... и остатки твоего ночного кошмара, это твое воображение, понятно?»

Почти. Джесси начала расслабляться. Затем на дворе собака разразилась истерическим лаем. И разве фигура в углу — фигура,

бывшая не чем иным, как ветром, тенями и лунным сиянием, — разве эта несуществующая фигура не повернула слегка голову в этом направлении?

Нет, определенно, нет. Наверняка, это еще один фокус ветра, темноты и теней.

Вполне может быть: действительно, Джесси была почти уверена в том, что движение головой было иллюзией. Но все остальное? Она не могла обвинить себя, что все это было лишь ее воображением. Действительно, ни одна фигура, настолько сильно похожая на мужчину, не может быть просто иллюзией... или может?

Неожиданно заговорила Образцовая Женушка Белингейм, хотя в ее голосе звенел страх, в нем не было истерики, по крайней мере пока; странно, но именно та часть ее, которая принадлежала Руфи, страдала от сильнейшего ужаса при мысли, что она могла оказаться в комнате не одна. Именно эта ее часть ближе всего находилась к бредовому состоянию.

«Если это нереально, — сказала Женушка, — то, во-первых, почему же сбежала собака? Я не думаю, что она сделала бы это без достаточно веских оснований, ведь так?»

Конечно, Джесси понимала, что Женушка была очень напугана и искала какие-нибудь объяснения поведению собаки, не включавшие в себя стоящую в углу фигуру: то ли видимую, то ли придуманную больным воображением Джесси.

Женушка умоляла ее признать первоначальное предположение, что собака ушла просто потому, что неуютно чувствовала себя в доме, что было вполне правдоподобно. «Или, возможно, — подумала она, — пес ушел по самой простой причине: он поччул запах текущей сучки». Джесси даже допустила, что собаку мог отпугнуть какой-либо шум — предположим, ветка стукнула в окно. Эта причина понравилась ей больше всего, потому что она предполагала грубую справедливость: значит, собака была спугнута каким-то воображаемым вторжением, а ее лай означал, что она пытается отпугнуть несуществующего пришельца от причитающегося ей ужина.

«Да, признай одну из этих причин, — неожиданно попросила ее Хозяюшка, — и, даже если ты сама не сможешь поверить в это, заставь меня поверить».

Но вряд ли Джесси могла выполнить ее просьбу, а причина этого стояла в углу рядом со шкафом. Там кто-то был. Это не было галлюцинацией колышущихся теней и ее воображения, не было остатком ее сна, мгновенным фантомом, мелькнувшим в пространстве между сном и явью. Это был

(чудовище, людоед, пришедший сожрать меня)

мужчина, не монстр, а мужчина, неподвижно стоявший в углу и наблюдавший за ней, пока завывал ветер, заставляя дом поскрипывать, а тени — танцевать на его странном, полуосвещенном лице.

Теперь она подумала: *«Монстр! Людоед!»* Эта мысль поднялась из глубин ее сознания. Джесси снова отвергла ее, но все равно почувствовала, как вернулся ужас. Создание, стоявшее в противоположном углу, могло быть мужчиной, но, даже если это было и так, то что-то очень недобродорье было в его лице. Если бы только она получше могла рассмотреть его!

«Тебе не следует делать этого», — посоветовали ей безымянные голоса.

*«Но я должна поговорить с ним, должна установить контакт», — подумала Джесси и сразу же ответила себе нервным, срывающимся на визг голосом, который можно было идентифицировать как смесь голосов Руфи и Хозяюшки: *«Не думай о нем как о неодушевленном существе, Джесси. Думай о нем как о живом. Думай о нем как о мужчине, как о заблудившемся в лесу человеке, который так же напуган, как и ты».**

Возможно, это разумный совет, но Джесси поняла, что она не может думать о фигуре, стоящей в углу, как о живом существе, точно так же, как она не может думать о бродячем псе, как о человеке. Точно так же она не думала, что это создание заблудилось, потерялось или испугалось. Из угла исходили длинные, сильные волны недоброжелательности и злорадства.

«Это глупо, Джесси! Заговори с ним!»

Она попыталась прочистить горло и поняла, что прочищать нечего — горло было таким же высохшим, как пустыня, таким же шершавым, как пемза. Теперь Джесси чувствовала, как сердце стучит в груди, оно билось очень слабо и быстро, отбивая неровный ритм.

Бушевал ветер, тени отражались черно-белыми узорами на стене и потолке, создавая впечатление того, что она находится внутри калейдоскопа. Джесси показалось, что она увидела нос — тонкий, длинный и белый под черными неподвижными глазами.

— Кто...

Сперва Джесси удалось воспроизвести слегка уловимый шепот который вряд ли мог быть услышан в дальнем углу комнаты. Она замолчала, облизнула губы и попыталась еще раз. Она почувствовала, что сжала ладони в болезненно плотные кулаки, и заставила пальцы разжаться.

— Кто ты?

Такой же шепот, но чуточку громче, чем в первый раз.

Фигура не ответила, она просто стояла там, свесив длинные руки почти до колен, и Джесси подумала: «*До колен? Колен? Невозможно, Джесси, когда человек держит руки вдоль тела, то они спускаются лишь чуть ниже бедер.*»

Ответила Руфь, ее голос был настолько тих и испуган, что Джесси не сразу узнала его: «*У нормального человека руки опускаются чуть ниже бедер, именно это ты имеешь в виду? Но неужели ты думаешь, что нормальный человек будет пробираться в чей-то дом, потом просто стоять, наблюдая, в углу, найдя хозяйку дома прикованной наручниками к кровати? Просто стоять и ничего больше?*»

Затем оно пошевелило ногой... а возможно, это было просто игрой теней, в этот раз задевших нижнюю часть ее поля зрения. Комбинация теней, лунного сияния и ветра внесла ужасную двусмысленность в этот эпизод, и снова Джесси усомнилась в реальности существования своего посетителя. Возможно, она просто продолжает спать, просто ее сон о дне рождения Вилла изменился в странном направлении... но Джесси не слишком верила в это. Она не спала.

Пошевелилась или нет нога (даже если это и была нога)? Джесси моментально отвела взгляд вниз. Ей показалось, что между ногами этого создания стоит какой-то темный предмет. Было невозможно сказать, что это, так как та часть комнаты, где стоял шифоньер, была самой темной, но ее мысли неожиданно вернулись в то время дня, когда она пыталась убедить Джеральда в истинности своих желаний. Единственными доносящимися до нее звуками были ветер, хлопающая дверь, лающая собака, гагара и...

Вещь, стоящая на полу, между ногами ее посетителя, была циркулярной пилой.

Джесси была уверена в этом. Ее посетитель пользовался ею раньше, но не для того, чтобы валить сгоревшие деревья. Он распиливал людей, и собака убежала потому, что почуяла приближающегося маньяка, который пробирался к озеру, неся пилу в руке, обтянутой перчаткой...

«*Прекрати!* — зло выкрикнула Хозяюшка. — *Прекрати это безумие сейчас же и возьми себя в руки.*»

Но Джесси поняла, что не может прекратить, потому что это не сон и потому что она была абсолютно уверена, что фигура, стоявшая в углу, такая же безмолвная, как Франкенштейн перед взрывом, была реальностью. Но даже если это было и так, то фигура не провела весь день, превращая людей в отбивные с помощью своей циркулярной пилы. Конечно же, нет — это было не что иное, как вариация простой, отвратительной сказочки-страшилки, которая выглядит смешной, когда сидишь возле костра с остальными девочками, поджаривая грибы,

и настолько ужасной потом, когда лежишь и дрожишь от страха в своем спальном мешке, веря, что каждый хлопающий звук свидетельствует о приближении водяного.

Существо, стоявшее в углу, не было водяным, но оно также не было и маньяком, убивающим с помощью циркулярной пилы. Там что-то было на полу (по крайней мере, Джесси была вполне уверена в этом), и Джесси предполагала, что это может быть циркулярная пила, но также может быть и чемодан... пакет... чемоданчик коммивояжера с экземплярами продаваемых им вещей...

Или мое воображение.

Да. Хотя Джесси и смотрела прямо на него, что бы это там ни было, она знала, что не может исключить возможность воображения. Неким странным образом это только усиливало мысль, что само создание было реальностью, и становилось все труднее и труднее подавлять ощущение враждебности, исходящее из сплетения черных теней пыли в лунном свете, как и продолжительное, тихое рычание.

«Оно ненавидит меня, — подумала Джесси. — Чем бы это ни было, оно ненавидит меня. Должно. Почему же еще оно просто стоит, а не помогает мне?»

Джесси снова взглянула в это полувидимое лицо, в глаза, сверкающие такой очевидной алчностью в круглых черных глазницах, и начала плакать.

— Пожалуйста, ответьте, есть здесь кто-нибудь? — Голос ее дрожал от наполнявших глаза слез. — Если есть, то не будете ли вы так любезны помочь мне? Вы видите эти наручники? Ключи от них как раз позади вас, вверху на шифоньере...

Ничего. Ни единого движения. Никакого ответа. Оно просто стояло здесь — если, конечно, оно вообще было, — и смотрело на нее из-под смертельной маски теней.

— Если вы хотите, чтобы я никому не говорила, что видела вас, я не скажу, — снова попыталась заговорить Джесси. Ее голос дрожал, скользил, взмывал вверх и снова падал. — Честное слово, не расскажу! Я буду настолько... настолько благодарна...

Это нечто смотрело на нее.

Только смотрело, и ничего больше.

Джесси чувствовала, как слезы катились по ее щекам. — Вы знаете, что испугали меня, — произнесла Джесси. — Не хотите ли сказать хоть что-то? *Если вы действительно здесь, то, пожалуйста, поговорите со мной!*

Джесси забилась в продолжительной истерике. Рыдая, она умоляла пугающую фигуру, безучастно стоявшую в углу спальни; она оставалась в сознании, но иногда в нем наступали провалы, припасенные для

тех, чей ужас стал настолько сильным, что становился похожим на экстаз. Джесси слышала, как просила фигуру хриплым, рыдающим голосом (*пожалуйста, пожалуйста, о пожалуйста*) освободить ее от наручников, а потом падала в черную пустоту. Джесси знала, что ее губы продолжали шевелиться, потому что она могла чувствовать это. Она также могла слышать звуки, вырывающиеся изо рта, но, пока она пребывала в этих провалах, звуки составлялись не в слова, а всего лишь в бессвязные потоки звуков. Она также могла слышать завывание ветра и лай собаки, сознавая, но не зная, слыша, но не понимая, теряя и растворяя все в паническом ужасе перед этой почти не видимой бесформенной фигурой ужасного посетителя, непрошеного гостя. Она не могла прервать созерцание его плоской бесформенной головы, его белых щек, его сутулых плеч... но чаще всего ее взгляд обращался к его рукам: этим свисающим рукам с длинными пальцами, которые заканчивались намного ниже, чем положено было любым нормальным рукам. Неизвестно, сколько времени провела она в пустых провалах сознания («*двенадцать, двенадцать, двенадцать*», — докладывали часы; отсюда нечего ждать помощи), а потом немного пришла в себя, попробовала упорядочить мысли вместо бесконечного чередования бессвязных образов, услышала, что ее губы произносят слова, а не просто издают бессмысленные звуки. Но она намного продвинулась вперед, пока пребывала в зияющей пустоте; теперь ее слова не имели ничего общего с наручниками или ключами на шифоньере. Вместо этого Джесси услышала тоненький, визгливый шепот женщины, уставшей вымаливать ответ... любой ответ.

— Кто ты? — всхлипывала она. — Человек? Дьявол? Ради Бога, кто ты?

Завывал ветер.

Хлопала дверь.

Лицо фигуры перед ней, казалось, изменялось... казалось, что оно расплывается в ухмылке. Было что-то ужасно знакомое в этой ухмылке, и Джесси почувствовала, что сердцевина ее здравомыслия, которое отражало эти нападения с завидным упорством до данного момента, начала расшатываться.

— Папа, — прошептала она. — Папа, это ты?

«*Не будь такой глупой!* — крикнула Хозяюшка, но Джесси теперь чувствовала, что даже этот всегда ровный голос близок к истерике. — *Не дурачься, Джесси! Твой отец умер еще в 1980 году!*»

Вместо того, чтобы помочь, это только ухудшило ситуацию. *Намного* ухудшило. Том Махо был погребен в семейном склепе в Фалмауте, а это было не далее чем в ста милях отсюда. Пылающий, объятый страхом ум Джесси настаивал, что эта сгорбленная фигура в

истлевшей одежде и башмаках, покрытых серо-зеленой плесенью, пробиралась по полям, залитым лунным сиянием, спешила, продираясь сквозь лесную чашу, кралась между строениями пригородных коттеджей; она видела игру его истлевших мускулов, когда он приближался к ней, опуская руки, пока они не коснулись колен. Это был ее отец. Это был тот человек, который сажал ее на плечи, когда ей было три года, который успокаивал ее, когда в цирке клоун испугал ее до слез, который рассказывал сказки перед сном, пока ей не исполнилось восемь лет. Она уже достаточно взрослая, сказал тогда он, чтобы самой читать их. Ее отец, который самолично закоптил стеклышики в день солнечного затмения и держал ее в своих объятиях, пока не подошло время полного затмения, ее отец, сказавший: *«Ни о чем не беспокойся... не беспокойся и не оглядывайся»*. Но тогда она подумала, что, возможно, он был обеспокоен, потому что голос его дрожал и вовсе не был похож на его обычный голос.

В углу ухмылка этого нечто, казалось, стала еще шире, и неожиданно комната наполнилась тем запахом, тем слабым полуметаллическим-полуорганическим запахом, напомнившим ей устриц в сметане и то, как пахнет рука, если сжать ею целую пригоршню монет, то, как пахнет воздух перед грозой.

— Папа, это ты? — спросила Джесси туманный предмет в углу; откуда-то раздался отдаленный крик гагары. Джесси почувствовала, как слезы медленно катятся по ее лицу.

Сейчас происходило что-то чрезвычайно странное, настолько необычное, чего Джесси никогда в жизни не могла ожидать. Когда в ней стала расти уверенность, что это именно ее отец, что именно Том Махо, умерший двенадцать лет назад, стоит в углу, ужас начал покидать ее. Подогнутые ранее ноги вытянулись и раскинулись в стороны. Пока она делала это, перед ней предстал фрагмент ее сна — Джесси увидела надпись на груди, сделанную помадой цвета перечной мяты: «ПАПИНА ДОЧКА».

— Отлично, продолжай, — сказала она тени. Голос был хриплый, но спокойный. — Ведь ты для этого пришел, не так ли? Поэтому продолжай. Разве я могу остановить тебя? Только пообещай, что после этого ты откроешь наручники и освободишь меня.

Фигура никак не прореагировала на ее слова. Она просто стояла в пятнах теней и лунного света и усмехалась ей. Пролетали секунды («двенадцать, двенадцать, двенадцать», — говорили часы на шифоньере, как бы утверждая, что сама идея того, что время идет, — иллюзия, что на самом деле время остановилось), Джесси подумала, что, наверное, она была права, и в комнате вовсе никого нет. Она почувствовала себя флюгером в порывах озера переменчивого

ветра, который иногда предвещает появление ужасного урагана или торнадо.

«Твой отец не может восстать из мертвых, — произнесла Образцовая Женушка Белингейм голосом, который изо всех сил старался быть спокойным, но звучал несчастно. Однако Джесси отдала должное ее попыткам. Развернись хоть хляби небесные, Женушка и тогда постарается оставаться на высоте. — Это не фильм ужасов и не эпизод из «Сумеречной зоны», Джесс, это реальная жизнь».

Но другая часть Джесси — часть, ставшая пристанищем каких-то голосов, которые действительно были НЛО-голосами, а не только телеграфными проводами между ее подсознанием и сознательным мышлением, — настаивала, что здесь была некая темная правда, нечто вышедшее за пределы логического круга, как иррациональная (и, возможно, сверхъестественная) тень. Этот голос настаивал, что вещи меняются в темноте. «Вещи особенно меняются, — говорил он, — если человек остается один. Когда такое происходит, спадают замки с клетки, сдерживающей воображение, и все — любая вещь — может вырваться на свободу».

«Это может быть твоим отцом, — шептала эта чужеродная часть ее, и, содрогаясь от страха, Джесси распознала ее как голос сумасшествия и разума, сплавленных вместе. — Действительно может, даже не сомневайся в этом. Люди почти всегда считают себя защищенными от появления привидений, вурдалаков и оживших мертвецов в дневное время и обычно если с ними кто-то есть рядом, но когда человек остается один на один с темнотой, все оковы спадают. Мужчины и женщины, оставшиеся один на один с темнотой, похожи на открытые двери, Джесси, и если издают крик о помощи, то кто знает, какое ужасное существо может откликнуться? Кто знает, что видели некоторые мужчины и женщины в час смерти души? Очень трудно поверить, но некоторые из них могли умереть от страха, неважно, какая причина была указана в их свидетельствах о смерти».

— Я не верю этому, — заговорила Джесси громче дрожащим голосом, пытаясь придать словам уверенность и твердость, которой она не испытывала. — Ты не мой отец! Я вообще считаю, что ты — никто! Я думаю, что ты просто порождение лунного сияния и теней!

Как бы в ответ, фигура подалась вперед и отвесила Джесси нечто вроде шутливого поклона, и на мгновение лицо этого нечто — лицо слишком реальное, чтобы вызывать сомнения, — высокользнуло из темноты. Джесси содрогнулась, когда бледные лучи, падающие с неба, виновато обрисовали черты создания со свойственной карнава-

лу кричащей безвкусицей. Это не было ее отцом; по сравнению с дьявольщиной и сумасшествием, увиденными Джесси на лице ее гостя, она с большей радостью приняла бы отца даже после двенадцати лет, проведенных им в холодном склепе. Обведенные красным ободком отвратительно вспыхивающие глаза наблюдали за ней из запавших, морщинистых глазниц. Затем губы сложились в отвратительный оскал, открывающий бесцветные коренные зубы и острые клыки — почти такие же огромные, как и у бродячей собаки.

Одной рукой это существо подняло предмет, стоявший у его ног, с трудом различимый Джесси в темноте. Сначала ей показалось, что оно взяло чемоданчик Джеральда из маленькой комнаты, которая здесь служила Джеральду кабинетом, но когда похожий на коробку предмет, поднимаемый созданием, оказался в лунном свете, Джесси увидела, что он гораздо больше чемоданчика Джеральда и намного старее. Он походил на старомодный чемодан, в котором путешествующие коммивояжеры возили образцы предлагаемых на продажу товаров.

— Пожалуйста, — еле слышно обессиленно прошептала она. — Кто бы ты ни был, пожалуйста, не причиняй мне боль! Не бей меня! Ты можешь не освобождать меня, если не хочешь, но только не бей меня!

Усмешка создания ширилась, и Джесси увидела блеск глубоко в рту создания — у гостя были либо золотые зубы, либо пломбы, совсем как у Джеральда. Казалось, оно беззвучно смеялось, удовлетворенное ее страхом. Затем длинными пальцами оно расстегнуло замки чемодана

(«Я сплю, кажется, теперь это действительно похоже на сон, спасибо Господу, если это так»)

и протянуло его Джесси открытым. Чемодан ломился от костей и драгоценностей. Джесси видела кисти рук, кольца, зубы и браслеты, локтевые суставы и подвески, кулонь; она увидела настолько огромный бриллиант, что он вполне мог ослепить носорога своим сиянием в лунном свете. Она видела все эти предметы и хотела, чтобы все это было сном, да, хотела. Да, даже если это и было сном, то он вовсе не походил на виденные ею ранее. Сама ситуация — прикованная в постели, пока полувидимый маньяк показывал ей свои сокровища, — была похожа на сон. Ощущение, однако...

‘Ощущение реальности. Никакого сомнения. Это ощущалось как реальность.

Существо, стоявшее в углу, держало чемодан открытым для ее обозрения, одной рукой поддерживая его снизу. Оно запустило другую руку в клубок костей и драгоценностей и стало смешивать их, производя при этом мрачное позвякивание и шуршание, напоминающее стук старых, истертых кастаньет. Проделывая все это, существо смотрело на Джесси, бесформенные черты его странного

лица кривились в гримасе удивления, рот зиял ухмылкой, сутулые плечи вздымались и опадали в беззвучном смехе.

— *Нет!* — выкрикнула Джесси, но не услышала своего голоса.

Внезапно она ощутила, как кто-то — наиболее вероятно, что это была Образцовая Женушка, Джесси всегда недооценивала природную жизнестойкость этой особы, — нажимает на кнопки, отвечающие за работу умственных переключателей. Хозяюшка увидела дымок, вырывающийся из-под закрытых дверей, за которыми находились испускающие искры панели управления, и поняла, что это означает, и сделала последнюю попытку остановить машину, прежде чем мотор перегреется и сгорит окончательно.

Оскалившаяся фигура в другом конце комнаты все глубже погружала руку в чемодан, вытаскивала целую пригоршню костей и золота и в лунном сиянии протягивала все это Джесси.

В голове Джесси что-то вспыхнуло и тут же погасло. Она не совсем потеряла сознание, как героиня пошленькой пьесы, но как убийца, отбрасываемый назад под воздействием отдачи после неудачного выстрела. Все равно это означало конец ужасу, а в настоящий момент этого было достаточно. Джесси Белингейм погрузилась в темноту, не издав ни единого возгласа протеста.

14

Некоторое время спустя Джесси начала приходить в сознание, уверенная только в двух вещах: первое — луна переместилась из восточного окна в западное, второе — она была ужасно напугана... но чем, Джесси даже не могла сразу понять этого. Затем она вспомнила: папа был здесь, возможно, до сих пор находится здесь. Создание не совсем походило на отца, это так, но только потому, что выражение лица у папы было таким же, как в день солнечного затмения.

Джесси стала подтягиваться вверх, настолько сильно отталкиваясь ногами, что столкнула покрывало на пол. Однако она не могла теперь помогать себе руками. Пронзительная колющая боль ушла, пока Джесси была без сознания, теперь же чувствительности в руках было не больше, чем у ножки стула. Джесси смотрела в угол рядом со шкафом расширенными от ужаса глазами. Ветер умер, и тени, хоть на какое-то время, замерли. В углу ничего не было. Ее черный гость исчез.

«*А может быть, и нет, Джесс, — может быть, он только переменил место. Возможно, он прячется под кроватью, как насчет этого? Если он там, то может появиться в любой момент и положить свою руку тебе на бедро.*»

Ветер засутился — только дуновение, а не порыв, и дверь черного хода слабо хлопнула. Это были единственные звуки. Собака молчала, и это больше, чем что-либо другое, убедило Джесси, что посетитель ушел. Теперь она была в доме одна.

Джесси остановила взгляд на темной груде на полу.

«*Поправочка*, — подумала Джесси. — *Здесь Джеральд. Нельзя забывать о нем*».

Джесси опустила голову и закрыла глаза, чувствуя, как пульсирует у нее в горле, как бы не желая окончательно просыпаться, чтобы эта пульсация не превратилась в то, чем она действительно является: в жажду. Джесси не знала, сможет ли ее бессознательное состояние перейти в глубокий, нормальный сон, но она знала, что именно это ей сейчас просто необходимо больше всего на свете — исключая, пожалуй, кого-нибудь, КТО приехал бы и освободил ее, — она хотела спать.

«*Здесь никого нет, Джесси, ты знаешь это, правда?*» — Голос Руфи был абсурдом из абсурдов. Несговорчивая Руфь, чьим жизненным девизом была строчка из песни Нэнси Синатра: «В один из дней эти башмаки растопчут тебя». Руфь, превращенная появлением фигуры чудовища в лунном сиянии в бесформенное дрожащее желе.

«*Давай, валяй, малышка*, — сказала Руфь. — *Смейся надо мной — возможно, я это заслужила, — но не обманывай себя. Здесь никого не было. Твое воображение разыграло маленький спектакль, вот и все. Это все, что произошло здесь*».

«*Ты ошибаешься, Руфь*, — спокойно возразила Хозяюшка. — *Кто-то здесь был, и Джесси, и я прекрасно знаем, что это было. Оно не так уж похоже на папу, но это произошло только потому, что у него было лицо, как в день солнечного затмения. Однако лицо — не самый главный момент, неважно также, что он выглядел таким высоким — может быть, он надел туфли на высоких каблуках, потом, он мог быть на костылях или ходулях*».

«*На ходулях!* — изумленно выкрикнула Руфь. — *О Господи, теперь я все понимаю! Неважно, что человек умер еще до инаугурации Рейгана, но Том Махо был настолько неуклюжим, что ему следовало бы застраховаться от падения с лестницы. Ходули? О детка, ты сразила меня наповал!*»

«*Ну, в общем-то, эта деталь неважна, — с поразительным упрямством произнесла Хозяюшка. — Это был он. Я узнаю этот запах из тысячи — этот густой кроваво-теплый запах. Это не запах устриц и монет, это даже не запах крови. Запах...*»

Мысль разбилась и уплыла.

Джесси спала.

Она осталась с отцом в «Солнечном закате» 20 июля 1963 года по двум причинам. Одна была прикрытием другой. Прикрытием было ее утверждение, что она все еще немножечко боится миссис Жилетт, хотя прошло уже пять лет (даже почти шесть) со времени инцидента с кухаркой и удара по рукам. Настоящая же причина была очевидна как Божий день: это был ее отец, с которым она хотела пережить это неповторимое, единственное в жизни событие.

Ее мать заподозрила продуманную шахматную игру между своим мужем и десятилетней дочерью, и это не очень-то понравилось ей, но к тому времени проблема была практически *fait accompli**. Первым делом Джесси подошла к отцу. До одиннадцатилетия еще оставалось четыре месяца, но от этого она не была глупее. Подозрения Сэлли Махо были справедливыми: Джесси уже запустила тщательно продуманную кампанию, которая позволила ей провести день солнечного затмения с отцом. Намного позже Джесси поняла, что это была еще одна причина, почему она молчала о том, что случилось в тот день; могли оказаться люди — например, ее мать, — которые могли бы сказать, что ей не на что жаловаться, ведь на самом деле она получила то, чего желала.

За день до солнечного затмения Джесси разыскала отца, сидевшего на террасе и читавшего «Мужественные профили», пока его жена, сын и старшая дочь, громко смеясь, плескались в озере. Он улыбнулся, когда Джесси уселась рядом с ним и улыбнулась отцу в ответ. Ради этого интервью Джесси подкрасила губы помадой — цвета перечной мяты, которую Мэдди подарила ей в день рождения. Сначала Джесси не понравилась помада, она казалась ей детской, а на вкус была, как «Пепсодент», — но папа сказал, что ей идет этот цвет, и это превратило помаду в наиболее ценный предмет из небольшого набора ее косметики, в сокровище, которое нужно беречь для особых случаев, как, например, этот.

Отец внимательно, уважительно слушал, пока Джесси говорила, но он даже не пытался скрыть скептический блеск в уголках глаз.

— *Неужели ты действительно хочешь сказать мне, что все еще боишься Адриенн Жилетт?* — спросил он, когда Джесси закончила пересказ часто повторяемой сказки о том, как миссис Жилетт ударила ее по руке, когда Джесси потянулась за последним кусочком торта на тарелке. — *Это было в... я не помню, но я тогда еще*

* Делом решенным (фр.).

работал у Деннингера, поэтому это должно было произойти до 1959 года. И спустя все эти годы ты все еще боишься? Какая же ты трусишка!

— Ну, знаешь... совсем... немного. — Джесси вытаращила глаза, пытаясь намекнуть, что она мало говорит, но многое подразумевает. По правде говоря, она не знала, боится ли все еще старенькую Пыхтельку или нет, но знала, что считает миссис Жилетт докучливой старухой и что у нее нет ни малейшего желания провести день полного солнечного затмения в компании этой дамы, если можно наблюдать это неповторимое явление с папочкой, которого она обожает настолько сильно, что это чувство невозможно передать словами.

Джесси оценила его скептицизм и с облегчением пришла к заключению, что скептицизм был дружественным, возможно, даже заговорщическим. Она улыбнулась и добавила:

— К тому же я хочу остаться с тобой.

Он поднес ее руку к своим губам и поцеловал ее пальчики, как истинный француз. В этот день он не брился — он часто не брился, когда отыхал в поместье, и от щекочущего прикосновения его щетины приятные мураски пробежали по рукам и спине Джесси.

— *Comme tu es douce**, — сказал он. — *Ma jolie mademoiselle. Je t'aime**.*

Она хихикнула, не понимая его неуклюжий французский, но внезапно поняла, что план сработал именно так, как она и планировала.

— Будет просто здорово, — счастливо произнесла она. — Только мы вдвоем. Я смогу приготовить легкий ужин, и мы сможем перекусить прямо здесь, на террасе.

Он усмехнулся.

— Бургеры солнечного затмения *a deux***?*

Джесси засмеялась, согласно кивая и хлопая от удовольствия в ладоши.

Потом он произнес нечто, показавшееся ей странным и немного поразившее ее, потому что он не был человеком, обращавшим особое внимание на одежду:

— Надень свое новое летнее платье.

* Какая ты сладенькая (фр.)

** Моя прекрасная мадемуазель. Я люблю тебя (фр.).

*** Вдвоем (фр.).

— Конечно, если ты хочешь, — ответила Джесси, хотя она уже решила было попросить маму обменять это платье.

Оно было довольно милое — если, конечно, вас не шокируют красные и желтые полосы, настолько яркие, что почти убивают наповал, — но слишком короткое и слишком тесное. Мать заказала его по каталогу только на один размер больше того, который Джесси носила в прошлом году. Однако оказалось, что она выросла намного быстрее, чем ожидалось. Но если папе оно нравится... но если он встанет на ее сторону в деле солнечным затмением и поможет ей...

Он действительно принял ее сторону. Он начал действовать в тот же вечер, предложив своей жене после обеда (и двух или трех фужеров *vin rouge*^{*)} освободить Джесси от завтрашнего «наблюдения за солнечным затмением» с вершины горы Вашингтон. Туда собирались отправиться большинство их соседей; сразу же после Дня Памяти они стали сходиться на неформальные собрания, обсуждая, как и откуда наблюдать приближающееся солнечное затмение (Джесси все эти собрания казались просто вечеринками с коктейлями), и даже придумали себе название «Поклонники Солнца Черного Озера». Поклонники Солнца наняли в одной из школ мини-автобус для этого случая и планировали поехать на вершину самой высокой горы в штате Нью-Хэмпшир, вооружившись пакетами с закуской, солнечными очками, специально сооруженными для этого случая коробками с отражателями, фотоаппаратами с особыми фильтрами и, конечно, шампанским. Большим, просто огромным количеством шампанского. Матери и старшей сестре Джесси это казалось отличным, изысканным развлечением. Но для Джесси это было выражением всего самого скучного и надоедливого... это было *еще до того*, как в расчет была взята старая Пыхтелка.

Джесси вышла на террасу после ужина вечером девятнадцатого — как бы прочитать двадцать или тридцать страниц, пока не село солнце. Настоящая же цель была менее интеллектуальной: она хотела послушать, как отец разыгрывает его — *их* — партию, и мысленно направлять его. Уже много лет они с Мэдди знали, что комната, служившая гостиной и столовой одновременно в их летнем доме, обладала некоторыми акустическими особенностями, обусловленными высоким куполообразным потолком; Джесси полагала, что даже Вилл догадывается о том, что произносимое в комнате слышно на террасе. Только их родители, казалось, не догадывались, что комната может прослушиваться и что большинство важных решений,

* Красного вина (фр.).

принятых ими в этой комнате, пока они наслаждались послеобеденной порцией коньяка или чашечкой кофе, становились известны (по крайней мере, их дочерям) задолго до того, как приказы объявлялись главнокомандующими к исполнению.

Джесси заметила, что держит книгу перевернутой, и поспешила поправить это, пока не появилась Мэдди и не высмеяла ее. Джесси чувствовала себя немного виноватой из-за того, что делает, — при ближайшем рассмотрении это больше походило на подслушивание, чем на мысленное направление отца, — но недостаточно виноватой, чтобы остановиться. Да и вообще она считала, что еще не переступает тонкую границу нравственности. В конце концов, она же не пряталась в шкафу или еще где-то; она сидела на виду у всех, нежась в лучах заходящего солнца. Она сидела с книгой и размышляла, были ли когда-нибудь солнечные затмения на Марсе и наблюдали ли за ними марсиане, если, правда, они вообще существуют. Если ее родители считают, что никто не слышит их разговоры только потому, что они сидят за столом в комнате, то разве это ее ошибка? Неужели ей нужно встать и пойти *рассказать* им об этом?

— Мне так не *кажется*, дорогая, — прошептала Джесси, подражая тону Элизабет Тэйлор в фильме «Кошка на раскаленной крыше», а потом прикрыла руками распивающийся в усмешке рот. К тому же она была избавлена от опасности вмешательства своей старшей сестры, так как слышала крики Мэдди и Вилла, игравших в комнате наверху.

— Я действительно считаю, что *ей* не повредит, если она останется завтра со мной, ты не возражаешь? — спрашивал ее отец тоном веселого победителя.

— Нет, конечно, нет, — ответила ее мать, — но она также не умрет, если поедет с остальными членами семьи в другое место. Она превращается в полнейшую папину дочку.

— Она *ездила* в кукольный театр в Бетель с тобой и Виллом на прошлой неделе. Действительно, разве не ты говорила мне, что она *осталась* с Виллом — даже купила ему мороженое на свои карманные деньги — пока ты ходила на аукцион?

— Для нашей Джесси это не было жертвоприношением, — ответила Сэлли. Ее голос звучал почти недовольно.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что она *поехала* в кукольный театр потому, что хотела, и она *позаботилась* о Вилле потому, что хотела этого сама. — Недовольство сменилось более знакомым тоном — раздражением. «Как же ты можешь понять, о чем я говорю? — спрашивал этот тон. — Как же такое возможно, если ты мужчина?»

Это был тон, который все чаще и чаще звучал в голосе ее матери в последние годы. Джесси знала, что частично это из-за того, что она сама слышала и видела больше, так как становилась взросле, но она также знала это потому, что ее мать все чаще, чем когда-либо, прибегала к этому тону. Джесси не могла понять, отчего склад ума ее отца доводит мать до состояния бешенства,

— Неужели тот факт, что она иногда делает, что хочет, должен внушать беспокойство? — спрашивал теперь Том. — Может быть, это даже свидетельствует против нее? Что нам делать, если ее социальное сознание развивается так же, как и семейное, Сэл? Поместить ее в заведение для трудновоспитуемых девочек?

— Откуда такой покровительственный тон, Том? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.

— Ничего подобного, на этот раз я теряюсь в догадках, милая. Кажется, ведь это наш летний отпуск, ты не забыла? И я всегда придерживался того мнения, что, когда люди находятся на отдыхе, они могут делать то, что хотят, и быть с теми, с кем хотят. Знаешь, я действительно думаю, что в этом заключается весь смысл отдыха.

Джесси улыбнулась, осознавая, что это всего лишь бесплодная перепалка. Когда завтра днем начнется солнечное затмение, она будет со своим папочкой, вместо того чтобы находиться на вершине горы Вашингтон вместе со старой Пыхтелкой и другими членами Общества Любителей Солнца Черного Озера. Ее отец напоминал чемпиона мира по шахматам, сначала давшего фору талантливому новичку, а теперь быстренько расправившегося с ним.

— Ты тоже можешь поехать с нами, Том. Джесси обязательно поедет с тобой.

Вот это фортель. Джесси затаила дыхание.

— Не могу, любовь моя, я ожидаю звонка от Дэвида Адамса из Бруклинской фармацевтической конторы. Очень важное дело... к тому же слишком рискованное. Но я хочу быть честным с тобой: даже если бы я смог поехать, то и тогда я не совсем уверен, что поехал бы. Я, конечно, не в восторге от миссис Жилем, но я могу общаться с ней. Но, с другой стороны, эта ослиная задница Клиффорт...

— Тише, Том!

— Не волнуйся, Мэдди и Вилл внизу, а Джесси на террасе... видишь ее?

В этот момент Джесси внезапно поняла, что ее отец прекрасно знает об акустических особенностях гостиной. Он знал, что его дочь

слышит каждое слово их дискуссии. Хотел, чтобы она слышала каждое его слово. Поток мурашек пробежал по спине Джесси к ногам.

— Я должна была предвидеть, что дойдет и до Дика Клиффорта! — голос ее матери казался возмущенно злым, от этой интонации сердце Джесси екнуло в груди. Ей показалось, что только взрослые способны выражать свои эмоции таким сумасбродным образом — если бы чувства выражались через еду, то чувства взрослых были бы представлены жареным мясом в шоколаде, картофельным пюре с подливкой из ананасов, сливочным мороженым с перцем вместо шоколадного сиропа. Джесси подумала, что быть взрослым — это скорее наказание, чем награда.

— Меня это уже действительно раздражает, Том. Этот человек пытался приставать ко мне шесть лет назад. Он был пьян. В те дни он был постоянно пьян, но теперь все изменилось. Полли Бергерон говорила мне, что он посещает Общество анонимных алкоголиков и...

— Флаг ему в руки, — сухо ответил отец. — Может быть, нам его пригласить в гости, Сэлли?

— Не дури. Ты чуть не сломал ему нос...

— А почему бы и нет? Когда приятель заходит в кухню подлечь себе вина и находит пьяного в стельку мужика, лапающего его жену...

— Это неважно, — раздраженно ответила она, но Джесси подумала, что по каким-то причинам в голосе матери звучит удовольствие. Все поразительнее и поразительнее. — Дело в том, что пора понять, что Дик Клиффорт — не исчадие ада, и пора понять, что Адриен Жилетт — это просто однокаяя пожилая дама, которая когда-то давным-давно немного подшучила, хлопнув Джесси по руке. И, пожалуйста, не надо делать из меня сумасшедшую, Том: я не утверждаю, что это была удачная шутка, конечно, нет. Я просто говорю, что Адриен ничего не имела в виду. У нее не было дурных намерений.

Джесси посмотрела вниз и увидела, что почти свернула книгу в трубочку. Как могла ее мать, окончившая с отличием колледж в Вассаре, быть такой тупой? Ответ был вполне ясен для Джесси: «Не могла». Или она знала больше, чем говорила, или отказывалась замечать правду, но все равно ответ однозначен, неважно, каким путем вы к нему придетете: вынужденная выбирать между уродливой старухой, жившей летом в домике неподалеку от них, и собственной дочерью, Сэлли Махо выбрала Пыхтельку. Хорошенько дело, а?

«Это потому, что я — папина дочка. Да и другие говорят что-то в этом роде. Вот почему, но я никогда не скажу ей этого, а она сама никогда не догадается. Никогда в жизни».

Джесси, продолжавшая сжимать книгу, заставила себя немногого разжать пальцы. Миссис Жилетт хотела *именно* этого, у нее были дурные намерения, но все равно подозрения ее отца, что Джесси уже давным-давно перестала бояться этой старой вороны, были более чем справедливы. К тому же она в любом случае собиралась оставаться с отцом, так что словопрения ее матери ничего не значили, не так ли? Она все равно останется с отцом и не будет общаться с этой противной Пыхтелкой, и все эти великолепные вещи произойдут потому...

— Потому, что отец защищает меня, — пробормотала Джесси.

Да, это было самое главное. Отец *защищал* ее, а мать была *против* нее.

Джесси увидела, как в вечернем небе мягко засветились звезды, и внезапно поняла, что она сидит на террасе и слушает, как родители обсуждают солнечное затмение — и ее — почти три четверти часа. В этот вечер Джесси открыла для себя незначительный, но интересный факт жизни: время бежит быстрее, когда ты подслушиваешь разговор, касающийся тебя.

Не задумываясь, она подняла руку, увидев падающую звезду, и мысленно послала ей древнюю мольбу: хочу, чтобы я могла, хочу, чтобы это случилось. Ее желание, почти уже сбывающееся, было таково: она хотела, чтобы ей позволили завтра оставаться с ним, несмотря ни на что. Лишь два человека, которые знают, как защитить друг друга, сидящие на террасе и ужинающие *a'deux*... совсем, как семейная пара.

— Что касается Дика Клиффорта, то он позже принес мне свои извинения, Том. Я не помню, говорила ли я тебе об этом...

— Ты говорила, но я не помню, чтобы он извинился передо мной.

— Возможно, он боялся, что ты затеешь драку или хотя бы попытаешься... — ответила Сэлли, произнося слова тоном, который показался Джесси совсем особенным — в нем были смешаны счастье, радость и досада. Джесси даже задумалась, возможно ли было говорить подобным образом и оставаться в здравом уме, но потом эта мысль начисто выветрилась из ее сознания. — К тому же я хочу еще кое-что рассказать тебе об Адриен Жилетт, пока мы не закрыли эту тему...

— Ладно.

— Она сказала мне — это было в 1959 году, через два года после происшествия, — у нее начался климакс. Она никогда специально не говорила о Джесси и об инциденте с пирожным но, мне кажется, она хотела извиниться.

— О! — Это было самое холодное, самое адвокатское «о» отца. — Может быть, кто-нибудь из вас собирался передать эту информацию Джесси... и объяснить ей, что это значит?

Мать молчала. Джесси, которая до сих пор имела весьма смутное представление, что все это значило, посмотрела вниз и, увидев, что снова свернула книгу в трубочку, опять попыталась разжать пальцы.

— *О, извиниться?* — Его тон был мягким... вкрадчивым... убийственным.

— *Перестань ловить меня на слове!* — взорвалась Сэлли после продолжительного молчания. — *Это твой дом, а не зал суда, если ты еще не заметил разницу!*

— *Это ты затронула эту тему, а не я,* — ответил отец. — *Я просто спросил...*

— *О, я так устала от того, как ты перекручиваешь мои слова,* — сказала Сэлли. По ее тону Джесси поняла, что мать плачет или вот-вот расплачется. Первый раз в жизни материнские слезы не вызвали у Джесси никакого сочувствия, никакой потребности побежать и утешить (возможно, даже самой расплакаться). Вместо этого в ее груди росло чувство странной неудовлетворенности:

— *Сэлли, ты расстроена. Почему бы нам просто...*

— *Ты радуешься, доводя меня до такого состояния. Странно что разговор с мужем может оказывать такое действие. Разве это не самая сверхъестественная вещь, слышанная тобой? Понимаешь ли ты, о чем мы спорим? Я уже намекнула тебе, Том, — дело не в Адриен Жилетт, и не в Дике Клиффорте, и не в солнечном затмении. Мы спорим о Джесси, о нашей дочери, что в этом нового?*

Она засмеялась сквозь слезы. Послышалось сухое шипение, когда мать чиркнула спичкой, закуривая сигарету.

— *Разве тебе не говорили, что нужно смазывать скрипящее колесо? То же самое и с нашей Джесси, ведь так? Скрипящее колесо. Вечно всем недовольна, пока не сделает все по-своему. Вечно недовольна чужими планами.*

Джесси ужаснулась, услышав что-то похожее на ненависть в голосе матери.

— *Сэлли...*

— *Ладно, не обращай внимания, Том. Она хочет остаться здесь с тобой? Отлично. К тому же с ней не так уж приятно общаться: все, что она делает, так это затевает ссоры с сестрой и жалуется на то, что делает Вилл. По-другому это называется «ябедничает».*

— *Сэлли, вряд ли Джесси когда-либо жаловалась, и она очень хорошо относится...*

— *О, ты не знаешь ее!* — выкрикнула Сэлли Махо, и злоба, прозвучавшая в ее голосе, заставила Джесси содрогнуться. — *Клянусь Господом, иногда ты ведешь себя так, будто она твоя девушка, а не твоя дочь!*

На этот раз длинная пауза принадлежала ее отцу, а когда он снова заговорил, то голос его был мягким и холодным.

— Это скверная, из рук вон плохая вещь, которую только можно сказать, — наконец произнес он.

Джесси сидела на террасе, смотрела на звезду и чувство страха и уныния проникало в нее все глубже и глубже, превращаясь в ужас. Внезапно ей захотелось снова поднять руку вверх и попросить звезду — в этот раз желая вернуть все назад, начиная с того момента, когда она попросила папу, чтобы он помог ей остаться с ним завтра.

Затем раздался звук отодвигаемого мамой кресла.

— Я приношу извинения, — сказала Сэлли, и хотя ее голос звучал все еще сердито, Джесси уловила в нем страх. — Оставайся с ней завтра, если это то, чего ты хочешь! Хорошо! Отлично! Для нее это будет счастьем!

Застучали ее каблучки, пока она быстро выходила из комнаты, затем щелкнула зажигалка отца, прикурившего сигарету.

Сидя на террасе, Джесси почувствовала, как горячие слезы наворачиваются ей на глаза — слезы стыда, боли и облегчения, что спор закончился раньше, чем все могло стать еще хуже... Разве они с Мэдди не замечали, что споры их родителей становились все громче и горячее в последнее время? Что охлаждение между ними после этого немного ослабевало? Но ведь вряд ли возможно, что они...

— Нет, — прервала себя Джесси, прежде чем мысль смогла сформулироваться. — Нет, нет, это абсолютно невозможно, так что заткнись.

Возможно, перемена места приведет к перемене мыслей. Джесси встала, спустилась с террасы и направилась к озеру; там она сидела, бросая в воду камешки, пока отец полчаса спустя не вышел искать ее.

— Бургеры солнечного затмения вдвоем завтра, — сказал он и поцеловал ее в шею. Он побрился, и его подбородок был гладким, но все равно приятные мурашки пробежали по ее спине. — Все договорено и уложено.

— Она сильно злилась?

— Нет, — весело ответил отец. — Сказала, что не возражает, так как ты хорошо вела себя всю неделю и...

Она забыла о своих догадках, что он знает об акустических способностях гостиной больше, чем показывает это, и его великолепная ложь настолько тронула ее, что Джесси чуть не разрыдалась. Она повернулась к отцу, обхватила его за шею и стала покрывать его щеки и губы горячими поцелуями. Его первоначальной реакцией было удивление. Он отдернул руки, и на мгновение они задели маленькие, слегка выпуклые соски на ее груди. Джесси снова

затрепетала, но на этот раз чувство было намного сильнее — настолько сильное, что было почти болезненным, почти шокирующим, — и вместе с ним пришло странное ощущение взрослого противоречия: мир, в котором можно заказать чернику с мясом или яйца в лимонаде — стоило только захотеть, и в котором некоторые люди действительно делали это. Затем его руки скользнули ей на спину и спасательно прижались к лопаткам, мягко прижимая ее к нему, и, даже если они оставались чуточку дольше там, где не следовало, вряд ли Джесси заметила это.

— Я люблю тебя, папа.

— Я тоже люблю тебя, Сорванец. В биллион раз сильнее.

16

День солнечного затмения выдался жарким и влажным, но относительно безоблачным. Предупреждения гидрометеоцентра о том, что густая облачность может затруднить наблюдение феномена, казались беспочвенными, по крайней мере в западной части штата.

Сэлли, Мэдди и Вилл уехали в десять часов, чтобы присоединиться в автобусе к остальным членам Общества Любителей Солнца Черного Озера (Сэлли сдержанно поцеловала Джесси в щеку перед отъездом, Джесси ответила ей тем же), оставляя Тома Махо с девочкой, которую его жена назвала «скрипящим колесом» вчера вечером.

Джесси сменила шорты и футболку на новое платье — то, которое было очень красивым (если, конечно, вас не шокируют ярко-красные и желтые полосы), но слишком тесным. Она воспользовалась духами Мэдди, которые назывались «Мой грех», немного маминым дезодорантом и помадой цвета перечной мяты. И хотя она никогда раньше не вертелась перед зеркалом, прихорашиваясь (это было выражение ее матери: «Мэдди, хватит прихорашиваться, иди сюда»), она потратила достаточно много времени на то, чтобы заколоть волосы вверх, потому что однажды отец сделал комплимент именно такой ее прическе.

Воткнув последнюю шпильку, Джесси потянулась к выключателю в ванной и замерла. Девочка, смотрящая на нее из зеркала, вовсе не походила на девочку, а скорее на девушку. Перемена произошла не потому, что платье подчеркнуло маленькие холмики, которые не будут настоящей грудью еще год или два, и не из-за помады, и не из-за прически; но все это вместе взятое дало больший эффект, чем поодиночке, потому что... Почему? Она не знала. Нечто в том, как

она заколола волосы вверх, подчеркнуло овал ее лица. А может быть, обнаженная линия шеи, более сексуальная, чем прыщики ее грудей или ее узкое, плоское мальчишеское тело? А может быть, это было выражение ее глаз? Некое сияние, которое либо пряталось до этого дня, либо никогда ранее не возникало.

Что бы это там ни было, оно заставило Джесси замешкаться у зеркала, разглядывая свое отражение, и неожиданно она услышала слова своей матери: «Клянусь Господом, иногда ты ведешь себя так, будто она твоя девушка, а не дочь».

Джесси прикусила нижнюю губу и свела брови, вспоминая вчерашний вечер, — трепет, пронзивший ее при его прикосновениях, ощущение его рук на своей груди. Она попыталась воспроизвести этот трепет, но отказалась впустить его. Не имело смысла трепетать и дрожать из-за глупостей, которые ты не можешь понять. О которых даже не можешь думать.

«Отличный совет», — подумала Джесси и погасила в ванной свет.

Она все больше и больше волновалась, когда время перевалило за полдень и переросло в день, приближаясь к моменту солнечного затмения. Джесси настроила приемник на станцию, передающую рок-н-ролл. Ее мать терпеть не могла эту музыку и после тридцати минут звучания Дела Шеннона и Ди Ди Шари или Джери «Ю. С.» Бондс заставляла поменять волну (обычно Джесси или Мэдди, а иногда и Вилла) и перейти на передающую классическую музыку станцию, вешавшую с вершины горы Вашингтон, но сегодня ее отец, казалось, наслаждается этой музыкой, прищелкивая пальцами и подпевая в такт. Слушая «Ты принадлежишь мне», он обнял Джесси и прошелся с ней в танце по террасе. Джесси собралась пообедать в три тридцать, почти за час до солнечного затмения, и пришла спросить отца, будет он есть один бургер или два.

Джесси отыскала отца на южной стороне дома, под террасой, на которой она стояла. На нем были только шорты и рукавички-ухватки. Лоб он повязал платком, чтобы пот не застилал глаза. Он склонился над маленьким, дымящим костерком. Комбинация шорт и платка придавала отцу странный, очень молодой вид; впервые в жизни Джесси увидела мужчину, в которого когда-то летом влюбилась ее юная мать.

Несколько кусочков оконного стекла лежали рядом с костерком. С помощью щипцов для барбекю отец держал одно из них над дымом, поворачивая стекло то в одну, то в другую сторону, как бы поджаривая на костерке некий деликатес. Джесси рассмеялась — рассмешили ее рукавички-ухватки, и он повернулся, тоже усмехаясь.

Мысль о том, что в его поле зрения попадает то, что прикрывает подол ее платья, пронеслась в ее голове, почти не оставив следа. Он был ее отцом, в конце концов, а не дерзким мальчишкой типа Дуана Корсона.

— Что ты делаешь? — хихикнула Джесси. — Я думала, мы будем есть бургеры, а не бутерброды со стеклом!

— Это стеклышики для наблюдения за затмением, Сорванец, — ответил он. — Если сложить два или три таких стеклышика вместе, то можно наблюдать весь процесс затмения, не повредив глаза. Я читал, что нужно быть очень осторожным — можно обжечь сетчатку глаза, даже не заметив этого сразу.

— Ух ты! — сказала Джесси и слегка поежилась.

Мысль о том, что можно сжечь себя, даже не подозревая об этом, поразила ее, как невыносимая непристойность.

— Сколько времени продлится полное затмение, папа?

— Недолго. Около минуты.

— Ладно, сделай побольше таких стекляшек — я не хочу сжечь глаза. Два солнечных гамбургера или один?

— Одного достаточно, если только он будет очень большим.

— Хорошо.

Джесси повернулась, чтобы уйти.

— Сорванец!

Джесси оглянулась на него: маленького, крепенького мужчину с крупными каплями пота, выступающими на лбу, мужчину, на чьем теле почти не было волос, как и у ее будущего мужа, но без очков, носимых Джеральдом, и без его брюха, и в этот момент мысль, что стоящий внизу мужчина был ее отцом, казалась наименее значительной вещью, касающейся ее. Джесси снова была поражена его привлекательной внешностью, тем, как молодо он выглядит. Пока она смотрела, капля пота скатилась по животу отца, прошла слева от его пупка и оставила маленькое темное пятнышко на эластичном пояссе его шорт. Джесси снова взглянула ему в лицо и неожиданно остро ощутила на себе его взгляд. Даже сожуренные от дыма глаза были совершенно великолепны — сверкающие серые, как полынья среди озерного льда. Джесси необходимо было слглотнуть, прежде чем она сможет ответить. В горле у нее пересохло. Возможно, это из-за дыма. А может быть, и нет.

— Да, папа?

Он долго ничего не произносил, только продолжал смотреть на нее снизу вверх, пот медленно стекал по щекам и лбу, груди и талии, и неожиданно Джесси испугалась. Потом он улыбнулся, и все снова стало хорошо.

— Ты выглядишь сегодня очень хорошенькой, Сорванец. Действительно, если это не прозвучит напыщенно, ты выглядишь красавицей.

— Спасибо, это не звучит напыщенно.

Его оценка настолько обрадовала Джесси (возможно, именно из-за злых и обидных характеристик, данных матерью), что комок застрял у нее в горле, и она чуть не расплакалась. Но вместо этого Джесси улыбнулась и сделала шутливый реверанс, а потом поспешила на кухню, сердце ее готово было вырваться из груди. Слова, сказанные матерью, возникли в ее сознании

(ты ведешь себя, будто она твоя...),

но Джесси отмахнулась от них так же бездумно, как от назойливой осы. Но все-таки она чувствовала себя окваченной одной из этих сумасшедших взрослых эмоций — мороженое и мясная подливка, жареный цыпленок и леденец — и, казалось, не могла избавиться от нее. Джесси даже не была уверена, хочет ли отделаться от этого чувства. Мысленно она возвращалась к капельке пота, лениво сползающей по его животу и впитываемой мягким хлопком его шорт, оставляющей на них маленькое темное пятно. Именно этот образ вызвал эмоциональное смятение в душе Джесси. Она продолжала видеть его, видеть, видеть. Это было безумием.

Ладно, ну и что? Это был сумасшедший день, вот и все. Даже солнце собиралось выкинуть нечто безумное. Почему бы не оставить все как есть?

«Да, — согласился голос, который однажды станет голосом Руфи Ниери. — Почему бы и нет?»

Солнечные бургеры с гарниром из грибов и сладким луком прекрасно вписывались в фабулу.

— Это действительно солнечное затмение последней выпечки, сделанной твоей матерью, — сказал ей отец, и Джесси дико захокотала. Круглый столик, уставленный приправами, бумажными тарелками и приспособлениями для наблюдения затмения, разделял их. Наблюдательные устройства, включая поляроидные солнечные очки, два самодельных ящика с отражателями, как те, которые прихватили с собой остальные члены семьи, отправляясь на гору Вашингтон, кусочки закопченного стекла и набор кухонных рука-виц-ухваток. Кусочки стекла уже не были горячими, и об этом Том сказал дочери, но он не был особенно осведомлен в таком деле, как резка стекла, поэтому боялся, что края стекла могут быть опасно острыми.

— Мне еще не хватает того, — сказал он Джесси, — чтобы твоя мать возвратилась домой и увидала записку с сообщением,

что я повез тебя в больницу, чтобы врачи пришли заново пару твоих пальчиков.

— *Мама действительно не очень злилась из-за того, что я осталась с тобой?*

Отец быстро привлек ее к себе.

— *Нет, — сказал он, — но я злился. Я очень злился за нас обоих.*

И он так весело улыбнулся ей, что Джесси просто не могла не улыбнуться в ответ.

В начале затмения они пользовались отражателями — в четыре часа двадцать девять минут после полудня. Солнце находилось в центре отражающей коробки Джесси и по размерам было не больше бутылочной пробки, но оно было настолько ослепительно ярким, что Джесси схватила очки, лежавшие на столе, и надела их. Согласно ее часам, солнечное затмение уже должно было начаться — четыре часа тридцать минут.

— *Кажется, мои часы спешат, — нервно произнесла Джесси. — Или часы врут, или всем астрономам мира нужно поджарить яичницу прямо на лице.*

— *Проверь еще раз, — улыбаясь, произнес Том.*

Когда она снова посмотрела в коробку с отражателем, то увидела, что сверкающий круг больше не был таким круглым; серповидная тень появилась на правой стороне круга. Дрожь пробежала по шее Джесси. Том, который смотрел на нее, вместо того чтобы уставиться в свою коробку, заметил это.

— *Сорванец! Все в порядке?*

— *Да, но... но ведь это немного жутковато, не правда ли, папа?*

— *Да, — ответил он. Джесси посмотрела на отца и успокоилась, увидев, что он ее понимает. Он выглядел почти таким же испуганным, как и она, но это только добавляло ему мальчишеской привлекательности. Мысль о том, что они могли испугаться совершенно разных вещей, даже не пришла ей в голову. — Хочешь сесть ко мне на колени Джесси?*

— *Можно?*

— *Конечно!*

Джесси опустилась ему на колени, все еще держа в руках коробку с отражателем. Она поерзала, усаживаясь поудобнее, вдыхая приятный слабый запах его пота, разогретой солнцем кожи и еле уловимый аромат лосьона после бритья. «Кажется, он называется «Красное дерево», — подумала Джесси. Подол ее платья поднялся так высоко, что обнажил ноги (трудно было что-то с этим поделать в таком коротком платьице), и Джесси вряд ли заметила, когда отец положил руку ей на ногу. К концу концов, это был ее отец — *папа*, — а не

Дуан Корсон или Ричи Эшлок, мальчик, над которым она и ее подружки подсмеивались в школе.

Минуты тянулись медленно. Джесси все еще ерзала, стараясь устроиться поудобнее — его колени, казалось, состояли сегодня из углов — за этим занятием она провела две или три минуты. Наверное, даже дольше, потому что порыв ветра, налетевший на террасу и растормошивший ее, был удивительно холодным, касаясь его потных рук, да и весь день как-то изменился: цвета, бывшие такими яркими, когда она откинулась на его плечо и закрыла глаза, теперь побледнели, да и сам свет несколько поблек. Как будто она смотрела на мир через пергаментную бумагу. Она посмотрела в свою коробку с отражателем и была удивлена, почти поражена — теперь там была только половина солнца. Джесси взглянула на часы: было девять минут шестого.

— *Это случилось, папа! Солнце гаснет!*

— Да, — согласился он. У него был такой странный голос — осторожный и задумчивый, какой-то смазанный и низкий. — *Все по расписанию.*

Джесси, как в тумане, отметила, что его рука скользнула выше — довольно-таки намного выше — по ноге, пока она устраивалась поудобнее.

— *Я уже могу посмотреть сквозь стекло, папа?*

— *Еще нет,* — ответил он, и его рука скользнула еще выше по ее бедру. Рука была теплой и нежной, но не неприятной. Джесси положила на нее свою руку, повернулась к нему и усмехнулась.

— *Это волнующе, правда?*

— Да, — ответил он тем же самым странным, размытым тоном. — *Конечно, Сорванец. Даже намного более волнующе, чем я думал.*

Прошло еще какое-то время. В отражателе луна продолжала наплывать на солнце после пяти двадцати пяти, а потом пяти тридцати. Почти все внимание Джесси теперь было сконцентрировано на уменьшающемся изображении в коробке с отражателем, но какая-то смутная часть ее осознавала, какие твердые сегодня у него колени. Что-то прижималось к ней снизу. Это не было неприятно, но давление было настойчивым. Джесси ощущала это, как ручку какого-то инструмента — отвертки или молотка.

Джесси снова изогнулась, желая найти более удобное место на коленях отца, и Том сделал несколько свистящих вздохов сквозь зубы.

— *Папа? Я очень тяжелая? Я сделала тебе больно?*

— *Нет, ты хорошая.*

Джесси взглянула на свои часики. Пять тридцать семь. Четыре минуты до полного затмения, может быть, немного больше, если часы спешат.

— Я уже могу смотреть через стекло?

— Еще нет, но уже скоро, Сорванец!

Джесси слышала, как Дэбби Рейнольдс поет что-то типа:

«Старый филин... ухает в глубине...

Тэмми... Тэмми... Тэмми влюблена».

Потом неприятно завыли скрипки, и диск-жокей, заменив пластинку, сказал, что в Ски Тауне (США) темнеет (так дикторы почти всегда называли Северный Конвей), но у них там такая сильная облачность, что невозможно наблюдать солнечное затмение. Ведущий сообщил также, что на улицах полно разочарованных людей в солнечных очках.

— А мы не разочарованные люди, правда, папа?

— Вовсе нет, — согласился он. — Мы самые счастливые люди во Вселенной.

Джесси снова уставилась в коробку с отражателем, забыв обо всем на свете, кроме тоненького полумесяца, который она теперь могла наблюдать, даже не щуря глаза за стеклами солнечных очков. Темная серповидная тень с правой стороны, которая сигнализировала о начале затмения, теперь сменилась сияющим серпиком слева. Серпик был настолько ярким, что, казалось, он плавает на поверхности отражателя.

— Посмотри на озеро, Джесси!

Джесси взглянула, и ее глаза расширились от удивления за стеклами очков. Увлекшись наблюдением изменяющегося изображения в коробке, Джесси не замечала, что происходит вокруг нее. Пастельные краски поблекли, превратившись в древние акварели. Несвоевременные сумерки, великолепные и пугающие одновременно для десятилетней девочки, сгущались вокруг Черного озера. Где-то в лесу встревоженно ухала сова. Внезапно Джесси почувствовала дрожь, пробежавшую по ее телу. По радио закончилась реклама и начал петь Марвин Гайе:

«О, слушайте все, особенно вы, девочки,
Разве это правильно оставаться одному,
Если тот, кого ты любишь,
никогда не бывает дома?»

Откуда-то с севера снова донеслось уханье совы. Это был пугающий звук, очень пугающий. Когда она снова вздрогнула, Том обнял ее. Джесси с благодарностью прижалась к его груди.

— У меня мурашки бегают по телу, папа.

— Это не продлится долго, сладенькая. Возможно, ты больше никогда в жизни не увидишь этого. Попытайся не сильно бояться, чтобы насладиться виденным.

Джесси посмотрела в коробку с отражателем. Там ничего не было.

«Я слишком сильно люблю, иногда говорят мне друзья...»

— Папа? Папочка? Оно ушло. Могу я...

— Конечно, теперь пора. Но когда я скажу, что пора остановиться, ты прекратишь. Без возражений, поняла?

Она поняла. Сама мысль об ожоге сетчатки глаза — ожоге, о котором ты даже не догадываешься, а потом оказывается уже слишком поздно, чтобы исправить что-то, — напугала ее еще сильнее, чем ухающаяся в лесу сова. Но другого выхода не было, теперь это уже происходило. Выхода не было.

«Но я верю, — пел Марвин. — Да, я верю... что именно так нужно любить женщину».

Том Махо дал Джесси одну из кухонных рукавичек-ухваток и три кусочка закопченного стекла. Он дышал учащенно, и внезапно Джесси почувствовала к нему жалость. Солнечное затмение довело его почти до дрожи, но ведь он был взрослым, поэтому не должен был пугаться. По многим причинам взрослые были несчастными созданиями. Джесси захотелось повернуться и успокоить его, но потом она решила, что, возможно, от этого он почувствует себя только хуже.

Он почувствует себя глупо. Джесси нормально относилась к сочувствию, но она терпеть не могла оказываться в глупом положении. Поэтому вместо этого Джесси вытянула кусочки стекла перед собой, потом медленно подняла голову вверх, чтобы посмотреть сквозь них.

«А теперь, цыплятки, вы все должны согласиться, — пел Марвин, — все не так, как должно было бы быть. Поэтому скажите: «Да!» Скажите: «Да, да, да!»

То, что Джесси увидела сквозь самодельные фильтры...

В этом месте Джесси, прикованная наручниками к кровати в летнем домике на северном берегу озера Кашвакамак, Джесси, которой теперь было не десять, а тридцать девять лет, и которая была вдовой уже почти двенадцать часов, неожиданно поняла две вещи: во-первых, она спит, во-вторых, она не столько *видит* во сне солнечное затмение, сколько *воспроизведит* его. Она немного поразмыслила о том, что это был сон, только сон, такой же, как и о вечеринке в честь дня рождения Вилла — большинство гостей, присутствовавших на ней, либо были уже мертвы, либо она действительно встречала их в течение своей жизни. Это новое кино имело надреальное, но чувственное качество, как и предыдущий сон, но оно было каким-то неправдоподобным, потому что весь *день* был нереальным и похожим на сон. Сперва солнечное затмение, а потом ее отец...

«*Нет, — решила Джесси. — Ни слова больше, я выберусь отсюда.*»

Она предприняла судорожную попытку вырваться из объятий сна, или из его воспроизведения, или из чего бы там ни было. Ее умственная попытка передалась всему телу, и цепи наручников зазвенели, когда Джесси неистово заметалась из стороны в сторону. Джесси почти сделала это; на какое-то мгновение она почти выбралась. И она *могла* сделать это, *сделала бы* это, если бы хорошенько не подумала в последний момент. Ее остановил невыносимый ужас перед тенью — некоей фигурой, которая может превратить то, что случилось на террасе в тот день, в прах. И увиденное во сне покажется просто незначительным по сравнению с этим... если она встретится с ним.

«*Но, может быть, я не встречусь с ним. Хотя бы пока.*»

Но, возможно, потребность спрятаться в сон не была единственной причиной, было нечто еще. Какая-то часть Джесси хотела поставить все точки над «и», чего бы это ей ни стоило.

Она снова нырнула в подушки, глаза были закрыты, руки раскинуты, лицо бледное и напряженное.

— Особенно вы, девушки, — прошептала она в темноту. — Особенно все вы, девушки.

Джесси снова зарылась в подушки, и день солнечного затмения опять захватил ее.

То, что Джесси увидела сквозь стекло и самодельный фильтр, было настолько странным и пугающим, что сначала ее разум отказался воспринять это. Там, в полуденном небе, было такое огромное, величественно красивое круглое пятно, что Джесси стало по-настоящему страшно.

«Если я разговариваю во сне... то это потому что я не видел мою возлюбленную почти всю неделю», — признавался Марвин Гайе.

Именно в этот момент Джесси почувствовала руку отца на соске левой груди. Рука мягко сжала грудь, потом снова вернулась к правой, как будто сравнивая их размер. Теперь отец дышал очень часто, он дышал ей в ухо, как паровой двигатель, и Джесси снова ощутила твердый предмет, давящий на нее снизу.

«Могу ли доказать? — кричал Марвин Гайе, этот певец души. — Доказать? Доказать?»

— Папа? С тобой все в порядке?

Она снова почувствовала слабое покалывание в груди — наслаждение и боль, жареная индюшка с ванильной глазурью и шоколадным сиропом, — но в этот раз к этому добавились тревога и некое замешательство.

— Да, — ответил он, но его голос звучал почти как голос незнакомца. — Да, все хорошо, но не оглядывайся.

Отец изменил положение тела. Рука, только что лежавшая у нее на груди, отправилась куда-то еще; одно бедро Джесси поднялось вверх, приподнимая подол ее платья все выше и выше.

— Папа, что ты делаешь?

В ее вопросе не было страха, скорее удивление. Однако в самом тоне вопроса звенел страх. Над ней огненно сиял ореол странного света вокруг темного круга в небе цвета индиго.

— Ты любишь меня, Сорванец?

— Да, конечно...

— Тогда ни о чем не беспокойся. Я никогда не сделаю тебе больно. Мне хочется быть ласковым с тобой. Просто наблюдай за затмением и позовь мне быть ласковым с тобой.

— Я не уверена, что хочу этого, папа. — Чувство смятения росло. — Я боюсь опалить глаза Сжечь сетчатку.

«Но я верю, — пел Марвин, — мужчина и женщина — лучшие друзья... и я привязан к ней... до самого конца».

— Не волнуйся. — Теперь отец почти пыхтел. — У тебя есть еще двадцать секунд. Самое меньшее. Поэтому не волнуйся. И не оборачивайся.

Джесси услышала хлопок резинки, но это были его шорты, а не ее; ее трусики были там, где им и полагалось быть, однако Джесси поняла, что если она посмотрит вниз, то сможет увидеть их — вот как высоко он подобрал подол ее платья.

— Ты любишь меня? — снова спросил он, и, хотя Джесси охватило предчувствие, что правильный ответ на этот вопрос стал неправильным, ей было всего десять лет, и это было единственным ответом, который она могла дать. Джесси ответила, что любит.

«Докажи, докажи», — просил Марвин, понизив голос.

Отец снова изменил положение, сильнее прижимая твердую вещь к ее попочке. Внезапно Джесси поняла, что это такое — это не ручка отвертки и не ручка отбивного молоточка, это уж точно, — Джесси ощутила, как тревога переросла в подозрительное удовольствие, имеющее больше отношение к ее матери, чем к отцу.

«Вот почему ты не хотела защищать меня», — подумала Джесси, смотря на темный круг в небе сквозь несколько слоев закопченного стекла, а потом мысленно добавила:

«Мне кажется, это то, к чему мы оба стремились».

Неожиданно изображение размылось, а наслаждение ушло. Осталось только все возрастающее чувство тревоги. «О Господи, — подумала она. — Мои глаза... должно быть, сетчатка начинает гореть».

Рука, лежавшая на бедре, теперь медленно двигалась между ее ног вверх, пока не замерла на бугорке и не обняла его нежно и трепетно. «Папе не следовало бы делать этого, — подумала Джесси. — Это неподходящее место для его руки. Разве только...»

«Он шутит с тобой», — заговорил голос внутри нее.

Впоследствии именно о нем она думала как об Образцовой Женушке или Хозяюшке, это он частенько наполнял ее раздражением, иногда это был голос предостережения, но почти всегда — голос категорического отказа.

Неприятности, требования, боль... все они могут уйти, если вы игнорируете их с достаточным энтузиазмом. Это была точка зрения Хозяюшки. Этот голос мог с непробиваемым упорством доказывать, что наиболее очевидные ошибки — все-таки вещи правильные, что это часть какого-то огромного плана, который мы, смертные, не в состоянии понять. Настанут времена (особенно между одиннадцатым и двенадцатым годами ее жизни, когда Джесси станет называть этот голос мисс Пэтри, как и свою учительницу в школе), когда ей придется затыкать уши руками, чтобы заглушить этот нервирующее убедительный голосок, — напрасно, конечно, так как он исходил из таких глубин, до которых она вряд ли могла дотянуться руками, —

Но в тот момент, когда страх уходил, небо темнело над западной частью Мэна и странные звезды горели в водах Черного озера, в тот момент, когда она догадалась (в каком-то роде), зачем находится рука отца между ее ног, Джесси рассыпала в нем только доброту и практичность и ухватилась за эти слова с паническим облегчением.

«Это просто шутка, вот и все, Джесси».

«Ты уверена?» — мысленно возразила она.

«Да, — спокойно ответил голос — за годы, прошедшие после этого, Джесси выяснила, что этот голос почти всегда был уверен, неважно, ошибался он или нет. — Он считает, что это шутка, вот и все. Он не догадывается, что испугал тебя, так что не открывай рот и не порть чудесный день. Это не такое уж и важное дело».

«Не верь ей, малышка! — возразил другой голос. — Иногда отец ведет себя так, будто ты его девушка, а не дочь, именно так он ведет себя прямо сейчас! Он не шутит с тобой, Джесси! Он трахает тебя!»

Джесси была почти абсолютно уверена, что это ложь, что это страшное и запрещенное дворовое словечко относится к акту, который невозможно выполнить одной рукой, но сомнения остались. Неожиданно испугавшись, Джесси вспомнила, как Карэн О'Коннорила ей, чтобы она никогда не позволяла мальчикам просовывать язык в свой рот, а то может родиться ребеночек. Карэн сказала, что иногда это случается, но женщина, которой нужно вырвать, чтобы родить ребеночка, обычно умирает, умирает и ребенок.

«Я никогда не позволю мальчику целовать меня по-французски, — говорила Карэн. — Я могу позволить вознести себя на вершину блаженства, если действительно буду любить, но я не хочу носить ребенка в горле. Как же я смогу ЕСТЬ?»

Тогда концепция такого способа беременности казалась Джесси настолько дикой и сумасшедшей, что даже очаровала ее, — и кто, как не Карэн О'Коннор, интересующаяся вопросом, горит ли в холодильнике свет, когда он закрыт, могла додуматься до такого? Теперь, однако, эта возможность снова предстала перед ней в своей таинственной логике. Может быть — только может быть — это было правдой? Если можно забеременеть от языка мальчика, если такое может случиться, тогда...

К тому же твердый предмет все еще прижимается к ней снизу. Этот предмет, который не был ручкой от отвертки или отбивного молоточка ее матери.

Джесси попыталась встать на ноги, это был жест противоречия для нее, но не для него. Он страстно вздохнул — болезненный,

испуганный звук — и сильнее прижал пальцы к чувствительному холмику, спрятанному под тонкой тканью трусиков. Было немножко больно. Джесси застыла неподвижно и застонала.

Немного позже она поняла, что отец расценил этот стон как страсть. Как бы он это ни интерпретировал, это означало кульминационную часть всей странной интермедии. Неожиданно он изогнулся под ней, мягко подталкивая ее вверх. Движение было пугающим, но и странно приятным... от того, что он был таким сильным и мог так высоко подкинуть ее. На какую-то долю секунды Джесси почти поняла источник происходящего: опасный и неуправляемый, как и то, что контроль над этим находится вне пределов ее возможностей — даже если она захочет контролировать ситуацию.

«Я не хочу, — подумала Джесси. — Я ничего не хочу менять. Что бы это ни было, это ужасно, пугающе и страшно».

Затем твердый предмет прикоснулся к ее ягодицам. Предмет, который не был рукояткой отвертки, конвульсивно сжимался, какая-то жидкость разливалась, оставляя мокре горячее пятно на ее трусиках.

«Это пот, — быстро произнес голос, который когда-то будет принадлежать Образцовой Хозяюшке. — Вот что это такое. Он почувствовал, что ты испугалась его, испугалась сидеть у него на коленях, и это заставило его нервничать. Ты обязана сожалеть об этом».

«Пот, о Господи Боже мой! — раздался другой голос, который будет в будущем принадлежать Руфи Ниери. Он звучал спокойно, сильно, пугающе. — Ты знаешь, что это такое, Джесси, это вещество, о котором болтала Мэдди со своими подружками, оставшимися ночевать у вас, когда они думали, что ты уже заснула. Синди Лессард называла это «мужеством». Она сказала, что оно белое и бьет струей из штучек парней, как зубная паста. Именно это вещество делает детей, а не французский поцелуй».

Какое-то мгновение Джесси балансировала на его выгнувшемся теле, смущенная, испуганная и незнакомо взволнованная, слыша его прерывистое дыхание во влажном воздухе. Затем его бедра и ноги медленно расслабились, и он опустил ее вниз.

— Не смотри больше на солнце, Сорванец, — сказал отец, и хотя он все еще тяжело дышал, его голос снова был почти нормальным. Пугающее возбуждение ушло из него, в его чувствах теперь не было противоречия: просто глубокое расслабление. Что бы там ни случилось, — если что-то действительно произошло — все теперь закончилось.

— Папа...

— *Нет, не спорь. Твое время кончилось.*

Он осторожно взял закопченные стекла из ее рук, одновременно целуя Джесси в шею, даже еще более осторожно. Джесси смотрела на сгустившуюся темноту над озером, пока он проделывал все это. Она слабо осознавала, что сова все еще кричит, а обманутые сверчки завели свою песню на два или три часа раньше. Остаточное изображение плавало перед ее глазами, как черная круглая татуировка, окруженная неправильным ореолом зеленого огня, и Джесси подумала: *«Если бы я смотрела на солнце немного больше, я бы сожгла сетчатку глаза, возможно, мне пришлось бы смотреть на него всю свою последующую жизнь, как случается, если кто-то посветил тебе фонариком прямо в глаза».*

— *Почему бы тебе не пойти в дом и не надеть джинсы, Сорванец? Признаю, что надеть это платьице не было такой уж умной мыслью.*

Он говорил глухим беспристрастным тоном, который доказывал, что надеть это летнее красивенькое платьице было полностью ее идеей (*«Даже если это и не так, то тебе следовало бы лучше знать»*, — тотчас же произнес голос мисс Пэтри), и новая мысль неожиданно взбрела в голову Джесси: что если он решит рассказать маме о том, что случилось? Возможность этого была настолько ужасной, что Джесси разрыдалась.

— *Извини, папа, —* рыдала она, обнимая его и прижимаясь лицом к впадине на его шее, вдыхая запах его лосьона, или одеколона, или чего бы там ни было. — *Если я сделала что-то плохое, я действительно очень, очень сожалею.*

— *Господи, нет же, —* ответил он, все еще произнося слова сдавленным озабоченным голосом, как бы решая, должен ли он рассказать Сэлли о поступке Джесси или лучше не выносить сор из избы. — *Ты не сделала ничего плохого, Сорванец.*

— *Ты все еще любишь меня?* — настаивала Джесси. Ей показалось, что нужно быть сумасшедшей, чтобы спрашивать, сумасшедшей, чтобы рисковать, ведь можно получить ответ, который может просто убить ее, но она должна была спросить. *Должна.*

— *Конечно, —* сразу же ответил ее отец. Когда он заговорил, уверенность понемногу возвращалась в его голос — вполне достаточно, чтобы она поняла, что отец говорит правду (о, какое это было облегчение!), но она еще не перестала подозревать, что все изменилось, и все потому, что она чего-то не понимает. Она знала, что они (*шутка, это была всего лишь шутка*)

каким-то образом занимались сексом. Но она не знала, насколько серьезно все это могло быть. Возможно, это не было то, что девочки

вечером называют «пройти весь путь» (кроме странно осведомленной Синди Лессард; она называла это «нырянием в глубокое море на длинном белом шесте» — термин, который поразил Джесси как ужасный и смешной одновременно), но тот факт, что он продвинул свою штучку в нее, все же не означало, что она стала тем, что некоторые девочки называют «вот так так». То, о чем Карэн рассказывала ей в прошлом году, когда они возвращались из школы, всплыло теперь в сознании Джесси, но она попыталась отбросить эти воспоминания. Это почти не могло быть правдой, и он не просунул свой язык ей в рот, даже если слова Карэн и могли быть правдой.

В голове Джесси раздался злой, громкий голос ее матери: «*Разве тебе не говорили, что скрипящие колеса надо смазывать?*»

Джесси почувствовала горячее мокрое пятно на своих ягодицах. Оно все еще растекалось. «Да, — подумала она. — Мне кажется, что это правильно. Скрипящие колеса действительно смазывают».

— *Папа...*

Он вскинул руки вверх. Жест, который он часто делал за обеденным столом, когда ее мама или Мэдди (обычно ее мать) начинали горячиться по какому-то поводу. Джесси не помнила, чтобы когда-нибудь подобный жест относился к ней, и это усилило ее чувство, что здесь произошло нечто непоправимо ужасное и что последуют фундаментальные, непоправимые изменения как результат фатальной ошибки (возможно, того, что она согласилась надеть это платье), совершенной ею. Эта мысль повергла ее в такую глубокую печаль, будто пальцы невидимой руки копошились внутри нее, сжимая и щипая ей кишки.

Уголком глаз Джесси заметила, что пояс его шорт был приспущен. Что-то высывалось из них, нечто розовое, и уж точно это была не рукоятка отвертки.

Прежде чем она успела отвернуться, Том Махо уловил направление ее взгляда и быстрым поддернул шорты, заставляя спрятаться розовый предмет. Его лицо на мгновение исказило отвращение, и Джесси снова затрепетала от страха. Он подметил ее взгляд и ошибочно принял случайное за преднамеренное.

— *То, что случилось, — начал он, затем откашлялся. — Нам необходимо поговорить о том, что только что произошло, Сорванец, но не в эту минуту. Пойди в дом и переоденься, может быть, прими душ. Попспеши, чтобы не пропустить окончание затмения.*

Джесси потеряла всяческий интерес к затмению, однако ни за что на свете не призналась бы в этом. Она кивнула в ответ, а потом обернулась.

— *Папа, со мной все в порядке?*

Он удивленно, с сомнением посмотрел на нее — комбинация, которая усилила чувство, что злые, яростные руки орудуют внутри нее, разрывая ей кишечки... и внезапно поняла, что ему так же плохо, как и ей. Может быть, даже хуже. И с ясностью, к которой не примешивались никакие другие голоса, кроме ее собственного, подумала: «*Так тебе и надо! Новичок, ты начала это!*»

— Да, — ответил он... но его тон не обвинял ее. — *Все нормально, Джесс. А теперь иди в дом и приведи себя в порядок.*

— Хорошо.

Она попыталась улыбнуться. Джесси очень старалась и действительно несколько преуспела в этом. Отец выглядел немного испуганным, но потом все же улыбнулся ей в ответ. Это чуть-чуть успокоило ее, и рука, орудующая внутри нее, слегка ослабила свою хватку. К тому времени, когда она дошла до большой спальни наверху, которую делила вместе с Мэдди, чувства стали возвращаться. Самым ужасным был страх того, что он решит рассказать маме о происшедшем. А что подумает мама?

«*Это наша Джесси. Скрипящее колесо.*»

Комната была разделена на две части шторой на манер того, как это делается в лагере. Они с Мэдди повесили старые простыни на веревку, а потом разрисовали их яркими красками Вилла.

Разрисовывать простыни и делить спальню с Мэдди было так весело когда-то, но теперь все казалось такой глупостью и ребячеством, а то, как ее искривленная тень извивалась на простыне, напоминая тень монстра, было просто ужасающим. Даже ароматный запах сосновой смолы, обычно так нравившийся ей, теперь был тяжелым и перенасыщенным, как запах освежителя воздуха, которого разбрзгали слишком много, чтобы перебить какой-то неприятный запах.

«*Это наша Джесси, вечно всем недовольная, пока не добьется возможности сделать все по-своему. Вечно недовольная чужими планами. Не способная жить с другими в мире и согласии.*»

Джесси поспешила в ванную комнату, желая опередить этот голос и вполне понимая, что ей не удастся сделать это. Она включила свет и одним махом сдернула платье через голову. Затем швырнула его в корзину для белья, довольная тем, что отделалась от него. Джесси взглянула на себя в зеркало, широко раскрыв глаза, и увидела лицо маленькой девочки в ореоле волос, причесанных, как у взрослой девушки... с прической, потерявшей свою форму, так как шпильки, поддерживающие волосы, выпали. Это было тело маленькой девочки — плоская грудь и узенькие бедра, но оно не будет таким долго. Оно уже начало меняться, и оно сделало с ее папой нечто, чего не должно было делать.

«Я не хочу талии и таких изогнутых бедер, — пронеслась смутная мысль. — Если они творят вещи, подобные тому, что случилось, кто же захочет?»

Эта мысль снова напомнила ей о мокром пятне на трусиках. Джесси выскользнула из них (хлопчатобумажные трусики, когда-то зеленые, но теперь настолько выцветшие, что казались серыми) и подняла их вверх. Сзади на них что-то было, и это был не пот. И уж вовсе это не походило на зубную пасту. Скорее всего, оно напоминало серо-перламутровое моющее средство для посуды. Джесси склонила голову и осторожно принюхалась. Она уловила запах, который позже будет ассоциироваться у нее с запахом воды в озере после жарких солнечных дней или с запахом родниковой воды. Однажды она взяла у отца из рук стакан воды, запах которой она ощутила очень остро, и спросила, слышит ли он этот запах.

Отец покачал головой.

— *Нет*, — беззаботно ответил он, — но это не означает, что запаха нет. Просто это значит, что я слишком много курю. Мне кажется, это запах водоносного слоя, Сорванец. Микроэлементы минералов, вот и все. Пахнет немного, и это значит, что твоя мать тратит целое состояние на смягчение воды, но это не повредит тебе. Клянусь Богом.

«Микроэлементы минералов, — подумала Джесси и снова вдохнула этот нежный аромат. Она не могла понять, почему он так очаровывал ее, но это было именно так. — Запах водоносных слоев, вот и все. Запах...»

Затем заговорил более настойчивый голос. В день солнечного затмения он больше напоминал голос ее матери (и назвал ее малышкой, совсем как Сэлли, когда та была раздражена какой-то выходкой Джесси), но Джесси казалось, что на самом деле этот голос принадлежит ей, но только уже более взрослой. И если его воинственный напор несколько подавлял ее, то это только потому, что он раздался слишком рано, по правде говоря. Однако он все равно был здесь. Он был здесь и изо всех сил старался привести ее в чувство. Она находила его резкость странно успокаивающей.

«Это вещество, о котором говорила Синди Лессард, вот что это такое — это мужество, малышка. Мне кажется, что ты должна быть благодарна, что оно излилось на твое белье, а не в какое-то другое место, но только не утешай себя сказками, что теперь ты пахнешь озером или микроэлементами минералов из глубоко залегающих водоносных слоев, или еще чем-нибудь. Карэн О'Конн просто глупая дурочка, во всей мировой истории никогда не было женщины, которая выносила бы ребенка в горле, и ты знаешь

об этом, а вот Синди Лессард не дурочка. Мне кажется, она видела это вещество, а теперь и ты увидела его. Мужское вещество. Мужество».

С внезапным отвращением — не столько к тому, что это было, а к тому, от кого это исходило, Джесси швырнула трусики в корзину для белья поверх платья. Затем она представила мать, выбирающую белье из корзины в комнате для стирки, выуживающую именно эти трусики из этой корзины и обнаруживающую остатки этого. Что она подумает? Ну, конечно, это скрипящее колесо в их семье, которое нуждается в смазке... что же еще?

Ее отвращение переросло в ужасное чувство вины, и Джесси быстренько выудила трусики из корзины. Сразу же слабый запах проник в нее — густой, нежный, дурманяющий.

«Устрицы и монеты», — подумала она, это было все, что она помнила. Джесси опустилась на колени перед унитазом, трусики были зажаты в руке, и вырвала. Она быстренько дернула ручку смывного бачка, пока запах полупереваренного гамбургера не разнесся в воздухе, потом пустила холодную воду и прополоскала рот. Страх, что она проведет здесь целый день, стоя на коленях перед унитазом и выворачивая кишкы наружу, начал проходить. Желудок, казалось, успокоился. Если бы только она могла не вдыхать этот молочно-медный запах...

Задержав дыхание, Джесси швырнула трусики под струю воды, прополоскала их, выкрутила и бросила в корзину для белья. Затем она сделала глубокий вдох, откидывая волосы с висков тыльной стороной мокрых ладоней. Если мать спросит ее, что делают мокрые трусы в корзине для грязного белья...

«Ты уже думаешь, как преступник, — проворчал голос, который будет когда-то принадлежать Образцовой Хозяюшке. — Видишь, до чего доводят плохие поступки, Джесси? Видишь? Я надеюсь, что ты...»

«Успокойся, пресмыкающееся, — огрызнулся другой голос. — Ты сможешь потом изводить нас придирками сколько захочешь, но сейчас нам необходимо позаботиться об одном дельце, если ты не возражаешь. Хорошо?»

Ответа не последовало. Это было очень хорошо. Джесси снова нервно провела рукой по волосам, хотя теперь они почти не свисали на виски. Если мать спросит ее, что делают мокрые трусы в корзине для грязного белья, Джесси просто скажет, что купалась, не переменив их на купальник. Все трое делали подобное этим летом.

«Тогда тебе нужно не забыть сунуть под воду также шорты и футболку. Правильно, малышка?»

— Правильно, — согласилась Джесси. — Ценное замечание...

Она проскользнула в спальню, чтобы отыскать шорты и футболку, бывшие на ней, когда ее мама, брат и старшая сестра уезжали этим утром... теперь, казалось, это было тысячу лет назад. Джесси не сразу нашла их — ей пришлось опуститься на колени, чтобы заглянуть под кровать.

«Другая женщина тоже стоит на коленях, — отметил голос, — и она тоже пахнет так же, как и ты. Запах, напоминающий запах меди и сметаны».

Джесси слышала, но не слушала. Мысли ее сконцентрировались на поиске шорт и футболки, на ее алиби. Как она и подозревала, они оказались под кроватью. Джесси потянулась за ними.

«Он исходит из колодца, — продолжал голос. — Запах колодца».

«Да, да, — подумала Джесси, схватив одежду и направляясь в ванную комнату. — Запах из колодца, очень хорошо, ты поэт и даже не догадываешься об этом».

«Она заставила упасть его в колодец», — произнес голос, наконец-то пробившись в ее сознание. Джесси застыла в дверях, ведущих в ванную, ее глаза расширились. Теперь она неожиданно как-то по-новому смертельно испугалась. Теперь, когда она действительно прислушивалась к этому голосу, она поняла, что этот голос абсолютно не был похож на другие; этот голос был похож на те, которые можно услышать по радио глубокой ночью, когда условия для этого просто идеальные, — голос, доносящийся из очень далекого далека.

«Не так уж далеко, Джесси; она тоже в зоне солнечного затмения».

На какую-то долю секунды коридор на втором этаже дома на Черном озере, казалось, исчез. То, что заменило его, было кустами ежевики, не отbrasывавшими тень под темнеющим небом дня солнечного затмения, и четким запахом морской соли. Джесси увидела тощую женщину в длинном платье с посеребренными сединой волосами, собранными по-деревенски на затылке. Женщина стояла на коленях. Из-под платья виднелся край белой ткани. Джесси была уверена, что это комбинация.

— Кто ты? — спросила Джесси женщину, но женщина исчезла... если, конечно, вообще когда-нибудь была здесь.

Джесси оглянулась через плечо в надежде увидеть эту странную тощую женщину там. Но коридор был пуст — Джесси была одна.

Она посмотрела на свои руки и увидела, что они покрылись гусиной кожей.

«Ты теряешь разум, — простонал голос будущей Образцовой Женушки Белингейм. — О, Джесси, ты вела себя плохо, а теперь расплатой будет потеря рассудка».

— Нет, — ответила Джесси. Она взглянула на свое бледное лицо в зеркало. — Нет.

Она подождала еще немножко, как бы с ужасом ожидая появления других голосов или видения женщины, стоящей на коленях, но ничего не услышала и ничего не увидела. Этот другой, дрожащий голос, сказавший Джесси, что какая-то женщина каким-то образом столкнула какого-то мужчину на дно колодца, исчез.

«Внимание, малышка, — посоветовал голос, который в один прекрасный день будет принадлежать Руфи, и Джесси четко поняла, что этот голос не вполне доверяет тому, и решила, что ей лучше продолжать свое дело, и прямо сейчас. — Ты подумала о женщине с виднеющейся комбинацией, потому что сегодня думашь только о нижнем белье, вот и все. На твоем месте я бы забыла обо всем».

Это был великолепный совет. Джесси быстренько намочила шорты и футболку под краном, выжала их, а потом встала под душ. Она намылилась, ополоснулась, вытерлась и поспешила в спальню. Обычно Джесси не утруждала себя тем, чтобы плотно запахивать халат, пока она пересекала коротенькое пространство коридора, отделяющее ванную от спальни, но теперь она сделала это, однако не стала тратить время на застегивание пуговиц, а лишь поплотнее запахнула халат.

Она снова застыла в ванной, кусая губы, моля, чтобы не вернулся тот настойчивый голос, моля, чтобы больше не повторились галлюцинации или видения, или что бы там ни было. Ничего не вернулось.

Джесси бросила халат на кровать, подбежала к своему шкафу, достала новые трусики и шорты.

«Она пахла точно так же, — подумала Джесси. — Кто бы ни была та женщина, она пахла так, как пахнул колодец, в который она заставила упасть мужчину, и это случилось сейчас, в момент солнечного затмения Я уверена...»

Джесси повернулась, держа блузку в руке, а потом замерла. В дверном проеме стоял отец, наблюдая за ней.

Джесси проснулась в мягком, молочном сиянии рассвета с ошеломляющим и зловещим воспоминанием о женщине, все еще властивущим над ее умом. О женщине с седеющими волосами, собранными на затылке в тугой пучок, о женщине, которая стояла на коленях перед кустом ежевики, выставив на обозрение подол своей комбинации, о женщине, которая смотрела вниз, через сломанные доски и вдыхала этот ужасный нежный запах. Джесси не вспоминала об этой женщине в течение многих лет, но теперь в ее памяти, освеженной сном, который восстанавливал события 1963 года и который был не просто сном, опять возник этот образ. Джесси показалось, что ей было даровано некое супервидение того дня, видение, которое было вызвано, возможно, стрессовой ситуацией, а потом снова потеряно по той же причине.

Но это было неважно, как и то, что случилось с отцом на террасе, и то, что случилось позднее, когда она обернулась и увидела его в дверях спальни. Все это произошло давным-давно, а что касается происходящего прямо сейчас...

«Я в беде. Мне кажется, я в большой беде».

Джесси откинулась на подушки и бросила взгляд на свои подвешенные руки. Она чувствовала себя так же ошеломленно и беспомощно, как отравленное насекомое в сетях паука, желая только одного — снова заснуть (теперь без сновидений, если это, конечно, возможно), с омертвевшими руками и пересохшим горлом, находящимся сейчас в другой Вселенной. Но такое счастье не доступно было ей сейчас.

Откуда-то поблизости доносились тихое, убаюкивающее журчание. Первая ее мысль была о будильнике. Второе предположение, после двух или трех минут ошеломления, было о *противопожарной сигнализации*. Эта мысль вызвала кратковременный беспочвенный взрыв надежды, подтолкнувший ее к настоящему состоянию бодрствования. Джесси поняла, что слышимое не слишком-то напоминает сирену *противопожарной сигнализации*.

Звук напоминал... хорошо... напоминал...

«Это муhi, малышка поняла? — Дерзкий голосок теперь звучал глухо и устало. — Разве ты не слышала о *Летних Мальчиках*? А это *Осенние Мухи и их модификации, разыгрывающие Всемирную пьесу над Джеральдом Белингеймом* — упомянутый *адвокат и прикованная наручниками фетишистка*».

— Господи, мне нужно подняться, — произнесла Джесси хриплым, надтреснутым голосом, который она почти не могла признать собственным.

«Что, черт побери, это значит?» — подумала она, в этом был и ответ — не проклятый гость, спасибо большое, который выполнил задачу по окончательному приведению ее в состояние бодрствования. Джесси не хотела просыпаться, но она подумала, что лучше ей принять то, что есть, и использовать это состояние так, как только она сможет, и столько, сколько сможет.

«И лучше всего начать с пробуждения ладоней и рук. Если, конечно, они смогут проснуться».

Джесси посмотрела на правую руку, потом повернула голову на заржавевшей арматуре шеи (которая только полузаснула) и взглянула на левую. Она была потрясена сознанием того, что смотрит на них по-новому — смотрит на них, как на образцы мебели, выставленной в витрине магазина. Казалось, что они не имеют никакого отношения к Джесси Белингейм, и ей показалось, что в этом нет ничего странного, абсолютно — они были совершенно бесчувственны. Чувствительность начиналась где-то под мышками.

Джесси попыталась подтянуться на руках и испугалась, обнаружив, что мятеж был намного сильнее, чем она предполагала. Руки не только отказывались передвигать ее, они отказывались двигаться сами. Мысленный приказ, посланный рукам, был полностью проигнорирован. Она снова посмотрела на руки, теперь они уже не оказались ей образцами мебели. Теперь они напоминали куски мяса, подвешенные на крюк в лавке мясника; из груди Джесси вырвался крик страха и злости.

Так, ладно. Руки не были случайными в ее теле, поэтому бояться или сходить из-за них с ума нет смысла. А как там пальцы? Если она сможет ухватиться ими за набалдашники кровати, тогда может быть... может быть. Пальцы казались такими же бесполезными, как и руки. После почти целой минуты попыток Джесси была вознаграждена единственным движением онемевшего большого пальца правой руки.

— Господи, — произнесла Джесси резким, пыльным и надтреснутым голосом.

В нем теперь не было гнева, только страх. Конечно, люди умирают в результате несчастных случаев, кажется, за свою жизнь она видела сотни, возможно, даже тысячи репортажей о таких смертях по телевидению в программах новостей. Носилки, уносимые от искореженных автомобилей, выносимые из-под обвалов, со свисающими ступнями из-под небрежно наброшенных простынь, пока горели здания, а свидетели случившегося с мертвенно-бледными лицами сдавленными голосами рассказывали о произошедшем. Она видела завернутую в белое фигуру, которая некогда была Джоном Белути,

выносимую из отеля «Мормон» в Лос-Анджелесе: она видела каскадера Карла Валенди, потерявшего равновесие и упавшего с каната, по которому он намеревался пройти (канат был протянут между двумя отелями), и разбившегося насмерть. Программы теленовостей повторяли тогда этот эпизод снова и снова, как бы зациклившись на нем. Поэтому Джесси знала, что люди умирают от несчастных случаев, конечно, она знала, но до настоящего момента не понимала, что есть люди *вокруг*, такие же, как и она, которые даже не догадываются, что они никогда больше не будут есть бургеры, никогда не досмотрят очередной телесериал, никогда не позвонят своему лучшему другу и не договорятся о партии в покер и больше не будут делать покупки по субботам, — поэтому эта мысль показалась ей *значительной*. Не будет пива, не будет поцелуев, а твое желание заняться любовью в сарае для сушки сена во время грозы так никогда и не осуществится, потому что ты будешь слишком занята, умирая. Каждое утро, когда ты пробуждаешься от сна, может оказаться последним.

«Это более чем вероятно нынешним утром — подумала Джесси. — Мне кажется, это вполне возможно. Наш дом, наш милый, уютный домик на берегу озера вполне может оказаться на экранах телевизоров в пятницу или в субботу вечером. Доу Роу наденет свой плащ свободного покроя с поясом, который я ненавижу больше всего, будет говорить в микрофон и называть его «дом, в котором умерли выдающийся портлендский юрист Джеральд Белингейм и его жена Джесси». Затем он отошлет ролик в студию, и Билл Грин сделает монтаж, и это не будет болезненно, Джесси; это стала не Образцовая Женушка, и не мудрствовала Руфь. Это...»

Но Джесси знала. Это была правда. Это был просто глупый небольшой несчастный случай, вы просто качаете головой, почитывая репортаж о нем в утренней газете за завтраком; вы говорите: «Послушай, милый» и читаете статью, пока он жует грейпфрут. Просто глупое происшествие, но только в этот раз оно произойдет с ней. Упорствование ее разума в том, что это ошибка, было понятным, но неуместным. Здесь не было Отдела Жалоб, где бы она могла объяснить, что наручники были желанием Джеральда, поэтому вполне очевидно, что ее нужно освободить. И если ошибка может быть исправлена, то Джесси первая должна быть на очереди.

Джесси откашлялась, открыла глаза и заговорила с потолком.

— Господи! Послушай минуточку, хорошо? Мне нужна помошь, действительно нужна. Я попала в беду, и я боюсь. Пожалуйста, помоги мне выбраться отсюда, ладно? Я... гм... я молюсь во имя Иисуса Христа. — Она попыталась расширить свою молитву, но

смогла выдавить из себя только то, чему когда-то научила ее Нора Калиган. Молитва, которая теперь звучала, как слова преуспевающего самонадеянного торговца или самого дерымового гуру в мире: — Господи, дай мне спокойствие духа принять вещи такими, как они есть, если я не могу принять их, мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость, чтобы понять разницу. Аминь.

Ничего не изменилось. Она не ощущала ни спокойствия, ни мужества, ни мудрости. Она по-прежнему была женщиной с омертвевшими руками и мертвым мужем, прикованной к кровати, как дворняжка, посаженная на цепь и оставленная умирать на пыльном заднем дворе, пока ее забулдыга-хозяин отбывает тридцатидневное наказание в городской тюрьме за вождение машины без прав, да еще в нетрезвом виде.

— О пожалуйста, сделай так, чтобы мне не было больно, — тихим дрожащим голосом попросила Джесси. — Если я умираю, Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы это не было больно. Я, как ребенок, боюсь боли.

«Думать о смерти сейчас, возможно, действительно глупая мысль, малышка. — Голос Руфи замолчал, а потом добавил: — Вероятно, просто поразительная».

— Ладно, не спорю, думать о смерти было не очень умно. А что же остается делать?

«Жить!» — Руфь и Образцовая Женушка произнесли это одновременно.

«Хорошо, жить». — Эта мысль снова вернула ее по кругу к рукам.

«Они онемели, потому что я провисела на них всю ночь. Я все еще вишу на них. Ослабить давление — это первый шаг».

Джесси снова попыталась подтолкнуть себя назад и вверх при помощи ног и внезапно почувствовала тяжесть черной паники, когда те тоже отказались двигаться. Джесси потеряла сознание на несколько мгновений, а когда пришла в себя, то стала быстро перебирать ногами, сдвигая покрывало, простыню и матрац в противоположную сторону кровати. Джесси дышала, как велогонщик, преодолевающий последние метры холма в борьбе за первое место. Ее онемевшие ягодицы скрипели от пробуждающих иголок боли.

Страх заставил ее окончательно проснуться, но именно полубезумное занятие акробатикой, вызванное охватившей ее паникой, привело все тело в движение. Наконец, она ощутила проблески чувствительности глубоко внутри, и такие же зловещие, как приближающаяся гроза, — в руках.

«Если это не поможет, малышка, то сосредоточь все внимание на двух или трех глотках воды, которые еще остались в стакане.

Постоянно напоминай себе, что ты ни за что не сможешь удержать стакан, если не приведешь руки в рабочее состояние, чтобы выпить эту воду».

Когда наступило утро, Джесси все еще продолжала двигать ногами. Пот прилепил волосы к вискам и струился по щекам. Джесси понимала — довольно-таки смутно, — что она исчерпывает запас влаги в теле с каждым новым движением, но у нее не было выбора.

«Потому что иного пути нет, малышка, нет».

Джесси продолжала отталкиваться. Наконец ее бедра начали медленно продвигаться к изголовью кровати. Каждый раз, когда они двигались, Джесси напрягала мышцы живота и пыталась принять сидячее положение. Угол, составляемый верхней и нижней частями ее тела, медленно приближался к девяноста градусам. Локти начали сгибаться и, когда тяжесть давления на руки и плечи стала ослабевать, иголки, пронизывающие всю ее, стали колоть больнее. Джесси, окончательно приняв сидячее положение, не переставала двигать ногами, желая поддержать ток крови.

Капля едкого пота попала в левый глаз. Она стряхнула ее резким движением головы и продолжала двигать ногами, имитируя движения велосипедиста. Покалывание продолжало нарастать, расширяясь вверх и вниз от локтей, и минут через пять после того, как она заняла свое теперешнее положение, последовала первая судорога. Это было как удар большим ножом мясника. Джесси откинула голову назад и содрогнулась. Когда она затаила дыхание, чтобы закричать повторно, ударила вторая судорога. Эта была намного сильнее. Ощущение было таким, будто кто-то обвил колючей проволокой ее левое плечо, а потом затянул потуже. Джесси взвыла, руки сжались в кулаки с такой силой, что два ногтя на пальцах сломались, обнажив мякоть, и пальцы начали кровоточить. Глаза в коричневых углублениях припухших век были плотно сжаты, но слезы все же просачивались из-под век и струились по щекам, смешиваясь с потом.

«Продолжай двигать ногами, малышка, не останавливайся».

— Не называй меня малышкой! — — выкрикнула Джесси.

Бродячая собака с наступлением утра снова приблизилась к заднему крыльцу, и при звуках голоса Джесси ее голова вздернулась вверх. На морде застыло почти комичное выражение удивления.

— Не называй меня так! Ты, сука! Ненавижу, су...

Еще одна судорога пронзила левый бицепс, дойдя до самого локтя, и ее слова растворились в продолжительном агонизирующем вопле. Но она не переставала перебирать ногами. Неизвестно, какие силы позволяли Джесси делать это.

Когда ужасные судороги прошли — по крайней мере Джесси надеялась на это — она вздохнула и откинулась на перекладины из красного дерева, образовывавшие изголовье кровати, глаза ее были закрыты, а дыхание постепенно успокаивалось. Скачущее галопом, оно перешло на рысь и, наконец, на ходьбу. Несмотря на жажду, Джесси чувствовала себя удивительно хорошо. Ей казалось, что частично причина была в старой шутке с подтекстом: «Как здорово чувствовать себя, когда прекращаешь заниматься спортом». Только последние пять лет она забросила свои занятия (ну, ладно, может быть, почти десять), и она сразу же распознала то чувство, вызываемое притоком эндорфина. Абсурд, учитывая данные обстоятельства, но все равно хорошо.

«Может быть, и не настолько абсурдно, Джесс. Возможно, даже полезно. Этот эндорфин прочищает мозг, что является одной из причин, почему люди работают лучше после физических упражнений».

И ее ум был чист. Приступ ужасающей паники отступил, как отступает дым от заводских труб при порывах сильного ветра. Джесси чувствовала себя более чем способной к разумному мышлению, она чувствовала себя вполне в своем уме. Джесси никогда бы не поверила, что это возможно, — эта безустанная способность мозга к адаптации и почти животное стремление к выживанию казались ей несколько странными.

«Из-за всего этого я дома не выпила свой утренний кофе», — подумала Джесси.

Воспоминание о кофе — черном, в ее любимой чашке с голубыми цветочками, заставило Джесси облизнуться. Она также задумалась о программе «Сегодня». Если ее биологические часы не ошибались, «Сегодня» как раз выходила в эфир. Мужчины и женщины по всей Америке, в подавляющем большинстве не прикованные, сидели за кухонными столиками, пили сок или кофе, ели бутерброды и яичницу (а возможно, какую-нибудь кашу, которая, по утверждениям медиков, благотворно действует одновременно на сердце и кишечник). Они смотрели передачу, которую ведут Брайан Гамбел и Кати Корик совместно с Джо Гараджиола. А немного позднее они выслушают Вильямса Скотта с его пожеланиями счастливого дня. Там будут гости. Кто-то расскажет об основном налоге, кто-то покажет зрителям, как они должны уберечь тапочки от своих любимых собачек, кто-то расскажет о новом кинофильме, снятом им, и никто из них не догадывается, что в западной части штата Мэн произошло несча-

стье: одна из их наиболее лояльных зрительниц не смогла включить телевизор в это утро потому, что прикована наручниками к кровати в двадцати футах от ее голого, истерзанного собакой, облепленного мухами мужа.

Джесси повернула голову направо и взглянула на стакан, бездумно поставленный Джеральдом на его половину полки незадолго до начала всей этой трагикомедии. Пять лет назад, отметила Джесси, стакана, возможно, здесь не было бы, но с тех пор как вечернее потребление Джеральдом виски увеличилось, основной жидкостью, выпиваемой им за день, стала вода, иногда он пил минеральную воду или чай со льдом. Для Джеральда «проблема питья» была не только эвфемизмом, но и проблемой в буквальном смысле.

«Ладно, — мрачно подумала Джесси, — если у него были проблемы с питьем, то сейчас это мне как раз на руку».

Стакан стоял именно там, где она поставила его; если ночной посетитель не был просто сном (*«Не глупи, конечно же, это был сон»*, — нервно вставила Образцовая Женушка), то он не испытывал жажды.

«Мне нужно добраться до этого стакана, — подумала Джесси. — К тому же мне нужно быть очень осторожной на тот случай, если возникнут судороги. Вопросы есть?»

Вопросов не было, к тому же теперь добраться до стакана было намного легче; теперь уже не нужно было прилагать таких неимоверных усилий, чтобы наклонить полку. Джесси открыла для себя еще один плюс, когда взяла в руку самодельную соломинку. Высохнув, карточка свернулась в трубочку сама. Теперь эта странная геометрическая конструкция работала более эффективно, чем прошлой ночью. Добраться до остатков воды было намного легче, чем до стакана, и, прислушиваясь к звукам, производимым ею, когда она наклонилась всосать последние капли воды с помощью соломинки, Джесси подумала, что она намного меньше пролила бы воды на покрывало, если бы знала, что сможет «заготовить» такую соломинку. Однако теперь уже поздно и не стоит плакать из-за пролитой воды.

Несколько глотков только разбудили ее жажду, но ей придется жить с этим. Джесси поставила стакан на полку, а потом рассмеялась над собой. Привычка — это жестокий маленький зверек. Даже в такой жуткой ситуации. Она рисковала испытать боль судороги, ставя пустой стакан на полку, вместо того чтобы просто швырнуть его на пол. И почему? Потому, что чистота — залог здоровья, вот почему. Это была одна из тех вещей, которым Сэлли Махо учила ее с детства, это маленькое скрипящее колесико, которому постоянно

не хватало смазки и которое никак не могло мирно уживаться с другими — ее малышка, которая готова была почти на все, включая обольщение собственного отца, лишь бы быть уверенной, что все идет так, как ей того хочется.

Вспоминая, Джесси увидела Сэлли Махо такой, какой частенько видела ее в детстве: щеки горят от раздражения, губы плотно сжаты, руки уперты в бока.

— И ты верила в это, — озабоченно произнесла Джесси. — Разве не так, сучка?

«Нечестно, — возразила часть ее ума. — Нечестно, Джесси!»

Но это было честно, и Джесси знала это. Сэлли была далеко не идеальной матерью, особенно в те годы, когда семейная жизнь с Томом стала пробуксовывать, как старенький автомобиль с неисправным мотором. В ее поведении в эти годы была какая-то паранойя и даже неразумность. По каким-то причинам ее тирады и подозрения чаще всего доставались Виллу, но иногда она пугала и своих дочерей.

Эта темная сторона теперь забылась. Письма, получаемые Джесси из Аризоны, были банальными, утомляющими ее записками старенькой леди, вспоминающей об их детстве как о мирном, счастливом времени. Очевидно, она забыла, как кричала что есть мочи, когда Мэдди забыла завернуть использованный тампон в туалетную бумагу, прежде чем выкинуть его в мусорное ведро, что убьет ее, или как в воскресное утро без причины, которую Джесси так никогда и не узнала, ворвалась к ней в спальню и швырнула в Джесси пару туфель на шпильках, а затем вылетела, как фурия.

Иногда, когда она получала письма или открытки от матери: «Здесь все хорошо, милая, Мэдди пишет добросовестно, у меня улучшился аппетит с тех пор, как похолодало», — Джесси чувствовала настойчивую потребность схватить трубку телефона, позвонить матери и крикнуть:

«Неужели ты все забыла, мама? Неужели ты забыла тот день, когда швыряла в меня туфли и разбила мою любимую вазу, а я плакала, потому что думала, что он в конце концов раскололся и рассказал тебе, хотя со дня солнечного затмения прошло уже три года? Разве ты забыла, как часто пугала нас своими криками и слезами?»

«Это нечестно, Джесси. Нечестно и немилосердно».

— Может быть, это и нечестно, но это правда.

Если бы она знала, что случилось в тот день...

Ее мама могла и не прийти и не сказать прямо об этом, но — но она бы *поверила*, что это была вина Джесси, и она действительно

подумала бы, что это было сознательным соблазнением со стороны Джесси. А от скрипящего колеса не так уж далеко и до Лолиты*, ведь так? А знание того, что нечто сексуальное произошло между ее дочерью и мужем, вполне возможно, заставило бы ее перестать думать об уходе из семьи и действительно сделать это.

«Поверить в это? Ты знала, что она поверит».

В этот раз голос благопристойности не стал надоедать своими возражениями, и неожиданное озарение снизошло на Джесси: ее отец прекрасно понимал то, на осознание чего Джесси понадобилось почти тридцать лет. Он знал действительную расстановку сил точно так же, как знал об акустическом эффекте гостиной-столовой в их доме у озера.

Ее отец использовал ее разным образом, а не только так, как в тот день.

Джесси ожидала потока отрицательных эмоций от этого печального открытия; в конце концов, она была использована в своей игре мужчиной, чьим главным делом было любить и защищать ее. Но ничего не наклынуло на нее. Возможно, частично из-за того, что эндорфин все еще продолжал действовать в ее крови, но у нее появилась мысль, которая еще больше успокоила ее: «Не важно, насколько это было грязным делом, в конце концов ей удалось выбраться из него». Ее основными эмоциями было удивление, что она так долго могла сохранять эту тайну, и сильное смущение. Сколько выборов, прямо или косвенно, было сделано ею под влиянием того, что случилось в последние минуты, проведенные ею на папиных коленях, пока она разглядывала огромное темное пятно на небе через два или три слоя закопченного стекла? И было ли ее теперешнее состояние результатом того, что случилось в день солнечного затмения?

«О, это уже слишком, — подумала Джесси. — Если бы он изнасиловал меня, тогда другое дело. Но то, что случилось в тот день на террасе, было просто еще одним несчастным случаем, к тому же не настолько серьезным, как этот, — если ты хочешь понять, что такое серьезный несчастный случай, Джесс, проанализируй ситуацию, в которой ты оказалась теперь. Я с таким же успехом могу обвинить старенькую миссис Жилетт, ударившую меня по руке, когда мне было всего четыре года. Или свое поведение на вечеринке Вилла. Или грехи из моих прошлых жизней, которые все еще нуждаются в искуплении. И потом то, что он сделал со

* Лолита — героиня одноименного романа В.Набокова.

мной на террасе, не идет ни в какое сравнение с тем, что он сделал со мной в спальне».

И эту часть не нужно было видеть во сне; она была здесь, отчетливая и доступная.

21

Когда Джесси оглянулась и увидела отца, стоявшего в дверях спальни, ее первым инстинктивным движением было скрестить руки на груди. Затем она увидела печальное и виноватое выражение его лица и опустила руки вниз, хотя чувствовала, что ее щеки начинают гореть, а лицо становится уродливо-красным, что было ее версией девичьей краски стыда. Ей нечего было показывать (*почти нечего*), но она чувствовала себя более голой, чем была, и испытывала такое смущение, что могла поклясться, что ее кожа почти шипела. Она подумала: *«Надеюсь, что остальные вернутся пораньше. А вдруг она войдет прямо сейчас и увидит меня без рубашки?»*

Смущение переросло в стыд, а стыд в ужас, и когда она натянула на себя блузку и начала застегивать ее, то испытала еще одно чувство, скрывавшееся за этими. Это была злость, которая почти не отличалась от гнева, испытанного ею годы спустя, когда она поняла, что Джеральд знает, что она говорит серьезно, но делает вид, что не понимает этого. Она злилась потому, что не заслуживала того, чтобы испытывать стыд или страх. Все-таки это *он* был взрослым, *он* оставил это пахнущее пятно на ее трусиках, именно он должен был стыдиться. Но *все* было наоборот.

К тому времени, когда ее блузка была застегнута и заправлена в шорты, злость ушла, или — что то же самое — спряталась внутрь. Она думала только о том, что в любой момент может вернуться мама. Неважно, что теперь она была полностью одета. То, что случилось нечто нехорошее, было написано на их лицах. Джесси видела это на его лице и ощущала на своем.

— С тобой все в порядке, Джесси? — спокойно спросил отец. — Не чувствуешь тошноты или нечто подобное?

— Нет. — Она попыталась улыбнуться, но на этот раз это ей не удалось. Джесси почувствовала, как слезинка катится по щеке, и быстро, виновато вытерла ее ребром ладони.

— Извини, — его голос дрожал, и она ужаснулась, увидев слезы в *его* глазах — становилось все хуже и хуже. — Я очень сожалею.

Он резко повернулся, нырнул в ванную комнату, сдернул полотенце с крючка и промокнул им лицо. Пока он проделывал все это, Джесси усиленно размышляла.

— Папа?

Он взглянул на нее поверх полотенца. Слезы исчезли из его глаз. Если бы она не видела их, то могла бы поклясться, что их там вообще никогда не было.

Вопрос застрял у нее в горле, но он должен был быть задан. *Должен.*

— Мы... мы должны рассказать об этом маме?

Он сделал глубокий, дрожащий вздох. Она ждала, сердце почти вырывалось из груди, а потом, когда он ответил: «Я думаю, что должны, а ты?» — сердце ушло в пятки. Джесси, покачиваясь, подошла к нему (она абсолютно не чувствовала под собой ног) и обхватила его руками.

— Пожалуйста, папа, нет! Пожалуйста, не рассказывай! Пожалуйста. *Пожалуйста...*

Ее голос перешел в всхлипывания, и Джесси прижала лицо к его обнаженной груди. Он обнял ее, теперь уже по-старому, как делают это отцы.

— Мне бы не хотелось, — произнес он, — потому что в последнее время между нами очень напряженные отношения, дорогая. Я был бы очень удивлен, если бы ты не догадывалась об этом. А подобное случившемуся могло бы только ухудшить ситуацию. Твоя мать не была в последнее время очень... ну, очень любящей, что ли, и в этом главная проблема. У мужчины есть... определенная потребность. Ты поймешь это, когда...

— Но если она узнает, то скажет, что это моя вина!

— О, нет, я так не думаю, — ответил Том. Но тон был удивленным, уверенным... и показался Джесси настолько же убийственным, как смертный приговор.

— Не-е-т... я уверен, я *вполне* уверен, что она...

Джесси взглянула на него покрасневшими от слез глазами.

— *Пожалуйста*, не рассказывай, папа! Пожалуйста!

Он поцеловал ее в бровь.

— Но, Джесси... я *должен*. Мы должны.

— Почему, *почему*, папа?

— Потому, что...

Джесси немного подвинулась, звякнули цепи; наручники удалились о столбики кровати. Через восточное окно в комнату лился свет.

— Потому, что ты не умеешь хранить секреты, — глухо произнес Том. — Потому, что если это все равно выйдет наружу, Джесси, то для нас обоих будет лучше, если это обнаружится сейчас, чем через неделю, или месяц, или год. Даже через десять лет.

Он отлично манипулировал ею — сначала извинения, потом слезы, а теперь вот фокус: он переложил *свои* проблемы на *нее*. Он не успокоился, пока она не поклялась хранить эту тайну до гробовой доски.

Джесси помнила, как обещала ему что-то сквозь поток горячих, испуганных слез. Наконец он перестал качать головой, продолжая смотреть прищуренными глазами в дальний конец комнаты и плотно скав губы — она видела это в зеркале, казалось, что он знал, что она видит.

— Ты никогда никому не должна рассказывать об этом, — в конце концов произнес он. Джесси помнила то полуобморочное состояние облегчения, которое она испытала при этих словах. То, что он говорил, было менее значительно, чем его тон. Джесси уже слышала этот тон сотни раз до этого и знала, что ее мать приходит в бешенство из-за того, что чаще всего такой тон достается Джесси, а не самой Сэлли. «*Я менять свое решение*, — говорил он. — *Я делаю это против своего желания, но я менять его; я перехожу на твою сторону*».

— Да, — согласилась Джесси. Голос ее дрожал, и она с трудом удерживала слезы. — Я не расскажу, папа, никогда.

— Не только твоей матери, — сказал он, — вообще никому. Никогда. Это очень огромная ответственность для маленькой девочки, Сорванец. Тебя могут провоцировать на это. Например, ты будешь выполнять домашнее задание вместе с Каролиной Кляйн или Тамми Хо, и одна из них поделится с тобой своим секретом, возможно, ты тоже захочешь рассказать...

— Им? *Никогда-никогда-никогда!*

И по ее лицу он должен был заметить, что она говорит правду: мысль, что Каролина или Тамми узнают, что отец трахался с ней, наполняла Джесси ужасом. Удовлетворенный таким ходом событий, он подобрался к тому, что теперь казалось главным интересом.

— Или твоей сестре. — Он отстранил Джесси от себя и внимательно посмотрел ей в лицо.

— Видишь ли, может прийти время, когда ты захочешь рассказать ей...

— Папочка, нет, я никогда...

Он осторожно встряхнул ее.

— Помолчи и позволь мне закончить, Сорванец. Вы близки с ней, я знаю это, и я знаю, что иногда у девочек возникает потребность поделиться тем, о чем они бы никогда раньше не рассказывали. Если ты почувствуешь потребность поделиться с Мэдди, сможешь ли ты удержаться?

— Да!

Отчаявшись убедить его, она разрыдалась. Конечно, скорее всего, она рассказала бы Мэдди — если в мире и был человек, с которым она могла поделиться таким ошеломляющим секретом, то это была ее старшая сестра... кроме одного. Мэдди и Сэлли так же были близки одна другой по духу, как Том и Джесси, и если Джесси когда-нибудь расскажет сестре о том, что произошло на террасе, то один против ста, что мать узнает об этом еще до захода солнца. Подумав об этом, Джесси поняла, что она вполне сможет противостоять подобному искушению.

— Ты действительно уверена в этом? — все еще сомневаясь, спросил Том.

— Да! Конечно!

Он опять покачал головой с сожалением, и это опять испугало Джесси.

— Просто мне кажется, что лучше всего рассказать об этом прямо сейчас, Сорванец. Мы проглотим эту горькую пилюлю. Я думаю, что она не убьет нас...

Однако Джесси снова вспомнила гнев матери, когда папа просил ее позволить Джесси не ездить на гору Вашингтон... но гнев — это было еще не все. Она не хотела думать об этом, но сейчас не могла отказать себе в этой роскоши. В голосе ее матери звучали ревность и нечто близкое к ненависти. Моментальное, но поразительно ясное видение посетило Джесси, когда она стояла рядом с отцом в спальне, пытаясь убедить его: вдвоем с отцом они бредут по дорогам, как Ганс и Гретель, бездомные, колеся по Америке...

... и, конечно, ночуя в одной постели, засыпая рядом.

Затем Джесси разрыдалась, истерично всхлипывая, умоляя его не рассказывать, обещая, что она будет очень хорошей девочкой, если он не расскажет. Он не мешал ей плакать, пока не почувствовал, что наступил подходящий момент, а потом сказал:

— Ты знаешь, что обладаешь ужасной властью для маленькой девочки, Сорванец.

Джесси взглянула на него, щеки были мокрыми от слез, а в глазах засветилась надежда.

Он медленно кивнул и начал вытираять ей слезы полотенцем, которым только что пользовался сам.

— Я никогда не мог отказать тебе в том, чего ты действительно хотела, сейчас я тоже не могу. Мы попытаемся сделать по-твоему.

Она кинулась к нему в объятия и покрыла его лицо поцелуями. Где-то в глубине ее сознания возникла мысль, что это может снова вызвать проблему, но ее благодарность победила это подозрение, к тому же проблемы не было.

— Спасибо! Спасибо, папочка! Спасибо тебе.

Он взял ее за плечи, и снова отстранил на расстояние вытянутой руки, теперь уже улыбаясь, а не хмурясь. Но печальное выражение все же не исчезло с его лица, и теперь, почти тридцать лет спустя, Джесси все еще не была уверена, что это тоже было составной частью его игры. Печаль была неподдельной, и это каким-то образом отягощало его вину.

— Мне кажется, мы договорились, — произнес он. — Я ничего не скажу и ты ничего не скажешь. Хорошо?

— Хорошо!

— Никому на свете мы не скажем об этом, даже друг другу. Отныне и во веки веков. Аминь. Когда мы выйдем из этой комнаты, Джесс, то будем вести себя так, будто ничего не случилось. Хорошо?

Джесси сразу же согласилась, но мгновенно вспомнила этот запах и поняла, что остался еще один вопрос, который она должна была задать ему прежде, чем они выйдут.

— Есть еще кое-что, о чем я хотел бы сказать еще раз, Джесс. Я хотел бы извиниться. Я поступил некрасиво, я сделал постыдную вещь.

Он смотрел в сторону, когда говорил об этом, Джесси отлично запомнила это. Все время он последовательно доводил ее до истерики, и страха, и надвигающейся гибели, все время, пока не убедился, что она никому не проговорится под угрозой рассказать обо всем матери, он смотрел прямо на нее. Когда же он принес свои последние извинения, его взгляд упал на разрисованные простыни, разделяющие спальню. Это воспоминание наполнило ее чувством печали и гнева одновременно. Говоря ложь, он мог смотреть ей прямо в лицо, но именно правда заставила его отвести взгляд.

Джесси вспомнила, как она уже было открыла рот, чтобы сказать ему, что не нужно было говорить этого, а потом опять закрыла — частично потому, что боялась чем-нибудь изменить его решение, но в основном потому, что имела право на эти извинения.

— Сэлли была холодна — это правда, но это слабое извинение моему поступку. Я не имею ни малейшего представления, что на меня нашло. — Он усмехнулся, все еще не глядя на нее. — Возможно, это солнечное затмение. Если это так, слава Богу, что мы никогда не увидим еще одно. — Затем, как бы говоря самому себе: — Господи Иисусе, если мы будем держать рот на замке, но она каким-то образом догадается или узнает об этом позже...

Джесси склонила голову ему на грудь и сказала:

— Она не узнает. Я никогда не скажу, папа. — Она помолчала, потом добавила: — Что я могу сказать?

— Это правильно, — он улыбнулся. — Потому что ничего не случилось.

— И я не... Я имею в виду, что я не могу быть...

Джесси подняла на него глаза, надеясь, что он, возможно, сам скажет ей то, что она хотела узнать, и ей не придется задавать вопрос, но он только смотрел на нее, подняв брови в молчаливом вопросе. Улыбка сменилась осторожным выжиданием.

— Я ведь не беременею? — пробормотала Джесси.

Он моргнул, потом его лицо напряглось, пытаясь подавить какую-то сильную эмоцию. «Ужас или печаль», — подумала тогда Джесси, и только все эти годы спустя до нее дошло, что то, что он пытался взять под контроль, было взрывом дикого смеха облегчения. Наконец он справился с собой и поцеловал ее в кончик носа.

— Нет, милая, конечно нет. Вещь, которая делает женщину беременной, не произошла. Ничего подобного этому не произошло. Я повозился с тобой немного, вот и все...

— И ты, пошутил со мной. — Теперь Джесси особенно ясно вспомнила эти свои слова. — Ты пошутил со мной, вот что ты сделал.

Он улыбнулся.

— Да. Приблизительно так. Ты, как всегда, мила, Сорванец. Ну а теперь, как тебе кажется, мы полностью исчерпали тему?

Джесси кивнула.

— Ничего подобного этому больше никогда не случится, ведь так?

Она снова кивнула, но ее улыбка была неуверенной. Его слова должны были снять напряжение, но что-то в торжественности его слов и в печальном выражении лица почти снова возродило ее панику. Джесси помнила, как схватила его руки и скжала их что есть силы.

— Но ты ведь все равно любишь меня, папочка? Несмотря ни на что, правда?

Он кивнул головой и сказал, что любит ее больше, чем когда-либо прежде.

— Тогда обними меня! Обними меня покрепче!

И он обнял ее, но теперь Джесси вспомнила еще одну деталь: нижняя часть его тела не прикасалась к ней.

«Никогда больше, — подумала Джесси. — По крайней мере, я этого не помню. Даже когда я закончила колледж, и он, расстроенный, плакал из-за меня (это было второй раз в жизни), он слегка обнял меня по-старому за плечи — таким образом, чтобы, не дай Бог, наши тела не соприкоснулись. Бедный, бедный человек. Интересно, видел ли его кто-нибудь из тех, с кем он сталкивался в своей жизни, таким смущенным и нервничающим, как в день солнечного затмения? Все эти страдания и переживания — из-за чего? Сексуальный инцидент, настолько же значительный, как обломившийся ноготь. Господи, что за жизнь! Проклятая жизнь!».

Джесси, почти не осознавая, что делает, снова начала сжимать и разжимать ладони, желая только одного, чтобы кровь продолжала приливать к рукам, ладоням, запястьям. Джесси считала, что сейчас где-то часов восемь. Она была прикована к кровати уже восемнадцать часов. Невероятно, но факт. Голос Руфи Ниери заговорил настолько внезапно, что Джесси даже подпрыгнула:

«Ты все еще придумываешь для него отговорки, не так ли? Все еще оправдываешь его и обвиняешь себя, спустя все эти годы. Даже сейчас. Удивительно».

— Перестань, — хрипло произнесла Джесси. — Ведь это не имеет ни малейшего отношения к тому ужасному положению, в котором я оказалась сейчас...

«Что ты за человек, Джесси!»

— А если даже и имеет, — продолжила она, слегка повышая голос, — даже если и имеет, то это все равно не поможет мне выбраться отсюда, так что оставь меня в покое!

«Ты не была Лолитой, Джесси, независимо от того, что он заставил тебя думать о себе. Тебя с Лолитой разделяла целая пропасть».

Джесси даже не захотела отвечать. И Руфь, отказываясь молчать, продолжила:

«Если ты все еще считаешь своего милого папочку благородным рыцарем, потратившим всю свою жизнь на то, чтобы защитить тебя от огненного дыхания твоей мамочки-дракона, то тебе лучше обдумать все снова».

— Заткнись. — Джесси стала быстрее сжимать и разжимать ладони. Звякнули цепи, глухо застучали наручники о дерево набалдашников. — Заткнись, чудовище.

«Он все спланировал, Джесси. Неужели ты не понимаешь? Это не было проделано под влиянием момента — изголодавшийся под

сексу отец не смог справиться со своей мгновенной страстью; он запланировал это».

— Ты лжешь, — огрызнулась Джесси. Пот катился по вискам большими каплями.

«Разве? Ладно, тогда задай себе вопрос, чья это была идея надеть то летнее платье? То, которое было очень коротким и тесным? Кто знал, что ты станешь слушать и восхищаться, когда он будет убалтывать твою мать? Кто положил свои руки на твою грудь вечером накануне дня затмения и на ком были только спортивные шорты и ничего больше в тот день?»

Внезапно Джесси увидела рядом с собой в комнате Брайана Гамбела в изящном костюме-тройке и с золотой цепочкой на запястье, стоящего возле кровати, пока парень, стоящий рядом с Моникой, пожирал глазами ее почти нагое тело, прежде чем перевести взгляд на ее потное, пылающее лицо. Брайан Гамбел, снимающий репортаж о Невероятной Прикованной Женщине, склонился над ней с микрофоном.

«Когда ты впервые поняла, что твой отец испытывает к тебе сексуальное влечение, Джесси?»

Джесси разжала ладони и закрыла глаза. Лицо приняло упрямое выражение.

«Мне кажется, что я могу существовать с голосами Руфи и Образцовой Женушки, если уж от этого никуда не деться... даже с непрошеными НЛО-голосами, провозглашающими прописные истины... но я все-таки не хочу, чтобы Брайан Гамбел брал у меня интервью. Даже в своем воображении я протестую против этого».

«Но скажи мне одну вещь, Джесси, — произнес другой голос. Не НЛО-голос — это заговорила Нора Калиган. — Еще одно признание, и мы будем считать эту тему закрытой, по крайней мере сейчас, а возможно, что и навсегда. Хорошо?»

Джесси молчала, насторожившись.

«Когда ты все-таки потеряла контроль над своими чувствами и взбунтовалась, то против кого ты взбунтовалась? Против Джеральда?»

— Конечно, против Дж... — начала она и вдруг замкнулась, увидев четкий и ясный образ, наполненный смыслом. Это было видение паутинки слюны, свисающей с подбородка Джеральда. Она увидела, как эта паутинка удлинялась, а потом упала рядом с ее пупком. Только маленькая капелька, это было все; не такое уж важное событие после всех тех страстных поцелуев, когда губы открывались навстречу друг другу, а языки переплетались в трепетной жажде; сколько раз они с Джеральдом делили эту естественную

влагу тел, в результате чего вместе переболели пару раз гриппом. Не такое уж важное событие до вчерашнего дня, когда он отказался освободить ее, когда она этого хотела, нуждалась в освобождении. Не такое уж важное событие, пока она не ощутила этот слабый печальный запах минералов, ассоциировавшийся у нее с запахом воды из колодца Черного озера и с запахом самого Черного озера в жаркие летние дни... например, как в тот день двадцатого июля 1963 года.

Она увидела слюну, а подумала о сперме.

«*Нет, это неправда*, — попыталась мысленно возразить себе Джесси, но в этот раз ей не понадобился обвинитель в лице Руфи Ниери. Она и сама знала, что это было правдой. — *Это его проклятая сперма*». Это была ее конкретная мысль, после этого она утратила способность мыслить связно, по крайней мере на какое-то время. Вместо обдумывания она сделала рефлекторное движение, что есть силы толкнув его одной ногой в живот, а другой — в пах. Не слюна, а сперма, не какое-то новое отвращение к игре Джеральда, а старый ужас неожиданно всплыл на поверхность, как морское чудовище.

Джесси взглянула на искаленное тело своего мужа. Слезы навернулись ей на глаза, но потом чувство сожаления прошло. Она подумала, что в Департаменте Выживания посчитают слезы непозволительной роскошью, по крайней мере в настоящий момент. Однако она все же сожалела — сожалела, что Джеральд мертв, конечно, сожалела, но все же больше ей было жаль себя, оказавшуюся в таком положении. Ее глаза скользнули чуть выше тела Джеральда, и Джесси болезненно и горько улыбнулась.

— Кажется, это все, что я могу сказать сейчас, Брайан. Передай мои наилучшие пожелания Вилларду и Кати, и, между прочим, не мог бы ты расстегнуть эти наручники прежде чем уйти? Мне было действительно этого хотелось.

Брайан не ответил. И Джесси абсолютно этому не удивилась.

23

«*Если ты все же собираешься выжить в этом опыте, Джесс, мне кажется, что тебе было бы лучше перестать ворошить прошлое и подумать о том, что ты собираешься делать в будущем... начиная со следующих десяти минут. Мне не кажется, что, это очень приятно умирать от жажды на этой кровати, ведь так?*»

— Нет, не очень приятно... — И Джесс подумала, что жажда — это не самое страшное. Муки распятой, как на кресте, плоти мучили

ее уже со времени пробуждения, взлетая и скрываясь, как какой-то ужасный тонущий предмет, недостаточно тяжелый, чтобы совсем затонуть, но и не вполне легкий, чтобы полностью всплыть на поверхность. Готовясь к занятиям по древней истории, Джесси читала об этом дивном старинном методе мучений и пыток и была удивлена, узнав, что пришивание рук и ног гвоздями — это только начало. Подобно подписке на журналы и карманному калькулятору, распятие было подарком, но с ужасным продолжением.

Настоящая работа начиналась с судорог и спазмов мускулов. Джесси смутно понимала, что боли, от которых она страдала до сих пор, даже та, положившая конец первой волне панического страха, были только цветочками по сравнению с тем, что ожидало ее впереди. Они будут терзать ее руки, диафрагму, брюшную полость, медленно, но верно становясь сильнее, сокращая свой ритм со временем, расширяя поле своей деятельности. Руки и ноги будут все сильнее неметь — неважно, как усердно будет она пытаться восстановить кровообращение, но онемение не принесет облегчения, к тому времени ее уже будут мучить спазмы в груди и животе. Ее руки и ноги не были прибиты гвоздями, и она лежала, а не висела на перекладине, как какой-нибудь умирающий гладиатор на обочине дороги в фильме «Спартак», но эти различия только продлевали агонию.

«Итак, что ты собираешься делать прямо сейчас, пока ты еще не слишком страдаешь от боли и еще не потеряла способность мыслить?»

— Все, что смогу, — прохрипела Джесси, — поэтому почему бы тебе не заткнуться и не дать мне возможность подумать?

«Давай, с удовольствием».

Она начнет с самого очевидного решения и обдумает свои действия прямо сейчас... если это нужно. А какое же решение было самым очевидным? Конечно, ключи. Они все еще лежали на шифонье, там, где их оставил Джеральд. Два ключа, но абсолютно одинаковые. Джеральд, который был удивительно закоснелым в своих привычках, часто называл их «Основной» и «Запасной» (Джесси четко слышала в голосе мужа эти заглавные буквы).

Предположим, она как-то сможет придвинуть кровать к шифоньеру. Но сможет ли она каким-либо образом дотянуться до этих ключей и воспользоваться ими? Джесси смутно понимала, что это два абсолютно разных вопроса, а не один. Она подумала, что, возможно, смогла бы взять один из ключей в рот, ну и что из этого? Она все равно не сможет вставить его в отверстие замка. Опыт со стаканом показал, что все равно какое-то расстояние между ключом и замком наручников останется, как бы она ни старалась.

Ладно, достать ключи. Забраться на следующую ступеньку по лестнице возможностей. Как это сделать?

Джесси безуспешно пыталась разрешить эту проблему в течение пяти минут, прокручивая ее в уме и так и сяк, как крутят кубик Рубика, одновременно сжимая и разжимая ладони. В какой-то момент этих бесплодных размышлений ее глаза расширились при виде телефона, стоящего на низеньком столике возле окна, выходящего на восток. Она рассеяла свои представления о нем, как о находящемся в другой Вселенной, но, возможно, это было слишком преждевременно. Стол все же был ближе, чем шифоньер, а телефон больше, чем ключ от наручников.

Если она сможет подвинуть кровать к столику, то не сможет ли она снять трубку при помощи ног? А если она сможет сделать это, то, возможно, ей удастся большим пальцем нажать на кнопку вызова оператора. Это похоже на дурацкое действие в безумном водевиле, но...

«Нажать на кнопку, подождать, а потом начать орать что есть мочи».

Да, а через полчаса большой голубой фургончик из Норвей-Сити или оранжевый с надписью «Спасатели округа Касп» появятся здесь и спасут ее. Сумасшедшая идея, конечно, но превращение подписной карточки в соломинку было точно тем же. Это может сработать, безумие это или нет, но это хоть что-то. В этом было больше потенциала, чем как-то толкать кровать через всю комнату к шифоньеру, а потом пытаться придумать способ добраться до ключей и вставить ключ в отверстие замка наручников. Однако в идее с телефоном был один нюанс: каким-то образом ей необходимо сдвинуть кровать с места и подвинуть ее направо, а это было очень трудно. Джесси считала, что кровать из красного дерева весила самое меньшее триста фунтов.

«Но ты можешь хотя бы попробовать, малышка, возможно, тебя ждет большой сюрприз — пол отполировали ко Дню Труда, помни об этом. Если уж бродячая собака смогла передвинуть тело твоего мужа, то, может, и тебе удастся сдвинуть кровать. Попытка не пытка, ты ведь ничего не теряешь от этого».

Отличная мысль.

Джесси перебросила ноги на левую сторону кровати, осторожно передвинув плечи и спину направо. Затем она повернулась на левое бедро. Ступни ног свесились с кровати... но внезапно ее ноги и туловище не только сдвинулись налево, но скользнули налево, как снежная лавина, грозящая перейти в горный обвал. Ужасная судорога пронзила левую половину ее тела, скрутив его совершенно невооб-

разимым образом. Ощущение было такое, будто кто-то огрел ее раскаленной кочергой.

Коротенькая цепочка между наручниками на правой руке натянулась, и на какое-то мгновение боль с левой половины тела растворилась в новой пульсирующей агонии правого плеча и руки. Ощущение было такое, будто кто-то попытался выкрутить ей руку. «*Теперь я знаю, как чувствует себя курица, когда ей отрывают крыльишко*», — подумала Джесси. Левая пятка Джесси упиралась в пол, а правая свисала в трех дюймах от него. Левая часть ее тела неестественно скрючилась, а вывернутая правая пятка вздымалась, как застывшая волна. Туго натянутая цепочка бездушно сверкала в солнечных лучах раннего утра.

Внезапно Джесси подумала, что она умрет в таком положении. Она будет лежать вот так, скрюченная, постепенно теряя чувствительность, когда ее уставшее сердце проиграет битву и перестанет снабжать тело кровью. Паника снова овладела ею, и Джесси взмолилась о помощи, забывая, что по соседству никого нет, кроме проклятой собаки с желудком, набитым адвокатом. Она с бешеной силой потянулась правой рукой к набалдашнику спинки кровати, но промахнулась; напряженные пальцы на полдюйма не доставали деревянных шариков.

— *Помогите! Пожалуйста, помогите!*

Нет ответа. Единственные звуки, раздававшиеся в этой комнате, произносила сама Джесси: хриплый вопящий голос, прерывистое дыхание, биение сердца. Никого, кроме нее, и пока она не взберется обратно на кровать, она будет умирать, как женщина, подвешенная на крюке в лавке мясника. К тому же ситуация становилась все хуже и хуже: ягодицы продолжали скользить вниз к краю кровати, выворачивая ее правую руку под немыслимым углом, становящимся экстремальным.

Не раздумывая и даже не планируя (пока тело, истерзанное болью, само не позабылось о себе), Джесси уперлась левой ногой в пол и что есть силы оттолкнулась. Это было единственное движение, на которое еще было способно ее пронзаемое болью тело, и маневр удался. Нижняя часть тела выгнулась дугой, цепочка между наручниками на правой руке ослабела, и Джесси ухватилась за набалдашник спинки кровати со страстью и прытью человека, хва-тающегося за спасательный круг. Она подтянула себя вверх, не обращая внимания на боль в спине и мышцах. Когда ее ноги снова оказались на кровати, она в страхе отдернулась от края, как если бы собиралась нырнуть в бассейн, наполненный акульими детенышами, и заметила их как раз вовремя, чтобы спасти свои пальцы. Наконец

Джесси удалось принять прежнее полусидячее положение, раскинув руки в стороны, опервшись лопатками о мокрые от пота подушки в сбившихся наволочках. Джесси опустила голову на деревянные перекладины спинки, тяжело дыша, ее грудь блестела от струящегося пота. Она закрыла глаза и слабо рассмеялась.

«Это было очень волнующе, правда, Джесси? Кажется, твое сердце не было быстрее с 1985 года, когда после поцелуя на новогодней вечеринке ты собиралась лечь в постель с Томом Деглуидасом. Попытка не пытка — так, кажется, ты думала? Ну что же, теперь тебе это лучше знакомо».

Да. К тому же она поняла кое-что еще.

«Неужели? И что же именно, малышка?»

— Я поняла, что этот дурацкий телефон недосыгаем, — произнесла Джесси.

Да. Конечно. Когда она только что отталкивалась левой пяткой от пола со всей силой, которую ей придал панический ужас, кровать даже не сдвинулась с места. И теперь, когда у нее было время подумать об этом, она даже обрадовалась, что этого не произошло. Если бы кровать сдвинулась вправо, то она все еще висела бы. И даже если бы удалось протолкать кровать до самого столика...

— Я бы свисала не с той стороны, — произнесла Джесси, смеясь и всхлипывая одновременно. — Господи, пусть кто-нибудь пристрелит меня.

«Это не умно», — заметил один из НЛО-голосов. Тот, без которого она определенно смогла бы прожить.

— Подбери другое слово, — глухо произнесла Джесси. — Это мне не нравится.

«Но других нет. У тебя не было слишком большого выбора действий, и ты испробовала их все».

Джесси закрыла глаза и во второй раз после кошмара, увиденного ею во сне, увидела игровую площадку возле школы на Сентрал-авеню. Но только теперь это было не видение двух маленьких девочек, раскачивающихся на качелях; вместо этого она увидела маленького мальчика — своего брата Вилла, крутящего сальто на перекладине.

Джесси открыла глаза, соскользнула вниз и закинула голову, чтобы внимательнее рассмотреть спинку в изголовье кровати. Чтобы сделать сальто, надо было оттолкнуться от перекладины, потом подбросить ноги выше плеч, а заканчивалось оно полным переворотом, который давал возможность снова приземлиться. У Вилла это движение получалось настолько естественно и легко, что казалось врожденным.

«Предположим, что я смогу сделать это. Сделаю сальто через спинку этой дурацкой кровати. Перемахну через спинку и...»

— Приземлюсь на ноги... — прошептала Джесси.

Некоторое время такой выход казался ей опасным, но вполне возможным. Конечно, ей придется отодвинуть кровать от стены — ведь невозможно сделать сальто, если нет места для приземления — но Джесси показалось, что она сможет сделать и это. Если уж она смогла передвинуть полку (ее легко будет сбить с поддерживающих кронштейнов), то сможет закинуть ноги вверх и упереться ступнями в стену над изголовьем кровати. Она не смогла сдвинуть кровать в сторону, но, упираясь в стену...

— Тот же самый вес, в десять раз превышающий твой собственный, — пробормотала она. — Современная физкультура в самом лучшем виде.

Джесси уже потянулась было левой рукой к полке, намереваясь подтолкнуть ее вверх и сбросить с L-образных кронштейнов, когда еще раз более внимательно посмотрела на наручники с их убийственно короткими цепями. Если бы он пристегнул их к столбикам кровати немного выше — между первой и второй перекладинами, то у нее был бы шанс. Этот маневр, возможно, привел бы к переломам запястий, но она уже достигла того состояния, когда сломанные запястья уже не казались особенно большой ценой за их освобождение... к тому же они ведь срастутся и заживут. Но наручники были застегнуты между второй и третьей перекладинами, а это было более чем низковато. Любая попытка сделать сальто через изголовье могла окончиться только переломом костей; к тому же обе руки могли быть вывихнуты под массой ее тела.

«Попытаться сдвинуть эту чертову кровать куда-нибудь с поломанными запястьями и вывихнутыми плечами похоже на шутку».

— Нет, — сипло ответила Джесси. — Не очень.

«Давай проясним ситуацию, Джесс, ты здесь в тюрьме. Ты можешь называть меня голосом отчаяния, если тебе это больше нравится, и если это помогает тебе оставаться в здравом рассудке — Господь знает, что я за разум, но на самом деле я всего лишь голос правды, а правда данной ситуации в том, что ты заключена в тюрьму здесь».

Джесси резко отвернулась, не желая слушать этот самоуверенный голос правды, но поняла, что не может заглушить его, как ей удавалось заставить замолчать другие голоса.

«На тебя надеты настоящие наручники. Ты по-настоящему прикована, а ты вовсе не факир из «Мистики Востока», способный

уменьшить свое тело или вообще исчезнуть из виду. Я просто высказываю свою точку зрения, понятно? И, по-моему, ты в западне».

Неожиданно Джесси вспомнила, что случилось после того, как отец ушел из спальни в день солнечного затмения, то, как она кинулась на кровать и рыдала до тех пор, пока ей не показалось, что сердце ее сейчас или разорвется, или растает, или еще что-нибудь. И теперь, когда губы ее начали дрожать, она выглядела точно так же, как тогда: уставшая, смущенная, напуганная и потерянная. Больше всего последнее.

Джесси начала плакать, но после нескольких первых слезинок ее глаза отказались произвести на свет еще что-нибудь: строгие предохраниительные меры защиты сработали. Однако она все равно плакала без слез, всхлипывания были сухими, как нахдачная бумага.

24

В Нью-Йорке постоянные ведущие программы «Сегодня» вздохнули с облегчением до следующего дня. На дочернем канале Эн-Би-Эс, вещавшем на южную и восточную окраины штата Мэн, их заменило местное телешоу (большая, напоминающая мать всех времен и народов женщина в кружевном фартуке рассказывала, как легко готовить бобы в особых кастрюльках фирмы «Крок»), потом показывали игру, участники которой отпускали плоские шуточки и кричали в диком экстазе, выигрывая автомашины, лодки или пылесосы. В доме Белингеймов на берегу озера Кашвакамак на новоявленную вдову напала дремота, и она снова заснула. Это был кошмар, более четкий и правдоподобный, несмотря на поверхностный сон спящей.

Там Джесси снова лежала в темноте, а мужчина — или человекоподобное существо — снова стоял в дальнем конце спальни. Этот мужчина не был ее отцом, он не был ее мужем, мужчина был незнакомцем из тех, которые наполняют все наши самые болезненные, параноидальные видения и самый глубокий страх. Это было лицо создания, которое Нора Калиган со своими полезными советами и доброй, практичной натурой никогда бы не приняла в расчет. Это было черное существо никак нельзя было выкинуть из памяти, Это было космическим вомздием.

— Но ты знаешь меня, — произнес незнакомец с длинным белым лицом. Он склонился вниз и сжал ручку своей сумки. Без малейшего удивления Джесси заметила, что ручка была челюстной костью, а

сама сумка сделана из человеческой кожи. Незнакомец поднял ее, щелкнул замочками и открыл крышку.

Она снова увидела кости и драгоценности; существо опять запустило руку в глубь сумки и начало помешивать внутри, производя стучащие и дребезжащие звуки.

— *Нет, я не знаю*, — выкрикнула Джесси. — *Я не знаю тебя. Нет, нет. Нет!*

— *Ну конечно же, я — Смерть, и я вернусь сегодня ночью. Но мне кажется, что сегодняшней ночью я не просто буду стоять в углу, сегодня ночью я прыгну на тебя... вот так!*

Существо прыгнуло вперед, уронив при этом чемодан (кости, браслеты, ожерелья и кольца рассыпались на том месте, где лежал Джеральд с протянутыми вперед руками, указывая той, что была объедена, на дверь). Джесси увидела, что пальцы существа заканчиваются темными ногтями такой длины, что напоминают когти, затем она передернулась, просыпаясь, цепи зазвенели, когда она попыталась сделать руками жест протеста. Она снова и снова шептала:

— Нет!

«*Это был сон! Прекрати, Джесси, это был просто сон!*»

Она медленно опустила руки. Конечно, это был сон — вариация виденного прошлой ночью. Однако он был почти реальностью. Намного хуже, чем тот, о вечеринке, или тот, об интерлюдии, произошедшей между ней и ее отцом в день солнечного затмения. Как странно, что большую часть утра она размышляла именно о тех снах, а не о самом странном. На самом деле, она даже не вспомнила о создании с отвратительно длинными руками и чемоданчиком, набитом сувенирами, пока не задремала и не увидела его снова во сне.

Обрывок песни завертелся у нее в голове, что-то из Позднего Психоделического Возраста: «*Некоторые называют меня космическим ковбоем... я-я... некоторые называют меня гангстером любви...*»

Джесси содрогнулась. Космический ковбой. В какой-то степени это правильно. Пришелец, некто, не имеющий ни к чему отношения...

— Пришелец, — прошептала Джесси и неожиданно вспомнила, как сморщились щеки этого существа, когда оно усмехалось. И когда эта деталь встала на свое место, то и все остальное стало организовываться вокруг нее. Золотые зубы поблескивали во рту. Толстые надутые губы. Мертвенно-бледная бровь и огромный нос. И, конечно, еще был чемоданчик, который можно видеть у коммивояжеров...

«*Прекрати, Джесси, перестань нагонять на себя страх. У тебя и так достаточно проблем.*»

Конечно, у нее достаточно других проблем, но теперь, начав думать об этом сне, она уже не могла остановиться. Но хуже было то, что чем больше она думала о нем, тем меньше это походило на сон.

«*А что если я не спала?*» — внезапно подумала она, и когда эта мысль была высказана, она ужаснулась, что какая-то часть ее действительно так считала и только и ждала момента, когда ее поддержат.

«*Нет, о нет, это был только сон, вот и все...*»

«*А что, если нет? Что, если нет?*»

— *Смерть, — согласился белолицый пришелец. — Ты видела Смерть. Я вернусь этой ночью, Джесси. Следующей ночью я сложу твои кольца в свой чемодан вместе с остальными своими побрякушками... моими сувенирами.*

Джесси осознала, что ее всю трясет, как в лихорадке. Широко раскрыв глаза, она беспомощно смотрела на пустой угол, где (космический ковбой, гангстер любви)

стоял в углу, который был залит ярким утренним солнцем, но который ночью заполнят движущиеся тени. Мурашки пробежали по коже. Неумолимая правда проявилась снова: возможно, ей придется умереть здесь.

— *В конечном итоге кто-нибудь найдет тебя, Джесси, но, возможно, на это уйдет слишком много времени. Первым предположением будет то, что вы вдвоем в каком-нибудь страшно романтическом путешествии. А почему бы и нет? Разве вы с Джеральдом не разыгрывали из себя страстно влюбленных молодоженов? Только вы вдвоем знали, что Джеральду может надоест притворяться, как только ты окажешься прикованной к кровати. Может быть, и с ним кто-то тоже поиграл в день солнечного затмения?*

— Перестань болтать, — пробормотала Джесси. — Вы все, перестаньте болтать!

«*Но рано или поздно люди начнут волноваться и искать вас. Возможно, это будут коллеги Джеральда, которые первыми забьют тревогу. Конечно, в Портленде есть пара женщин, которых ты называешь подругами, но ты никогда их не посвящала в свою жизнь, ведь так? Просто приятельницы, с которыми можно выпить чашечку чая и перелистать каталог. Никто из них не забеспокоится, если ты не будешь появляться неделю или даже дней десять. Но у Джеральда были назначены встречи, и если он не появится к пятнице, то кто-нибудь из его приятелей начнет звонить и расспрашивать. Да, может быть, все так и начнется, но мне кажется, что именно смотритель летних домиков наткнется на*

ваши тела. Клянусь, что он отвернет лицо, когда будет накрывать тебя чистой простыней, Джесси. Он не захочет смотреть на твои остывшие руки, закованные в наручники с кольцами, такие же твердые, как карандаши, и белые, как свечи. Но больше всего ему не захочется смотреть на выражение ужаса, застывшее в твоих глазах, поэтому он отведет глаза, когда будет накрывать тебя простыней».

Джесси медленно покачала головой из стороны в сторону — безнадежный жест отрицания и неприязни.

— О Господи, неужели вы не можете успокоиться, — простонала Джесси. — Никаких голосов, не надо голосов, пожалуйста.

Но этот голос не мог остановиться, не хотел даже признавать ее. Он продолжал говорить, нашептывая ей прямо в мозг откуда-то из недр ее сознания. Слушать его было все равно, что водить грязным куском шелка по лицу.

«Они отвезут тебя в Августу и медэксперт штата распотрошит тебя, исследуя твои кишki. У них это — правило в случаях непонятной или загадочной смерти. А твоя смерть будет именно такой. Он вытащит кусочек того, что было твоей последней пищей — сэндвич с салами и сыром, срежет кусочек твоего мозга, чтобы рассмотреть его под микроскопом, в конце концов он назовет это смертью от несчастного случая». Дама и господин играли в обычную, безобидную игру — скажет он, — только вот у господина было неважное чувство юмора, и у него случился сердечный приступ в самый критический момент, а женщина осталась... ладно, лучше не вдаваться в подробности. Лучше даже не думать об этом без особой необходимости. Можно сказать, что дама умирала очень тяжело — вы только посмотрите на нее». Вот как все будет, Джесс. Может быть, кто-нибудь и заметит, что твое обручальное кольцо исчезло, но они не будут искать его слишком долго, если вообще будут. Вряд ли медэксперт заметит, что одна из твоих косточек — незначительная, скажем, третья фаланга пальца правой ноги — также исчезла. Но мы-то ведь знаем, ведь так, Джесси? Действительно теперь мы знаем. Мы знаем, что ОНО заберет их. Космический пришелец, космический ковбой. Мы будем знать...»

Джесси посильнее ударила головой о спинку кровати, так что искры посыпались у нее из глаз. Было больно — очень больно, но внутренний голос выключился, как радио при отключении тока, а это стоило такой боли.

— Вот так, — сказала Джесси. — А если ты начнешь снова, я снова повторю это. И я не шучу. Я устала слушать...

Теперь уже ее собственный голос, бессознательно произносящий слова вслух в пустой комнате, выключился, как обесточенное радио. Когда круги, мелькающие перед глазами Джесси, начали бледнеть, в ярких лучах утреннего солнца она увидела нечто, лежащее дюймах в восемнадцати от распостертой руки Джеральда. Это был маленький белый предмет с золотым ободком посередине. Сначала Джесси подумала, что это кольцо, но предмет был слишком мал для этого. Не кольцо, а серьга с вправленной в нее жемчужиной. Она выпала из чемоданчика, когда посетитель рылся в нем, показывая ей его содержимое.

— Нет, — прошептала Джесси. — Нет, это невозможно.

Но серьга была *там*, сверкающая в лучах солнца, почти такая же реальная, как указывающий на нее мертвый мужчина, жемчужная серьга с тоненьким золотым ободком.

«*Это одна из моих сережек! Она выпала из моей шкатулки для драгоценностей, она лежала там с прошлого лета, а я только сейчас заметила ее!*»

Все было хорошо, кроме того, что у нее была только одна пара жемчужных сережек, но без золотого ободка, к тому же серьги остались в Портленде.

Кроме того, здесь были люди и натирали паркет, и если бы здесь *была* сережка, то один из них поднял бы ее или положил бы ее на туалетный столик либо себе в карман.

Кроме всего этого, было еще нечто.

«*Нет, ничего больше нет. Не смей говорить, что есть!*»

Сережка была одна, без пары.

«*Даже если есть, я не буду смотреть на это.*»

Но она не могла *не* смотреть. Ее взгляд перенесся с сережки на место как раз перед дверью, ведущей в коридор. Там виднелось маленькое пятнышко высохшей крови, но не оно привлекло ее внимание. Кровь принадлежала Джеральду. С кровью все было нормально. Это был отпечаток следа, привлекший ее внимание.

«*Если остался след, то, значит, он был здесь раньше!*»

Как Джесси ни желала поверить в это, раньше здесь не было никакого отпечатка. Вчера на этом полу *не было* ни единой пылинки. К тому же этот след не мог принадлежать Джеральду или Джесси. Это была засохшая грязь в форме следа от башмака.

Кажется, кто-то был с ней прошлой ночью в этой спальне.

При этой мысли, взбудоражившей и без того перенапряженный мозг, Джесси начала кричать. На улице, у крыльца черного хода, одичавшая собака приподняла свою ободранную морду и насторожила чуткие уши. Затем, потеряв всякий интерес, опустила морду. Было

не похоже, что звук производило нечто опасное, это была всего лишь хозяйка. К тому же у нее теперь был запах той черной вещи, которая приходила прошлой ночью. Это было то, что бродяге всегда хорошо известно. Это был запах смерти.

Бывший Принц закрыл глаза и снова заснул.

25

Наконец, она кое-как взяла себя в руки. Ей удалось это, несмотря на всю абсурдность повторения мантры Норы Калиган.

— Раз — это ступни, — сказала Джесси, ее пересохший голос хрипло каркал в пустоте спальни, — десять маленьких пальчиков, выстроенных в ряд. Два — это ноги, стройные и длинные, три — это секс, где все плохо.

Она продолжала дальше, повторяя те рифмы, которые могла вспомнить, пропуская те, которые забыла, плотно закрыв глаза. Она повторяла эту считалку раз десять, пока не убедилась, что сердце замедлило свой бег, а самое ужасное мгновение страха снова отошло, но она не замечала радикальных изменений, привнесенных ею в рифму Норы.

После шестого круга Джесси открыла глаза и оглядела комнату, как женщина, только что очнувшаяся после короткого, но принесшего отдых сна. Однако ее взгляд избегал угла возле шифоньера. Она не хотела снова смотреть на серьгу и уж совсем точно ей не хотелось смотреть на отпечаток башмака.

«Джесси? — Голос был очень мягким и нежным. Джесси подумала, что это Женушка, перепуганная до смерти, снова беспокоит ее. — Джесси, можно мне кое-что сказать?»

— Нет, — мгновенно отреагировала Джесси. — Убирайся, я хочу разделаться со всеми вами, сучки.

«Пожалуйста, Джесси. Послушай меня, пожалуйста».

Джесси закрыла глаза и четко увидела ту часть своей личности, которую она привыкла называть Образцовой Женушкой Белингейм. Женушка все еще была закована в колодки, но могла приподнять голову — акт довольно-таки самоотверженный в ее положении, так как тяжелая доска колодок зажимала ее шею. На какое-то мгновение волосы приоткрыли ее лицо, и Джесси удивилась, увидев не Образцовую Женушку, а молодую девушку.

«Да, но это все равно я», — подумала Джесси и чуть не рассмеялась. Все это выглядело довольно-таки забавно, как в комиксах. Она только что думала о Норе. А одним из любимых коньков Норы был вопрос о том, как люди берегут «ребенка внутри себя».

Нора утверждала, что наиболее общая причина всех несчастий скрывается в том, что люди не умеют кормить и правильно воспитывать этого внутреннего ребенка.

Джесси рассеянно кивала ей в ответ, оставаясь при своем мнении, но эта концепция Норы была несколько сентиментальной для нового поколения. Ей все-таки нравилась Нора, и хотя она считала, что Нора просто зациклилась на ментальных образах порядочности и любви конца шестидесятых — начала семидесятых, теперь она сама четко видела этого Нориного «ребенка внутри себя», и ей казалось, что у этой концепции может оказаться некое символическое значение, а при данных обстоятельствах, когда она заковала всех своих собеседников, должно же чем-то заполниться ее воображение? В колодках сидели ожидающая Женушка, ожидающая Руфь, ожидающая Джесси. Она была той маленькой девочкой, которую отец называл Сорванцом.

— Ладно, говори, — произнесла Джесси. Глаза ее были все так же закрыты, а стресс, голод и жажда, объединенные вместе, делали этот образ девушки в колодках почти реальным. Теперь она видела слова, начертанные на куске картона, прибитого над ее головой; «ДЛЯ СЕКСУАЛЬНОГО СОБЛАЗНА». Конечно, слова были написаны карамельно-розовой помадой.

Но на этом ее воображение не успокоилось. Рядом с Сорванцом была еще одна девочка, тоже в колодках. На вид ей было лет семнадцать. Она была толстой и прыщавой. За обеими осужденными виднелась городская площадь. Кто-то звонил в колокол — казалось, за отдаленным холмом — с монотонной регулярностью, как будто бы звонарь собирался звонить весь день...

«Ты сходишь с ума, Джесси», — смутно подумала Джесси, и ей показалось, что так оно и есть на самом деле, хотя это и не важно. Она даже посчитала это избавлением и благословлением Божиим. Джесси отогнала эту мысль и снова вернулась к девочке в колодках. Делая это, она заметила, что ее взволнованность сменилась нежностью и гневом. Этот двойник Джесси Махо был старше той, которую соблазняли в день затмения, но не *намного* — лет двенадцати, самое большое четырнадцати. В наше время никого не выставляют на всеобщее обозрение закованным в колодки за любое правонарушение. Но за сексуальный *соблазн*? Что за дурацкие шуточки? Неужели люди могут быть настолько жестоки? Настолько слепы?

«Что ты хочешь сказать мне, Сорванец?»

«Только то, что все реально, — ответила девочка в колодках. Ее лицо побледнело от боли, но глаза были спокойные и ясные. — Это было на самом деле, и сегодня ночью Оно вернется. Мне

кажется, что в этот раз Оно будет не только смотреть. Тебе необходимо избавиться от наручников до захода солнца, Джесси. Тебе нужно выбраться из этого дома до того, как Оно вернется».

Снова Джесси захотелось плакать, но у нее не было слез — только ощущение на�дачной бумаги в горле.

— Я не могу! — выкрикнула она. — Я испробовала все! Я не могу выбраться самостоятельно!

«Ты забыла об одной вещи, — сказала ей закованная девочка. — Я не знаю, насколько это важно, но, может быть, это воспоминание поможет тебе».

«О чём?»

Девочка развернула ладони внутри отверстий колодки, растопыривая чистенькие розовые пальчики. Он сказала, что было два вида наручников, помнишь? «М-17» и «Ж-23». Мне кажется, что вчера ты вспомнила об этом. Он хотел купить «Ж-23», но такие наручники редко бывают в продаже, поэтому он удовольствовался двумя наборами «М17». Ты ведь помнишь, не так ли? Он рассказал тебе о них все в тот день, когда принес их домой.

Джесси открыла глаза и посмотрела на наручник, сковывающий правое запястье. Да, Джеральд все рассказал ей об этих штуковинах и о своих планах, позвонив из офиса. Он хотел узнать, пуст ли дом — Джеральд никак не мог запомнить, когда у их горничной выходной, и когда она уверила его, что дома никого нет, то он предложил ей опробовать нечто приятное. Нечто, что почти уже здесь, — именно так заговорил он о них. Джесси помнит, что была заинтригована. Даже по телефону голос Джеральда звучал так, будто он вот-вот взорвётся, и Джесси показалось, что он как-то странно ведет себя. Джесси нормально отнеслась к его предложению: им было уже под сорок, и если Джеральду хочется немного поэкспериментировать, то она не имеет ничего против.

Он приехал рекордно быстро, но больше всего Джесси запомнила, как он с пылающими щеками и сверкающими глазами суetливо побежал в спальню. Секс не был первой мыслью, возникающей у Джесси, когда она думала о Джеральде (по ассоциации это, скорее всего, было слово «безопасность»), но в тот день он напомнил ей эти два понятия, которые, впрочем, никак не совмещались. Определенно, у него на уме был только секс; Джесси показалось, что его деликатный адвокатский перчик просто проделал бы дырку в брюках, если бы он не освободил его немедленно из тисков одежды.

Когда Джеральд высвободил свои принадлежности, он немного успокоился, церемонно открыв коробку, которую принес с собой в спальню. Он вытащил два набора наручников и протянул их, предлагая

взглянуть на свое сокровище. На его шее пульсировала артерия — Джесси помнила это. Уже тогда его сердцу угрожал риск-фактор.

«Ты сделал бы мне огромное одолжение, Джеральд, если бы окочурился прямо тогда».

Джесси ужаснулась такой жестокой мысли о человеке, с которым прожила вместе так много лет, но единственное, что она могла чувствовать, — это отвращение к самой себе. А когда ее мысли вернулись к тому, как он выглядел в тот день — эти пылающие щеки и сверкающие глаза, — ее ладони спокойно сжались в маленькие твердые кулаки.

— Почему ты не мог оставить меня в покое? — спрашивала она его теперь. — Почему это было для тебя так важно?

«Не обращай внимания, не думай о Джеральде — думай о наручниках. Два набора полицейских наручников «М-17». «М» обозначает «для мужчин», семнадцать — это количество зазубрин в затворе замка».

Ощущение сильного жара шевельнулось у нее в желудке и в грудной клетке.

«Не замечай этого, — приказала она сама себе, — а если тебе так уж необходимо ощущать это, то представь, что это просто от несварения желудка».

Однако это было невозможно. Джесси почувствовала надежду, и бессмысленно было отрицать это. Самое лучшее, что она могла сделать, — это соотнести надежду с реальностью, помня о провале первой попытки протиснуть руки сквозь браслеты наручников. Да, но несмотря на попытки вспомнить ту боль, она думала теперь о том, насколько близко, насколько чертовски близко она была к свободе. Для того, чтобы этот трюк удался, возможно, хватило бы еще только четверти дюйма, подумала тогда Джесси, а уж полдюйма хватило бы наверняка. Мешали косточки, выпирающие под большими пальцами, но неужели она действительно собирается умереть только потому, что не способна преодолеть расстояние не больше ширины ее верхней губы? Ну конечно же, нет.

Джесси усилием воли заставила себя отставить эти мысли в сторону и вернуться к тому дню, когда Джеральд принес эти наручники домой. Как он молча представил их на обозрение Джесси жестом ювелира, показывающего свое самое великолепное бриллиантовое колье. Джесси и сама была поражена: наручники впечатляли. Она помнит, какими они были блестящими и как солнечный луч, упавший на голубую сталь, разбрызгивал блестки искристого сияния, помнит зазубрины, позволяющие регулировать размер браслетов по ширине руки.

Джесси захотелось узнать, где он купил их. Это было просто любопытство, а не обвинение. Но единственное, что он сказал ей, было то, что один из его приятелей помог достать эти вещицы. Да и вообще он вел себя так, будто принес домой парочку ракетных боеголовок, а не обыкновенные наручники.

Она лежала на кровати, одетая в белый кружевной пояс и шелковые чулки, наблюдая за Джеральдом со странным чувством удивления, любопытства и возбуждения... Но удивление было основным чувством в тот день, ведь так? Да. Видеть Джеральда, который всегда так старался выглядеть мистером Сдержанность, скачущим по комнатам, как жеребец, вошедшим в раж было просто поразительно. Прическа Джеральда напоминала «взрыв на макаронной фабрике», на нем все еще были надеты роскошные черные шелковые носки. Джесси помнит, как она закусила щеку — достаточно сильно, — чтобы не рассмеяться.

Мистер Сдержанность говорил быстрее, чем аукционер на распродаже. А затем вдруг замолчал на полуслове. Выражение комичного удивления застыло на его лице.

— Джеральд, что случилось? — спросила она.

— Я только что понял, что не знаю, захочешь ли ты принять это, — ответил он. — Я тут столько наболтал, думая, что ты все понимаешь, но я даже не спросил, захочешь ли ты.

Она улыбнулась — отчасти потому, что ей уже надоели шарфы, но она не знала, как сказать ему об этом, но в основном потому, что ей было приятно видеть, как его снова интересует и волнует секс. Конечно, идея приковать свою жену наручниками, прежде чем начать глубокое погружение в морские глубины, была несколько странной. Ну и что? Все это происходило только между ними, ведь так? К тому же это было забавно, не более чем в какой-нибудь сексуальной пьеске. Кроме того, мало ли что бывает: Фрида Соемс, живущая в доме напротив, однажды призналась Джесси (после второго стаканчика перед ланчем и полбутылки вина во время онного), что ее бывший муж испытывал наслаждение, приподнявшись и завернувшись в пеленки.

Теперь ей уже не помогало то, что она закусила щеку, и Джесси расхохоталась. Джеральд смотрел на нее, слегка склонив голову к правому плечу, а в левом уголке рта зарождалась улыбка. Это выражение было отлично знакомо Джесси — за семнадцать лет она успела изучить своего мужа. Оно означало, что он либо собирается рассердиться, либо рассмеяться вместе с ней. Обычно невозможно было предсказать, что именно он выберет.

— Ты хочешь принять в этом участие? — спросил он.

Джесси не сразу ответила. Она перестала смеяться и уставилась на него с выражением, которое, она надеялась, напоминало взгляд той суки с обложки журнала «Приключения для мужчин». Когда она почувствовала, что достигла нужной отметки ледяного высокомерия, то подняла руки и произнесла три слова, заставивших его прыгнуть на кровать, доведя до неимоверного возбуждения:

— Иди сюда, притворщик.

В мгновение ока он защелкнул наручники на ее запястьях, а потом стал прикреплять их к столбикам кровати. На их кровати в Портленде не было перекладин; если бы сердечный приступ произошел там, то она просто сдернула бы наручники со столбиков. Продолжая возиться с наручниками, склонившись над ней, Джеральд безостановочно болтал. Он объяснял, какая разница между «М» и «Ж» и как работает замочек. Он хотел купить женские, говорил Джеральд, потому что на женских двадцать три зазубрины, а не семнадцать. Чем больше зазубрин, тем плотнее прилегают наручники. Но женские достать очень трудно, поэтому, когда его приятель сказал, что может продать парочку мужских по вполне сходной цене, то Джеральд решил воспользоваться случаем.

— Некоторые женщины могут просто вытянуть руку из мужских наручников, — говорил ей Джеральд. — Но у тебя широкие кисти. К тому же мне не хотелось ждать. Так... Давай посмотрим...

Он замкнул наручники на ее правом запястье, сначала быстро проходя зазубрины, но к концу снизил темп, справляясь всякий раз, не больно ли ей, когда лязгала очередная защелка. Ей не было больно до самого конца, но когда она попыталась вытянуть руки, то у нее ничего не получилось. То есть она смогла вытянуть ладонь, но до того места, где запястье расширялось у основания большого пальца. Позже Джеральд сказал ей, что даже этого не должно происходить, но когда была пройдена последняя зазубрина, выражение взволнованности исчезло с его лица.

— Мне кажется, что они вполне подходят, — сказал Джеральд.

Джесси помнила это, но то, что он добавил после этого, запомнилось ей еще лучше:

— Мы отлично развлечемся с их помощью.

С воспоминаниями о том дне, все еще живо стоящими у нее перед глазами, Джесси снова начала надавливать на наручники, пытаясь как-нибудь скрутить руку, чтобы та смогла проскользнуть сквозь браслет. На этот раз боль пришла раньше, поразив не ладони, а перенапряженные мышцы плеч и рук. Джесси зажмурила глаза, еще сильнее пытаясь притиснуть кисть через браслет.

Теперь и ее ладони присоединились к натиску сопротивления, и когда Джесси снова протянула руку так, что мышечная ткань нависла над кольцом наручников, ладони начало саднить. «Задние связки, — подумала Джесси, свесив голову набок, губы растянулись в зловещей болезненной ухмылке. — Задние связки, задние связки, проклятые задние связки!»

Ничего, ни малейшего движения. Джесси начала подозревать — очень сильно подозревать, что здесь задействованы не только связки. Там были еще и кости, кости, скрывающиеся под слоем мышц, кости, из-за которых она могла умереть.

С последним содроганием боли и разочарования Джесси еще раз попыталась выдернуть руку. Плечи и руки задрожали от невыносимого напряжения. Такое напряжение, и все потому, что наручники были типа «М-17», а не «Ж-23». Разочарование было хуже физической боли, оно жалило, как отправленная крапива.

— *Дерьмо!* — выкрикнула Джесси в пустоту комнаты. — *Дерьмо, дерьмо, дерьмо!*

Где-то за озером, сегодня уже дальше, чем вчера, завиляла циркулярная пила, и это разозлило Джесси еще больше. В довершение всего еще и вчерашний парень, жужжащий своей пилой и мечтающий забраться в постель со своей красоткой в конце дня... а может быть, он мечтал о футбольном матче, а может быть, о стаканчике виски со льдом в кабачке. Джесси видела его фланелевую рубашку так же четко, как и девочку, распятую в колодках, и если бы мыслью можно было убить, то его голова давно уже отлетела бы в сторону.

— *Это нечестно!* — выкрикнула Джесси. — *Это просто нечестно...*

Сухой спазм снова сдавил горло, и Джесси замерла в молчаливой гримасе боли и страха. Она почувствовала разламывающую боль в костях, мешавших ее освобождению, но все равно она была близка к цели. Вот что было основной причиной вновь вспыхнувшего чувства горечи и сожаления. Не боль, и уж тем более не лесоруб со своей завывающей пилой. Причиной сожаления было осознание того, насколько близко она была к свободе и насколько недосыгаемой была эта свобода. Она могла сколько угодно стискивать зубы и корчиться от боли, но уже больше ни капельки не верила, что хоть кто-то сможет ей помочь. Эти полдюйма, недостававшие до свободы, казалось, издевались над ней. Единственно, к чему могло привести ее упорство, так это к ссадинам и отеку запястий, что еще сильнее ухудшил ее положение.

— И не смей говорить мне, что я могу что-то сделать, — свистящим шепотом произнесла Джесси. — Я не хочу даже слушать.

«Но ты должна как-то избавиться от них, — шепотом отвела девочка. — Потому что он — Оно — действительно собирается вернуться. Сегодня ночью. После захода солнца».

— Я не верю, — прохрипела Джесси. — Я не верю, что этот человек был на самом деле. И мне наплевать на след ботинка и на серьгу. Я просто не верю.

«Да, конечно, ты не веришь».

— *Нет, не верю!*

Голова Джесси свесилась на одну сторону, волосы ниспадали на матрац, губы протестующе искривились: Да, она верила.

26

Джесси снова задремала, несмотря на усиливающуюся жажду и ломоту в руках. Она знала, что спать было очень опасно — ее силы будут продолжать угасать во время сна, но разве это что-то меняло? Она исследовала все возможности, но все так же оставалась Американской Прикованной Милашкой. К тому же она хотела забвения, желала его страстно, как жаждет наркоман своей порции допинга. Но когда она уже почти засыпала, шокирующая своей простотой мысль обожгла ее дремлющий разум, как костер.

«Крем для лица. Баночка с кремом на полочке над кроватью».

«Не возрождай надежду, Джесси, это было бы ужасной ошибкой. Если она упала на пол, когда ты приподнимала полку, то, наверное, закатилась в такое место, откуда тебе ни за что не достать ее. Поэтому не возрождай надежду».

Но дело было в том, что Джесси не могла не надеяться, потому что баночка все еще была здесь, на месте, откуда она могла легко достать ее. К тому же там было достаточно крема, чтобы смазать одну руку. Возможно, даже обе, но Джесси считала, что в этом не будет необходимости. Если она сможет освободиться от одного наручника, то сможет встать с кровати, а если сможет встать с кровати, то от другого наручника как-нибудь отделяется.

«Это была просто миленькая пластмассовая баночка, одна из тех, которые рассылают по почте, Джесси. Она должна была соскользнуть на пол».

Однако этого не произошло. Когда Джесси повернула голову налево так, что чуть не вывернула шею, то краешком глаза заметила темно-голубое пятнышко.

«На самом деле там ничего нет, — прошептала та смирившаяся с судьбой часть Джесси, которую она ненавидела. — Ты думаешь, что она там, это понятно, но на самом деле там ничего нет. Это

просто галлюцинация, Джесси, просто ты видишь то, что желает видеть большая часть твоего ума, что приказывает она видеть тебе. Однако не я; я — реалистка».

Джесси снова посмотрела, еще больше поворачивая голову влево, несмотря на острую боль. Вместо того чтобы исчезнуть, голубой комочек стал еще четче. Это была баночка с кремом. Со стороны Джесси на полке стояла лампа, она не соскользнула на пол, когда Джесси приподнимала полку, потому что была прикреплена к деревянной поверхности. Книжка — роман «Долина лошадей», лежавшая на полке с июля, соскользнула на основание лампы, а баночка с кремом «Нивея», сдвинувшись, удерживалась именно этой книгой. Джесси подумала, что, возможно, ее жизнь будет спасена именно потому, что на полке оказались лампа и книга — фантастический роман, в котором действовали люди с именами типа Айла и Ода, Уба и Гонолан. Это было более чем удивительно — это было нереально.

«*Даже если баночка там, то ты никогда не сможешь добраться до нее*», — прошептала фаталистка, но вряд ли Джесси слышала ее. Дело в том, думала она, что я могу достать баночку. Она была почти уверена в этом. Джесси повернула левую руку внутри браслета наручников и медленно и осторожно потянулась к полке. Ей нельзя было совершить ошибку, толкнуть баночку с кремом вдоль полки, откуда ее будет непросто достать или столкнуть вглубь, к стене, например. Насколько Джесси знала, теперь между полкой и стеной был зазор, через который легко могла проскользнуть маленькая баночка. А если это произойдет, то ее рассудок может не выдержать. Джесси была уверена в этом. Да. Она услышит, как баночка упадет, покатится по пыльному полу, а потом ее рассудок просто... разобьется. Поэтому ей нужно быть очень осторожной... А если она будет осторожной, то, возможно, все еще будет хорошо. Потому что...

«*Потому, что, может быть, есть все-таки Бог на свете*», — подумала Джесси, — и он не захочет, чтобы я умерла здесь, на этой кровати, как какое-то животное, попавшее в капкан. Но лучше перестать думать об этом. Я сняла эту баночку с полки, когда собака начала терзать тело Джеральда, а потом увидела, что баночка слишком мала и легка, чтобы причинить хоть какой-то вред собаке, даже если бы мне и удалось попасть в нее. В тех обстоятельствах, когда я чувствовала только отвращение, страх и смущение, самой естественной реакцией было поискать что-нибудь более тяжелое на полке и отшвырнуть баночку прочь. Но вместо этого я поставила ее на полку. Почему я или кто-нибудь другой, почему мы совершаем

такие аналогичные поступки? Потому, что есть Бог, вот почему. Это единственный ответ, который я могу дать, единственный ответ, объясняющий все. Бог сохранил для меня ее потому, что знал, как сильно она будет мне нужна».

Джесси осторожно скользила прикованной рукой по дереву полки, пытаясь сложить свои занемевшие пальцы лодочкой. Ошибки быть не должно. Она понимала это, отставив в сторону мысли о Боге, Судьбе и Провидении, — это был ее лучший и последний шанс. И когда ее пальцы коснулись гладкой поверхности баночки, внутри нее зазвучали слова старой песенки, бывшей популярной, когда Джесси еще училась в колледже:

*«Если ты хочешь попасть в рай,
Я расскажу тебе, как это сделать,
Нужно смазать пятки жиром,
И тогда ты выскользнешь из рук дьявола
И приземлишься в Земле Обетованной;
Смотри на вещи проще
И смазывай пятки жиром».*

Джесси обхватила баночку пальцами, не обращая внимания на пульсирующую боль в плече, и осторожно передвинула баночку ближе к себе. Теперь она знала, что ощущают люди, работающие с жидким азотом.

«Смотри на вещи проще, — подумала Джесси, — и смазывай пятки жиром».

Могли ли быть высказаны более справедливые слова за всю историю мира.

— Я не думаю *так*, — произнесла она в нос, подражая голосу Элизабет Тэйлор в фильме «Кошка на раскаленной крыше». Но Джесси не слышала своих слов, она даже не осознавала, что говорит вслух.

Джесси уже ощущала благословенное расслабление, нисходящее на нее, оно было столь же сладостно, как первые глотки свежей прохладной воды, омывшие ее пересохшее горло. Она собиралась выскользнуть из рук дьявола и приземлиться на Земле Обетованной, в этом не было ни малейшего сомнения. До тех пор, пока она будет очень аккуратной. Ее пытали, ее жгли огнем, а теперь она получит свою награду. Было бы глупо с ее стороны даже сомневаться в этом.

«Мне кажется, что лучше не думать подобным образом, — озабоченно произнесла Образцовая Женушка. — Не то ты станешь

неосторожной, а мне кажется, что еще ни одному неосторожному человеку не удалось выскользнуть из рук дьявола».

Возможно, что так, но у нее не было ни малейшего *намерения* быть неосторожной. Последние двадцать два часа она провела в аду, и никто лучше нее не знал, как много было поставлено на кон. Никто не *сможет* узнать никогда.

— Я буду осторожна, — еле слышно пробормотала Джесси. — Я продумаю каждый шаг. Обещаю, что я сделаю это. А потом я... я... «Что потом?»

— А потом я выскользну, конечно. И не только из этих наручников.

Внезапно Джесси услышала себя снова разговаривающей с Богом, но теперь ее речь лилась легко и свободно.

— Я хочу *пообещать* Тебе, — сказала она Господу, — я обещаю Тебе *приземлиться* удачно. Я собираюсь *произвести* генеральную уборку в своем сердце и *выкинуть* все сломанные игрушки и предубеждения, которые я давно уже *переросла*, — весь тот хлам, который только занимает место, я *сожгу* все это хламье. Может быть, я *позвоню* Норе Калиган и *попрошу* ее помочь мне. Я думаю, что также *позвоню* Кэрол Саймонд... теперь уже Кэрол Риттенхаус. Если кто-нибудь из старых друзей и знает Руфф Ниери, то это Кэрол. Послушай меня, Господи. Я не знаю, добирался ли кто-нибудь до Земли Обетованной, но я обещаю, что я попытаюсь. Хорошо?

И она увидела (как будто это было одобрительным ответом на ее молитву), как это все будет выглядеть. Самым трудным будет снять крышечку с банки; это потребует упорства и огромной осторожности, но здесь ей окажет услугу очень маленький размер баночки. Положить баночку на ладонь левой руки; пальцами ухватиться за крышку; большим пальцем начать откручивать крышку. Это удастся, если крышка закручена неплотно, но Джесси была почти уверена, что сможет открутить крышку в любом случае.

«Ты *чертовски* права, я *откручу* ее, *малышка*», — подумала Джесси.

Самый опасный момент наступит, когда крышка действительно начнет откручиваться. Если это случится неожиданно, когда Джесси еще не будет готова к этому, то баночка может выпасть у нее из руки. Джесси хрипло рассмеялась.

Она подняла баночку вверх и внимательно посмотрела на нее. Трудно было увидеть что-либо сквозь полупрозрачный синий пластик, но Джесси разглядела, что баночка заполнена наполовину, а может быть, даже чуточку больше. Когда крышка будет откручена,

она просто сможет опрокинуть баночку на ладонь, и крем стечет на нее. Когда наберется достаточно крема, она просто поднимет руку вверх, позволяя крему стекать вниз на запястье. Большая часть крема попадет между браслетом наручников и кистью. Она сможет распределить крем, вращая руку из стороны в сторону. Она уже знала, где находится жизненно важная часть: место под большим пальцем. А когда рука будет достаточно смазана, она дернет ею изо всех сил. Она не станет обращать внимания на боль и будет продолжать тянуть руку, пока кисть не проскользнет сквозь браслет наручника, и наконец-то она будет свободна, благодаря всемогущему Господу, свободна. Она сможет сделать это. Джесси знала, что сможет.

— Но очень осторожно, — пробормотала Джесси, устанавливая баночку на ладони и прижимая подушечки пальцев к крышке. И...

— Она закручена *неплотно!* — выкрикнула Джесси охрипшим, дрожащим голосом. — О моя радость, это действительно *так!*

Джесси с трудом верила своим глазам — и фантастический скептик убрался вовсюси, также отказываясь верить этому, но это было правдой. Джесси почувствовала, как крышечка поворачивается по спиралевидным желобкам нарезки, подчиняясь движению ее пальцев.

«*Осторожно, Джесс, — очень осторожно. Делай все так, как ты представляла!*»

Да. Внутренним взором она увидела еще нечто, увидела себя, сидящую за своим письменным столом в Портленде, одетую в свое лучшее черное платье, в меру короткое, купленное ею прошлой весной себе в награду за то, что, просидев на диете, похудела на десять фунтов. Ее волосы, только что вымытые и пахнущие хорошим шампунем, а не пропитанные потом, скрепляла золотая заколка. Поверхность стола была залита теплым послеобеденным солнечным светом, падающим из окна. Она увидела себя, пишущую в корпорацию по производству крема «Нивея» в Америке или кому бы там ни было, выпускающему этот крем для лица. «*Господа, — напишет она, — я хочу, чтобы Вы знали, насколько спасительным оказался Ваш продукт...*»

Когда Джесси еще немного усилила давление на крышку, та начала легко проворачиваться. Все согласно плану. «*Как во сне, — подумала Джесси. — Благодарю тебя, Господи. Благодарю. Очень благода...*»

Неожиданно уголком глаза Джесси уловила какое-то движение, и ее первой мыслью было не то, что кто-то нашел ее и она спасена, но то, что это вернулся космический ковбой собственной персоной, до того как она успела освободиться и исчезнуть. Джесси испуганно

вскрикнула, и ее взгляд соскользнул с баночки. Пальцы вцепились в баночку.

Это была собака. Собака вернулась подкрепиться и теперь стояла в дверном проеме, оглядывая комнату, прежде чем войти. В тот же момент, когда Джесси поняла это, она также поняла, что слишком сильно сжала синюю баночку. Баночка проскочила сквозь ее сжатые в кулачок пальцы, как перезревший фрукт.

Джесси вцепилась в нее и почти удержала, но баночка выскользнула из пальцев и, ударившись о бедро, рикошетом отскочила от кровати. Последовал глухой стук, когда она ударила о деревянный пол. Это был именно тот звук, который, как считала Джесси, сведет ее с ума. Но этого не произошло, и теперь она сделала для себя более глубокое и ужасное открытие: несмотря на все произошедшее с ней, она все еще далека от безумия. Теперь она поняла, что какие бы ужасы ни предстояло ей пережить после того, как захлопнулась эта последняя дверь, она встретит их в здравом уме.

— Почему ты появился именно теперь, сучий сын? — спросила она бывшего Принца, и нечто в ее презрительном ледяном голосе заставило его остановиться и посмотреть на нее с опаской и настороженностью, которую не могли ей внушить все ее крики и угрозы. — Почему именно сейчас, черт тебя побери? Почему сейчас?

Пес решил, что хозяйка по-прежнему безопасна, несмотря на стальные нотки, звучавшие в ее тоне, но все же продолжал коситься на нее, подкрадываясь к своему запасу мяса. Лучше быть в безопасности. Принц достаточно настрадался, чтобы усвоить этот простой урок, к тому же это не забывается легко или скоро. Всегда лучше быть в безопасности. Пес еще раз взглянул на Джесси горящими глазами, прежде чем опустил голову и принялся за одно из яичек Джеральда, пытаясь оторвать зубами кусок побольше. Ужасно было видеть это, но не это было самым отвратительным для Джесси. Самым отвратительным было взлетевшее с места своего торжества облако мух, потревоженных собакой, когда та вонзила в тело Джеральда свои клыки, тряся мордой. Их монотонное жужжание завершило работу разрушения той части ее разума, которая из последних сил боролась за жизнь и которая была связана с надеждой, живущей в ее сердце.

Пес настолько деликатно попятился к выходу, что стал похож на танцора из музыкального фильма, уши его были насторожены, а мясо зажато в пасти. Затем бродяга повернулся и быстренько удалился из спальни. Мухи тут же уселись на свои прежние места. Джесси опустила голову на перекладины кровати и закрыла глаза. Она снова начала молиться, но теперь она не просила об освобождении. В этом

раз она молилась, чтобы Господь забрал ее к себе быстро и безболезненно, пока не зашло солнце и не появился незнакомец с белым лицом.

Следующие четыре часа были самыми ужасными в жизни Джесси Белингхейм. Судороги возникали все чаще и были все более продолжительными, но не мышечная боль сделала время между одиннадцатью и тремя часами дня таким ужасным, — ее измучило глупое, упорное нежелание ее разума покинуть четкий мир и опуститься в темноту. Когда-то в школе она читала стихи Эдгара По, но только теперь перед ней раскрылся весь смысл его строчек: *«Неврничаю! Да, вы правы, я очень неврничаю и неврничал, но почему вы говорите, что я сумасшедший?»*

Сумасшествие было бы облегчением, но оно не приходило. Точно так же, как и сон. Смерть может принести их, а уж темноту — наверняка. Она просто лежала на кровати, существуя в полуerealности, корчась от судорог. Только судороги имели значение, точно так же, как и измученный, напуганный разум, и ничего больше. Казалось, что мир, существующий вне пределов этой комнаты, потерял для Джесси всякую реальность. Действительно, она начала считать, что другого мира просто *не существует*, что люди, когда-то наполнявшие его, убрались в некое Бюро по переплавке, а все декорации убраны, как нарисованные домики после столь любимых Руфью студенческих спектаклей.

Время превратилось в холодное море, сквозь которое плыло ее сознание, как качающийся среди разбитых льдин ледокол. Голоса появлялись и исчезали. Чаще всего они разливались в ее голове, но один раз Нора Калиган заговорила с ней из ванной комнаты, к тому же Джесси побеседовала со своей матерью, определенно прячущейся в коридоре. Ее мать пришла сообщить ей, что Джесси никогда бы не влипла в подобную историю, если бы научилась не разбрасывать свою одежду.

«Если бы я получала по пенни за каждую вещь, поднятую с пола, — произнесла Сэлли Махо, — то давно бы уже купила Кливлендский газоперерабатывающий комбинат».

Это была любимая присказка ее матери, и Джесси вдруг подумала о том, что никто из них так никогда и не спросил, почему она *хотела* купить именно Кливлендский газоперерабатывающий комбинат.

Джесси продолжала свои упражнения, слабо перебирая ногами, поднимая и опуская руки, насколько это позволяли цепи наручников

и ее слабеющие силы. Теперь она делала это не для того, чтобы поддерживать свое тело в боевой готовности на случай, если подвернется возможность освободиться, потому что теперь она умом и сердцем поняла, что все возможности исчерпаны. Баночка с кремом была последней из них. Она продолжала шевелить руками и ногами потому, что эти движения хоть немного уменьшали боль. Но, несмотря на это, она чувствовала, как холод пробирался в ноги и руки, устраиваясь под кожей, как кусочки льда. Когда Джесси проснулась, то, казалось, ощущения в руках и ногах замерли, теперь же чувство было совсем иным, напоминавшим ей перенесенные в детстве страдания от мороза, когда она очень долго каталась на лыжах, — до омертвевших серых пятен на руках и икрах ног, ледяных пятен, которые не могло отогреть даже живое тепло огня в камине. Джесси предполагала, что онемение заглушит боль судорог и в конце концов смерть будет совсем не страшной — все равно, что заснуть в буран, — но она приближалась слишком медленно. Время шло, но это было вовсе не время — это было безжалостное, неумолимое перетекание информации из ее дремлющих чувств в бодрствующее ясное сознание. Существовали только темнота, пейзаж за окном (последние декорации, которые ждали, когда придут рабочие и уберут их в чулан), жужжение мух, превращающих Джеральда в рассадник и инкубатор, медленное движение теней по полу, пока солнце совершало свой круг по осеннему небу. Теперь судороги превратились в одну ноющую боль в правой стороне тела. Когда приблизились бесконечные сумерки, первые сильные спазмы стали сводить ее живот, где собирались голодные боли со всего света, и проникли в диафрагму. Здесь боль была самой ужасной, замораживая мышцы грудины и блокируя легкие. Джесси агонизирующими взглядом уставилась на озерные блики, пляшущие на потолке, все тело ее дрожало от напряжения, когда она пыталась продолжать дышать, пока спазмы не отступили. Ощущение было такое, будто ее по самую шею замуровали в холодный мокрый цемент.

Голод прошел, но жажда оставалась, и пока бесконечный день кружил над ней, Джесси поняла, что обыкновенная жажда может довершить то, что невероятная боль и даже неоспоримый факт приближающейся смерти не были в состоянии сделать: жажда могла свести с ума. Теперь проблема была не только во рту и горле — каждая клеточка ее тела требовала воды. Даже ее глаза хотели пить, и вид отблесков озерной воды заставил ее застонать.

При приближении такой реальной опасности страх перед космическим ковбоем должен был ослабнуть или полностью исчезнуть, но с приближением вечера мысль о бледнолицем незнакомце все чаще

мелькала в голове Джесси. Она постоянно видела его фигуру, стоящую позади маленького круга света, который удерживало ее туманящееся сознание, и хотя она могла разглядеть только общие очертания этого пришельца, все же Джесси видела его болезненную улыбку, искривляющую рот все четче и четче по мере продвижения солнца все дальше и дальше на запад. Она слышала глухое побрякивание костей и драгоценностей, когда он перемешивал их в своем стареньком чемоданчике.

Он придет за ней. Он придет, когда будет темно. Пастух смерти, пришелец, призрак любви.

«Ты увидишь это, Джесси. Это будет смерть, и ты увидишь ее, как частенько видят ее люди, умирающие в одиночестве. Конечно, видят: она топчется по их скорченным телам, это можно увидеть в их вытаращенных глазах. Это был старый Пастух смерти, и сегодня вечером, когда сядет солнце, он вернется за тобой».

Вскоре после трех часов ветер, весь день отдыхавший, стал набирать силу. Кухонная дверь снова начала безустанно хлопать. А еще несколько минут спустя замолкла циркулярная пила и Джесси услышала стоны волн, разбиваемых ветром о прибрежные скалы. Гагара не подавала голоса; возможно, она решила, что ей пора улетать на юг или просто перебралась в ту часть озера, куда не доносились крики какой-то женщины.

«Теперь я одна. По крайней мере, пока сюда не придет кто-нибудь еще».

Теперь она даже не пыталась убедить себя, что ее черный посетитель был просто воображением — уж слишком далеко все зашло.

Новая судорога вгрызлась ей под левую подмышку, и лицо Джесси исказилось болезненной гримасой. Как будто кто-то проткнул громадной вилкой ее сердце. Затем мышцы брюшного пресса напряглись, а клубок нервных окончаний в солнечном сплетении вспыхнул, как вязанка сухого хвороста. Эта новая боль была невыносимой — такой она еще никогда не испытывала. Боль охватила все тело, согнув его, как хилый зеленый росток. Тело корчилось в судорогах, ноги в коленях сгибались и снова разгибались. Волосы болтались из стороны в сторону. Она попыталась закричать и не смогла.

На какое-то мгновение ей даже показалось, что вот она, последняя черта. Последняя конвульсия, и ты свободна, Джесси, — твой кассир справа.

Но эта боль тоже прошла.

Джесси медленно расслабилась, дыша тяжело и напряженно, сердце выпрыгивало из груди. По крайней мере, хоть на какое то

мгновение блики от воды не мучили ее, все ее внимание было сосредоточено на пылающем клубке в солнечном сплетении, она пытлась понять, действительно ли боль отступила или обожжет ее снова. Боль ушла... но неохотно, обещая скоро вернуться. Джесси закрыла глаза, моля о сне. Даже кратковременное освобождение от продолжительного и утомительного умирания было бы принято с радостью.

Сон не пришел, но Сорванец, девочка в колодках, появилась снова. Теперь она была свободной, как птица, независимо от сексуального соблазна; идя босиком по городской площади или вдоль какой-то пуританской деревушки, в которой она жила, она была победоносно одинока — ей не нужно было опускать сияющие глаза вниз, чтобы ни один проходящий мальчишка не оскорбил ее взгляд подмигиванием или ухмылкой. Трава была бархатно-зеленою, с вершины отдаленного холма на нее взирало стадо овец. Колокол, который Джесси слышала и раньше, разливал свой монотонный, низкий звон сквозь сгущающиеся сумерки.

Сорванец была одета в голубую фланелевую рубашку с огромным желтым восклицательным знаком спереди — вряд ли это было пуританское одеяние, хотя оно и было достаточно благообразным, скрывая ее тело с головы до пят. Этот наряд был отлично знаком Джесси, и она обрадовалась, снова увидев его. В возрасте от десяти до двенадцати, пока ей наконец-то не позволили выбросить его, ей частенько приходилось надевать эту нелепую ночнушку.

Волосы Сорванца, полностью скрывавшие ее лицо пока она была в колодках, теперь были перевязаны бархатной ленточкой цвета темнои ночи. Девочка выглядела хорошенькой и счастливой, что вовсе не удивило Джесси. В конце концов она освободилась от своих пут, она была свободна

Джесси не завидовала ей, но почувствовала страстное желание — почти необходимость, — чтобы та не просто наслаждалась своей свободой, — она должна дорожить ею, берегать и пользоваться.

«Все-таки заснула. Наверняка я сплю, потому что это всего лишь сон».

Еще одна судорога, на этот раз не такая болезненная, как та, от которой загорелось солнечное сплетение и застыли мышцы левой стороны тела, а ноги беспомощно подергивались в воздухе. Джесси открыла глаза и увидела спальню, в которой тускнеющий свет снова начал удлинять тени. Это еще не было то время, которое французы называют *l'heure bleue**. Но это время теперь стремительно прибли-

* Голубой час — (фр.)

жалось. Джесси слышала, как хлопает дверь, вдыхала запах пота, мочи, дурного дыхания. Все так, как и было. Время двигалось вперед, но оно не прыгнуло вперед, как частенько кажется, когда просыпаясь после неприятных сновидений. «Руки немного похолодели, — подумала она, — но не больше и не меньше, чем это должно быть». Она не спала, следовательно, она не видела сна... но что-то же она делала.

«Я снова могу это повторить», — подумала Джесси и закрыла глаза. Она опять очутилась в центре маленького городка. Девочка с огромным желтым восклицательным знаком, расположившимся между ее маленькими грудями, смело и доброжелательно взирала на нее

«Есть еще одна вещь, которую ты не опробовала, Джесси».

— Это неправда, — ответила она Сорванцу. — Я испробовала все, поверь мне. И знаешь что? Я думаю, что если бы я не выпустила эту проклятую баночку с кремом, когда собака испугала меня, я вполне могла бы освободиться от левого наручника. Мне не повезло, что собака вошла именно в тот момент. Или просто это моя плохая карма. В любом случае что-то плохое».

Девочка плавно приближалась, трава шелестела под ее голыми ступнями.

«Не из левого наручника, Джесси. Это из правого ты сможешь высочить. Это трудно, но вполне возможно. Вопрос в том, действительно ли ты хочешь жить».

— Конечно, я хочу жить.

Еще ближе. Эти глаза — дымчатый цвет, пытающийся стать голубым, — теперь, казалось, проникали сквозь кожу Джесси прямо в сердце.

«Неужели? Я сомневаюсь».

— Что ты мелешь, сумасшедшая? Неужели мне нравится лежать здесь, прикованной к этой постели, когда...

Глаза Джесси — все еще пытающиеся стать голубыми спустя все эти годы — снова медленно открылись. Они не спеша осмотрели комнату с испуганной торжественностью. Увидели ее мужа, лежащего теперь в неправдоподобно перекрученной позе и смотрящего в потолок.

— Я не хочу лежать прикованной к этой кровати, когда сгущаются сумерки, а призрак собирается вернуться, — сообщила Джесси пустой комнате.

«Закрой глаза, Джесси».

Джесси повиновалась. Там стояла Сорванец в старенькой фланелевой рубашке, спокойно глядя на нее; теперь Джесси увидела и вторую девочку — толстушку с прыщеватой кожей. Толстушке не

так повезло, как Сорванцу: для нее не было выхода, пока освобождением не станет сама смерть — гипотеза, которую Джесси вполне принимала. Толстушка либо была напугана до смерти, либо страдала от какого-то припадка. Лицо ее было пурпурно-черного цвета. Один глаз вылезал из орбиты, другой был похож на раздавленную виноградину. Ее язык, окровавленный от многочисленных прокусов, вываливался изо рта.

Содрогнувшись, Джесси повернулась к Сорванцу.

— Я не хочу кончить жизнь вот так. Что бы со мной ни случилось, я не хочу скончаться вот так. Как тебе удалось выбраться?

«Выскользнуть, — быстро ответила Сорванец. — Выскользнуть из лап дьявола, приземлиться на Землю Обетованную».

Джесси ощущала прилив гнева.

— Неужели ты не слышала то, что я говорила? Я уронила проклятую баночку с кремом! Вошла собака, испугала меня, и я уронила ее! Как могу я...

«А еще я вспомнила солнечное затмение. — Сорванец говорила отрывисто, как человек, раздраженный чем-то; ты делаешь реверанс, я киваю головой, мы пожимаем друг другу руки. — Вот как я выбралась: я вспомнила солнечное затмение и то, что случилось на террасе, пока оно продолжалось. И тебе тоже нужно вспомнить об этом. Мне кажется, это единственный шанс получить свободу. Ты больше не можешь убегать, Джесси. Тебе необходимо посмотреть правде в глаза».

Снова все это? Только это? Джесси охватило глубокое чувство разочарования и усталости. На какое-то мгновение надежда почти вернулась к ней, но для ее возрождения не было никаких оснований. Вообще ничего.

— Ты не поняла, — ответила она Сорванцу. — Мы уже проделали весь этот путь, до самого конца. Да, мне кажется, что то, что сделал мой отец тогда, может иметь какое-то отношение к тому, что случилось теперь со мной, по крайней мере такое вполне возможно, но зачем еще раз переживать всю эту боль, когда и так мне предстоит пережить еще много болезненных мгновений, прежде чем Господь устанет мучить меня и не опустит окончательно нож гильотины?

Ответа не последовало. Маленькая девочка в голубой ночнушке, малышка, которая была когда-то ею, ушла. Теперь под прикрытыми веками Джесси была только кромешная тьма, как на экране после окончания киносеанса. Поэтому она снова открыла глаза, еще раз оглядела комнату, в которой собирались умереть. Джесси посмотрела

на шелковую бабочку, потом перевела взгляд на шифоньер, оттуда — на тело Джеральда, покрытое ковром из назойливых осенних мух.

«Оставь это, Джесс. Вернись к солнечному затмению».

Глаза ее расширились. Это действительно прозвучало — настоящий голос, раздавшийся не из ванной комнаты или коридора, или изнутри ее головы, но, казалось, возникший из воздуха.

— Сорванец? — Теперь это был сплошной хрип. Джесси снова попыталась сесть, но еще одна ужасная судорога свела мышцы живота, и она сразу же легла, ожидая, когда боль отпустит. — Это ты, Сорванец? Ведь так, дорогая?

Ей даже чудилось, что она услышала, как будто голос произнес еще что-то, но даже если это было и так, то она не смогла разобрать ни единого слова. А потом все вообще затихло.

«Вернись к солнечному затмению, Джесси».

— В нем нет ответа, — пробормотала она. — Ничего, кроме боли, глупости и... И что? Что еще?

«Старого Адама». — Фраза выстроилась в ее голове, воссталла из какой-то проповеди, услышанной ею в детстве, когда она скучающе сидела между матерью и отцом, болтая ногами, ловя солнечный зайчик, отражающийся от церковного витража на ее туфельке из белой кожи. Просто фраза, схваченная обрывком ее подсознания и оставшаяся в ней. «Старый Адам» — и, возможно, это так и было. Настолько просто. Отец, который полуосознанно подготовил все, чтобы остаться один на один со своей хорошенькой, удивительно милой дочерью, все время думая, что от этого не будет никакого вреда, ни малейшего вреда. Потом началось затмение, и она сама села к нему на колени в платьице, слишком коротком и тесном — в платье, которое он сам попросил ее надеть, — и случилось то, что случилось. Просто короткий, козлиный розыгрыш, пристыдивший и поставивший в неловкое положение их обоих. Он сделал свое вливание, он выстрелил этим на ее трусики — определенно, это вовсе не похвальное поведение для папочек, и уж определенно, она не видела подобной ситуации в детских фильмах, но...

«Но давай посмотрим правде в глаза, — подумала Джесси. — Меня только слегка поцарапали по сравнению с тем, что могло произойти... что действительно случается каждый день. Такое бывает не только в районах, населенных беднотой. Мой отец не был первым образованным мужчиной из верхушки среднего класса, воспылавшим страстью к своей дочери, почувствовавшей мокре пятно на трусиках. Конечно, я не утверждаю, что это нормально или простительно, просто я говорю, что подобное встречается сплошь и рядом, к тому же все могло быть гораздо хуже».

Да. Теперь лучше всего, казалось, забыть об этом, чем снова пережить подобное, неважно, что там говорила Сорванец по этому поводу. Пусть лучше все растворится в кромешной тьме, которая следует за каждым полным солнечным затмением. Ей еще многое нужно будет пережить в этой зловонной, наполненной мухами комнате, прежде чем умереть.

Джесси прикрыла глаза, и сразу же запах отцовского одеколона заполнил пространство. Да еще легкий нервозный запах пота. Ощущение твердого предмета снизу. Легкое постанывание отца, когда она ерзала у него на коленях, пытаясь устроиться поудобнее. Ощущение руки отца, прижавшейся к ее груди. Беспокойство, все ли с ним в порядке. Он начал дышать так часто. Марвин Гайе, поющий по радио: «Я люблю слишком сильно, иногда говорят мои друзья, но я верю... я верю... что женщину нужно любить именно так...»

— Ты любишь меня, Сорванец?

— Да, конечно...

— Тогда ни о чем не беспокойся, я никогда не сделаю тебе больно.

Теперь уже вторая рука скользила вверх по ее голой ноге, сдвигая подол платья Джесси вверх.

— Я хочу...

— Я хочу быть нежным с тобой, — пробормотала Джесси, слегка ерзая по перекладине спинки кровати. Лицо ее было болезненно-желтым и осунувшимся. — Вот что он сказал. Боже праведный, он действительно это сказал.

«Все знают... особенно вы, девочки... что любовь может быть печальной, а моя любовь вообще горька...»

— Я не уверена, что хочу, папа... я боюсь обжечь глаза.

— У тебя есть еще двадцать секунд. По крайней мере, хоть столько. Поэтому не волнуйся и не оглядывайся.

Затем последовал щелчок резинки — не ее шорт, а его, когда он освобождал Старого Адама.

Вопреки обезвоживанию организма, одинокая слезинка навернулась Джесси на глаза и медленно покатилась по щеке.

— Я сделаю это, — произнесла она сиплым, каркающим голосом. — Я вспомню. Надеюсь, что ты счастлива.

«Да, — ответила Сорванец, и, хотя Джесси больше не видела ее, она все еще чувствовала этот милый, доброжелательный и искренний взгляд маленькой девочки, направленный на нее. — Однако ты зашла слишком далеко. Вернись немного назад. Самую чуточку».

Огромное чувство облегчения охватило Джесси. И она поняла, что то, о чем просила Сорванец вспомнить ее, произошло не во время

или после сексуальных упражнений отца, а *перед* ними... хотя и незадолго до этого.

— Тогда почему же мне нужно было снова оживлять все оставленные воспоминания?

Ответ на это был достаточно очевидным. Не важно, хочешь ли ты одну сардину или целых двадцать, все равно придется открывать банку и смотреть на все рыбы, придется вдыхать этот маслянисто-рыбный запах. К тому же немножко древней истории не убьет ее. Это смогут сделать наручники, удерживающие ее на кровати, но не старые воспоминания, даже такие болезненные, как эти. Пора перестать стонать и перейти к делу. Пришло время отыскать то, что, по словам Сорванца, ей так необходимо найти.

«Вернись к тому моменту, когда он начал прикасаться к тебе по-другому — неподобающим образом. Сначала вернись к причине, почему вы оказались там вдвоем. Вернись к затмению».

Джесси поплотнее закрыла глаза и вернулась.

28

— Сорванец? Все в порядке?

— Да, но... это немного страшно, ведь так?

Теперь ей не нужно было смотреть в отражатель, чтобы понять, что же происходит, — день начал темнеть, как это случается, когда туча закрывает солнце. Но это была не туча: темнота стала загадочной, а тучи, которые были на небе, находились далеко на востоке.

— Да, — говорит отец. А когда Джесси смотрит на него, то чувствует большое облегчение, что отец действительно так считает. — Хочешь сесть ко мне на колени, Джесс?

— Можно?

— Конечно.

Итак, она садится, радуясь его близости и теплу, исходящему от него, сладкому запаху — запаху Тома Махо, — а день все темнеет. Радуясь больше всего, потому что действительно страшновато, даже страшнее, чем она предполагала, как это будет. Больше всего ее испугало то, как падают и тают их тени на террасе. Она никогда прежде не видела, чтобы тени вот так бледнели, и уверена, что никогда больше не увидит. «Со мной все в порядке», — думает она, прижимаясь все сильнее, радуясь тому, что она снова папин Сорванец, а не стареющая Джесси — слишком высокая, слишком глуповатая... слишком визгливая.

— Я уже могу смотреть сквозь закопченное стекло, папа?

— Еще нет. — Его рука, тяжелая и теплая, лежит на ее ноге.

Она кладет свою руку на папину и усмехается.

— Это так волнующе, правда?

— Да, конечно, Сорванец. Даже больше, чем я предполагал.

Она снова ерзает, желая найти более удобное положение, чтобы сосуществовать с его твердой частью, на которой теперь устроилась ее попа. Он втягивает воздух сквозь зубы.

— Папочка? Я очень тяжелая? Я сделала тебе больно?

— Нет. Ты хорошая.

— Я уже могу смотреть через стекло?

— Нет, Сорванец, но уже скоро.

Мир больше не похож на тот, когда солнце заходит за тучу; теперь кажется, что среди дня на землю опустились сумерки. Она слышит, как в лесу ухает сова, этот звук заставляет ее содрогнуться.

— Посмотри на озеро! — говорит ей папа, а когда она смотрит, то замечает, как в сгущающихся сумерках краски теряют всю свою яркость, переходя в пастельные тона.

Джесси вновь содрогается и говорит ему, что у нее от всего этого мурашки идут по телу; отец советует ей не слишком бояться, для того чтобы получить наслаждение (то есть то утверждение, которое она будет тщательно обдумывать — возможно, слишком тщательно, — ища в нем скрытый подтекст). А теперь...

— Папа? Папочка? Оно ушло. Можно мне...

— Да. Теперь можно. Но когда я скажу, что хватит, ты перестанешь. Без всяких споров, поняла?

Он протягивает ей три стеклы, но сначала дает ухватку в форме рукавички. Он дает их ей потому, что он сделал фильтры из вырезанного стекла, а отец менее чем уверен в своих способностях стеклореза. И когда она смотрит вниз на ухватку в этом подобии сна и воспоминаний, ее ум отскакивает назад даже быстрее, чем акробат, делающий прыжок; Джесси слышит, как говорит отец:

— ...Единственное, чего мне не хватает, так это, чтобы...

— ...твоя мать приехала домой и нашла записку...

Джесси открыла глаза, произнеся эти слова в пустоту, и первое, что увидела, это был пустой стакан Джеральда, все еще стоящий на полке рядом с наручниками, приковывающими ее запястье к столбiku кровати. Не левое запястье, а правое.

— ...записку, в которой написано, что я повез тебя в больницу для оказания скорой помощи, чтобы они тебе пришили пару пальчиков.

Теперь Джесси поняла смысл этих старых болезненных воспоминаний, поняла, что пыталась сказать ей Сорванец.

Ответ не имел ничего общего со Старым Адамом или со слабым, дурманящим запахом мокрого пятна на ее трусиках.

Все дело было в нескольких стеклянных кусочках, аккуратно вырезанных из старого оконного стекла. Она потеряла баночку из-под крема, но ей остался еще один вид смазки, ведь так? Еще один способ приземлиться в Земле Обетованной.

Это была кровь. Пока она не засохнет, кровь такая же скользкая, как и масло.

«Будет чертовски больно, Джесси».

Да, конечно, боль будет адская. Но она где-то слышала или читала, что на запястье меньше нервных окончаний, чем на других участках тела; вот почему разрезанию запястия, особенно в сосуде с горячей водой, отдавалось предпочтение начиная со времен Римской империи. К тому же теперь ее руки были наполовину онемевшими.

— Во-первых, я была полуонемевшей, когда позволила ему застегнуть на себе эти дурацкие штучки, — прохрипела Джесси,

«Если ты порежешься слишком глубоко, то истечешь кровью и умрешь, подобно этим древним римлянам».

Конечно, и такое может быть. Но если она не сделает этого, то будет лежать здесь, пока не умрет от паралича или полнейшего обезвоживания организма... или пока не появится ее дружок с полным чемоданом костей, который он показывал ей прошлой ночью.

— Ладно, — произнесла Джесси. Сердце билось тревожно, и впервые за многие часы она полностью проснулась. Время помчалось галопом. — Ладно, это звучит убедительно.

«Послушай, — требовательно произнес голос, и Джесси с удивлением поняла, что этот голос принадлежал одновременно Руфи и Хозяюшке. Они объединились, хотя бы на какое-то время. — Слушай меня внимательно, Джесс».

— Я слушаю, — ответила она пустой комнате. Джесси не только слушала, но и смотрела. Она смотрела на стакан. Один из двенадцати из набора, купленного ею на распродаже три года назад. Шесть или восемь уже разбились. Вскоре разобьется еще один. Джесси вздохнула и искривилась. Было похоже, что она пытается проглотить обернутый в тряпочку камень, застрявший у нее в горле. — Я слушаю очень внимательно, поверьте мне.

«Отлично. Потому что если ты начнешь, то уже не сможешь ничего остановить. Все должно произойти очень быстро, потому что твое тело и так уже обезвожено. Но запомни одно: даже если все пойдет не так, как надо...»

— ...они отлично сработают, — закончила Джесси. И это было правдой, не так ли? Ситуация принимала предельно простой оборот. Она не хотела истечь кровью — кто бы хотел этого? — но все-таки это лучше, чем все усиливающиеся судороги и жажда. Лучше, чем он. *ОНО. Галлюцинация. Или что бы это там ни было.*

Джесси облизнула пересохшие губы сухим шершавым языком и поймала разлетающиеся, смущенные мысли. Попыталась привести их в порядок, как она сделала это после того, как баночка с кремом выскользнула из ее руки и упала на пол. Однако теперь думать было намного труднее. Джесси продолжала слышать обрывки разговора и продолжала вдыхать запах отцовского одеколона, осталось ощущение твердого предмета, прижимающегося к ней снизу. А потом, был еще Джеральд. Казалось, что Джеральд разговаривает с ней, лежа на полу. *«Оно вернется, Джесси. Ты никогда не сможешь остановить это. Оно преподаст тебе отличный урок, моя гордая красавица».*

Джесси бросила на него взгляд, потом быстрым отвернулась к стакану. Казалось, что Джеральд свирепо ухмылялся той частью лица, которую собака оставила нетронутой. Джесси снова попыталась заставить работать свой разум, и после некоторого усилия, казалось, шарики в ее голове, как в каком-то механизме, опять закрутились.

Она потратила еще минут десять, обдумывая свои предстоящие действия. По правде говоря, дела-то было всего ничего — задача, конечно, на грани смертельного риска, но вовсе не сложная. Джесси несколько раз прокрутила в голове каждый свой шаг, выискивая хоть малейшую ошибку, которая могла бы стоить ей жизни, но не находила ни одной. Главный недостаток таился в самом конце — все должно быть сделано очень быстро, до того, как кровь начнет свертываться, — было всего два возможных выхода: либо быстрое освобождение, либо потеря сознания и смерть.

Джесси еще раз мысленно прокрутила каждый шаг, пока солнце продолжало свое путешествие на запад. На заднем крыльце собака встала и направилась в лес, уловив дуновение прежнего черного запаха, а с полным желудком даже такого дуновения было достаточно.

«Двенадцать, Двенадцать, Двенадцать», — вспыхивал циферблат часов, но какое бы время ни было на самом деле, все же это было время.

«Еще один момент, прежде чем ты начнешь. Твои нервы напряжены до предела, и это хорошо, но держи себя в руках. Если ты начнешь с того, что уронишь этот проклятый стакан на пол, вот тогда тебя действительно трахнут».

— Оставайся там, собака! — нервно выкрикнула Джесси, не зная, что собака убралась в лес несколько минут тому назад. Она немного поколебалась, раздумывая, может, ей стоит еще помолиться, но потом решила, что она помолилась обо всем, о чем только могла. Теперь единственная надежда была только на голоса... и на себя саму.

Правой рукой Джесси потянулась к стакану, двигаясь уже без прежней осторожности. Одна ее часть — возможно, та, которая так любила и восхищалась Руфью Ниери, — понимала, что дело было не в осторожности, а в том, чтобы посильнее опустить молоток.

«Теперь мне нужно стать Леди Самурай», — подумала Джесси и улыбнулась.

Джесси сжала пальцами стакан, захват которого она столь тщательно продумывала, и с удивлением рассматривала его несколько мгновений — она разглядывала его так, как разглядывает садовник экзотический экземпляр, выросший между бобов и груш, — затем схватила его. Она почти полностью закрыла глаза, когда со всей силой ударила стакан о полъу, как человек, разбивающий скорлупу яйца, сваренного вскрутым.

Последовавший за этим звук был до абсурдности знакомым, до абсурдности *нормальным*, этот звук ничем не отличался от тех, производимых сотнями других стаканов или выскользнувшими из рук во время мойки, или опрокинутыми Джесси со стола после того как она в возрасте пяти лет перестала пользоваться пластмассовой чашечкой с красочным утенком на боку. Тот же самый звук бьющегося стекла; не было ни единого намека на то, что она только что начала уникальную операцию, рискованную для жизни, чтобы спасти эту же жизнь.

Джесси почувствовала, как осколок стекла ударился об ее лоб, как раз над бровью, но это был единственный осколок, задевший лицо. Второй осколок — довольно-таки большой, судя по звуку, — отскочив от полки, упал на пол. Губы Джесси сжались в плотную тонкую линию, она замерла в ожидании того, что главным источником боли станут ее пальцы, ведь именно ими она плотно сжимала

стакан перед тем, как тот разбился. Но боли не было, только ощущение слабого давления и еще более слабого тепла. По сравнению с судорогами, сводившими ее тело в последние несколько часов, это был просто пустяк.

«Наверное, стакан разбился очень удачно, а почему бы и нет! Неужели не настало время, чтобы и мне хоть немного повезло?»

Затем Джесси подняла руку и увидела, что все не так уж и хорошо. Темно-красные капельки крови сочились из четырех пальцев, только мизинец остался невредимым. Тончайшие осколки торчали из большого, указательного и среднего пальцев, как таинственные иглы дикобраза. Онемение в пальцах — и, возможно, острота осколков, поранивших ее, — избавили Джесси от ощущения боли, но все же осколки вонзились в ее плоть.

Пока она смотрела, густые капли крови падали на розовую поверхность стеганого матраса, окрашивая его в более темный цвет.

Эти стеклянные копья, торчащие из пальцев, как иголки из игольницы, вызвали в ней тошноту и желание опорожнить желудок, хотя он был совершенно пуст.

«Ты ведь приготовилась стать Леди Самурай», — с насмешкой произнес один из НЛО-голосов.

— Но это мои пальцы! — выкрикнула Джесси. — Разве ты не видишь? Это мои пальцы!

Она почувствовала, что начинает впадать в панику; с усилием подавив ее, она устремила взгляд на остатки стакана, которые все еще держала в руке. Это была изогнутая верхняя часть, четвертушка от целого стакана — он разбился с одной стороны в форме двух полукружий, сходившихся в одной точке, зловеще сверкающей в лучах солнца. Наверное, стакан все-таки разбился удачно. Только бы мужество не оставило ее. Джесси этот изогнутый стеклянный зубец напоминал какое-то фантастическое, сказочное орудие — маленькую изогнутую сабельку, прихваченную воинственной феей на случай поединка под мухомором или поганкой.

«Твой разум уклоняется от темы, дорогая, — произнесла Сорванец. — Разве ты можешь позволить себе подобное?»

Ответ был: «Конечно, нет».

Джесси осторожно положила осколок на полку, стараясь поместить его так, чтобы потом легко и без всяких осложнений достать. Осколок лежал на гладком изогнутом брюхе, выставив саблеобразный зубец. Маленькая искорка отраженного солнца сверкала на острие зубца. Джесси подумала, что этот осколок отлично сделает свое дело, если она будет очень осторожной и не толкнет его слишком сильно. Иначе же стакан просто слетит с полки.

— Просто будь осторожной, — произнесла Джесси. — Этого не случится, если ты будешь осторожной. Просто представь...

Но вторая половина фразы

(что ты разрезаешь ростбиф)

показалась ей не очень-то эффективной, поэтому Джесси оборвала ее прежде, чем та вырвалась наружу. Джесси подняла правую руку, пока цепочка наручника не натянулась до предела, а запястье не нависло над сверкающим острием стекла. Она страстно желала смахнуть остальные осколки с полки, но не посмела. Именно теперь, после эксперимента с банкой из-под крема «Нивея». Если она случайно столкнет этот осколок с полки или разобьет его, то ей потребуется другой более или менее подходящий. Такая предосторожность казалась ей почти нереальной, но даже на мгновение Джесси не позволила себе сказать, что она была излишней. Если она собирается как-то выкрутиться, то ей придется потерять несколько больше крови, чем сейчас.

«Сделай это так, как ты мысленно представляла, Джесси, это все, что от тебя нужно... и не обманывай себя».

— Не дурить, — осевшим хриплым голосом согласилась Джесси. Она вытянула руку и потрясла ладонью, пытаясь подобным образом избавиться от осколков стекла, торчащих на ее пальцах. Ей это почти удалось. Только один кусочек, слишком глубоко вонзившийся в мякоть под ногтем большого пальца, остался в своем гнезде. Джесси решила пока его не трогать и приступить к остальной части дела.

«То, что мы собираемся делать — чистейшей воды безумие, — сообщил ей нервный голос. Он не принадлежал НЛО; этот голос Джесси отлично знала. Это был голос ее матери. — Но меня это нисколько не удивляет. Это типичная реакция Джесси Махо, я видела подобное тысячи раз. Подумай, Джесси, зачем резать себя и, возможно, умереть от потери крови? Ведь, может быть, кто-нибудь придет и спасет тебя; другого выхода просто нет. Умереть в летнем домике? Умереть в наручниках? Ужасно глупо, послушайся моего совета. Поэтому прекрати свое хныканье, Джесси — хотя бы в этот раз. Не режь себя этим стаканом. Не делай этого!»

Конечно, это была ее мать; мимикрия была настолько великолепной, что Джесси стало жутко. Мать хочет, чтобы она услышала любовь и здравый смысл, а не замаскированную злобу в ее словах; до сих пор, эта женщина была абсолютно неспособна любить; Джесси считала, что настоящая Сэлли Махо была женщиной, ворвавшейся однажды в ее комнату и швырнувшей в нее пару туфель на высоких каблуках, даже не объяснив своего поступка ни тогда, ни сейчас.

Кроме того, все, о чем говорил этот голос, было ложью. Ужасной ложью.

— Нет, — ответила Джесси. — Я не хочу слушать твои советы. Никто не придет... кроме того приятеля, посетившего меня. Не надо меня обманывать.

С этими словами Джесси опустила правое запястье на сверкающее лезвие стекла.

31

Джесси видела то, что делала, и это было очень важно, так как сначала она почти ничего не чувствовала; она могла раскрошить свое запястье, но при этом чувствовать только давление и тепло. Она почувствовала огромное облегчение, поняв, что вполне сможет смотреть на происходящее.

Ладонь откачнулась назад, но Джесси опустила внутреннюю часть запястья — ту часть, которую гадалки называют Браслетом Фортуны, — на обломанный край стакана. Она завороженно смотрела, как саблеобразный выступ образовал ямку на коже, а потом разорвал ее. Она продолжала давить, а ее запястье продолжало пожирать стекло. Ямка наполнилась кровью и исчезла.

Первой реакцией Джесси было разочарование. Острие стакана не было создано для этой цели, как она надеялась (и немножко боялась). Затем острый край вспорол пересечение голубых вен у поверхности кожи, и кровь потекла быстрее. Кровь не была пульсирующим фонтанчиком, как она предполагала, а стекала быстрым, непрерывным ручейком, как вода из открытого крана. Потом она, видимо, разрезала несколько глубже, и ручеек превратился в поток. Он перелился через край полки и закапал на ее предплечье. Было слишком поздно отступать; Джесси это уже сделала. Так или иначе, но она сделала это.

«Потянц назад скорее! — взвизгнул голос ее матери. — Не делай еще хуже — ты и так уже достаточно порезалась! Попытайся прямо сейчас!»

Заманчивая мысль, но Джесси считала, что этого было далеко недостаточно. Она не знала слова «дегловинг» — термин, используемый в основном врачами в связи с жертвами ожогов, но теперь, когда она уже начала эту страшную операцию, то поняла, что не может полагаться только на кровь, чтобы освободиться. Возможно, что только крови будет недостаточно.

Джесси стала медленно и осторожно вращать запястьем. Теперь она чувствовала странное покалывание и пощипывание в ладони, как

будто она наткнулась на маленькое, но жизненно важное нервное сплетение, которое прежде было омертвленным. Средний и безымянный пальцы ее правой руки качнулись вперед, как если бы их убили. А остальные три начали конвульсивно двигаться вперед-назад. Хотя ее плоть находилась в благодатном онемении, все равно Джесси находила что-то ужасное в признаках повреждений, наносимых ею же сама. Эти два скрюченных пальца, напоминающие маленькие прутики, были хуже, чем вся пролитая ею кровь.

Затем это ужасное, все возрастающее чувство жара и давления в раненой руке заглушилось новой волной судороги, обрушившейся на нее, как торпеда. Она вгрызлась в Джесси безжалостно, пытаясь скрутить ее в барабан рог, но Джесси яростно сопротивлялась. Она не может теперь двигаться. Она уронит свое импровизированное режущее приспособление на пол, если пошевелится.

— Нет, ты не сделаешь этого, — пробормотала Джесси сквозь стиснутые зубы. — Нет, отступись от меня.

Она замерла, пытаясь не давить сильно на острое лезвие стекла, стараясь не уронить его, чтобы не пришлось испытывать менее подходящее оружие для доведения дела до конца. Но если судорога переберется с правого бока на руку, что, кажется, и происходит...

— Нет, — застонала Джесси. — Убирайся прочь, слышишь? Убирайся прочь!

Она подождала, осознавая, что не сможет ждать, однако ничего другого ей не оставалось; она ждала, прислушиваясь в тому, как ее кровь капает на пол, стекая со спинки кровати.

Джесси увидела еще один ручеек крови, стекающий с полки. Она почувствовала себя жертвой из фильмов ужасов.

«Ты больше не можешь ждать, Джесси, — прикрикнула на нее Руфь. — У тебя совсем не осталось времени!»

— Чего мне действительно не хватает, так это удачи, мне всегда не везло, — ответила она Руфи.

В этот момент Джесси почувствовала либо сумела убедить себя в том, что судорога ослабила свою хватку. Она повернула руку внутри браслета, вскрикнув от боли, когда судорога снова вонзилась в нее горячими клешнями, пытаясь поджарить Джесси на своем костре. Однако Джесси продолжала вращать рукой, разрезая теперь внешнюю часть запястья. Нижняя внутренняя сторона теперь была повернута к ней, и Джесси с удивлением взирала на то, как глубокая рана на Браслете Фортуны открыла свой черно-красный рот и, казалось, смеется над ней. Она вонзила стекло в запястье настолько глубоко, насколько посмела, все еще борясь с судорогой в нижней части груди, затем рванула руку к себе, разбрызгивая кровь на лоб, щеки и

переносицу. Обломок стакана, которым она производила эту варварскую операцию, упал на пол и там взорвался фонтаном осколков. Джесси даже не вспомнила о нем — его работа была уже закончена. Оставался еще один шаг, ей предстояло увидеть еще одну вещь: продлит ли наручник свои ревнивые объятия или позволит ее руке освободиться.

Судорога в последний раз вонзила свои зубы в ее бок, а потом начала ослабевать. Джесси тут же забыла о ней, как и об исчезнувшем примитивном стеклянном скальпеле. Джесси ощущала всю силу своей идеи — казалось, весь ее пылающий ум проникнут одной мыслью и все ее внимание было сосредоточено на правой руке. Она подняла руку вверх, вращая ею в золотых лучах заходящего солнца.

Пальцы сочлились кровью. Ее предплечье было покрыто кровавыми потеками, напоминающими яркую алую краску. Джесси согнула руку, а потом опустила ее вниз, как она уже дважды до этого делала. Наручник скользнул... скользнул еще немного... а потом снова отскочил вверх. Он был остановлен сплетением костей под большим пальцем.

— Нет! — выкрикнула Джесси и рванула браслет вниз. — Я отказываюсь умирать подобным образом! Ты слышишь меня? Я ОТКАЗЫВАЮСЬ УМИРАТЬ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ!

Наручник зарылся в кожу немного глубже, и одно мгновение Джесси была почти уверена, что больше чем на миллиметр он уже не продвинется, а в следующий раз браслет сдвинется, когда какой-нибудь прокуренный полицейский откроет его и снимет с ее мертвого тела. Она не могла сдвинуть его, никакая сила в мире не могла сдвинуть его с места, ни Божественные ангелы, ни посланцы ада *не могут сдвинуть его*.

Затем с внешней стороны запястья возникло ощущение сильного жара, и наручник дернулся немного вперед. Потом он замер, затем снова начал передвигаться, распространяя горячее электрическое покалывание, переходящее в невыносимое жжение, которое сперва опоясало ей руку, как браслет, а потом впилось в нее, как мириады разозленных муравьев.

«Я сдираю кожу с руки, — подумала Джесси. — О Господи! Я сдираю кожу с руки, как кожуру с апельсина».

— Давай! — с яростью прикрикнула она на наручник. В этот момент наручник стал для нее живым существом, таким же ненавистным, вцепившимся в нее множеством зубов, как минога или взбесившаяся ласка. — О, неужели ты никогда не отпустишь меня?

Наручник скользнул немного дальше, чем в ее предыдущих попытках, но все равно он крепко держался, тупо отказываясь

преодолеть эту четверть (теперь, возможно, восьмую часть) дюйма. Окровавленный кружок стали охватывать теперь полоску кожи, обнажая блестящие переплетения сухожилий цвета свежих слив. Тыльная сторона руки напоминала курочку, с которой содрали поджаренную корочку. Постоянное давление вниз расширило рану, превращая ее в окровавленную расщелину. Джесси не оставляла мысль о последней попытке выдернуть руку и освободить себя. К тому же наручник, медленно, но все же продвигаясь, — по крайней мере, ей так казалось, — снова замер. На этот раз он замер намертво.

«*Ну конечно же, Джесси!* — выкрикнула Сорванец. — *Посмотри на руку, у тебя же завернулась кожа. Если бы ты снова могла расправить ее!*»

Джесси вскинула руку вперед, снова опуская браслет на запястье. Затем, не успев даже подумать о новой судороге, она из последних сил дернула наручник. Дикая боль пронзила руку, когда он впился в кусок живого мяса между запястьем и ладонью. Вся содранная кожа сочилась кровью. На мгновение эта вязкая масса задержала наручник, а затем загнулась под сталью с тихим хрюканьем, обнажая кость, но этого было достаточно, чтобы наручник остановился. Джесси потянула сильнее. Ничего не случилось.

«*Вот так,* — подумала она. — *Никакой возможности.*»

Потом, когда она уже совсем было решилась расслабить выгнутую руку, наручник преодолел небольшой выступ, так долго остававшийся неприступным бастионом, скользнул по пальцам и звякнул о деревянный столбик кровати. Все произошло настолько быстро, что Джесси сначала даже не поняла, что это случилось. Ее рука уже мало походила на то, что могло принадлежать человеческому существу, но это была ее рука, и она была свободна.

Свободна.

Джесси перевела взгляд с пустого окровавленного наручника на свою искалеченную руку, лицо постепенно принимало осмысленное выражение. «*Похоже на птичку, влетевшую в некую фабричную машину, а затем выскоцившую с другого конца,* — подумала она. — *Но теперь на мне уже нет наручников.*» Их уже действительно нет.

— Не могу поверить этому, — прокричала она. — Не могу...

«*Не обращай на это внимания, Джесси. Тебе нужно спешить.*»

Джесси оглянулась, как человек, только что выкарабкавшийся из наркотического забытья. Спешить? Да, конечно. Она не знала, сколько потеряла крови — наверное, целую пинту, судя по пропитанному кровью матрасу и ручейкам, стекающим с перекладины

изголовья кровати, — но она знала, что если потеряет слишком много крови, то потеряет сознание, а от обморока до смерти — один шаг.

«Этого не случится, — подумала Джесси. Это снова был твердый, как железо, голос, но теперь он уже принадлежал не кому-нибудь, а ей; и это открытие наполнило Джесси ощущением счастья. — Я не для того пережила весь этот ужас чтобы умереть. Я не видела бумаг, но я вполне уверена, что этого нет в моем контракте».

«Хорошо, но твои ноги...»

В этом напоминании она не нуждалась. Джесси не стояла на ногах двадцать четыре часа, и, несмотря на все попытки поддерживать их в рабочем состоянии, не стоило возлагать на них слишком большие надежды, по крайней мере в самом начале. Их может свести судорогой, они могут подкоситься, а может быть, и то и другое одновременно. Кто предостережен, тот вооружен... Конечно, за всю жизнь она получила множество подобных советов, но то, что она когда-либо видела по телевизору или прочитала в «Ридерз Дайджест», не подготовило ее к тому, что она только что совершила. Однако она должна быть предельно осторожной.

Джесси повернулась налево, волоча правую руку, как хвост воздушного змея или как выхлопной газ из трубы старенького автомобиля. Единственная часть, чувствовавшая себя абсолютно живой, была тыльной стороной руки, где горело огнем переплетение сухожилий. Боль была ужасной, и чувство того, что ее правая рука требует развода с остальным телом, было невыносимо, но все эти ощущения терялись в потоке нахлынувшего триумфа и надежды. Джесси переполняла почти божественная радость оттого, что она может перекатиться по кровати, и никакие наручники не смогут помешать ей. Еще одна судорога пронзила тело, вонзая свое жало в нижнюю часть живота, но Джесси не обратила на это никакого внимания. Могла ли она назвать свои чувства радостью? Это был экстаз. Полнейший экст...

«Джесси! Край кровати! Господи, остановись!»

Это не было похоже на край кровати, скорее, это было похоже на край мира на тех старинных картах времен Колумба.

«За ним обитают монстры и вурдалаки, — подумала Джесси. — Остановись, Джесс!»

Но тело не подчинилось команде, оно продолжало свое движение, и Джесси, едва успев повернуть руку внутри левого наручника, соскользнула с края кровати. Ступни с глухим звуком ударились об пол, но вскрикнула она не только от боли. Наконец-то ее ноги коснулись пола. *Они действительно были на полу.*

Скользжение наконец прекратилось. Зажав левую руку между грудью и кроватью, Джесси чувствовала, как, пульсируя, кровь стекает по ее груди.

Джесси приподняла голову и застыла, боясь пошевельнуться, так как судорога ледяным колом пронзила ее тело от шеи до ягодиц. Простыня, к которой были прижаты ее грудь и искалеченная рука, была влажной от крови.

«*Мне необходимо встать, — подумала она. — Мне необходимо встать прямо сейчас, иначе я истеку кровью и умру.*»

Судорога, сводившая спину, отступила. Наконец-то она почувствовала, что твердо стоит на ногах. Ноги совсем не были такими уж слабыми и негнущимися, чего она так опасалась, — они даже с удовольствием выполняли свое предназначение. Джесси потянулась вверх. Наручник, охватывающий левый столбик кровати, заскользил вверх, пока не наткнулся на перекладину, и Джесси очутилась в положении, в котором ни за что на свете не захотела бы оказаться снова: стоящей на ногах рядом с кроватью, которая была ее тюрьмой... почти гробом.

Волну огромной благодарности, накатившейся было на нее, Джесси тут же подавила, как и охватившую ее ранее панику. Время для благодарности наступит позже, а теперь необходимо было помнить, что она все еще прикована к кровати, а времени для освобождения чертовски мало. Пока она, правда, не почувствовала слабости или головокружения, но это ничего не доказывало. Когда наступит кризис, — все это, возможно, проявится сразу же, со скоростью света.

Но все-таки стоять — и ничего больше — было просто великолепно. Разве это не было чудесно?

— Нет, — прохрипела Джесси, — я так не думаю.

Не отнимая правую руку от груди, она полуобернулась, прижимаясь спиной к стене. Теперь Джесси стояла слева от кровати — как солдат на своем посту. Она глубоко вздохнула и попросила правую руку и бедренную исполосованную правую ладонь снова приступить к работе.

Рука медленно поднялась, как механизм старой и плохо смазанной заводной игрушки, и ладонь устроилась на полке над кроватью. Мизинец и безымянный палец все еще отказывались подчиняться ее командам, но ей удалось ухватиться за полку большим и указательным пальцами и сбросить ее с креплений.

Полка приземлилась на матрас, на котором Джесси пролежала столько часов и на котором еще были заметны отпечатки ее тела, а также пропитанные потом и кровью вмятины в розовом стеганом

одеяле. Это выглядело просто ужасно: этот вид и испугал, и разозлил Джесси.

Она перевела взгляд на дрожащую правую руку; поднеся ее к рту, она попыталась зубами вытащить осколки стекла, торчащие из-под ногтя большого пальца. Стекло поддалось, потом застряло между зубами, глубоко вонзаясь в розовую мякоть десны. Джесси почувствовала, как кровь наполняет рот, вязкая, как вишневый сироп, и сладковато-соленая на вкус. Джесси даже не обратила внимания на эту новую рану — она выдержала и намного худшее, — а потом еще покрепче стиснула зубы и вытащила осколки из пальца. После этого Джесси выплюнула их на кровать вместе со сгустками теплой крови.

— Отлично, — пробормотала она и начала протискиваться между стеной и спинкой кровати.

Отодвинуть кровать от стены оказалось намного легче, чем она ожидала, но Джесси никогда не сомневалась, что кровать *сможет* отодвинуться, стоит только найти подходящую точку опоры. Теперь у Джесси был упор, и она начала толкать ненавистную кровать по гладкому паркету. Ножки кровати заскользили вправо, потому что она могла толкать только слева, но Джесси и это приняла в расчет. Она уже реализовала половину своего элементарного плана. «*Если удача приходит, — подумала Джесси, — то она приходит во всем. Ты можешь изрезать всю руку, но зато не наступишь ни на один осколок разбившегося стакана. Так что продолжай двигать эту кровать, дорогая, и продолжай считать своих...*»

Ее нога споткнулась о какой-то предмет. Джесси посмотрела вниз и увидела, что она ударилась о пухлое правое плечо Джеральда. Капающая с ее руки кровь попала ему на грудь и лицо. Одна капля упала прямо на голубой открытый глаз. Джесси не испытывала к нему жалости, не испытывала к нему ненависти и не чувствовала к нему любви. Она чувствовала ужас и отвращение к самой себе за то, что все чувства, переполнявшие ее все эти годы, — так называемые цивилизованные ощущения, составлявшие любой костяк мыльной оперы, ток-шоу или радиопрограммы, — оказались настолько мелкими и ничтожными по сравнению с инстинктом выживания, сметавшим все остальное на своем пути, как скребок бульдозера. Но она подумала, что если бы в подобной ситуации очутилась Джулетта, то и она поступила бы так же.

— Прочь с моей дороги, Джеральд, — сказала она и пнула его ногой (отметив про себя большое удовольствие, с которым она это сделала). Джеральд отказался сдвинуться с места, как будто химические процессы, происходящие в его разлагающемся теле, прикле-

или его к полу. Потревоженные мухи поднялись жужжащим облаком вверх. Вот и все.

— Черт с ним, — решила Джесси и снова толкнула кровать. Ей удалось переступить через Джеральда правой ногой, левая же при этом наступила ему прямо на живот. Давление вызвало долгий хрипящий звук в его горле, и небольшое количество газа вырвалось из его открытого рта.

— Ты сам виноват, Джеральд, — пробормотала Джесси и направилась дальше, даже не оглянувшись на него. Теперь она смотрела только на шифоньер, где лежали ключи.

Как только она миновала Джеральда, мухи ковром снова облепили его тело и продолжили свою работу. Сделать нужно было еще так много, а времени совсем не оставалось.

32

Больше всего Джесси боялась, что кровать зацепится за дверь ванной комнаты или за угол, и ей придется отступать назад, напоминая женщину, сидящую за рулем и старающуюся втиснуть огромную машину на крошечную парковочную стоянку. Как выяснилось позже, то, что кровать двигалась немного вправо, было просто великолепно. Джесси только один раз внесла корректизы в траекторию движения кровати, подталкивая свой край кровати немного вперед, чтобы быть уверенной, что другой примкнет к шифоньеру. Это случилось, когда она толкала кровать, — толкала, опустив голову и вцепившись обеими руками в столбики, — первый приступ головокружения... Она оперлась на стенку, выглядя при этом как женщина, которая напилась до такой степени, что не может стоять на ногах, и делает вид, что ее неверные движения — это танец в объятиях воображаемого партнера. Джесси подумала, что лучшее определение будет «головопомутнение». Доминировало чувство потери — не только мыслей и силы воли, но и чувствительности. На какое-то мгновение ей почудилось, что она не на Черном озере и не на озере Кашвакамак, а где-то в абсолютно другом месте — скорее, на берегу океана, а не озера. Пахло не устрицами и медными монетами, а морской солью. Это был день солнечного затмения, единственное, что совпадало. Она вбежала в кусты ежевики, чтобы отдалиться от какого-то мужчины, какого-то другого папочки, желающего сделать нечто большее, чем ее собственный отец на заре ее юности.

«О Господи, что это?» — подумала Джесси, но ответа не было. Снова лишь странное видение, о котором она не вспоминала с тех

пор, как вернулась в комнату, перегороженную простынями, чтобы переодеться в день солнечного затмения: тощая женщина в домашнем платье, волосы собраны в деревенский пучок, а сзади из-под платья выглядывает край комбинации.

«*Кто ты?* — думает Джесси, цепляясь за столбик кровати правой рукой и пытаясь не позволять коленкам подогнуться. — *Держись, Джесси, просто держись. Не обращай внимания на женщину, на запахи, на темноту. Держись, и темнота пройдет.*».

Она удержалась, и темнота медленно отступила. Сперва исчез образ тощей женщины, а потом начала рассеиваться и темнота. Спальня снова озарилась светом, соответствующим пяти часам дня. Джесси увидела хоровод пылинок в солнечном луче, падающем сквозь окно, которое выходило на озеро. Увидела пересекающие пол комнаты тени от собственных ног. Причудливо преломляясь в коленях, они были удобным трамплином для тени, отбрасываемой ее телом на стену. Темнота отступила, оставив звон в ушах. Когда Джесси взглянула на ноги, то увидела, что они тоже все в крови. Двигаясь, она оставляла на полу кровавые следы.

«*У тебя не осталось времени, Джесси.*»

Она знала

Джесси снова склонилась к спинке кровати. Теперь сдвинуть кровать с места было намного труднее, но в конце концов ей это удалось. Через две минуты она стояла у шифоньера, на который так долго и безнадежно взирала с другого конца комнаты. Еле заметная улыбка пряталась в уголках ее губ. «*Я, как женщина, всю жизнь мечтавшая о черных песках Кони и не поверившая в их реальность, ступив на этот песок,* — подумала Джесси. — *Это кажется просто еще одним сном, может быть, чуточку более реальным, чем все остальные, потому что у тебя чешется нос.*»

Нос у нее не чесался, но Джесси смотрела вниз на извивающуюся змею галстука Джеральда, на котором все еще был завязан узел. Эта последняя деталь была из тех, которые недоступны даже самому реалистическому сну. Рядом с красным галстуком лежала пара ключиков с полым стволов, абсолютно одинаковых ключиков. Ключи от наручников.

Джесси подняла правую руку и взглянула на нее критически. Мизинец и безымянный палец все еще были обмякшими. В голове мелькнула мысль, насколько серьезно она повредила нервные окончания, и тут же исчезла. Все будет иметь значение потом, как и другие проблемы, которые она оставила также на потом, на время своей непродолжительной поездки; в настоящее же время проблема повреждения нервных окончаний значила для нее не

больше, чем стоимость жемчужного ожерелья. Важно было то, что большой, указательный и средний пальцы все еще принимали импульсы, посыпаемые волей, они немного дрожали, как бы выражая пережитый шок от потери своих соседей, но все же подчинялись командам.

Джесси склонила голову и заговорила, обращаясь к ним:

— Вы должны прекратить дрожать. Потом тряслесь хоть в пляске Святого Витта, но сейчас вы должны помочь мне. Вы обязаны — да. — Сама мысль, что она сможет выронить ключи или столкнуть их с шифоньера после такого пути... это было невозможно. Она испытующе смотрела на пальцы. Они не перестали дрожать, но, пока Джесси смотрела, подергивание прекратилось и перешло в слабое подрагивание.

— Хорошо, — мягко произнесла она. — Не знаю, достаточно этого или нет, но мы это сейчас выясним.

В конце концов, ключи были идентичны, что давало ей два шанса. Но Джесси показалось странным, что Джеральд купил два ключа; это было не чем иным, как методичностью и педантизмом, столь свойственным ее бывшему мужу. Готовясь к непредвиденным ситуациям, он всегда говорил, что существует огромная разница между понятием «быть хорошим» в «быть великим». Единственная неожиданность, к которой он не был готов, — сердечный приступ и удар, спровоцировавший его. В результате чего он был ни хорошим, ни великим, а только мертвым.

— Обед для собаки, — пробормотала Джесси, снова не отдавая себе отчета, что говорит вслух. — Джеральд привык быть победителем, но теперь он — просто обед для собаки. Ведь так, Руфь? Правильно, Сорванец?

Джесси зажала маленький стальной ключик между большим и указательным пальцами своей горячей руки (когда она прикоснулась к металлу, снова возникло чувство, что все это сон), подняла его, посмотрела, потом взглянула на наручник, приковывающий ее левую руку. Замок был маленьким кружком на боку; Джесси он показался похожим на звоночек в доме богатого человека у дверей черного хода. Чтобы открыть замок, нужно просто вставить полый ствол в кружок, а услышав щелчок, повернуть его.

Джесси поднесла ключ к замку, но прежде чем она смогла вставить ключ в отверстие замка, еще одна волна того, особенного головокружения накатила на нее. Она зашаталась и удивилась, поняв, что снова думает о Карле Валенда. Рука опять задрожала.

— Прекрати это! — выкрикнула Джесси и отчаянно толкнула ключ в замок. — Прекрати ду...

Ключ не попал в кружок, а с силой ударился о сталь и повернулся в ее липких от крови пальцах. Она на секунду удержала ключ, а потом он выскоцил и упал на пол. Теперь остался только один ключ, и если она потеряет и этот.

«Не потеряешь, — возразила Сорванец. — Клянусь, что не потеряешь. Просто достань его, пока мужество не оставило тебя».

Джесси согнула правую руку, а потом поднесла пальцы к лицу. Она посмотрела на них вблизи. Дерганье немного ослабло, правда, не настолько, чтобы устраивать ее, но Джесси не могла ждать. Она боялась, что потеряет сознание, если будет медлить.

Джесси протянула дрожащую руку и чуть не столкнула оставшийся ключ с края шифоньера в первой попытке схватить его. Это произошло из-за онемения, не оставляющего ее пальцы. Она глубоко вздохнула, задержала дыхание, сжала кулачок, несмотря на боль и новый ручеек крови, вызванный этим движением, потом медленно, с присвистом выдохнула воздух, почувствовав себя немного лучше. Теперь Джесси прижала указательным пальцем ключ к поверхности крышки шифоньера вместо того, чтобы сразу же схватить его.

«Если ты уронишь его, Джесси! — простонала Образцовая Женушка. — О, если ты уронишь и этот!»

— Заткнись, Хозяюшка, — ответила Джесси и прижала большим пальцем основание ключа, образовав щипцы. Потом, пытаясь совсем не думать о том, что произойдет, если у нее ничего не получится, она взяла ключ и поднесла его к наручнику. Прошли томительные секунды, прежде чем Джесси удалось соединить дрожавший в руке ключ с отверстием наручников, а потом замок вдруг начал двоиться... а потом четвериться. Джесси зажмурилась, еще раз глубоко вздохнула и открыла глаза. Теперь она снова видела только один замочек и вставила ключ в отверстие, не дожидаясь еще какой-нибудь проделки ее глаз.

— Отлично, — выдохнула она. — Посмотрим.

Джесси повернула ключ по часовой стрелке. Ничего не произошло. Панический ужас готов был вцепиться ей в горло, но неожиданно она вспомнила старенький грузовичок Вила Данна, их охранника, на заднем бампере которого было написано: «СЛЕВА — СЛАБЕЕ, СПРАВА — ПЛОТНЕЕ». Над этой надписью был нарисован шуруп.

— Слева слабее, — пробормотала Джесси и попыталась повернуть ключ против часовой стрелки. Сначала она даже не поняла, что наручник открылся, — ей показалось, что услышанный ею звук означал, что ключ сломался в замке, и она вздрогнула, при этом

кровь изо рта тонкой струйкой брызнула на шифоньер. Несколько капель упали на галстук Джеральда, красное на красном. Потом она увидела, что замочек с защелками открыт, и осознала, что действительно сделала это.

Джесси Белингейм дернула левую руку, запястье немного припухло, но рука была не повреждена, свободна от наручника, свисавшего теперь вместе со своим напарником со спинки кровати. Затем с выражением глубокого удивления и благоговения Джесси поднесла обе руки к лицу. Она переводила взгляд с правой руки на левую, даже не замечая, что правая рука вся в крови; ее не интересовала кровь, по крайней мере пока еще не интересовала. В это мгновение Джесси хотела только одного — удостовериться, что она действительно свободна.

Почти тридцать секунд она взирала на свои руки, переводя взгляд с одной на другую, напоминая человека, наблюдающего за игрой в пинг-понг. Затем Джесси глубоко вздохнула, откинув голову далеко назад, и снова пронзительно закричала. Она ощутила новую волну темноты, огромную, гладкую и вполне осязаемую, надвигающуюся на нее, как ураган, но Джесси проигнорировала ее и продолжила вопить. Ей казалось, что у нее нет выбора: или кричать, или умереть. Безусловно, в этом крике сквозило безумие, но все же это был вопль победы и триумфа. В двухстах ярдах от нее, в зарослях около подъездной дорожки бывший Принц приподнял морду и, чуя недоброе, посмотрел в сторону дома.

Джесси, казалось, была просто не в состоянии отвести взгляд от рук, не могла перестать орать. Никогда в жизни она не ощущала ничего подобного, и какая-то часть ее подумала: *«Если бы сексуальное наслаждение хотя бы наполовину было таким, то люди занимались бы сексом за каждым углом — они просто не могли бы остановиться».*

Потом Джесси не хватило воздуха, она качнулась назад, попытавшись ухватиться за кровать, но потеряла равновесие и упала на пол спальни. Если подумать, какая-то ее часть надеялась, что ее удержат цепи наручников. Очень забавно, если хорошенько подумать об этом.

Падая, Джесси задела левой рукой открытую рану на запястье. Боль охватила правую руку, как огоньки новогодней елки, теперь она кричала только от боли, чувствуя, что снова теряет сознание. Она открыла глаза и уставилась на мертвое изуродованное лицо мужа. Джеральд удивленно взирал на нее застывшим взглядом: *«Этого не должно было случиться со мной, я — юрист с табличкой, прибитой на моей двери».* Затем муха, чистившая свои лапки на его верхней

губе, вползла в ноздрю, и Джесси резко отвернула голову, ударившись о половицы паркета так, что у нее потемнело в глазах.

Когда она пришла в себя, перед ее глазами была спинка кровати, вся в кровавых потеках. Джесси не могла поверить в то, что еще несколько мгновений тому назад она стояла — с пола эта трахнутая кровать казалась такой же огромной и высокой, как здание Крайслер Билдинг.

«*Пошевеливайся, Джесс!*» — Это была Сорванец, требовательным голоском снова взывающая к ней. Это создание с такой милой мордашкой определенно становилось сучкой, если хотело добиться чего-нибудь.

— Нет, я не сучка, — произнесла Джесси, закрывая глаза. Еле заметная улыбка тронула уголки ее губ. — Скрипящее колесо.

«*Пошевеливайся, черт подери!*»

— Не могу, мне нужно немного отдохнуть.

«*Если ты не встанешь сейчас же, то будешь отдыхать всегда! Поднимай свою толстую задницу!*»

Вот это до нее дошло.

— Совсем и не толстая, мисс Медовый Голосок, — с детской обидой пробормотала Джесси и попыталась привстать на ноги. Ей понадобились две попытки, чтобы убедиться, что мысль подняться была не очень-то удачной, по крайней мере в настоящее время. К тому же это создает большие проблемы, потому что ей было необходимо в ванную комнату, а ножки кровати теперь встали в дверном проеме, блокируя дорогу.

Джесси проползла под кроватью, ее движения пловца были почти грациозными; продвигаясь, она сдула несколько комочеков пыли, напоминающих шарики перекати-поля. По непонятным причинам эти комочки вызвали у нее ассоциацию с женщиной из ее видения — женщиной, стоящей на коленях в зарослях ежевики. Джесси скользнула в полуумрак ванной комнаты, новый запах удариł ей в ноздри: необъяснимый и приятный запах влаги. Вода капала из крана, капала из душа. Джесси даже ощутила особенный запах влажных полотенец в корзинке за дверью. Вода, вода, повсюду вода, и каждую каплю можно выпить. Горло сухо содрогнулось, желая, казалось, закричать, и Джесси поняла, что она действительно *прикасается* к воде — маленькой лужице из-под протекающей трубы под раковиной, которую водопроводчик никак не мог починить, несмотря на то, что его просили сделать это тысячи раз. Задыхаясь, Джесси подползла к лужице, опустила голову и начала лизать линолеум. Вкус у воды был неописуемый, ее шелковистый вкус на губах и языке был слаше любой мечты.

Единственная проблема была в том, что воды было недостаточно. Этот очаровательно влажный, чарующе зеленый запах был повсюду, но лужица под раковиной исчезла. Однако жажда не была удовлетворена, а только разбужена. Этот запах, запах потаенных вод и прятавшихся родников, сделал то, чего не смог сделать даже голосок Сорванца: он снова поднял Джесси на ноги.

Вставая, она использовала раковину в качестве опоры. Джесси уловила образ восьмидесятилетней старухи, взирающей на нее из зеркала, а потом повернула кран с холодной водой. Светлая вода — вода со всего мира — хлынула из него. Джесси снова попыталась издать победный крик, но на этот раз ей удалось только хриплый присвист. Она склонилась над раковиной, рот открывался и закрывался, как у рыбы, и вдохнула этот влажный запах источника. Это был тот же запах минералов, содержащихся в воде, преследовавший ее все эти годы с тех пор, как отец попытался соблазнить ее во время солнечного затмения, но теперь этот запах был великолепен, теперь это был запах жизни, а не страха и стыда. Джесси вдохнула его, а потом весело выдохнула, подставив открытый рот под струю воды. Она жадно пила, пока сильная, хотя и безболезненная, судорога не заставила вернуть всю воду обратно. Вода выходила все еще прохладной после кратковременного посещения желудка, оставляя розовые капельки на поверхности зеркала. Потом Джесси сделала несколько вдохов и снова попыталась напиться.

В этот раз вода осталась в желудке.

33

Вода прекрасно привела ее в чувство, и когда Джесси наконец-то закрутила кран и взглянула на себя в зеркало, то увидела вполне сносное человеческое существо — слабое, истерзанное, шатающееся... но все-таки живое и разумное. Она подумала, что вряд ли еще когда-либо в жизни испытывала такое же глубокое удовлетворение, которое принесли ей первые глотки свежей воды, только первый оргазм чем-то отдаленно напоминал это чувство. В обоих случаях она подчинялась клеточкам и тканям физического тела, полностью теряя на несколько мгновений сознание, результатом чего был экстаз.

«Я никогда не забуду этого», — подумала Джесси, осознавая, что забыла ощущение сладостного великолепия того первого оргазма, как только нервы перестали обжигать ее сладострастием, как будто тело презирало память... или отказывалось отвечать на воспоминания.

«Выкинь все из головы, Джесси, ты должна спешить».

— Когда ты прекратишь орать на меня? — спросила она.

Из порезанного запястья уже больше не струилась кровь, но оно все еще сильно кровоточило; кровать, отражавшаяся в зеркале, представляла собой просто ужасающее зрелище — матрас был весь в крови, а спинка в изголовье кровати — в кровавых потеках. Джесси когда-то читала, что люди могут потерять много крови, но все-таки продолжать действовать, а когда они переходят определенный рубеж, то почти сразу же теряют все способности. Необходимо срочно действовать.

Джесси открыла аптечку, посмотрела на пакетик с перевязочным материалом и хрипло рассмеялась. Потом она увидела коробку с бинтами, стоящую за целой батареей флакончиков с духами, одеколонами, лосьонами. Джесси опрокинула несколько флакончиков, доставая коробку, и в воздухе повис густой аромат духов. Она сорвала бумажную обертку с бинта и обмотала им запястье, как белым жирным браслетом. Он почти сразу же пропитался кровью

— Кто бы мог подумать, что в жене юриста так много крови? — пробормотала она и снова хихикнула

На верхней полочке аптечки лежала круглая коробка с красным крестом на крышке, левой рукой Джесси сняла ее. Правая рука теперь ни на что не была способна, кроме как только кровоточить и ныть от боли. Но все же Джесси любила ее, а почему бы и нет? Когда Джесси нуждалась в ней, когда больше ничего не было, именно эта рука взяла ключ, вставила его в замок и повернула. Нет, она абсолютно ничего не имела против мисс Правая Рука.

«Это была ты, Джесси, — произнесла Сорванец. — Я имею в виду... все мы — это ты. И ты прекрасно знаешь это, ведь так?»

Да, она отлично знала это.

Джесси открыла коробочку с клейкой лентой и, неуклюже зажав катушку ленты в правой руке, большим пальцем левой руки пытаясь подцепить конец ленты. Она взяла катушку в левую руку, прижала конец ленты к самодельному бандажу и обернула ее несколько раз вокруг правого запястья, со всей силой стягивая уже повлажневший бинт. Зубами Джесси оторвала кусок ленты, немного подумала, а потом перетянула клейкой лентой плечо чуть выше правого локтя. Джесси не знала, насколько это поможет ей, но то, что не помешает, так это уж точно.

Она еще раз перекусила ленту, а когда снова положила значительно уменьшившуюся в объеме катушку на полочку, то увидела стоявшую на ней зеленую бутылочку с экседрином. Слава Богу, что крышечка была обыкновенная. Джесси сняла бутылочку левой рукой, зубами вытянув пластмассовую пробку. Запах аспирина был острый, едкий, слабо-кислый.

«Мне кажется, это не совсем здравая мысль, — нервно произнесла Образцовая Женушка Белингейм. — Аспирин разжигает кровь и сужает сосуды».

Возможно, это было и так, но правое запястье теперь полыхало огнем, и если она не сделает ничего, чтобы хоть немного уменьшить эту боль, то вскоре начнет биться головой о стенку. Джесси выпила две таблетки, подумала, потом выпила еще две. Она вставила пробку обратно, а потом, виновато посмотрела на самодельный бандаж на правом запястье. Кровь все-таки продолжала просачиваться сквозь несколько слоев бинта; вскоре она сможет просто выкрутить эту повязку, и кровь польется с нее, как талая вода.

Ужасное видение... казалось, что теперь она уже не сможет отделаться от него

«Если от этого тебе станет еще хуже...» — скорбно затянула Хозяюшка.

«О, дай мне отдохнуть, — ответил голос Руфи, говорящий резко, но без злобы. — Если я умру от потери крови, то стоит ли мне теперь ставить в вину какие-то четыре таблетки аспирина, когда я содрала почти всю кожу с руки, чтобы отделаться от кровати? Это нереально!»

Да, конечно. Все кажется нереальным. Кроме того, что это было не совсем точное слово. Точным определением было...

— Гиперреально, — тихо произнесла Джесси.

Да, именно так. Джесси повернулась так, что теперь снова очутилась лицом к двери, а потом встревоженно вздохнула. Одна часть сознания сообщила, что она все еще поворачивается. На долю секунды она увидела целую дюжину Джесси, укладывающихся в цепочку, поворачивающихся за ней, как в каком-нибудь видеоклипе. Тревога ее возросла, когда она увидела, что золотые лучики света, падающие из западного окна, стали походить на золотисто-блестящие шкурки змей. Пылинки танцевали в лучах солнца, превращаясь в потоки бриллиантового песка. Она слышала учащенное биение своего сердца, слышала смешанный запах крови и воды.

«Кажется я выхожу из игры».

«Нет, Джесси, нет. Ты не можешь себе позволить этого...»

Вполне возможно, что это было правдой, но она была уверена, что это произойдет в любом случае. Она ничего не могла поделать с этим.

«Нет, можешь. И ты знаешь, что делать».

Джесси посмотрела вниз на забинтованную руку, затем подняла ее вверх. В общем-то ничего не надо было делать, нужно просто расслабить мускулы правой руки. Все остальное сделает земное притяжение, гравитация, говоря научным языком. Если боли от

удара израненной рукой о край полочки будет недостаточно, чтобы вывести ее из того ужасно яркого места, в котором она оказалась, то делать больше нечего. Джесси немного подержала руку возле окровавленной левой груди, пытаясь успокоить себя хоть немного перед тем, как сделать это. В конце концов она просто снова опустила руку вдоль тела. Она не могла, просто не могла. Это было уже слишком. Еще одна боль — это уже чересчур.

«Тогда пошевеливайся, пока ты не вышла из игры».

— Этого я тоже не могу, — ответила Джесси.

Она более чем устала; Джесси чувствовала себя так, будто накурилась опиума. Единственное, чего ей хотелось, — просто стоять и наблюдать за медленным кружением бриллиантовых пылинок в солнечном потоке. И, возможно, напиться еще темно-зеленой, отдающей тиной воды.

— О Господи, — испуганно произнесла Джесси, — Господи, Боже мой.

«Тебе необходимо выйти из ванной, Джесси, необходимо. Побес-покойся только об этом. Мне кажется, тебе лучше перебраться через кровать сверху. Я сомневаюсь, что тебе удастся снова проползти под ней».

«Но... но на кровати разбитый стакан. Что если я порежусь?»

Это заставило выступить на сцену Руфь Ниери, теперь просто кипевшую от возмущения.

«Ты уже сняла почти всю кожу с правой руки — неужели ты думаешь, что еще несколько порезов будут иметь хоть какое-то значение? Господи, малышка, а что если ты умрешь в этой ванной комнате с повязкой на запястье и с глупой улыбкой на лице? Как насчет этого «если»? Пошевеливайся, сучка!»

Два осторожных шага снова привели ее к двери. Джесси простояла там немного, жмурясь и щурясь от яркого солнечного света, как человек, просидевший весь день в кинотеатре. Следующий шаг привел ее к кровати. Когда ее бедра прикоснулись к пропитанному кровью матрасу, она осторожно подняла левое колено вверх, схватившись за спинку кровати и пытаясь удержать равновесие, а потом взобралась на кровать. Джесси не была готова к чувству страха и отвращения, охватившему ее. Она не могла себе даже представить, что сможет хоть когда-нибудь снова спать на этой кровати, это было равносильно спанью в гробу. Даже от прикосновения к кровати Джесси хотелось плакать и кричать.

«Нет никакой необходимости входить в тесное соприкосновение с этой проклятой штуковиной, Джесси, — просто перелезь через нее».

Кое-как ей удалось проделать это, избегая соприкосновений с полкой и осколками стакана. Каждый раз, когда на глаза Джесси попадались наручники, висящие вдоль столбиков в изголовье кровати — один открытый, а второй окровавленный стальной круг — это была *ее* кровь, — возникало чувство отвращения и ненависти. Для нее наручники не были неодушевленным предметом. Они были живые. И они все еще были голодны.

Джесси добралась до противоположной стороны кровати, выпустила спинку из здоровой левой руки, развернулась на коленях с осторожностью больничной сестры милосердия, затем легла на живот и спустила ноги на пол. Она пережила ужасный момент, когда ей показалось, что у нее нет достаточно сил, чтобы снова встать на ноги; она будет лежать здесь, пока не выйдет из игры и не соскользнет с кровати. Затем Джесси глубоко вздохнула и оттолкнулась левой рукой. А еще через мгновение она уже стояла на ногах. Ее качало из стороны в сторону — Джесси напоминала моряка, бредущего воскресным утром после дружеской попойки, но, слава Богу, она стояла на ногах. Еще одна волна дурноты и головокружения вторглась в ее разум, как пиратская галера с черными могучими гребцами. Или солнечное затмение. Ослепшая, шатаясь из стороны в сторону, Джесси подумала: *«Господи, не дай мне умереть. Пожалуйста, Господи, хорошо ? Пожалуйста».*

Наконец свет начал возвращаться. Когда вещи приобрели свою обычную окраску, Джесси медленно подошла к столику с телефоном, вытянув левую руку вперед и балансируя ею. Сняла трубку, по весу напоминающую Оксфордский словарь, и поднесла ее к уху. Абсолютная тишина; на линии была мертвая тишина. Почему-то это не удивило ее, но породило вопрос: отсоединил ли Джеральд провод от блокиратора на стене, как делал всегда, когда они занимались любовью, или провод перерезал ночной гость?

— Это не Джеральд! — прокричала она. — Я не видела, чтобы он это делал.

Потом Джесси поняла, что это вовсе не обязательно; как только они приехали, она сразу же отправилась в ванную. Он мог это сделать именно тогда. Джесси наклонилась, схватила белый шнур, идущий от телефона к соединительной коробке над плинтусом за креслом, и потянула. Сперва ей показалось, что провод поддался, но потом она поняла, что это не так. Даже этот первоначальный сдвиг мог быть просто воображением. Она прекрасно знала, что теперь чувствам нельзя доверять. Розетка могла просто зацепиться за кресло, но...

«Нет, — возразила Хозяюшка. — Он не поддался, потому что провод все еще вставлен в блокиратор, — Джеральд никогда не

разъединял его. Причина в том, что существо, бывшее с тобой прошлой ночью, перерезало провод.

«Не слушай ее, за ее громким голосом прячутся страх и боязнь собственной тени, — парировала Руфь. — Провод застрял под какой-нибудь ножкой стула — я уверяю тебя. Кроме того, ведь это так легко проверить, правда?»

Ну конечно, проверить очень легко. Нужно было просто отодвинуть кресло и посмотреть. И если провод выдернут, то присоединить его к соединительной коробке.

«А что если ты проделаешь все это, а телефон по-прежнему не будет работать? — спросила Хозяюшка. — Тогда ты поймешь кое-что еще, ведь так?»

Руфь: «Перестань колебаться, тебе нужна помощь, к тому же немедленно».

Это было правдой, но мысль о том, что ей нужно отодвинуть кресло, привела ее в уныние. Возможно, она сможет сделать это — кресло было большим, но оно не весило и пятой доли того, что весила кровать, а ей удалось протащить кровать через всю комнату, но сама мысль об этом была тяжела. А сдвинуть кресло — это было только начало. Потом нужно было встать на колени... изогнуться в пыльном углу за креслом и отыскать соединительную коробку...

«Господи, малышка! — крикнула Руфь. Ее голос звучал очень встревоженно. — У тебя нет другого выхода! Мне казалось, что мы уже давным-давно пришли к выводу, что тебе необходима помощь, причем немед...»

Джесси неожиданно захлопнула дверь перед Руфью, и захлопнула ее с силой. Вместо того чтобы отодвинуть кресло, она перегнулась через него, подобрала свою юбку-шорты и осторожно натянула ее на ноги. Капли крови, просочившиеся сквозь повязку на запястье, упали на поверхность брюк, но вряд ли она запомнила это. Джесси старалась не прислушиваться к ворчанию разозленных, растерянных голосов и удивлялась, кто это посмел впустить всех этих надоедливых людишек в ее ум. Это было все равно, что проснуться однажды утром в своем доме и выяснить, что за ночь его превратили в постоянный двор. Все эти голоса выражали свое неверие в то, что она собиралась предпринять, но Джесси неожиданно для себя поняла, что они не слишком много значили для нее. Это была ее жизнь. Ее.

Джесси подняла блузку и просунула в нее голову. Ее расстроенному, шокированному рассудку тот факт, что вчера было достаточно тепло для такой изысканной рубашечки без рукавов, доказывал существование Господа Бога. Она не думала, что ей удалось бы продеть израненную правую руку в длинный рукав.

«Не обращай на это внимания, — подумала Джесси. — Это безумие чистейшей воды, и мне вовсе не нужны никакие голоса, чтобы высказать это. Я хочу уехать отсюда. Хотя бы попытаться. Вместо того, чтобы просто отодвинуть кресло и вставить шнур в блокиратор. Возможно, из-за потери крови я временно лишилась рассудка. Это безумие, Господи, да это кресло не весит и пятидесяти фунтов... и я почти дома и спасена!»

Да, кроме того, что это было не из-за кресла и не из-за мысли о том, что парни из спасательной службы найдут ее в этой же комнате вместе с голым и истерзанным телом ее мужа. Джесси была почти уверена, что уехала бы на «мерседес» даже если бы телефон работал, и только потом позвонила бы в полицию и «скорую помощь». Дело было не в телефоне — вовсе нет. Дело было в... ладно...

«Дело в том, что мне нужно убираться отсюда как можно скорее, — подумала Джесси и неожиданно вздрогнула. По голым рукам пробежали муряшки. — Потому, что то создание собирается вернуться».

Мишень. Проблема была не в Джеральде, и не в кресле, и не в том, что подумают парни из спасательной службы, когда приедут и увидят обстоятельства произшедшего. Дело было даже не в телефоне. Проблема была в космическом ковбое, в ее странном приятеле мистере Погибели. Вот почему она оделась, пролив еще немного крови, вместо того чтобы попытаться восстановить сообщение с внешним миром. Пришелец был где-то поблизости, это она чувствовала наверняка. Он ждал только темноты, а темнота была не за горами. Если она потеряет сознание, отодвигая кресло от стены или ползая в пыли на коленях, то она сможет оказаться все еще здесь, когда прибудет существо с чемоданчиком. Но, что хуже всего, она все еще может быть жива. Кроме того, ее гость перерезал провода. Она не могла знать об этом... но ее сердце чувствовало это. Даже если она проделает всю эту черную работу, передвигая кресло и присоединяя телефонный провод, телефон все равно будет мертв, и будет также молчать телефон на кухне и в холле.

— А потом, в чем-таки дело? — сказала она своим голосом. — Я собираюсь доехать до главной дороги, вот и все. По сравнению с импровизированной хирургической операцией, проделанной осколком стакана, и передвижением двуспальной кровати через всю комнату, стоившими мне пинты крови, это будет такой малость, как дуновение ветерка. «Мерседес» — хорошая машина, он стоит на подъездной дорожке. Я буду ехать до 117-го шоссе со скоростью десять миль в час и, если буду чувствовать себя слишком слабой, чтобы добраться до универсала, то просто включу все

фары и нажму на сигнал, когда увижу, что кто-нибудь едет. Не вижу никаких причин для того, чтобы это не сработало. Огромное преимущество машины в том, что она закрывается; как только я доберусь до машины, я смогу закрыть двери и спрятаться в ней. Это существо не сможет забраться внутрь».

«Оно», — Руфь пыталась усмехнуться, но Джесси услышала, что Руфь была напугана.

— *Именно так, — ответила Джесси. — Именно ты всегда говорила мне, что нужно почше следовать велениям сердца, а не разума, разве не так? Ты клялась, что сама поступаешь именно так. И знаешь, что говорит мне мое сердце, Руфь? Оно говорит мне, что «мерседес» — это единственный шанс, имеющийся в наличии. А если тебе это кажется смешным, ну что ж, смейся... но я приняла решение.*

Кажется, Руфи было не до смеха. Руфь молчала.

— *Джеральд отдал мне ключи как раз перед тем, как выйти из машины чтобы он мог взять свой чемоданчик с заднего сидения. Именно так все и было. Господи, сделай так, чтобы память не подвела меня.*

Джесси опустила руку в левый карман юбки и обнаружила там только носовой платок. Она опустила правую руку вниз и, прижав ее к карману, вздохнула с облегчением, нащупав знакомую форму ключей, от машины и круглый брелок, подаренный Джеральдом в день ее рождения в прошлом году. На брелке было написано: «ТВОЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ВЕШЬ». Джесси решила, что она никогда не чувствовала себя менее сексуально и более похожей на вещь, но это ничего, она могла жить и с этим. Ключ был в кармане, и это главное. Ключ был пропуском на выход из этого ужасного места.

Спортивные туфли стояли под телефонным столиком, но Джесси решила, что она уже достаточно одета. Она медленно направилась к двери, ведущей в холл, двигаясь маленькими неуверенными шагами. «Не забыть снять трубку с телефона, стоящего в холле, прежде чем выйти из дома, — подумала она. — Проверка не помешает».

Джесси не успела обогнать кровать, как дневной свет снова стал меркнуть. По мере того, как краски исчезали, становилась невидимой бриллиантовая пыль, танцевавшая в лучах заходящего солнца.

— *О нет, только не сейчас, — взмолилась она. — Пожалуйста, ты, наверное, шутишь.*

Но свет продолжал тускнеть, и Джесси внезапно почувствовала, как она шатается, описывая корпусом широкие круги. Она попыталась ухватиться за столбик кровати, но вместо этого уцепилась за окровавленный наручник, из которого она недавно высвободилась.

«20 июля 1963 года, — бессвязно подумала Джесси. — В пять тридцать девять после полудня. Полное солнечное затмение. Могу я получить доказательства?»

Смешанный запах пота, спермы и одеколона ее отца наполнил ноздри Джесси. Она хотела отдалиться от него, но была слишком слаба для этого. Ей удалось сделать еще два шага, а потом Джесси упала на пропитанный кровью матрас. Глаза ее были открыты, веки время от времени мигали, и весь ее неподвижный вид делал ее похожей на женщину, утонувшую и выброшенную прибоем на пустынный пляж.

34

Первой мыслью было, что темнота означает смерть. Вторая мысль: если бы она была мертва, то ее правая рука не болела бы так сильно. Третья мысль была смутным осознанием того факта, что сейчас темно, а глаза у нее открыты — кажется, и были открыты все это время — это вывело ее из почти бессознательного состояния, в котором она находилась. Сперва она не могла вспомнить, почему мысль о заходе солнца была такой пугающей, а потом

(космический ковбой — чудовище любви)

сознание и память мгновенно вернулись к ней. Это было похоже на удар электрическим током. Плоские, мертвенно-бледные щеки, высокий лоб, горящие глаза.

Опять поднялся сильный ветер, пока она лежала в полуобморочном состоянии на кровати, и опять хлопала дверь черного хода. Какое-то мгновение ветер и хлопающая дверь были единственными звуками, а потом раздался пронзительный вой.

Это был самый ужасный звук, когда-либо слышанный ею в жизни, звук, напоминавший тот, который может издать, жертва летаргического сна, преждевременно похороненная и очнувшаяся в гробу.

Звук растаял в ночном воздухе (уже была ночь, сомнений быть не могло), но через мгновение снова возобновился — нечеловеческий фальцет, полный дикого ужаса. Этот вой кружил вокруг нее, как живое существо, заставляя ее содрогаться на кровати, проникая вглубь. Джесси закрыла уши, но не смогла избавиться от него — он раздался в очередной раз.

— О нет, — простонала Джесси. Она никогда не чувствовала такого холода, холода, холода. — О нет... нет.

Вой замер вдали и возобновился не сразу. Джесси перевела дух и поняла, что это только собака — возможно, та самая, которая превратила ее мужа в запас мяса для обеда. Затем звук повторился, и невозможно было поверить, что какое-нибудь существо из реального

мира могло издавать такие звуки; наверняка это был Бэнши* или вампир, в сердце которого вогнали осиновый кол. Когда вой поднялся до самых вершин, Джесси поняла, почему животное так воет.

Существо вернулось, произошло то, чего Джесси так боялась. Собака знала об этом, чувствовала.

Все тело Джесси дрожало. Ее глаза с ужасом уставились в угол, в котором она видела своего посетителя прошлой ночью. В угол, где Оно оставило жемчужную сережку и отпечаток ноги. Было слишком темно, чтобы увидеть эти доказательства его присутствия, да и вообще сомнительно, чтобы они там были когда-либо, но на какую-то секунду Джесси показалось, что она видит само существо, и она почувствовала, как крик ужаса застрял у нее в горле. Джесси зажмурила глаза, потом снова открыла их, и ничего не увидела, кроме колышущихся на ветру деревьев у западного окна. Еще дальше, за качающимися соснами, она разглядела золотую полоску заката на горизонте.

«Сейчас, наверное, часов семь, но так как еще видны остатки заката, то даже меньше. А это значит, что я пролежала без сознания около часа, самое большее — часа полтора. Может быть, еще не поздно убраться отсюда. Может быть...»

На этот раз собака просто визжала. Джесси захотелось взвыть самой. Она ухватилась за спинку кровати, потому что снова начала качаться, и вдруг поняла, что не помнит, чтобы она вообще вставала. Неужели собака напугала ее до такой степени?

«Возьми себя в руки, девочка, сделай глубокий вдох и возьми себя в руки».

Джесси глубоко вдохнула: запах, витавший в воздухе, ей был знаком. Это был слабый запах воды, преследовавший ее столько лет, — запах, означавший для нее секс, воду и отца, но не совсем такой. К нему примешивался другой запах или запахи — старого чеснока... лука... грязи... немытых ног. Запах отбросил ее назад, в годы детства, и наполнил невыразимым ужасом, который переживали дети, чувствуя незримое присутствие неких безликих, безымянных созданий, терпеливо ожидающих, когда они свесят с кровати руку или ногу. Дул ветер. Хлопала дверь. А где-то поблизости поскрипывали половицы, так всегда бывает, если кто-то хочет беззвучно подкрасться к вам.

«Оно возвращается, — прошептал разум Джесси. Теперь это были все голоса в одном. — Вот что почувствовала собака, вот

* Мифологический шотландско-ирландский дух, стоны которого предвещают смерть.

какой запах уловила ты, вот что заставило скрипеть половицы. Существо, побывавшее здесь минувшей ночью, вернулось за тобой».

— О Господи, пожалуйста, нет, — простонала Джесси. — Нет, Господи. Господи, сделай так, чтобы это было неправдой.

Джесси попыталась сдвинуться с места, но ноги как будто пристали к полу, а левая рука не могла оторваться от спинки кровати. Страх загипнотизировал ее точно так же, как фары автомобиля гипнотизируют кролика, выбежавшего на середину дороги. Она будет стоять здесь, стояя и молясь, пока это создание не подойдет к ней, пока не придет за ней космический ковбой, жрец любви, просто продавец смерти, только вот его чемоданчик наполнен костями и пальцами, а не щеточками для мытья посуды.

Завывания собаки раздавались в воздухе, отдавались в ее голове, Джесси чувствовала, что это сведет ее с ума.

«Я сплю, — подумала Джесси. — Именно поэтому я не могу вспомнить, когда я встала; во сне невозможно помнить все незначительные события, подобные этому. Я потеряла сознание, да — это действительно случилось, но вместо того чтобы впасть в кому, обморок перешел в естественный сон. И это значит, что кровотечение прекратилось — вряд ли людям, истекающим кровью, могут сущиться кошмары. Я сплю, вот и все. Я сплю и вижу самый ужасный кошмар в своей жизни».

Приятная мысль, но ей не хватает правды. Танцующие на стене тени деревьев были реальными. Таковым же был и сильный запах, доносившийся из глубины дома. Она не спала, и ей необходимо было выбраться отсюда.

— Я не могу двигаться! — запричитала Джесси.

«Можешь, — мрачно возразила Руфь. — Ты избавилась от этих проклятых наручников не для того, чтобы умереть от страха, малышка. Давай, пошевеливайся, мне не нужно рассказывать тебе, как это нужно делать».

— Нет, — прошептала Джесси и легонько ударила правой рукой по спинке кровати. Результатом стал мгновенный взрыв боли. Тиски паники, сжимавшей ее, разбились, как стакан, и когда раздался леденящий кровь вой собаки, вряд ли Джесси услышала его — ее рука была ближе и вопила она громче.

«Ты знаешь теперь, что делать, малышка, ведь так?»

Да, пришло время действовать, как игроку в кости; пришло время выбираться отсюда. На какую-то долю секунды Джесси вспомнила об охотничьей винтовке Джеральда, но потом тут же забыла о ней. Она понятия не имела, где могла находиться эта винтовка и была ли она здесь вообще.

Еле двигаясь на дрожащих ногах, Джесси пересекла комнату, по-прежнему балансируя с помощью левой руки. Коридор, ведущий из спальни, напоминал карусель из движущихся теней. Справа была комната для гостей, дверь которой была открыта, а слева находилась маленькая комната, которую Джеральд использовал как кабинет, ее дверь также была открыта. Немного дальше темнела арка, ведущая в столовую и гостиную. Справа виднелась незакрытая дверь черного хода... «мерседес»... и, возможно, свобода.

«Пятнадцать шагов, — подумала Джесси. — Вероятно, даже меньше. Так что иди, о'кей?»

Но она просто не в силах была двигаться дальше. Это могло показаться странным тому, кто не пережил всего, что пришлось вынести ей за последние двадцать восемь часов: спальня представляла для нее некую, хоть и суровую, но все же безопасность. Коридор же... был местом, где кто-то или что-то могло скрываться. *Нечто*. И вдруг раздался звук, напоминающий стук брошенного камня, — что-то ударилось о западную часть дома, как раз рядом с окном. У Джесси вырвался крик ужаса, потом она поняла, что это всего лишь ветка голубой ели, растущей рядом с террасой.

«Держи себя в руках, — мягко произнесла Сорванец. — Возьми себя в руки и выбирайся отсюда».

Она шла, выставив левую руку вперед, отсчитывая шаги в такт биению сердца. Джесси миновала комнату для гостей на счете «двенадцать». На пятнадцатом она подошла к кабинету Джеральда и тут услышала такое шипение, какое издает пар, вырываясь из старой батареи. Сначала Джесси не связала звук с кабинетом: ей показалось, что этот звук издала она сама. Затем, когда она подняла правую ногу, чтобы сделать шестнадцатый шаг, шипение стало громче. Теперь звук раздавался более отчетливо, и Джесси поняла, что она не может издавать такой звук, потому что задержала дыхание.

Медленно, очень медленно она поворачивала голову к кабинету, в котором ее муж уже никогда не будет работать над докладами, курить «Мальборо» и напевать песенки себе под нос. Дом грохотал, как старенький корабль, застигнутый жестоким штормом в открытом море, скрипя всеми швами при каждом порыве холодного ветра. Теперь Джесси слышала дребезжание стекол в окнах, а не только хлопанье двери о косяк, но эти звуки доносились откуда-то из другого мира, в котором жен не приковывают наручниками, и мужья не отказываются их выслушать, и чудовища не появляются ночью. Поворачивая голову, Джесси чувствовала, как буквально скрипят мышцы и сухожилия ее шеи, подобно пружинам в старом диване. Глаза у нее чуть не вылезли из орбит.

«Я не могу смотреть! — возмутился разум. — Я не могу смотреть, я не хочу видеть».

Но она не могла не смотреть, как будто сильная невидимая рука поворачивала ее голову, пока дул ветер, хлопала дверь, дребезжали стекла, а в октябрьское небо возносился пробирающий до костей собачий вой. Она поворачивала голову до тех пор, пока не увидела кабинет своего мертвого мужа, — и, конечно, там она и была, высокая фигура, стоявшая рядом с креслом Джеральда у стеклянной двери кабинета. Бледное лицо этого чудовища напоминало в темноте череп. Темная, дрожащая тень чемоданчика с сокровищами поклонилась у его ног.

Джесси набрала в легкие побольше воздуха, чтобы закричать, но то, что вырвалось из ее груди, напоминало звук шипящего чайника с поломавшемся свистком:

— Ха-х-х-х-а-а-а-х-х-х...

Только это, и ничего больше.

Как будто где-то в другом мире горячая моча струилась по ее ногам: она обмочилась дважды за этот день, побив все рекорды. В том, другом мире дул ветер, заставляя дом трещать по всем швам. Ветка голубой ели снова ударила о стену. Кабинет Джеральда превратился в лагуну, наполненную танцовущими тенями. И опять трудно было сказать, что именно она видит... и видит ли она что-нибудь вообще.

Собака снова взвыла, и Джесси подумала: «Ладно, ты видишь это. Может быть, не так хорошо, как собака чувствует это, но ты все же видишь».

Как бы для того, чтобы развеять малейшие сомнения на этот счет, посетитель вытянул голову вперед, пародируя ее движение любопытства, позволяя Джесси получше рассмотреть себя; слава Богу, длилось это недолго. Лицо этого инородного существа являло собой безуспешную попытку воспроизвести черты человека. Оно было очень плоским — такого плоского лица Джесси в жизни не видела. Нос, казалось, был не толще лезвия ножа. Высокий лоб нависал над бровями. Глаза существа были просто черными кружками под тонкими бровями в виде перевернутой буквы «V», а его толстые губы пытались надуться и расплыться одновременно.

«Нет, не расплыться, — подумала она, — оно пытается улыбнуться».

Затем существо наклонилось, чтобы поднять свой чемоданчик, и его плоское расплывающееся лицо снова скрылось из вида. Джесси отшатнулась, пытаясь закричать, но раздался только слабый шепот. Ветер, раскачивающий сосны, и тот был громче.

Гость выпрямился, держа в одной руке чемоданчик, а другой роясь в нем. Джесси поняла, а скорее почувствовала две вещи, потому что способность ее разума анализировать и выбирать была полностью подавлена. Первая касалась запаха, того, который она ощущала еще раньше. Этот запах чеснока, лука, пота и грязи на самом деле был запахом гниющего тела. Второе — руки этого существа. Теперь, когда она была ближе (лучше бы этого не было), они произвели на нее более сильное впечатление — причудливые, удлиненные, шевелящиеся в танцующих тенях, как щупальца. Они протягивали ей чемоданчик, чтобы заслужить ее одобрение; Джесси увидела, что это был вовсе не чемоданчик коммивояжера, а плетеная корзинка, напоминавшая сачок рыбака.

«Я уже видела подобную корзину, — подумала Джесси. — Я не знаю, было ли это в каком-нибудь старом фильме или в реальной жизни, но я видела. Когда я была маленькой девочкой. Ее вытащили из длинной черной машины».

Внутри Джесси неожиданно мягко и зловеще заговорил НЛО-голосок:

«Когда-то, Джесси, когда еще был жив президент Кеннеди, а все маленькие девочки были Сорванцами, а искусственные небесные тела еще только предстояло изобрести — скажем, во времена солнечного затмения, — такие корзины были обычным делом. Их делали разных размеров, и они предназначались для разных целей. Твой дружок хранит свои сувениры в старомодной корзинке, Джесси».

Когда она поняла это, то до нее дошло кое-что еще, столь же очевидное, если хорошенко поразмысльть над этим. Причина того, что ее посетитель так отвратительно воняет, была в том, что он был мертв. Существо, стоящее в кабинете Джеральда, не было отцом, но это все же был труп.

«Нет... нет, этого не может быть...»

Но это было так. Точно такой же запах исходил от Джеральда еще часа три назад. Теперь посетитель снова открыл корзинку, протягивая ее к ней, и снова Джесси увидела мерцание золота и сияние бриллиантов поверх костей. Еще раз она увидела, как длинная рука начала помешивать содержимое плетеной корзины, в которой когда-то, может быть, лежали грудные младенцы. Еще раз она услышала глухое позвякивание костей, напоминающих звук стертых кастаньет. Джесси, как загипнотизированная, в каком-то экстатическом ужасе взирала на происходящее. Здравый смысл покидал ее; она чувствовала это, почти слышала, и ничего не могла сделать, чтобы воспрепятствовать этому.

«Нет, можешь! Ты можешь убежать! Ты должна убежать! И ты должна сделать это прямо сейчас!»

Это была Сорванец, и она кричала... но она тоже была очень далеко, замурованная где-то в глубине сердца Джесси. Джесси вдруг осознала, что внутри нее много каменных завалов, много запутанных лабиринтов и ущелий, в которые никогда не проникают лучи солнца и где никогда не заканчивается солнечное затмение. Это было интересно. Интересно обнаружить, что ум человека — это не что иное, как кладбище, обосновавшееся в черных провалах, наполненное причудливыми рептилиями, совсем как те, что копошатся вокруг нее. Интересно.

С улицы донесся собачий вой, и к Джесси наконец-то вернулся голос. Она также выла, как бы подражая собаке и с ужасом ощущая, как ее покидают остатки разума. С таким же успехом она могла выть в палате сумасшедшего дома. Всю свою оставшуюся жизнь. Джесси отчетливо поняла это.

«Нет, Джесси! Держись! Не теряй рассудка, беги! Убегай!»

Ее гость усмехался ей, обнажая десны и золотые пломбы, поблескивание которых напомнило ей Джеральда. Золотые зубы. У этого существа золотые зубы, а это значит, что оно...

«Это значит, что оно реально, но мы уже поняли это, так ведь? Единственный вопрос, который еще предстоит решить, — что ты собираешься делать теперь? Есть у тебя хоть какая-нибудь идея, Джесси? Если есть, тебе лучше реализовать ее, потому что у тебя почти совсем не осталось времени.»

Призрак шагнул вперед, все еще держа корзину открытой, как будто ожидая, что Джесси восхитится ее содержимым. На нем было надето ожерелье. Густой, неприятный запах усилился точно так же, как и безошибочное ощущение недоброжелательства. Джесси попыталась сохранить расстояние между ними, отступив на шаг назад, и вдруг поняла, что не может сдвинуться с места, как будто ноги ее приросли к полу.

«Оно собирается убить тебя, малышка, — произнесла Руфь, Джесси поняла, что это правда. — Ты что, собираешься позволить ему это? — В голосе Руфи не чувствовалось ни злости, ни сарказма, только удивление. — Неужели после всего того, что произошло с тобой, ты позволишь ему убить себя?»

Собака выла. Рука копошилась в корзине. Кости перешептывались. Бриллианты и рубины мерцали в ночном свете. Не отдавая себе отчета в том, что она делает, Джесси схватилась за свои собственные кольца на левой руке, пытаясь снять их сильно дрожащим большим и указательным пальцами правой. Дикая боль

пронзила всю ее руку. Джесси носила эти кольца, не снимая, почти все годы своего замужества. Когда она последний раз снимала их, ей пришлось намылить палец. Но в этот раз они соскользнули удивительно легко.

Джесси протянула окровавленную правую руку к существу, уже приблизившемуся к самой двери кабинета. Кольца лежали на ее ладони, образуя мистическую восьмерку. Призрак остановился. Подобие улыбки на его толстых губах искривило рот в каком-то новом выражении, которое могло означать как гнев, так и смущение.

— Вот, — прохрипела Джесси. — Вот, возьми их. Забери и оставь меня в покое.

Прежде чем создание пошевелилось, Джесси бросила кольца в открытую корзинку, и они преспокойно опустились вниз. Джесси расслышала двойное позвякивание, когда подаренное Джеральдом в день помолвки и обручальное кольца упали на кости. Существо снова обнажило зубы, издав при этом шипящий звук. Оно сделало шаг вперед, и тут ее дремлющее сознание проснулось.

— Нет! — закричала Джесси. Она повернулась и, пошатываясь, побежала по коридору.

Дул ветер, хлопала дверь, дребезжали стекла в оконных рамках, завывала собака, *а оно было прямо позади нее*.

Джесси слышала его шипение, и в любой момент оно могло схватить ее плоской белой рукой с фантастически длинной ладонью, похожей на щупальце, она вот-вот почувствует, как его пальцы сомкнутся на ее шее...

Потом, достигнув двери черного хода, уже открыв ее и выбежав на крыльцо, она споткнулась о свою собственную ногу; падая, она ухитрилась повернуть свое тело и упасть именно на левую сторону. Так она и упала, но все же сильно ударилась, почувствовав, как искры посыпались у нее из глаз. Перекатившись на спину и приподняв голову, Джесси уставилась на дверь, ожидая увидеть в дверном проеме плоское мертвенно-бледное лицо космического ковбоя. Но там никого не было. Не было слышно и шипящего жуткого звука. Однако это ровным счетом ничего не значило; это существо могло появиться в любую секунду, схватить ее и свернуть ей шею. Джесси вскочила на ноги, сделала один шаг, но, не удержавшись на ногах, дрожащих от испуга и потери крови, упала на забор рядом с мусорным бачком. Она застонала, глядя на небо, по которому неслись облака, подгоняемые ветром с запада. Тени перекатывались по ее лицу, как причудливая татуировка. Затем раздался вой собаки, теперь уже откуда-то поблизости, и это пробудило в ней решительность, столь необходимую ей. Она протянула левую руку к крышке

низенького мусорного бачка, поискала ручку и с ее помощью поднялась на ноги. Поднявшись, Джесси все еще держалась за бачок, пока земля не перестала качаться под ее ногами. И только тогда она направилась к «мерседесу», еле двигаясь и балансируя уже обеими руками.

«Как ужасно выглядит дом в лунном свете! — удивилась Джесси, испуганно оглядываясь назад. — Очень похоже на череп! Дверь — это рот, окна — глаза, а тени деревьев — это волосы...»

Затем у нее возникла другая мысль — наверное, она была очень смешной, потому что в ночной темноте раздался смех.

«А мозги — не забудь о мозгах. Конечно же, мозги — это Джеральд. Мертвые и гниющие мозги дома».

Джесси снова рассмеялась, когда добралась до машины, громче, чем когда-либо, а в ответ донеслось завывание собаки.

«У моей собаки полно блох, и они кусают ее за коленки», — подумала она.

Ее собственные колени подогнулись, и Джесси еле успела скваттиться за дверцу машины, не переставая смеяться. Но она абсолютно не понимала, почему смеется. Джесси все поняла бы, если бы та, дремлющая часть ее рассудка, отключенная ее организмом в целях самозащиты, проснулась, — но этого не случится, пока она не выберется отсюда. Если ей это все-таки удастся.

— Кажется, мне необходимо переливание, — сказала Джесси, что вызвало у нее новый приступ смеха.

Все еще смеясь, она неуклюже просунула левую руку в правый карман, чтобы достать ключи. И тут она почувствовала, что запах вернулся и что существо с плетеной корзиной стоит прямо за ней.

Джесси повернула голову, смех все еще переливался в ее горле, а губы все еще кривились в усмешке; на какую-то долю секунды она увидела эти плоские щеки и бездонные глаза. Но видела она их только потому, что

(из-за солнечного затмения)

была сильно напугана, а не потому что там *действительно* что-то было, крыльце было все так же пустынно, проем двери напоминал темный прямоугольник.

«*Но тебе все же лучше поторопиться*, — вмешалась Образцовая Женушка Белингейм. — *Тебе лучше поторопиться, пока ты можешь сделать хоть что-нибудь, как тебе кажется?*»

— Конечно, — согласилась Джесси и снова рассмеялась, доставая ключи из кармана. Они чуть не выскользнули у нее из рук, но она поймала их движением, достойным акробата. — Твоя сексуальная вещица, — произнесла Джесси и дико расхохоталась, когда хлопнула

дверь и мертвый пастух, жертва любви, появился на пороге в грязно-белом облаке пыли, но когда она повернулась (чуть снова не роняя ключи, несмотря на огромный брелок), там ничего не было. Это всего лишь ветер хлопнул дверью — только ветер, и ничего больше. Наконец Джесси открыла дверцу машины, скользнула за руль, втянув дрожащие ноги внутрь. Она хлопнула дверцей и, опустив рычаг, автоматически закрывавший все дверцы (и, конечно, багажник — ничто в мире не может превзойти немецкую педантичность), почувствовала невыразимое облегчение, охватившее все тело. Облегчение и что-то еще. Это что-то еще ощущалось как здравый смысл, и Джесси подумала, что никогда в жизни не переживала ничего подобного — ничего, что можно было бы сравнить с его сладостным, благоухающим возвращением..., разве что тот первый глоток воды.

«Насколько близка была я к помешательству? Действительно, настолько близко?»

«Вряд ли это то, что тебе хотелось бы действительно узнать, малышка», — грустно ответила Руфь Ниери.

— Нет, возможно, что нет.

Джесси вставила ключ зажигания и повернула его. Ничего не произошло. Смех застрял у нее в горле, но Джесси не ударила в панику. Она чувствовала себя способной здраво мыслить и быть достаточно спокойной.

«Думай, Джесси. Думай».

Она думала. И ответ пришел почти сразу же. Они ездили на этом «мерседесе» довольно долго, и в последнее время коробка передач стала барабанить, несмотря на немецкую педантичность и качество. Одной из неполадок было то, что иногда невозможно было завести машину, не нажав на рычаг коробки передач, торчащий между сиденьями, и не надавливая достаточно сильно. Поворачивать ключ, включая зажигание, и давить на рычаг коробки передач нужно было двумя руками, а ее правая почти бездействовала. Даже мысль о том, что Джесси придется действовать ею, вызывала содрогание. И не только из-за боли — она была уверена, что края пореза могут снова разойтись.

— Господи, мне нужна помощь, — прошептала Джесси и снова повернула ключ зажигания. По-прежнему ничего. Ни единого звука. В голову ей пришла новая мысль: «Нежелание машины завестись не имеет ничего общего с неполадкой в коробке передач. Это была работа ее гостя. Он перерезал телефонные провода; он уже давным-давно поднял капот машины, чтобы открутить распределитель зажигания и зашвырнуть его в лес».

Хлопнула дверь. Джесси нервно взглянула в ее сторону, вполне уверенная, что увидит в темноте дверного проема его белое усмехающееся лицо. Еще мгновение, и он выйдет наружу. Он возьмет камень и разобьет стекло машины, затем возьмет осколок стекла и...

Джесси потянулась левой рукой к коробке передач и со всей силой надавила на ручку (хотя она, казалось, совсем не сдвинулась). Затем неуклюже схватилась за ключ зажигания правой рукой и повернула его. Ничего. Кроме беззвучного смеха чудовища, наблюдающего за ней. Это она слышала особенно хорошо, даже если смех и раздавался только у нее в уме.

— *Господи, неужели у меня не будет хоть малейшей передышки?* — простонала Джесси. Рычаг коробки передач тихонько задрожал под ее пальцами, и, когда Джесси снова повернула ключ, мотор ожил.

— Да, мой фюрер.

Она вздохнула с облегчением и включила фары. Пара сверкающих желто-огненных глаз смотрела на нее с подъездной дорожки. Джесси закричала, чувствуя, как сердце пытается вырваться из груди. Конечно, это была собака — одичавшая собака, бывшая, если можно так сказать, последним клиентом Джеральда. Бывший Принц застыл, мгновенно ослепленный и парализованный светом фар. Если включить скорость, то машина поедет вперед и задавит собаку. Эта мысль пронеслась у нее в голове. Ее ненависть к собаке и страх перед ней исчезли. Она увидела ободранный бок собаки, заметила иглы дикобраза, торчащие из ее шерсти, слишком редкой, чтобы защитить от холодов наступающей зимы. Но больше всего ее поразило то, как собака раболепно уклонилась от света, прижав уши и опустив морду.

«Я думала, что это невозможно, — подумала Джесси, — но мне кажется, что я натолкнулась на создание еще более несчастное, чем я сама».

Джесси надавила на сигнал «мерседеса» локтем левой руки. Раздался короткий, смазанный сигнал, лишь отдаленно напоминающий гудок автомобиля, но этого было вполне достаточно, чтобы собака пошевелилась. Она развернулась и потрусила к лесу, лишь один раз оглянувшись назад.

«Последуй ее примеру, Джесс. Выбирайся отсюда, пока ты еще можешь сделать это».

Отличная мысль. К тому же это была единственная мысль. Она снова потянулась левой рукой к рычагу коробки передач, чтобы перевести его в первоначальное положение. Машина медленно тронулась. Сгибаемые ветром деревья напоминали танцующих великан-

нов, стоящих по обе стороны подъездной дорожки, осыпая ее целым ураганом опавших листьев.

«Я делаю это, — с удивлением подумала Джесси. — Я действительно, делаю это, действительно выбираюсь отсюда».

Она ехала по дорожке, направляясь к безымянной грунтовке, которая приведет ее на Бэй-лейн, а та, в свою очередь, выведет ее на 117-е шоссе, к цивилизации. Джесси взглянула на дом (теперь он еще больше напоминал огромный белый череп в ветреном лунном сиянии октября) в зеркальце заднего обзора и подумала:

«Почему это существо позволило мне уйти? И действительно ли оно отпустило меня?»

Часть ее — напуганная до безумия, которая так никогда и не освободится от наручников в спальне дома на побережье озера Кашвакамак, уверяла ее, что это не так; существо с плетеной корзинкой только играло с ней, как кошка играет с раненой мышкой. Прежде чем она удалится, раньше, чем она доберется до конца подъездной дорожки, оно помчится за ней на своих длинных ногах, сокращая разделяющее их расстояние, вытягивая свои длинные руки, чтобы ухватиться за бампер и остановить машину. Конечно, немецкое качество и педантичность — это хорошо, но когда имеешь дело с чем-то, восставшим из мертвых...

Дом продолжал уменьшаться в заднем зеркальце, но никто так и не показался на крыльце. Джесси добралась до конца подъездной дорожки, повернула направо, поворачивая руль левой рукой. Через каждые два или три года, обычно в августе, команда добровольцев из отдыхающих здесь людей, основательно накачанная пивом и чем-нибудь еще покрепче, обрезала кусты и ветви деревьев, которые росли вдоль дороги, ведущей к Бэй Лейн, но в этом году ничего подобного не делалось, и проезд был намного уже, чем этого хотелось бы Джесси. Каждый раз, когда согнувшаяся под порывом ветка ударялась о крышу машины, Джесси пригибалась.

Да, она действительно выбиралась. Одно за другим появлялись в свете фар примечательные места, врезавшиеся в память за эти годы: огромный камень с отбитой верхушкой; заросший плющом указатель с полуустертоей надписью; огромная ель, поваленная на землю ураганом и лежащая в зарослях молодого ельника, подобно пьянице, которого приволокли домой его более трезвые собутыльники. От пьяной сосны до Бэй Лейн было только три мили, и всего две мили оставалось до шоссе.

— У меня все получится, если я не буду слишком усердствовать, — сказала Джесси и, очень осторожно нажимая на кнопку, большим пальцем правой руки включила радио. Звук — сладкий,

постоянный, самое главное — *естественный*, наполнил машину. — Все лучше и лучше. *Воспринимай все легко*, — повторила она уже громче. — *Смазывай пятки жиром*.

Последний шок, испытанный ею от встречи с собакой, постепенно рассеивался.

— Никаких проблем, если я не буду суетиться.

Она ехала, может быть, слишком медленно. Стрелка спидометра показывала меньше десяти миль в час. Находиться в безопасности в закрытом пространстве своего автомобиля было просто чудесно, само это вливало в нее силы. Джесси уже начинала сомневаться, не было ли это всего-навсего игрой теней, но машина была абсолютно не подходящим местом, чтобы считать, что все уже позади. Если в доме все же кто-то был, он («Оно», — настаивал какой-то внутренний голос) могло *выйти* из дома через другие двери. Может, оно преследует ее. И вполне возможно, что если она будет продолжать плестись на такой скорости, даже менее настойчивый преследователь сможет догнать ее.

Джесси взглянула в зеркальце дальнего обзора, пытаясь уверить себя, что эта мысль была не чем иным, как паранойя, вызванная шоком и истощением, и почувствовала, как сердце замерло у нее в груди. Левая рука бессильно упала с руля на колено поверх правой руки. Это должно было быть чертовски больно, но боли не было — абсолютно никакой боли. Незнакомец сидел на заднем сиденье, прижав свои длинные ладони к вискам, как обезьянка на японской нецке, не желающая ничего слышать. Его черные глаза безучастно взирали на нее.

«*Ты видишь... я вижу... мы видим... ничего, кроме теней*», — выкрикнула Сорванец, но этот крик был из такого далека, казалось, что он доносился из другого конца Вселенной.

Это не было правдой — она видела более чем просто тень. Существо, сидящее на заднем сиденье, действительно было окружено тенями, но не было *сделано* из теней. Она видела его лицо: выпуклость лба, круглые глаза, острый нос.

— Джесси! — в экстазе зашептал космический ковбой. — Нора, Руфф, о мой сладкий пирожок!

Ее глаза, прикованные к зеркалу, увидели, как пассажир медленно наклоняется вперед к ее уху, как бы собираясь сообщить секрет. Джесси увидела, как его толстые губы расплылись в плотоядной улыбке вампира. Это была последняя, пожалуй, самая опасная атака на рассудок Джесси Белингейм.

— *Нет!* — закричал ее голос, но голос такой же тонкий, как голос певца с пластинки, поставленной на семьдесят восемь оборотов. — *Нет! Пожалуйста, нет, это нечестно!*

— Джесси! — Его зловонное дыхание было таким же резким и грубым, как наждачная бумага, и таким же леденящим, как морозильная камера. — Нора! Руф! Джесси! Сорванец! Хозяюшка! Джесси! Мамочка!

Широко раскрыв глаза, Джесси почувствовала, как его мертвенно бледное лицо наполовину зарылось в ее волосы, а его ухмыляющийся рот почти целовал ей ухо, шептывая свои тайны снова и снова:

— Джесси! Нора! Хозяюшка! Сорванец! Джесси! Джесси!

Ослепительный белый свет вспыхнул изнутри ее глаз, оставляя после себя черный провал. Последней бессвязной мыслью было: «Я не должна была смотреть, все это сожгло мои глаза».

Она упала на руль, теряя сознание. Когда «мерседес» врезался в большую сосну, ремень безопасности откинулся назад. Столкновение было не слишком серьезным, чтобы повредить двигатель, мотор продолжал работать — опять восторжествовало немецкое качество. На бампере были вмятины, но он защитил двигатель.

Минут через пять на щитке с приборами загорелся индикатор, сообщая, что мотор уже достаточно нагрелся и можно включить обогреватель. Мягко заработали дворники. Джесси упала в сторону, откачнувшись от дверцы, к которой она прижималась щекой, напоминая измученного ребенка, с нетерпением ожидавшего приезда в бабушкин дом и все-таки заснувшего в последний момент, когда тот был уже совсем рядом. Висящее над ней зеркальце заднего обзора отражало пустое сиденье, залитое лунным сиянием.

35

Все утро шел снег — было довольно-таки уныло, но в такую погоду отлично писать письма, и, когда луч солнца упал на клавиатуру компьютера, Джесси с удивлением подняла голову, отрываясь от своих мыслей. То, что она увидела, не просто заворожило ее — это наполнило ее таким чувством, которое она не испытывала уже давным-давно, да и вряд ли еще когда-нибудь испытает. Это была радость — глубокая радость без всяких примесей, которую невозможно описать словами.

Снегопад не прекращался, но вдруг яркое февральское солнце разорвало тучи над головой и превратило землю и снежинки, мелькающие в воздухе, в бриллиантовое белое сияние. Из окна открывался вид на Восточную Прогулочную Аллею Портленда, завораживающий и привлекающий Джесси в любую погоду и в любое время года, но теперь она была просто потрясена — сочетанием

ние снега и солнца превратило серый воздух над Каско Бэй в сказочную шкатулку с драгоценностями, сверкающую всеми цветами радуги.

«Если бы в снежинках жили настоящие люди, то они бы видели это чудо постоянно», — подумала Джесси и рассмеялась. Звук этот был странен и непривычен для ее слуха, как и чувство радости для ее сердца, но, если подумать, причина этого была вполне понятной: она не смеялась с прошлого октября. Джесси называла те часы, которые она провела на озере Кашвакамак, просто — «Мои тяжелые времена». Эта фраза говорила обо всем сразу и ни на йоту больше. Именно такой подход и устраивал ее.

«Не смеялась с тех пор? Совсем? Абсолютно? Ты уверена?»

Нет, не абсолютно, нет. Джесси казалось, что она смеялась во сне — но в бодрствующем состоянии она засмеялась впервые. Она отлично помнит, когда смеялась в последний раз: тогда она пыталась достать левой рукой ключи из правого кармана. Насколько она знала, это был ее последний смех до настоящего момента.

— Только это, и ничего больше, — пробормотала Джесси. Она вытащила пачку сигарет из кармана рубашки и закурила. Господи, как эта фраза возвращает ее назад — единственной вещью, обладающей такой силой и властью проделывать это столь же быстро и полно, была песенка Марвина Гайе. Однажды она услышала ее по радио, когда ехала с одного из бесконечных приемов у врача, из которых состояла вся ее жизнь этой зимой. Марвин прочитал: «Каждый знает... особенно вы, девочки...» Джесси сразу же выключила радио, но все равно так дрожала, что не могла вести машину. Она остановилась и подождала, пока не успокоится. Но по ночам, даже во сне, она бормотала слова из поэмы Эдгара По во влажную от пота подушку и, просыпаясь, слышала собственные слова: «Доказательство, доказательство...»

Джесси сделала глубокую затяжку, выдохнула, пуская кольца дыма и наблюдая за тем, как они медленно поднимаются над клавиатурой.

Если люди были настолько глупы или бес tactны, чтобы расспрашивать о перенесенных ею страданиях (оказывается, что она знала намного больше тупых или бес tactных людей, чем ожидала), она говорила, что многое не помнит из того, что произошло. После двух или трех вежливых интервью она начала говорить полицейским и всем (кроме одного) коллегам Джеральда одну и ту же вещь. Единственным исключением был Брэндон Милхерон. Ему она рассказала правду, частично потому, что нуждалась в его помощи, но в основном потому, что Брэндон был единственным человеком, кото-

рый хоть как-то смог понять, что пришлось ей пережить... что переживает она и сейчас. Он не тратил время на бесполезное выражение соболезнований — о, какое это было облегчение. Джесси поняла, что сожаление и сочувствие после пережитой трагедии значат не больше, чем след мочи на снегу.

Однако полицейские и репортеры выслушивали ее версию о потере памяти — и всю остальную историю тоже — принимая значительное выражение лица: а почему бы и нет?

Мозг людей, перенесших тяжелые физические и психологические травмы, частенько блокирует воспоминание о том, что произошло, а уж Джесси это было известно лучше, чем кому-либо из них. Она многое узнала о физических и психических травмах с прошлого октября. Книги и статьи помогли ей найти правдоподобные причины, чтобы не говорить о том, о чем ей не хотелось говорить, но все же это была не очень-то большая помощь. А может быть, она просто не наткнулась на требуемый случай, когда дело идет о закованных в наручники женщинах, вынужденных смотреть на то, как их мужья превращаются в обед для собаки.

Джесси удивила себя, снова рассмеявшись, — теперь это был громкий, чистый смех. Было ли это смешно? Видимо, было, но это была одна из тех забавных мыслей, о которой невозможно рассказать другим. Как, например, о том, что твой папочка однажды был так взволнован солнечным затмением, что замочил все твои трусики. Или как ты — вот уж *действительно* обхочешься — по-настоящему думала, что, попав на твою задницу, эта жидкость сделает тебя беременной.

Но все же в большинстве из экстремальных случаев человеческий разум частенько реагирует на травмы, как кальмар реагирует на опасность, выпуская облако непроницаемой чернильной жидкости. Ты знаешь — *что-то* случилось, и все. Все остальное растворилось, спряталось за чернилами. Об этом говорят многие люди, подвергшиеся ограблению, пережившие автомобильную катастрофу, пожар; одна любительница прыжков с парашютом, чей парашют не раскрылся, покалеченная, но живая, выбралась из болота, на которое приземлилась, и тем самым сохранила себе жизнь.

«*Что вы чувствовали, когда падали вниз?* — спрашивали они незадачливую парашютистку. — *О чём вы думали, когда поняли, что ваш парашют не раскрылся и уже не раскроется?*» И любительница острых ощущений отвечала: «*Я не помню. Я помню, как шагнула за борт самолета, а потом — как спрашивала какого-то мужчину, несшего меня на носилках к машине «скорой помощи», насколько сильно я покалечилась. Все, что между этим, покрыто*

туманом. Может быть, я молилась, но я не могу вспомнить о этом наверняка».

«Но, может быть, ты все отлично помнишь, моя коллега по несчастью, — подумала Джесси, — и все врешь, как и я. Возможно, по той же самой причине. Мне кажется, что все люди, пережившие сильное потрясение, лгут насчет потери памяти».

Очень даже может быть. Так или иначе, фактом остается то, что она-то помнит часы, проведенные в наручниках, — с момента, когда Джеральд защелкнул второй наручник, и до того леденящего душу мгновения, когда она взглянула в зеркало заднего обзора и увидела, что существо из дома стало существом на заднем сиденье, — она все отлично помнила. Она помнила эти мгновения днем, а ночью в кошмарных снах стакан с водой скользил мимо нее, падал и разбивался вдребезги; одичавшая собака отказывалась от холодной закуски в ожидании горячего блюда на кровати; ночной посетитель в углу голосом ее отца спрашивал: «Ты любишь меня, Сорванец?»; личинки и червяки извергались из него, как сперма с конца возбужденного пениса.

Но помнить и воспроизводить в памяти происшедшие события вовсе не накладывает обязательств рассказывать об этом, даже когда от воспоминаний тебя бросает в дрожь и ты кричишь оточных кошмаров. С октября она похудела больше чем на десять фунтов (точнее, на семнадцать), снова начала курить (полторы пачки в день плюс большой стакан спиртного перед сном), цвет лица испортился, а волосы полностью поседели. Последнее можно еще как-то исправить — разве не скрывала она свою седину уже более пяти лет? — но она не могла собраться с силами, чтобы позвонить в парикмахерскую и договориться о времени. Кроме того, для кого ей теперь хорошо выглядеть? Может быть, ей стоило осчастливить своим посещением какой-нибудь бар?

«Отличная мысль, — подумала Джесси. — Какой-нибудь парень спросит, может ли он угостить меня стаканчиком, я отвечу «да», а потом, пока мы будем ждать, когда бармен принесет напитки, я скажу ему — просто случайно, — что меня мучает кошмар, в котором мой отец извергает личинок и червей вместо спермы. Несмотря на такую интересную беседу, я уверена, что он сразу же уберется восвояси, не пожелав даже посмотреть на справку из больницы, что я вполне нормальная».

В середине ноября, когда Джесси наконец-то поверила в то, что полиция оставила ее в покое, а в печати перестали появляться статьи о случившемся с ней (ей было очень трудно поверить в это, потому что именно гласности она боялась больше всего), она решила снова

обратиться за советом к Норе Калиган. Возможно, ее не прельщала перспектива оставшиеся лет тридцать или сорок сидеть взаперти и курить в одиночестве. Насколько бы по-другому могла пройти ее жизнь, если бы она тогда смогла рассказать Норе о том, что случилось в день солнечного затмения! Насколько бы все могло быть по-другому, если бы тогда на кухню не вошла та девушка, когда она изливалась душу Руфи. Может быть, все было бы точно так же... а может, по-другому.

Возможно, *абсолютно* по-другому.

Поэтому она набрала номер и была потрясена, услышав, что Нора умерла от лейкемии год назад — когда анализы показали это, было уже поздно что-либо предпринимать. «Может быть, Джесси хочет встретиться с Лаурел Стивенсон?» — спросили ее в приемной. Но Джесси помнила Лаурел — высокую, темноволосую, темноглазую красавицу, носившую туфли на высоченных каблуках и выглядевшую так, будто секс доставлял ей удовольствие только тогда, когда она была сверху. Джесси ответила, что она подумает, тут же оставив мысль о посещении психоаналитика.

В течение трех месяцев после известия о смерти Норы у нее были хорошие дни (когда она только боялась) и плохие дни (когда она боялась выйти даже из этой комнаты), но только Брэндон Милхерон слышал нечто более или менее близкое к полному рассказу о темных временах Джесси Махо на озере... и Брэндон не поверил в самые бредовые моменты этого рассказа. Сочувствовал, да, но не поверил. По крайней мере, не сразу.

— Никакой жемчужной сережки, — доложил он ей через день, когда она впервые рассказала ему о посетителе с плоским белым лицом. — Никакого следа. По крайней мере, этого нет в записях полицейских.

Джесси пожала плечами и ничего не ответила. Она могла сказать, но, кажется, лучше ничего не говорить. Ей крайне был необходим друг после всего пережитого, Брэндон был для этого великолепной кандидатурой. Она не хотела расстраивать или отпугивать его своими бреднями.

И было еще нечто, нечто очень простое: возможно, Брэндон был прав. Возможно, ее гость был всего-навсего порождением лунного света и теней.

Шаг за шагом Джесси удалось убедить себя, по крайней мере в дневные часы, что все так и было на самом деле. Что ее космический ковбой был фигурой из театра теней, но сделанный не из бумаги и чернил, а из лунного сияния и воображения. Джесси не винила себя ни в чем, совсем наоборот. Если бы не ее воображение, то она никогда

бы не смогла добраться до стакана с водой... никогда бы не додумалась использовать подписьную карточку в качестве соломинки для питья воды. «Нет, — думала она, — мое воображение более чем заслужило право на небольшие галлюцинации». Но для нее важным оставался факт, что той ночью она была одна. Она считала, что если выздоровление и начнется, то оно начнется со способности отделять реальность от фантазии. Что-то подобное она сказала и Брендону. Он улыбнулся, прижал ее к себе, поцеловал в висок и сказал, что, по его мнению, она и так уже выздоравливает.

В прошлую пятницу она увидела статью в «Пресс-Геральд» в колонке новостей. И вся ее самоуверенность начала исчезать, да и содержание стало меняться, когда статьи о Раймонде Эндрю Джуберте начали триумфальное шествие по страницам газет. Затем вчера... через семь дней после того, как имя Джуберта впервые появилось на страницах газеты в колонке новостей округа...

Раздался стук в дверь, и первым чувством Джесси, как всегда, был инстинктивный страх.

— Мэгги, это ты?

— Кто же еще, мэм.

— Входи.

Мэган Лендис, домработница, нанятая Джесси в декабре (это было тогда, когда она получила первый солидный чек из страховой компании), вошла со стаканом молока на подносе. Серая и розовая таблетки лежали рядом со стаканом. При виде стакана правое запястье Джесси дико заныло. Это было не всегда, но все же реакция довольно-таки знакомая. Хорошо, что прекратились выкручивающие кости боли. Это произошло перед самым Рождеством, а до этого Джесси считала, что ей придется пить из пластмассовых чашечек до скончания века.

— Как сегодня твоя лапка? — спросила Мэгги, как будто уловила по какому-то телепатическому каналу ломоту в запястье Джесси. Джесси эта мысль не казалась странной. Вопросы Мэгги — как и ее интуиция — иногда вызывали ощущение мурашек по всему телу, но никогда они не казались Джесси нелепыми.

Рука, о которой спрашивала Мэгги, лежала в солнечном луче, отвлекшем Джесси от того, что она печатала. Эта рука, казалось, была одета в темную перчатку, сшитую из кусочков эластика космической эры. Не то чтобы Джесси не нравилась эта перчатка, и не то чтобы Джесси была неблагодарной. После третьей пересадки кожи понимаешь, что степень благодарности — очень ненадежная вещь в этом мире.

— Не так уж и плохо, Мэгги.

Левая бровь Мэгги остановилась на уровне «я-не-верю-тебе».

— Разве? Если вы все эти три часа стучали по клавиатуре, то клянусь, что ваша рука уже поет «Аве Мария».

— Неужели я действительно столько просидела здесь?.. — Джесси взглянула на часы и поняла, что это действительно так. Она взглянула на экран монитора компьютера и увидела, что печатает уже пятую страницу, а ведь она села за компьютер сразу после завтрака. Теперь уже наступило время ленча, но самое удивительное было то, что она не так уж далеко ушла от правды, не воспринятой бровью Мэгги: рука не так уж и болела. Джесси могла подождать еще часок с приемом таблеток, если бы в этом была необходимость.

Но все равно Джесси взяла таблетку и запила ее молоком. Когда она делала последний глоток, то взглянула на экран монитора и прочитала написанное:

«Никто не нашел меня той ночью, я проснулась сама, как раз на рассвете следующего дня. Двигатель наконец-то заглох, но в машине было все еще тепло. Я слышала щебетанье лесных птиц и видела гладкое, как зеркало, озеро, с ленточками волн на его поверхности. Оно выглядело очень красиво, но мне ненавистен был сам его вид, точно так же, как теперь мне ненавистна даже мысль о нем. Ты можешь понять это, Руфь? А вот я не могу.

Рука чертовски болела — действие аспирина давным-давно закончилось но несмотря на невыносимую боль, я чувствовала непередаваемое спокойствие и благополучие. Но что-то терзало меня. Нечто, о чем я забыла. Сначала я не могла вспомнить, что это. Я думаю, мой мозг просто не хотел, чтобы я вспоминала. Потом, в какое-то мгновение память вернулась ко мне. Он сидел на заднем сиденье, наклонившись ко мне, чтобы прошептать на ухо имена моих голосов.

Я посмотрела в зеркало — заднее сиденье было пусто. Это принесло мне некоторое облегчение, но потом я...»

На этом месте письмо обрывалось, ожидавше мигал курсор, как раз в конце последнего незаконченного предложения. Казалось, что он подмигивает ей, призывая продолжить, и неожиданно Джесси вспомнила стихотворение из прекрасной книжечки Кеннет Патчен. Книга называлась «*Но даже если и так*», в стихотворении были такие строчки: «Иди, дитя мое, если бы мы собирались навредить тебе, неужели ты думаешь, что мы прятались бы в самой темной части леса?»

«*Отличный вопрос*», — подумала Джесси и перевела взгляд с экрана монитора на лицо Мэгги Лендис — она была ей многим

обязана, но если она заметит, что маленькая домработница читает написанное на экране, Мэгги направится вниз на Форсет-авеню с расчетом в кармане раньше, чем можно будет успеть сказать: «Добрая Руфь, конечно, ты удивлена получить от меня весточку после всех этих лет затмения».

Но Мэгги не смотрела на экран, она смотрела на великолепный пейзаж за окном. Все так же сияло солнце, и так же падал снег.

— Дьявол бьет свою жену, — заметила Мэгги.

— Что-что? — улыбаясь, переспросила Джесси.

— Так говорила моя мать, когда солнце появлялось раньше, чем прекращался снегопад. — Мэгги выглядела несколько смущенной, она протянула руку за пустым стаканом. — Но я не могу сказать, что это значит.

Джесси кивнула. Смущение на лице Мэгги Лендис переросло в нечто еще — нечто, что показалось Джесси беспокойством. Сначала она даже не поняла, в чем причина, но потом догадалась — это было настолько очевидно, что даже не сразу пришло ей в голову. Дело было в улыбке. Мэгги не привыкла видеть Джесси улыбающейся. Джесси хотела убедить Мэгги, что все нормально, что улыбка вовсе не означает, что она сейчас соскочит со стула и вцепится Мэгги в горло.

Вместо этого она сказала:

— Мне мама говорила, что солнце не светит в ту же самую собачью конуру каждый день, но я тоже не знаю, что бы это могло значить.

Домработница не смотрела на экран, но все равно весь ее вид говорил: «*Пора отложить свои игрушки в сторону, миссис*».

— После таблеток вас будет клонить в сон, если вам сейчас не подкрепиться. У меня есть сэндвичи для вас и бульон.

Бульон и сэндвичи — детская еда, ленч, съедаемый вами после того, как с самого утра вы прокатились на салазках; еда, съедаемая, когда мороз все еще подыхает на ваших щеках. Звучит великолепно, но...

— Я не хочу, Мэгги.

Мэгги нахмурила брови, кончики ее губ опустились. Именно это выражение Джесси частенько видела на лице своей домработницы, когда та только начала работать у нее. Тогда ей нужно было большее количество обезболивающих таблеток, так как боль была настолько сильной, что Джесси чуть не плакала. Однако Мэгги никогда не поддавалась ее слезам. Джесси считала, что именно поэтому она и наняла маленькую ирландку — она сразу же поняла, что Мэгги не даст ей спуску. Мэган была твердым орешком, когда было нужно... но теперь Мэгги не удастся настоять на своем.

— Тебе необходимо поесть, Джесси. Ты и так похожа на чучело. — Теперь на глаза ей попалась пепельница, наполненная окурками. — Тебе нужно бросить это дермо тоже.

«Я заставлю бросить их, моя гордая красавица», — произнес внутри нее Джеральд, и Джесси содрогнулась.

— Джесси? Что с тобой? Тебе не сквозит?

— Нет. Гусь прошелся по моей могиле, вот и все. — Она слабо улыбнулась. — Что-то сегодня мы несколько увлеклись поговорками, не так ли?

— Тебя же столько раз предупреждали, что ты не должна переутомляться...

Джесси вытянула свою руку в перчатке и осторожно прикоснулась к левой руке Мэгги:

— Моей руке уже действительно лучше.

— Да. Если ты смогла клацать ею по клавиатуре даже половину того времени и не умолять меня о таблетке, как только я появилась на пороге, то, мне кажется, ты поправляешься даже быстрее, чем ожидал доктор Моилиор. Но все равно...

— Но все равно мне лучше, а это здорово... правильно?

— Конечно, это хорошо. — Домработница посмотрела на Джесси, как на сумасшедшую.

— Ну вот, а теперь я пытаюсь поправиться окончательно. И первый шаг к этому — письмо к моей старинной приятельнице. Я пообещала себе в октябре, когда у меня были тяжелые времена, что если только выберусь из этой каши, то обязательно сделаю это. Но я все время откладывала. И вот теперь наконец-то пытаюсь выполнить свое обещание, и я не смею остановиться. Иначе я смогу передумать.

— Но таблетки...

— Мне кажется, что у меня будет достаточно времени дописать письмо и запечатать его в конверт прежде, чем я стану слишком сонной, чтобы продолжать работу. А потом я улягусь спать, а когда проснусь, то поужинаю. — Она снова притронулась правой рукой к левой руке Мэгги, и в этом движении сквозили твердость и нежность. — Ты приготовишь мне обильный ужин.

Мэгги продолжала хмуриться:

— Нельзя переводить продукты, Джесси, и ты знаешь об этом.

Очень мягко Джесси возразила:

— Есть вещи более важные, чем еда. И ты знаешь об этом так же хорошо, как и я, разве не так?

Мэгги снова взглянула на монитор, потом вздохнула и кивнула. Когда она заговорила, это был тон женщины, отдающей должное

каким-то общепринятым представлениям о сентиментальности, в которую лично она не верит. — Возможно, а если и не так, то вы здесь хозяйка.

Джесси кивнула, впервые понимая, что на этот раз это нечто большее, чем просто условность, к которой они обе прибегали для удобства. — Мне кажется, что это именно так.

Брови Мэгги снова взлетели вверх.

— А что если я принесу сэндвичи сюда и оставлю их на уголке твоего стола?

— Продано! — усмехнулась Джесси.

Теперь улыбнулась и Мэгги. Когда минуты через три она принесла сэндвичи, Джесси снова сидела перед мигающим экраном монитора, бросающим зеленоватые отблески на ее лицо, склоненное над клавиатурой, на которой она что-то медленно набирала. Маленькая ирландка и не пыталась не шуметь — возможно, она не смогла бы пройтись на цыпочках, даже если бы от этого зависела ее жизнь, — но Джесси все равно не слышала, как та вошла и затем удалилась.

Джесси вытащила пачку газетных вырезок из верхнего ящика своего письменного стола и перестала печатать, просматривая их. На большинстве вырезок были фотографии мужчины со странным плоским лицом, сужающимся к подбородку и расширяющимся к бровям. Его глубоко посаженные глаза были черными и круглыми, но абсолютно пустыми, глаза одновременно вызывали образ Донди, бездомного бродяги из комиксов, и Чарльза Мэнсона. Толстые губы под тонким острым носом.

Мэгги задержалась на секунду у плеча Джесси, желая быть замеченной, затем хмыкнула и удалилась из комнаты. Минут через сорок пять Джесси взглянула налево и увидела поджаренные сэндвичи с сыром. Теперь они были совсем холодные, сыр застыл неаппетитной массой, но она проглотила их в один присест. Курсор танцевал, постепенно зазывая ее все дальше в лес.

36

«... Это принесло мне некоторое облегчение, но потом я подумала: «Он мог наклониться, поэтому я не вижу его в зеркале заднего обзора». Мне удалось повернуться, несмотря на жуткую слабость во всем теле. Даже при малейшем движении руку пронзило, как раскаленным прутом. Там никого не было, и я попыталась убедить себя, что когда я видела его в последний раз, то это действительно была только игра теней... теней и моего утомленного разума.

Но я не могла вполне поверить в это, Руфь, несмотря на то, что взошло солнце, и я была без наручников, и выбралась из дома, и была закрыта внутри собственной машины. Я думала, что если его не было на заднем сиденье, то он мог быть в багажнике. Мне казалось, что он все еще со мной. Вот что я хочу, чтобы ты — ты или кто-нибудь другой — поняли, вот о чем мне действительно необходимо рассказать. Он все еще был со мной. Даже когда мой рассудок решил, что это, возможно, всего лишь игра теней и лунного света, когда я видела его в последний раз, он все еще был со мной. Мой гость — это «мужчина с мертвенно бледным лицом», когда восходит солнце, и он же — «создание с белым лицом», когда опускаются сумерки. Неважно, он или оно, мой разум сумел отделиться от этого незнакомца, но мне этого показалось недостаточно. Потому что каждый раз, когда ночью в доме что-то поскрипывает, я знаю, что оно вернулось, каждый раз, когда на стене танцуют забавные тени, я знаю, что оно здесь, каждый раз, когда я слышу незнакомые шаги, я знаю, что оно — возвращается, чтобы закончить свою работу. Оно было в «мерседесе», и оно находится в моем доме, прячась за шторами, а может быть, стоит, притаившись, в шкафу, держа у ног свою корзинку. У меня нет волшебной стрелы, чтобы пронзить его сердце вампира, и, о Руфь, я так устала».

Джесси передохнула, вытряхнула переполненную пепельницу и прикурила новую сигарету. Ее движения были нарочито замедленными — руки немного дрожали, а она не хотела обжечься. Докурив сигарету, Джесси глубоко вздохнула, выдохнула, бросила окурок в пепельницу и снова вернулась к клавиатуре.

«Я не знаю, что бы я делала, если бы сел аккумулятор, — сидела бы в машине, пока кто-нибудь не проехал бы мимо, даже если бы пришлось сидеть целый день, — но аккумулятор не сел, и мотор сразу же завелся. Я сдала назад от дерева, в которое ударились, и вывела машину на проезжую часть. Мне очень хотелось посмотреть в зеркало заднего обзора, но я боялась сделать это. Не потому, что он был там — я знала, что там никого нет, — но потому, что мой мозг мог заставить меня увидеть его.

В конце концов, когда я добралась до Бэй Лейн, я посмотрела в зеркало. Я не смогла удержаться. В зеркале, конечно, ничего не было, кроме пустого заднего сиденья, и это сделало дальнейшую поездку немного легче. Я выехала на 117-е шоссе, а потом добралась к универсальному магазину Дакина — одно из тех mestечек, где отираются местные жители, когда им больше нечем заняться. В

большинстве случаев они сидят за стойкой, щелкают орехи и сочиняют небылицы о том, чем они занимались в субботу ночью. Я подъехала поближе и минут пять просто сидела, наблюдая, как лесорубы, сторожа и служащие местного муниципалитета входят и выходят. Я не могла поверить, что все они реальны. Все они казались мне привидениями, и я считала, что смогу видеть сквозь них, как только мои глаза привыкнут к солнечному свету. Я снова хотела пить, каждый раз, когда кто-нибудь выходил с маленькой пластмассовой чашечкой кофе, жажда усиливалась, но я все никак не могла принудить себя выйти из машины... войти в царство привидений.

Я надеялась, что все же смогу сделать это, но прежде чем я набралась достаточно мужества, чтобы открыть дверь, Джимми Эттарт припарковался рядом со мной. Джимми был на пенсии и жил в своем доме у озера круглый год с 1987 или 1988 года, когда умерла его жена. Он выбрался из своей машины, посмотрел на меня и начал улыбаться. Но потом лицо его исказилось: сначала от удивления, а потом от ужаса. Он подошел к «мерседесу» и наклонился, чтобы заглянуть внутрь, и был так удивлен, что все его морщины на лице разгладились. Я помню особенно отчетливо, как удивление омолодило Джимми Эттарта.

Я видела, как его губы складывались в слова: «Джесси, с тобой все в порядке?» Я хотела открыть дверцу, но не сразу осмелилась на такой шаг. У меня в голове пронеслась безумная мысль. Я подумала, что существо, которое я называла космическим ковбоем, уже побывало в доме Джимми. Но только вот Джимми не повезло, как мне. Оно убило его, отрезало голову и натянуло ее, как маску. Я знала, что это бред сумасшедшего, но это знание не слишком-то помогло мне, потому что я не могла перестать думать об этом. Так же я не могла заставить себя открыть эту дурацкую дверь.

Я не знаю, насколько ужасно я выглядела в то утро, да и не хочу знать, но, должно быть, ужасно, потому что Джимми Эттарт очень скоро перестал удивляться. Он готов был убежать со страху, так, чтобы пятки засверкали. Но, слава Богу, он этого не сделал. Он открыл дверцу машины и спросил меня, что случилось, был ли это несчастный случай или же кто-то напал на меня.

Мне было достаточно посмотреть вниз, чтобы понять, почему он спросил меня об этом. Наверное, рана на моем запястье снова открылась, потому что бинт, который я намотала на запястье, был полностью пропитан кровью. Перед моей юбки тоже был в крови. Я сидела вся в крови, руль машины тоже был в крови, кровь была на коробке передач, кровь была повсюду... даже на лобовом стекле. Кровь уже почти высохла, напоминая цвет каштанов, — мне это

напоминало кофе с молоком, — но некоторые пятна все же были еще красными и влажными. Пока не увидишь такое собственными глазами, Руфь, невозможно даже представить, сколько крови в человеческом теле. Неудивительно, что Джимми испугался.

Я попыталась выйти — я думаю, что хотела показать ему, что могу сделать это сама, — но задела правой рукой за руль, и все закружилось у меня перед глазами.

Я не потеряла сознание полностью, но ощущение было такое, как будто кто-то перерезал последние провода, соединяющие мое тело и мою голову. Я почувствовала, что падаю вперед, и помню, как подумала о том, что закончу свое приключение, выбив все зубы об асфальт... после того, как только год назад истратила целое состояние, чтобы привести их в порядок.

Однако Джимми подхватил меня... Я слышала, как он крикнул: — Эй! Эй! Мне нужна помощь. — Его голос был визгливым голосом стареющего мужчины, и этот звук показался мне очень смешным... только вот я слишком устала, чтобы смеяться. Голова моя уткнулась ему в грудь, я чуть не задохнулась. Краски дня постепенно возвращались ко мне, и я увидела, что около дюжины мужчин выбегают посмотреть, что произошло. Среди них был Лонни Дакин. Он жевал горячую булочку, на нем была розовая футболка с надписью: «В ЭТОМ ГОРОДЕ НЕТ ПЬЯНЫХ, ПРОСТО МЫ НЕМНОГО КАЧЕМСЯ». Очень смешно, особенно когда ты думаешь, что умираешь, правда?

— Кто это сделал с тобой, Джесси? — спросил Джимми.

Я попыталась ответить но не могла выдавить из себя хоть слово, что было просто здорово, учитывая то, что именно я пыталась сказать. Мне кажется, я хотела ответить: «*Мой отец*»

Джесси затушила сигарету, потом взглянула на фотографию в газете. Плоское, наводящее ужас лицо Раймонда Эндрю Джуберта тоже взглянуло на нее... точно так же, как оно взирало на нее из угла спальни в первую ночь, а потом из кабинета ее мужа — во вторую. Это обоядное созерцание длилось минут пять. Затем, напоминая человека, очнувшегося после непродолжительного сна, Джесси опять закурила и вернулась к своему письму. Теперь она уже напечатала семь страниц. Джесси потянулась, прислушиваясь к хрусту позвонков, и снова стала нажимать на клавиши. Курсор возобновил свой танец.

«А через двадцать минут — двадцать минут, за которые я неожиданно узнала, какими нежными, заботливыми могут быть мужчи-

ны, — я уже находилась в машине «скорой помощи», мчащейся в больницу Северного Кемберленда и пронзающей пространство воем сирены.

А еще через час я лежала на больничной койке и наблюдала, как кровь вливается в меня через трубочки системы, и слушала песенку в стиле кантри о том, как печальна стала жизнь парня после того, как его бросила любимая женщина и разбилась машина.

На этом и заканчивается Часть Первая моего рассказа, Руфь, — назовем ее «Малышка Нелл переходит по льду», или «Как я освободилась от наручников и спаслась». Есть еще две главы, которые я называю «Итоги» и «Политикан». Я вкратце расскажу об «Итогах», частично потому, что это интересно только тогда, когда ты сам пережил пересадку кожи и всю эту боль, но в основном потому, что хочу успеть рассказать о «Политикане» прежде, чем устану и не смогу выразить все то, что хочу, и так, чтобы ты захотела выслушать и понять. Эта мысль только что взбрела мне в голову, и это «лысая правда», как мы говорили когда-то. Кроме того, без «Политикана» я вообще не стала бы писать.

Но прежде чем перейти к этой части, мне нужно немного подробнее рассказать тебе о Брэндоне Милхероне, который действительно подвел итог всем моим страданиям. Брэндон появился в первый и наиболее ужасный период моего выздоровления и более или менее понял и воспринял меня. Мне бы хотелось назвать его «Мирым мужчиной» потому, что он был со мной рядом в самые адские минуты моей жизни, но он не только милый мужчина — он видит все насквозь, держит все нити в своих руках и наблюдает за тем, чтобы все было, как положено и по порядку. Но и это еще не все — в нем есть нечто другое. Он намного лучше... Но я и так достаточно много отняла у тебя времени. Достаточно сказать, что для человека, призванного охранять интересы процветающей юридической фирмы в истории, связанной с неприятностями, в которых был замешан один из ее главных партнеров, у него было достаточно мужества и самообладания, чтобы держать ситуацию под контролем. К тому же он никогда не ругал меня на чем свет стоит, когда я плакалась ему в жилетку. Если бы это было все, то я бы не стала так подробно рассказывать о нем, но есть нечто другое во всем этом — то, что он сделал для меня только вчера. Наберись терпения, детка, я уже добралась до самой сути.

Брэндон очень часто работал с моим мужем в течение последних четырнадцати месяцев жизни Джеральда — эта работа была связана с сетью супермаркетов. Они выиграли то, что хотели выиграть, и, что более важно, между ними установилось отличное взаимопонима-

мание. Мне кажется, если старые пердуны, владеющие фирмой, будут решать вопрос о преемнике Джеральда, то они, несомненно, выберут Брендона. В настоящее время он — самая подходящая кандидатура на должность, которую он сам во время своего первого посещения назвал «контролем по компенсациям за убытками».

Он был очень милым, к тому же он был откровенен со мной с самого начала, признавшись, что у него есть и своя задача. Поверь мне, я была просто поражена этим; в конце концов я была замужем за юристом почти двадцать лет, и я знаю, как тщательно они скрывают подробности своей жизни и деятельности. Мне кажется, что именно это позволяет им выживать и не терять самообладания, но именно это делает их такими занудными и противными.

Брендон никогда не был занудным или неприятным, но это был человек с определенной миссией: пресечь любую огласку, которая может повредить фирме. Это означало, что ему нужно было пресечь любую публикацию, порочащую Джеральда или меня. Такая работа может быть испорчена в любой момент... но Брендон с успехом справился с ней, он никогда не говорил, что взялся за эту работу в память о Джеральде. Он взялся за подобную миссию из-за того, что Джеральд называл «деланьем карьеры» — работа такого рода очень быстро открывает двери в следующий эшелон, если, конечно, дело выгорает. Для Брендона все получилось как нельзя лучше, и я рада за него. Он обращался со мной с огромной нежностью и сочувствием, чего и так достаточно, чтобы желать ему счастья, но есть еще две причины для этого. Он никогда не впадал в истерику, если я говорила ему, что ко мне звонил или приезжал репортер, но при этом никогда не вел себя так, будто я была только частью его работы и больше ничем. Хочешь знать, что я думаю на самом деле, Руфь? И хотя я на семь лет старше мужчины, о котором я тебе рассказываю, и вся заштопана и искалечена, мне кажется, что Брендон немного влюблен в меня... или в маленькую героическую Нелл, которая предстает перед его внутренним взором, когда он смотрит на меня. Я не думаю, что это каким-то образом касается секса (по крайней мере, пока что нет — я все еще напоминаю синего ошипанного цыпленка, выставленного в витрине мясного магазина). Мне это нравится; если я никогда больше в жизни не лягу с постель с мужчиной, то буду просто счастлива. Но все же я бы солгала, если бы сказала, что мне не понравилось, если бы я заметила в его глазах выражение того, что я представляю для него интерес, — я, Джесси Анджела Махо Белингейм, а не просто какое-то безымянное, неодушевленное существо, о котором его боссы думают, возможно, как о Том Несчастном Деле Белингейма. Я не знаю, прохожу ли я над заданием фирмы Брендону,

под ним или рядом, да это и не важно. Достаточно знать, что я имею отношение к этому делу и что я значу гораздо больше, чем просто...

Джесси остановилась, постукивая указательным пальцем по зубам и тщательно обдумывая слова. Она сделала глубокую затяжку, а затем продолжила:

...побочный благотворительный эффект. Брендон был рядом со мной во время всех допросов полиции, записывая показания на магнитофон. Он вежливо, но неумолимо напоминал всем присутствующим — включая стенографисток и сиделок, — что каждый, разгласивший сенсационные подробности дела, столкнется с репрессивными мерами огромной юридической фирмы. Видимо, Брендон повлиял на них так же, как и на меня, потому что никто из посвященных никогда даже не разговаривал с журналистами. Самые ужасные и неприятные допросы велись в течение трех дней, проведенных мною в реабилитационной палате, когда меня накачивали кровью и физраствором через пластмассовые трубочки.

Доклады полицейских, отражавшие эти допросы, были настолько странными, что вообще непонятно, как они стали правдоподобными, когда впервые появились на страницах газет. Хочешь узнать, что говорилось в их записях? Ладно, послушай:

«Мы решили провести денек в нашем загородном доме в западной части штата Мэн. После занятий сексом мы вместе принимали душ. Джеральд вышел из-под душа раньше, а я решила помыть голову. Он пожаловался на то, что у него пучит живот, возможно, из-за тех сэндвичей, которые мы съели по дороге из Портленда, и спросил, есть ли в доме какие-нибудь таблетки. Я сказала, что не знаю, но если и есть, то они лежат на шифоньере или на полочке над кроватью. А минуты через три или четыре, когда я ополаскивала голову, я услышала крик Джеральда. Крик свидетельствовал о сердечном приступе. За ним последовал глухой удар — звук падающего на пол тела. Я выскочила из душа и, когда вбежала в спальню, у меня подкосились ноги. Падая, я ударила головой об угол шифоньера и потеряла сознание».

Согласно этой версии, придуманной совместно мистером Милхерроном и миссис Белингейм — и с энтузиазмом принятой и одобренной полицией, — я несколько раз частично приходила в себя, но всякий раз снова теряла сознание. Когда же я наконец снова открыла глаза, собака, терзавшая Джеральда, напала на меня. Я взобралась на кровать (согласно нашей версии, мы с Джеральдом обнаружили ее там, где она стояла, — возможно, передвинутая парнями, прихо-

дившими натирать пол, — но страсть настолько охватила нас, что мы даже не потрудились поставить ее на место) и отогнала собаку, бросив в нее пепельницу, а затем и стакан. Потом я снова потеряла сознание и провела несколько часов, истекая кровью. Позже я снова пришла в себя, добралась до машины и в конце концов добралась до безопасного места... после того, как еще один раз потеряла сознание и врезалась в дерево.

Однажды я спросила Брендона, как ему удалось заставить полицию поверить в эту чепуху. Он ответил: «Этим делом занималась полиция штата, Джесси, а у нас — я имею в виду фирму — много друзей в полиции. Ты знаешь, полицейские тоже люди. Парни отлично поняли, что произошло, как только вошли в дом и увидели наручники на кровати. Поверь, они не впервые видели наручники в подобной ситуации. Но не было еще ни одного полицейского, который предпочел, чтобы вы с мужем превратились в кучу дерьяма в результате того, что было не более чем просто несчастный случай».

Сначала даже Брендону я ничего не рассказала о мужчине, которого, как мне показалось, я видела, или об отпечатке следа, или о жемчужной сережке, или еще о чем-нибудь. Я ждала».

Джесси посмотрела на последнее предложение, покачала головой и снова принялась печатать.

«Я ждала, что придет какой-нибудь полицейский и предъявит мне на опознание кольца — не сережку, а кольца. «Мы уверены, что это ваши, — скажет он, — потому что на них имеются инициалы ваши и вашего мужа и потому что мы нашли их на полу кабинета вашего мужа».

Я ждала этого, потому что, когда покажут мне мои кольца, я буду знать наверняка, что ночной посетитель малышки Нелл был просто частью ее воображения. Я все ждала и ждала, но этого не случилось. В конце концов, как раз перед первой операцией на руке я рассказала Брендону о том, что, мне кажется, я не одна была в доме, по крайней мере не все время. Я сказала ему, что это все вполне может быть моим воображением, но временами все это кажется очень реальным. Я ничего не рассказала о своих потерянных кольцах, но зато много говорила об отпечатке ноги и серьге с жемчужиной. Я что-то бормотала о сережке, и знаешь, почему? За ней стояло то, о чем я не смела рассказать даже Брендону. Понимаешь? Всё время, когда я что-то рассказывала ему, я говорила фразы типа: «Затем я подумала, что увидела» и «Мне показалось, что я почти уверена в этом». Мне было необходимо рассказать ему, рассказать хоть кому-нибудь,

потому что страх разъедал меня изнутри, как соляная кислота, но мне нужно было рассказать, что я не подменяю субъективное ощущение объективной реальностью. Но больше всего мне не хотелось показать ему, насколько я *все еще боюсь*. Я не хотела, чтобы он подумал, что я сумасшедшая. Мне было неважно, если он подумает, будто у меня легкая истерия — такую цену я бы с радостью заплатила, лишь бы скрыть еще одну ужасную тайну: то, что сделал со мной мой отец в день солнечного затмения, но я ни в коем случае не хотела, чтобы он считал меня сумасшедшей. Не хотела, чтобы даже малейшие сомнения закрались у него на этот счет.

Брендон взял мою руку в свои и погладил ее, а потом сказал, что может понять это, в данных обстоятельствах с этим приходится мириться. Потом он добавил, что очень важно помнить, что все это было не более реально, чем душ, который мы принимали вместе с Джеральдом после столь насыщенных упражнений на кровати. Полиция обыскивала весь дом, и, если бы там действительно кто-то побывал, они нашли бы доказательства этому. Тот факт, что незадолго до несчастного случая в доме была произведена генеральная уборка, лишь увеличивал шансы на это.

— Может быть, они нашли доказательства его присутствия, — заметила я. — Может быть, один из полицейских засунул сережку в свой карман.

— Я знаю, что в мире очень много нечистых на руку полицейских, — возразил он, — но я не верю, что даже самый тупой из них стал бы рисковать своей карьерой из-за сережки. Мне легче поверить, что тот приятель, который, как ты считаешь, был с тобой в доме, вернулся позже и сам забрал ее.

— Да! — согласилась я. — Это вполне возможно, ведь так?

Он хотел покачать головой, но вместо этого содрогнулся.

— Все возможно, включая алчность или простую ошибку следователей, но... — Он замолчал, потом взял меня за руки и заботливо посмотрел на меня. — Твои умозаключения строятся на том, что полиция не слишком тщательно обыскала дом. Это не так. Если бы в доме побывал третий человек, то они нашли бы доказательства этому. А если бы они нашли доказательства его присутствия, то я бы узнал об этом.

— Почему? — спросила я.

— Потому что тогда бы ты действительно оказалась в ужасном положении — положении, когда полиция перестает быть вежливой.

— Я не понимаю, о чём ты говоришь, — ответила я, но тут же поняла к чему он клонит, Руфь. За Джеральда полагалась солидная

страховка, и мне уже сообщили в трех различных страховых компаниях, что я проведу время официального траура — и еще несколько лет после него — в очень комфортабельных условиях.

— Джон Гарельсон из Августы провел доскональное вскрытие и пришел к выводу, что Джеральд умер от обширного инфаркта, — сказал Брендон. — Причиной этого могло быть отравление едой, чрезмерное перенапряжение или большая физическая травма. — Он намеревался продолжить дальше — он был в том настроении, о котором я стала думать как о Нравоучении Брендона, — но что-то в моем лице остановило его: — Джесси, что с тобой?

— Ничего, — ответила я.

— Неправда, ты выглядишь ужасно. Снова судорога?

Наконец мне удалось убедить его, что со мной все в порядке, да так оно почти и было к тому моменту. Я представила себе то, Руфь, о чем уже раньше писала тебе в этом письме: двойной удар, нанесенный мною Джеральду, когда он не захотел освободить меня. Один — в живот, а второй — по семейному достоянию. Как удачно, что я сказала, что секс был очень бурным, — это объясняло кровоподтеки. К тому же, мне казалось, что синяки были слабые, так как сразу же за ударом последовал инфаркт, который и остановил образование синяков.

Из всего этого следует еще один вопрос: именно ли мой удар вызвал сердечный приступ? Ни в одной из книжек, прочитанных мною в поисках ответа на этот вопрос, не говорится об этом конкретно, но вещи нужно называть своими именами: возможно, я спровоцировала его. Но не все же только на свой счет — Джеральд страдал от избыточного веса, много пил и курил, как паровоз.

У него и так было прединфарктное состояние; если бы ничего не случилось в тот день, то это произошло бы на следующей неделе или через месяц. Просто дьявол играет на своей скрипичке слишком долго, Руфь. Я верю в это, Руфь. Если ты не веришь в это, то я сердечно приглашаю тебя посетить то место, где никогда не светит солнце. Я думаю, что я заработала право верить в то, во что мне хочется верить, по крайней мере в данном случае. Особенно в этом случае.

— Если я выгляжу так, как будто проглотила дверную ручку, — сказала я Брендону, — то это только потому, что пытаюсь свыкнуться с мыслью, что кто-то может подумать, будто я убила Джеральда только потому, что хотела присвоить его страховку.

Он еще раз покачал головой, честно глядя мне в глаза:

— Они вовсе так не думают. Гарельсон сказал, что инфаркт Джеральда мог быть вызван чрезмерным сексуальным возбуждением,

и полиция штата приняла эту версию потому, что Джон Гарельсон — лучший специалист в этой области. Самое большее, что может быть, — так это то, что несколько циников подумали, что ты играла роль Саломеи и вконец измотала его.

— А ты? — спросила я.

Я думала, что шокирую его такой прямотой, и мне было интересно увидеть, как выглядит шокированный Бренди Милхерон, но я его плохо знала. Он только улыбнулся:

— Считаю ли я, что у тебя было достаточно воображения, чтобы предвидеть возможность прикончить Джеральда, но не хватило ума предвидеть что ты сможешь умереть в наручниках? Нет. Я считаю, что все происходило именно так, как ты рассказала мне, Джесси. Могу я быть откровенным?

— Я не хотела бы, чтобы ты был другим, — ответила я.

— Хорошо. Я работал с Джеральдом, и мы с ним вполне ладили, но очень многим сотрудникам фирмы это не удавалось. У него было столько причуд. И меня нисколько не удивляет, что мысль о сексе с женщиной, закованной в наручники, так раскалила его.

Я взглянула на него, когда он произносил эту фразу. Был вечер, но была включена только лампочка в изголовье моей кровати. Он сидел в тени, но я уверена, что Брендон Милхерон покраснел.

— Если я оскорбил тебя, то прошу прощения, — произнес он. В его голосе сквозило смущение и неловкость.

Я чуть не рассмеялась — это было бы жестоко. Но он тогда выглядел, как восемнадцатилетний юнец, только что окончивший школу.

— Ты не обидел меня, Брендон, — ответила я.

— Хорошо. Вот это касается меня. Но все-таки это работа полиции: исследовать малейшую возможность такого поворота событий — рассмотреть версию о том, что ты предприняла несколько более крутые меры, чем просто понадеялась на то, что называется «слабое сердце».

— Я даже не предполагала, что у него проблемы с сердцем, — ответила я. — Точно так же, как и страховые компании. Если бы они знали, то никогда бы не подписали договора о страховании жизни, разве не так?

— Страховые компании страхуют каждого, кто пожелает заплатить достаточно денег — ответил он, — а страховые агенты никогда не видели Джеральда, дышащего, как паровоз, или вдребезги пьяного. Но ты знала об этом. Не возраст, но ты могла знать о приближающемся инфаркте. Полиция знает об этом. Итак, они говорили: «Предположим, она пригласила своего дружка в домик у озера и

ничего не сказала об этом мужу. И предположим, этот приятель с криком выскакивает из шкафа в самый подходящий момент для нее и в самый неподходящий момент для старика». Если бы у полиции было хоть какое-то доказательство того, что такое могло быть, то ты оказалась бы в очень дерьмовом положении, Джесси. Потому что при некоторых обстоятельствах такой крик вполне может считаться убийством. Тот факт, что ты провела два дня в наручниках и срезала половину кожи, чтобы освободиться от них, свидетельствует против идеи о соучастии, но с другой стороны — наручники не исключают возможность соучастия в преступлении... по крайней мере, для определенного склада ума полицейских.

Я с удивлением уставилась на него, ощущив себя женщиной, только что понявшей, что она танцевала на краю пропасти. Я смотрела на лицо Брендона, скрывающееся за кругом света, отбрасываемого лампочкой над кроватью. Мысль о том, что полиция могла подумать, что я убила Джеральда, казалась мне дурной шуткой. Слава Богу, Руфь, я никогда не шутила с полицией на эту тему!

Брендон сказал:

— Понимаешь теперь, что намного умнее будет не говорить о возможном посетителе?

— Да, — ответила я. — Лучше не будить спящего зверя, не так ли?

Как только я произнесла эту фразу, передо мной сразу же предстала картина того, как пес, вцепившись зубами в руку Джеральда, тащил его по полу. Через несколько дней они нашли это бедное, проклятое существо — оно устроило себе логово около лодочной станции в полумиле от нашего дома. Там же они нашли огромный кусок Джеральда, так что собака, должно быть, еще раз возвращалась в дом после того, как я спугнула ее светом фар «мерседеса». Они пристрелили пса. На нем был ошейник, который носят собаки, состоящие в клубах, по которому можно узнать, кому принадлежит собака, и задать ее хозяину чертей, но на ошейнике стояло только имя — Принц. Принц, представляешь? Когда пришел констебль Тигарден и сказал, что они убили собаку, я обрадовалась. Я не винила пса за то, что он сделал, — он был не в лучших условиях, чем я, Руфь, — но я была рада, и радуюсь этому до сих пор.

Однако я отошла от темы — я рассказала тебе о беседе, состоявшейся между мной и Брендоном после того, как я рассказала ему, что в доме мог быть незнакомец. Он согласился, что лучше не будить спящего зверя. Мне кажется, что я вполне могу жить с

этим — огромным облегчением было уже то, что я рассказала об этом хоть одному человеку, — но я еще не была готова забыть об этом.

— Меня убедил телефон, — сказала я ему. — Когда я освободилась от наручников, то телефон был мертв, как Авраам Линкольн. Как только до меня дошло это, я поняла, что была права — здесь действительно был мужчина, и он перерезал телефонные провода. Именно это подтолкнуло меня к двери и к «мерседесу». Ты не знаешь, что такое страх, Брэндон, пока вдруг не поймешь, что остался в лесу один на один с враждебно настроенным гостем.

Он улыбался, но теперь уже так, как всегда улыбаются мужчины, когда думают о том, что женщинам нельзя верить и что вряд ли нужно позволять им действовать самостоятельно.

— Ты решила, что провод перерезан только потому, что телефон в спальне молчал. Ведь так?

Это было не совсем то, что случилось, и не совсем то, что я думала, но все же я кивнула — частично потому, что это казалось легче всего, но в основном потому, что бесполезно разговаривать с мужчиной, когда у него такое выражение лица, как бы говорящее: «Женщины... Невозможно жить с ними, но нельзя и без них!» Пока ты полностью не изменилась, Руфь, я уверена, что поймешь, когда я скажу, что единственным моим желанием в тот момент было прекратить разговор.

— Он был отсоединен, вот и все, — сказал Брэндон. Теперь он был похож на мистера Роджерса, объясняющего, что иногда действительно кажется, что под кроватью прячется чудовище, но на самом деле там никого нет. — Джеральд вытащил шнур телефона из блокиратора. Возможно, он не хотел, чтобы его выходной — не говоря уже о его фантазии — был прерван звонком из офиса. Он также отсоединил телефон, стоявший в холле, но телефон на кухне был присоединен и отлично работал. Я прочитал об этом в докладе полиции.

Свет померк передо мной, Руфь. Я неожиданно поняла, что все они — эти мужчины, разбирающиеся в том, что же произошло на озере, — сделали определенные выводы о том, как я выбралась из этой ситуации, что я сделала и почему поступила именно так. В основном обстоятельства работали на меня, и это многое упростило, но все равно было что-то вызывающее ярость и пугающее в том, что свои заключения они сделали не на основании того, что я рассказала, или из тех свидетельств, которые они нашли в доме, но только на том основании, что я женщина, а женщины должны действовать по определенной схеме.

Если посмотреть на все с этой точки зрения, то нет абсолютно никакой разницы между Брэндоном Милхероном в его изящном костюме-тройке и старым констеблем Тигарденом, облаченным в вытертые джинсы с пылающими, как огонь, красными подтяжками. Мужчины до сих пор думают о нас по-старому, Руфь, я уверена в этом. Многие из них лишь научились говорить нужные фразы в подходящий момент, как говорила моя мать: «Даже людоеда можно научить молиться».

И знаешь, что еще? Брэндон восхищался мною, он восхищался тем, как я действовала после смерти Джеральда. Конечно. Время от времени я понимала это по выражению его лица, даже если в этот вечер его лицо выглядело по-другому, все равно я была уверена, что снова увижу это восхищение. Брэндон считал, что я проделала великолепную работу, очень храбро вела себя... для женщины. Мне кажется, что ко времени нашего первого разговора о моем гипотетическом госте он считал, что он сам поступил бы точно так же в подобной ситуации... если бы, вот тут-то и вся закавыка, ему пришлось действовать в лихорадочном состоянии. Мне кажется, что большинство мужчин считают, что женщины думают, как юристы, сраженные лихорадкой.

Я говорю не о снискходительности, свойственной мужчинам, — я говорю о чем-то более пугающем и более значительном. Но он не понял, и невозможно было ничего поделать с разницей, существующей между полами, — такова уж наша доля. Это только доказывает, насколько все мы одиноки. Ужасные вещи происходили в этом доме, Руфь, и я до поры до времени даже не представляла, насколько ужасные. *А он не понял этого.* Я рассказала ему об этом для того, чтобы страх не съел меня заживо, и он кивал и улыбался, он сочувствовал, думая, что этим помогает мне, но он так и не приблизился к пониманию правды... к тому, что панический ужас превращает мой рассудок в черную дыру. Страх все еще здесь, стоит, распахнув двери, приглашая меня вернуться в любое время, я не хочу этого, но иногда ловлю себя на мысли о том, что все еще возвращаюсь, и как только я переступлю порог, дверь захлопнется, и я останусь там, внутри.

Ладно, не обращай внимания. Мне кажется, что его сообщение о том, что телефоны были просто отсоединены, должно было бы успокоить меня, но этого не случилось. Потому что часть моего рассудка верила — и верит до сих пор, — что телефон в спальне не работал бы, даже если бы я забралась за кресло и снова подсоединила его; возможно, позднее заработал телефон на кухне, но тогда он не работал, поэтому мне оставалось только одно: либо выбраться на «мерседес» из дома, либо умереть от руки чудовища.

Брендон наклонился вперед, так что свет бра полностью осветил его лицо, а потом сказал:

— В доме не было никакого мужчины, Джесси, тебе лучше забыть об этом.

Я чуть не рассказала ему о своих кольцах, но я так устала, к тому же боль усилилась, поэтому я промолчала. После его ухода я долго не могла заснуть — даже обезболивающие таблетки не помогли мне. Я думала о предстоящей завтра операции по пересадке кожи, но не настолько, насколько это можно было бы предположить. В основном я думала о моих кольцах, о следе на полу, который кроме меня больше никто не видел, и сможет ли он — оно — вернуться, чтобы все расставить на свои места. И прежде чем заснуть, я решила, что вообще никакого следа и никакой жемчужной сережки не было. Я решила, что какой-нибудь полицейский нашел мои кольца, лежавшие на полу кабинета возле книжного шкафа, и взял их, а сейчас, возможно, они выставлены в витрине какого-нибудь ломбарда в Льюинстоне. Эта мысль должна была разозлить меня, но этого не произошло. Я чувствовала себя так, как в то утро, когда очнулась за рулем «мерседеса», — переполненной невыразимым чувством благополучного освобождения и покоя.

Никакого незнакомца; никакого незнакомца нигде не было и нет. Просто нечистый на руку полисмен оглянулся, посмотрел, нет ли кого поблизости, хлоп — и кольца у него в кармане. Я вовсе не переживала из-за колец, да и сейчас не переживаю. В последние месяцы я все больше прихожу к убеждению, что люди носят кольца на пальцах, потому что общественное мнение не одобрило бы, если бы их носили в носу. Однако это неважно. Утро перешло в день, а день пролетает так быстро, к тому же сейчас не время обсуждать женские проблемы. Пора поговорить о Раймонде Эндрю Джуберте».

Джесси откинулась на стуле, закурила еще одну сигарету, не отдавая себе отчета в том, что кончик языка и так уже щиплет от избытка никотина, что голова болит, а почки протестуют против длительного сидения за машинкой. Протестуют очень энергично. В доме стояла мертвая тишина — эта тишина значила, что деятельная Мэган Левлис укатила в супермаркет или химчистку. Джесси была удивлена, что Мэгги уехала, так и не сделав хотя бы еще одной попытки оттащить ее от экрана факса. Затем она решила, что домработница поняла тщетность такой попытки. «Пусть она делает, что хочет», — наверняка подумала Мэгги. В конце концов для нее это только работа. Эта последняя мысль сильно отдалась в сердце Джесси. На лестнице, ведущей вверх, скрипнула ступенька. Сигарета

замерла в руке Джесси. — «Он вернулся, — выкрикнула Хозяюшка. — О, Джесси, он вернулся!»

Нет, этого просто не могло быть. Джесси перевела взгляд на плоское лицо, взирающее на нее с газетной вырезки, и подумала: «Я точно знаю, где ты находишься, выродок. Разве не так?»

Она это знала, но какая-то часть ее рассудка все равно настаивала, что это он — нет, не он, а оно, космический ковбой, жертва любви, — снова нанес ей визит. Существо это только и ждало, когда дом опустеет, и даже если она и снимет трубку с телефона, стоящего на письменном столе, то ответом ей будет только молчание, как и тогда в доме у озера в ту ночь.

«Твой друг Брендон может улыбаться, сколько ему угодно, но мы-то знаем правду, ведь так, Джесси?»

Джесси резко вскинула здоровую руку, сняла трубку телефона и поднесла ее к уху. Услышала обнадеживающий гудок. Положила трубку на место. Странная, мрачная улыбка играла на ее губах.

«Да, я точно знаю, где ты находишься, подонок. Что бы там вы ни думали, Хозяюшка и другие дамы, поселившиеся в моей голове, Сорванец и я знаем, что ты сидишь в камере городской тюрьмы — той, что находится в самом конце старого крыла, как сказал Брендон, чтобы остальные сидящие там же не могли добраться до тебя и задать тебе жару, прежде чем ты предстанешь перед судом присяжных. Мы еще не полностью избавились от тебя, но скоро так и будет. Я обещаю тебе это».

Джесси перевела глаза на экран монитора, и хотя сонливое состояние, навеянное таблеткой и сэндвичем, давным-давно рассеялось, она ощущала напряжение в позвоночнике и абсолютное неверие в свою способность довести начатое дело до конца.

«Пора поговорить о Раймонде Эндрю Джуберте», — прочитала она написанное. Но пора ли? Сможет ли она? Она так устала. Конечно, ведь Джесси просидела за монитором почти весь день. Возможно, будет лучше, если она поднимется наверх и вздремнет. Лучше поздно, чем никогда. Она сможет внести напечатанное в память, восстановить содержание завтра утром, а потом продолжить работу...

Голос Сорванца остановил ее. Теперь этот голос появлялся очень редко, и Джесси внимательно прислушивалась к тому, что он говорит.

«Если ты решишь прервать работу сейчас, Джесси, то не утруждай себя и не заноси напечатанное в файл. Просто сотри все. Мы обе отлично знаем, что ты никогда больше не соберешься с духом, чтобы снова столкнуться лицом к лицу с Джубертом — это не так просто, как в письмах. Иногда требуется все мужество,

чтобы написать о чем-то, ведь так? Позволить чему-то выйти из глубин твоего сознания и перенести его прямо на экран».

— Да, — пробормотала Джесси. — Очень много мужества.

Джесси затянулась сигаретой, но не докурила ее до конца. Она еще раз взглянула на газетные вырезки, потом посмотрела в окно. Снегопад давно уже прекратился, за окном сияло солнце, хотя это и не долго продлится — февраль в Мэне такой непостоянный.

— Так что ты там говоришь, Сорванце? — спросила Джесси у пустой комнаты. Она говорила тоном Элизабет Тейлор, который так нравился ей в детстве и доводил до бешенства ее мать. — Ну что ж, может быть, мы продолжим?

Ответа не последовало, да он и не был нужен. Джесси склонилась вперед и снова привела курсор в движение. Она очень долго не отрывалась от своей работы даже для того, чтобы закурить сигарету.

37

«Пора поговорить о Раймонде Эндрю Джуберте. Это будет нелегко, но я постараюсь сделать все, что в моих силах. Так что налей себе еще чашечку кофе, дорогая, и, если у тебя под рукой бутылочка бренди, то пропусти рюмочку. Итак, часть третья.

Рядом со мной, на письменном столе, целая кипа газетных вырезок, но я знаю гораздо больше, чем написано в этих статьях, — хотя я вообще сомневаюсь, чтобы кто-нибудь знал обо всем, что сделал Джуберт (включая и самого Джуберта), и это, возможно, благодарение Господне. То, что написано в газетах, — это только отдельный намек на его действия, а то, о чем там не упомянуто, может составить содержание самого ужасного ночного кошмара, да я и *не хотела* бы знать обо всем. То, чего нет в газетах, я узнала на прошлой неделе благодаря любезности странно спокойного и сдержанного Брендона Милхерона. Я попросила его приехать, как только связь между делом Джуберта и моим собственным стала настолько очевидной, что ее уже просто невозможно было игнорировать.

— Ты думаешь, это именно тот парень? — спросил Брендон. — Тот, который был с тобой в доме?

— Да. Брендон, я знаю, что это именно он, — ответила я.

Он вздохнул, с минуту разглядывая свои руки, потом снова посмотрел на меня — мы были в той же самой комнате, было девять часов утра, и теперь уже его лицо не скрывали тени.

— Я приношу тебе свои извинения, — произнес он. — Тогда я не поверили тебе...

— Я знаю, — ответила я, стараясь быть идеально вежливой.

— Но теперь я верю. Господи Боже мой! Что бы ты хотела узнать, Джесси?

Я сделала глубокий вдох и сказала:

— Все, что тебе удастся выяснить.

Он захотел узнать, зачем мне все это:

— Если ты скажешь, что это твое дело, то я пойму, но ты просишь меня пересмотреть дело, считающееся фирмой закрытым. И если кто-нибудь узнает, что я вынюхиваю для тебя сведения о Джуберте, вполне возможно, что...

— Что у тебя будут неприятности, — продолжила я. — Да, об этом я как-то не подумала.

— Вот именно, — согласился он, — но я не очень-то этого боюсь — я уже большой мальчик и сам могу позаботиться о себе... по крайней мере, мне так кажется. Больше всего я волнуюсь за тебя, Джесс. Твое имя может опять появиться на первых страницах газет после той огромной работы, проделанной нами, чтобы все затихло как можно быстрее и как можно безболезненнее. Но и это не самое главное. Я имею в виду, что этот парень совершил самые ужасные криминальные преступления в нашем штате за все время начиная со второй мировой войны. Это настолько ужасно, и я не думаю, что тебе стоит лезть в самый эпицентр событий без достаточных на то оснований. — Он нервно рассмеялся. — Черт, я не должен подставлять тебя без достаточно веских причин.

Я встала, подошла к нему и взяла его за руку.

— Я и сама не знаю, зачем, — ответила я, — но мне кажется, могу объяснить тебе, почему... достаточно ли будет тебе этого для начала?

Он нежно положил свою руку на мою и кивнул головой.

— Существует три причины, — сказала я. — Во-первых, мне необходимо знать, что он существует на самом деле. Во-вторых, мне нужно знать, что все его действия происходили на самом деле. В-третьих, я должна быть уверена, что, проснувшись, больше никогда не увижу его стоящим в моей спальне.

Вспоминания нахлынули на меня, Руфь, и я расплакалась. В этих слезах не было никакого расчета, они пришли просто и естественно. Я ничего не могла с собой поделать, чтобы остановить их.

— Пожалуйста, помоги мне, Брендон, — попросила я. — Каждый раз, когда я выключаю свет, он стоит в моей спальне, прячась в темноте. И мне настолько страшно, что я сплю с включенным светом, я боюсь, это будет продолжаться вечно. Мне больше некого попросить. Пожалуйста, помоги мне.

Он убрал свою руку с моей, вытащил носовой платок из глубин убийственно элегантного костюма и вытер мои слезы. Он сделал это так же нежно, как моя мама, когда я вбегала к ней на кухню вся в слезах и с разбитой коленкой, — это было давным-давно, до того, как я превратилась в скрипящее колесо.

— Хорошо, — произнес он наконец. — Я разузнаю все, что смогу, и буду сообщать обо всем тебе до тех пор, пока ты не скажешь мне, что пора остановиться, вот так. Но мне кажется, тебе лучше пристегнуть ремень безопасности.

Он разузнал многое, а теперь я хочу поведать об этом тебе, Руфь, но предупреждаю: он был прав насчет ремня безопасности. Если ты захочешь пропустить несколько следующих страничек, я пойму тебя. Жаль, что я не могу не написать об этом, но мне кажется, все это тоже входит в курс лечения. Надеюсь, это последняя часть курса.

Эта часть рассказа — которую можно назвать «Рассказ Брендона» — берет начало с 1984 или 1985 года. Это было, когда начались случаи вандализма на кладбищах в Лейкс Дистрикт в западной части штата Мэн. Все эти случаи были идентичны и произошли в нескольких городишках на границе штата с Нью-Хэмпширом. Происшествия, связанные с разрушением надгробных памятников, появлением нецензурных надписей на них, кражей памятных лент — дело, в общем-то, вполне обычное, но эти случаи были более чем проделки местных хулиганов. Осквернение — вот какое слово использовал Брендон, когда пришел ко мне с первыми сообщениями на прошлой неделе, это же слово стало появляться в криминальных хрониках с 1988 года.

Сами преступления казались безумными людям, обнаружившим их, и тем, кто вел следствие по этим делам, но *modus operandi** был вполне разумным: все было тщательно организовано и продумано. Кто-то — может быть, двое или трое, но, скорее, это был один человек — разрывал могилы и вскрывал надгробия на кладбищах маленьких городков с ловкостью взломщика, проникающего в дом или магазин. Скорее всего, он приезжал для выполнения такой работы, вооруженный сверлами, отвертками, сверхмощными ножовками и пилами и, возможно, лебедкой, — Брендон сказал, что множество транспортных средств в наши дни оборудованы такими вот приспособлениями.

Взломанными оказывались только склепы и мавзолеи и иногда отдельные могилы, почти все эти преступления совершались зимой,

* *Modus operandi* — образ действия (лат.).

когда землю копать слишком тяжело. Однажды преступник вскрыл гроб при помощи отверток и сверл. Он снимал с трупов драгоценности, находившиеся на теле во время захоронения, при помощи плоскогубцев вырывал золотые зубы и зубы с золотыми пломбами.

Все эти действия вызывают презрение и омерзение, но они по крайней мере понятны. Однако кражи были только в самом начале. Потом преступник выкалывал глаза, отрезал уши, перерезал уже мертвые горла. В феврале 1989 года на кладбище Чилтона были найдены два трупа без носов — скорее всего, он отбил их при помощи зубила и молотка. Полицейский, занимавшийся этим делом, сказал Брендону, что это было достаточно легко — стояли сильные морозы. Но вопрос в том, что этот приятель сделал с этими замороженными носами, когда отколол их? Может быть, он использовал их вместо брелка? А может быть, начинил их сыром и запек в микроволновой печи? Что? Почти все оскверненные трупы были найдены без пальцев на руках и ногах, а иногда и без рук, и без ног, а в нескольких случаях отсутствовали также головы и половые органы. В заключениях судебной экспертизы сказано, что он пользовался топором и ножом мясника и целым набором скальпелей — все зависело от величины удаляемого органа. У него это здорово получалось. «Талантливый любитель, — сказал один из представителей окружного суда Чамберлена Брендону. — Я бы не хотел, чтобы он поработал над моим желчным пузырем, но бородавку на руке я бы ему доверил... если предварительно напичкать себя обезболивающим».

В некоторых случаях он вскрывал тела или черепа и наполнял их экскрементами животных. Но чаще всего полиция сталкивалась со случаями полового осквернения. Он был обычным преступником, когда воровал золотые зубы, драгоценности или части тела, но когда дело касалось сексуальной стороны дела — и сексуальных отношений с мертвыми. — он просто превращался в джентльмена.

Возможно, именно поэтому мне так повезло.

За месяц, последовавший после моего освобождения из дома у озера, я очень многое узнала о том, как работает сельская полиция, но это абсолютно ничего не значило по сравнению с тем, что я узнала за последнюю неделю. Самое удивительное то, насколько сельские полицейские могут быть осторожными и тактичными. Мне кажется, когда ты знаешь каждого проживающего в пределах твоего участка человека по имени, а с большинством из них состоишь в родственных отношениях, то осторожность становится настолько же естественным актом, как дыхание.

То, как они вели свое дело, является лишь одним примером этой странной, внушенной жизненным опытом сдержанности; а вот дело

Джуберта они вели совсем по-иному. Следствие длилось семь лет, и много людей было задействовано в нем, пока оно не закончилось, — два отдела полиции штата, четыре окружных шерифа, тридцать один помощник шерифа и Бог знает сколько местных полицейских. И к 1989 году они даже придумали ему имя — Рудольф. Они разговаривали о Рудольфе, когда бывали в Окружном суде, ожидая своей очереди предстать со свидетельскими показаниями по другим делам, они сравнивали известное о Рудольфе на семинарах в Августе, Дерри и Вотервилле, они обсуждали его во время обеденных перерывов.

«И все же мы поймали его, — сказал один из полицейских Брендону — тот самый, который рассказывал ему об отрезанных носах. — Такие парни, как мы, всегда ловят таких приятелей, как Рудольф».

Но вот что самое удивительное: все эти годы полиция знала, что настоящий живой монстр — самый настоящий вампир — разгуливает по западной части штата, но эта история никогда не появлялась на страницах газет, пока они не поймали его! Мне это кажется таинственным и немного пугающим, но больше всего мне это кажется восхитительным. Я думаю, что в больших городах все происходит иначе, но здесь им все-таки удается делать то, что они считают нужным.

Конечно, ты можешь возразить, что семь лет — это слишком большой срок для захвата такого типа, как Джуберт, но Брендон попытался мне все объяснить. Он объяснил, что преступник (они действительно использовали это слово) орудовал только в маленьких городках, где сокращение бюджетных вложений вынуждало полицию заниматься только наиболее важными и безотлагательными происшествиями... что подразумевает, скорее, преступления против живых, а не против мертвых. Полиция знает, что существует две банды по угону автомобилей и четыре, специализирующиеся по магазинным кражам, орудующие в западной части штата, а сколько еще таких шаек, о которых ничего не известно? К тому же еще есть убийцы, мужья, избивающие жен, воры, наркоманы, пьяницы. Накачавшись спиртным или наркотиками, люди устраивают драки или убивают друг друга. Согласно тому, что рассказал Брендон, начальник полиции в Норвее просто не может слышать слова «кокайн» — он называет его «дермовый порошок», а в письменных донесениях пишет «д-й порошок». Я поняла и приняла то, что Брендон пытался объяснить мне. Когда ты всего лишь навсего полицейский в маленьком городишке, пытающийся спасти свое стадо на стареньком «пли-муте», который грозится развалиться прямо у вас на глазах каждый раз, как только стрелка спидометра приближается к семидесяти, то

работу приходится выполнять в порядке очередности, а парень, которому нравится играть с мертвыми, отодвигается в самый конец списка неотложных дел.

Я внимательно слушала Брендона и соглашалась с ним, но не во всем.

— Во многом я согласна, — ответила я Брендону — Но то, что делал Джуберт, — это не просто «развлечение с мертвецами». Или я ошибаюсь?

— Нет, ты не ошибаешься, — согласился Брендон.

Но мы оба не хотели прямо и откровенно сказать, что остановить эту безумную душу в его метаниях от города к городу, от кладбища к кладбищу было намного важнее, чем арестовать какую-нибудь малолетнюю девчушку, ворующую косметику в местном магазине.

Но важно и то, что никто не забывал о нем. Преступники, подобные Рудольфу, всегда держали полицию в напряжении по разным причинам, но главная из них была та, что этот безумец, проделывающий такое с мертвецами, ведь может попробовать сотворить то же самое и с живыми....вряд ли, правда, можно долго прожить после того, как Рудольф решит раскроить тебе череп при помощи топора. Полицию также волновали и исчезнувшие конечности — для чего они были ему нужны? Брендон произнес незабываемую фразу: «Возможно, этот Рудольф был каннибалом». Такие слухи ходили в конторе окружного шерифа в Оксфорде. Но эти слухи сразу же были прекращены, не потому, что их посчитали неудачной шуткой, — нет, но потому, что шериф боялся ее проникновения в прессу.

Как только в одном из местных отделений полиции выдавался более или менее спокойный денек — они прочесывали кладбище. В западной части Мэна очень много кладбищ, и мне кажется, что для них это превратилось в некое хобби до того времени, когда наконец все закончилось.

Если подбрасывать игральные кости достаточно долго, то, по теории вероятности, рано или поздно все же выпадет нужное тебе сочетание. Именно так все и произошло.

На прошлой неделе — если уж быть предельно точной, то десять дней назад — шериф Кастрл Рока Норрис Риджвик с одним из своих помощников остановили патрульную машину возле заброшенного сарая неподалеку от кладбища Хоумленд. Было два часа ночи, когда помощник Джон Ля Пуан услышал шум мотора. Они не видели машины, пока та не подъехала к самым воротам кладбища, потому что в эту ночь был очень сильный снегопад, а фары машины были выключены. Помощник Ля Пуан хотел схватить парня, как только

тот выйдет из машины и начнет открывать кладбищенские ворота, но шериф охладил его пыл.

— Риджвик, может быть, не очень поворотлив, — сказал Брендон, — но он знает, когда нанести удар. Он никогда не забывает о судебном заседании. Он научился этому у Алана Пенгборна, парня, работавшего шерифом до него, а это значит, что учитель у него был первоклассный.

Через десять минут после того, как машина въехала в кладбищенские ворота, Риджвик и Ля Пуан последовали за ней, также выключив фары. Они ехали по следам, оставленным машиной, пока точно не убедились, в каком именно месте орудует этот парень. Они оба считали, что это Рудольф, но никто из них не произнес его имени вслух.

Риджвик приказал помощнику остановить машину с другой стороны холма, за которым в фамильном склепе орудовал преступник, — он сказал, что хочет дать ему время вытащить достаточно веревок, чтобы повесить себя. Как выяснилось позже, вытащенных веревок Рудольфу хватило бы, чтобы повеситься на луне. Когда Риджвик и Ля Пуан наконец-то вышли из засады с револьверами наготове и включенными фонариками, то обнаружили Раймонда Эндрю Джуберта наполовину высывающимся из вскрытого гроба. В одной руке он держал топор, а в другой — свой половой член, и Ля Пуан сказал, что тот выглядел вполне готовым для дела.

Мне кажется, Джуберт до смерти напугал их обоих, когда они осветили его фонариками, да это и не удивительно — кому, как не мне, знать, какое впечатление производит встреча с подобным существом, да еще на кладбище в два часа ночи. Джуберт страдал акромегалией, прогрессирующей на руках, ногах и лице. Именно поэтому лоб его нависал над лицом, а губы выпирали вперед. К тому же у него были ненормально длинные руки: они свисали ниже колен.

Год назад в Кастл Роке был огромный пожар — сгорел почти весь центр города, — и поэтому наиболее опасных преступников отвозили в тюрьму в Чамберлен или Норвей, но ни шериф Риджвик, ни его помощник Ля Пуан не хотели ехать по такому снегопаду в три часа ночи, поэтому они решили оставить Рудольфа в гараже, используя его в настоящее время как полицейский участок.

— Они *утверждали*, что сделали так из-за позднего часа и заснеженных дорог, — сказал Брендон, — но мне кажется вовсе не из-за этого. Я думаю, что шериф Риджвик не мог передать этого парня в другие руки, хоть разок не отвесив ему хорошую затрещину. В любом случае проблемы с Джубертом не возникло — он сидел на заднем сиденье полицейской машины, напоминая персонажа из

«Замогильных сказок», и — оба они клялись, что это правда, — напевая старую песенку «Счастливы вместе».

Риджвик передал по радио, чтобы их встретило подкрепление. Он убедился, что Джуберт надежно закрыт, а помощники вооружены револьверами и огромным количеством свежего кофе, прежде чем они с Ля Пуаном снова удалились. Они поехали на кладбище за машиной Джуберта. Риджвик надёл перчатки и отвел машину в город. Он вел машину, открыв все окна, но там воняло, как на бойне, на которой не убирали целую неделю.

Риджвик впервые оглядел внутренность машины, когда завел ее внутрь освещаемого люминесцентным светом гаража. Там он нашел несколько сгнивших конечностей и плетеную корзинку, немного меньшее виденной мною, и чемоданчик с инструментами, достойными профессионального взломщика. Когда Риджвик открыл плетеную корзинку, то нашел там шесть пенисов, нанизанных на джутовую веревку. Он сказал, что сразу же догадался, что это такое: ожерелье. Позже Джуберт сознался, что часто надевал его, отправляясь в свои кладбищенские экспедиции, и утверждал, что если бы надел его и в последнюю поездку, то его ни за что бы не поймали. «Оно приносит мне счастье», — сказал он, и, учитывая, как долго его не могли поймать, мне кажется, Руфь, что так оно и было.

Но хуже всего был сэндвич, лежавший на сиденье. Вещь, видающаяся между двумя кусочками хлеба, была человеческим языком. Он был смазан ярко-желтой горчицей, столь любимой детьми.

Риджвику удалось выбраться из машины раньше, чем его вывернуло наружу, — сказал Брендон. — Отличная вещь — полиция штата должна бы заменить его другим человеком, если его рвет от одного вида улик. Но, с другой стороны, я бы хотел, чтобы его уволили с работы по причинам психологического характера, если бы его *не* вырвало.

После восхода солнца Джуберта отвезли в Чамберленскую тюрьму. Пока Риджвик, сидя на переднем сиденье патрульной машины, зачитывал Джуберту его права во время следствия (в этом была вся натура Риджвика), Джуберт, прервав его, сказал, что он, возможно, «сделал что-то плохое папе-маме, извини». К тому времени они уже установили по документам, содержащимся в бумажнике Джуберта, что он жил в Моттоне, сельской местности, как раз рядом с Чамберленом, и, как только его надежно упратили в камере, Риджвик сообщил полиции Чамберлена и Моттона о том, что сказал ему Джуберт.

По дороге в Кастрл Рок Ля Пуан спросил у Риджвики, как он думает, что обнаружат полицейские в доме у Джуберта. Риджвик

ответил: «Я не знаю, но мне кажется, они не забыли захватить с собой противогазы».

Описание того, что они нашли, и заключения, появившиеся в документах в последующие дни, разрастались, но у полиции штата и главного прокурора было достаточно фотографий с изображением того, что произошло в доме на Кингстон-роуд к тому времени, когда зашло солнце, а Джуберт уже сидел за решеткой. Чета Джубертов — его мачеха и ее муж — были мертвы. Они были мертвы уже несколько месяцев, хотя Джуберт продолжал говорить об этом, как «о чем-то плохом», произошедшем только несколько часов назад. Он расчленил их обоих и съел большую часть своего «папочки».

По всему дому были разбросаны части тел: одни — разложившиеся и сгнившие, несмотря на холодную погоду, другие — аккуратно завернутые и сохранившиеся. Большинство завернутых частей представляли собой женские половые органы. На полочке полиция нашла около пятидесяти баночек, наполненных глазами, губами, пальцами рук и ног, мужскими яичками. Джуберт занимался домашним консервированием. Дом был просто набит добром, украденным им в основном из дачных домиков. Джуберт называет это «мои вещи» — различные приспособления, инструмент, садовый инвентарь и очень много женского нижнего белья. Очевидно, ему нравилось надевать его.

Полиция все еще пытается рассортировать части тел, добытых Джубертом в его кладбищенских раскопках, от полученных иным путем. Они считают, что он убил дюжину людей за последние пять лет, всех тех, кого он подвозил на своей машине. Брендон говорит, что убитых, скорее всего, было даже больше, но судебное разбирательство идет очень медленно. Сам Джуберт не может им в этом помочь, не потому, что он не хочет говорить, а потому, что он говорит слишком много. Судя по тому, что рассказал мне Брендон, Джуберт признался во всех трехстах убийствах, включая убийство и ныне здравствующего Джорджа Буша. Кажется, он говорит, что Буш — это на самом деле Дана Карвей, парень, исполняющий роль в фильме «Верующая в субботнюю ночь».

С пятнадцати лет он обследовался во многих психиатрических клиниках, когда был арестован за извращенные сексуальные отношения с двоюродным братом. Но его кузен — дело второстепенное. Джуберт сам был жертвой сексуальных злоупотреблений, конечно, его отец, отчим и мать — все воздействовали на него. Как это там говорят? Яблоко от яблони недалеко падает?

Его послали в Гейдж Поинт — нечто среднее между исправительной колонией и психиатрической клиникой для подростков — за сексуальные преступления. Он был освобожден через четыре года,

когда ему уже исполнилось девятнадцать лет. Это было в 1973 году. Вторую половину 1975 года и большую часть 1976 года он провел в клинике для душевнобольных в Августе. Это произошло в результате его развлечений с животными. Я знаю, что нехорошо смеяться над этим, Руфь, — ты можешь подумать, что я слишком жестока, — но, честно говоря, я не знаю, что еще остается делать. Иногда мне кажется, что если я не буду шутить, то расплачусь и уже не смогу остановиться. Он сажал кошек в мусорный бачок, разрывал их на кусочки большими каминными щипцами... вот что он делал, а когда ему надоедало такое скучное занятие, то прибивал гвоздями собак к деревьям.

В 1979 году его посадили в Джунипер Хилл за изнасилование шестилетнего мальчугана, которому он, вдобавок ко всему, выколол глаза. Казалось, на этот раз его упрятали надолго, но когда дело касается политических и государственных заведений — особенно государственных психиатрических заведений, — то ничего нельзя знать наверняка. Его выпустили из Джунипер Хилл в 1984 году, еще раз признав «излечившимся». Брендону кажется — так же, как и мне, — что это последнее выздоровление скорее было связано с сокращением государственных ассигнований, чем с последними достижениями в области психиатрии. Во всяком случае, Джуберт вернулся в Моттон, чтобы жить со своей мачехой и ее сожителем, и государство забыло о нем... но все-таки выдало ему водительские права. Он сдал все экзамены по правилам дорожного движения и прошел все тесты — мне это кажется самым поразительным, — и где-то в конце 1984-го или в начале 1985 года начал пользоваться машиной для своих поездок по местным кладбищам.

Он был занят парнем. Зимой занимался скелетами и мавзолеями; осенью и весной забирался в летние домики по всему западному побережью Мэна, забирая все, что заинтересовывало его, — «мои вещи», как он выражался. Очевидно, ему очень нравились фотографии в рамочках. Полиция нашла четыре ящика, набитых фотографиями на чердаке дома по Кингстон-роуд. Брендон говорит, что общее их число превышает семьсот.

Невозможно сказать, насколько «папочка-мамочка» были задействованы в происходящем, пока Джуберт не прикончил их. Но, должно быть, они знали многое, потому что Джуберт даже не пытался прятаться от них. Что же касается соседей, то их лозунгом было: «Они оплачивают свои счета и живут сами по себе. Нас это не касается». А им только этого и надо было.

Полиция нашла еще одну, больших размеров, плетеную корзину в подвале. Брендон раздобыл ксерокопии фотографий, свидетельст-

вующих об этой последней находке полиции, но сначала он не решался показать их мне. Нет... пожалуй, это слишком мягко сказано. Здесь он держался точки зрения, присущей всем мужчинам, — ты знаешь, о чем я говорю, — изображая из себя Джона Вейна. «Давай, малышка, закрой глаза и подожди, пока мы их всех убьем. Я скажу тебе, когда все будет закончено».

— Я допускаю, что, возможно, Джуберт и был с тобой в доме, — сказал он. — Я был бы просто страусом, прячущим голову в песок, если бы продолжал отрицать такую возможность, все совпадает. Но ответь мне: почему это тебя так интересует, Джесси? Какой от этого толк?

Я не знала, что ответить ему, Руфь, но я знала одно: хуже, чем было, быть уже просто не могло. Поэтому я упорствовала в своем желании доказать Брендону, что я не малышка, которая будет послушно закрывать глаза, дабы не смотреть на мерзавцев. Итак, я увидела эти фотографии. На одну из них я смотрела дольше всего, в углу стояла надпись: «ПОЛИЦИЯ ШТАТА, №217». Эта фотография как бы изображала непонятным образом заснятую сцену из самого ужасного ночного кошмара. Фото изображало квадратную плетеную корзину, расположенную так, чтобы фотограф мог заснять содержимое: внутри была целая груда костей, смешанная с драгоценностями: некоторые из них были дешевками, другие действительно представляли ценность, одни были украдены из летних вилл, другие были, бесспорно, сняты с окоченевших пальцев трупов.

Я смотрела на эту фотографию, но мысли мои снова были у дома возле озера — это случилось непроизвольно, понимаешь? Я там, прикованная наручниками и беспомощная, смотрю на тени, скользящие по его усмехающемуся лицу, слышу свой голос, сообщающий ему, что он испугал меня. И вот он склоняется к своей корзине, не сводя с меня горящего взгляда, и я вижу, как он — я вижу, как это *нечто* — запускает свою скрюченную бесформенную руку внутрь корзины и начинает перемешивать кости и украшения, я слышу производимый ими звук, звук грязных, полустертых кастаньет.

И знаешь, что добило меня больше всего? То, что я думала, что это мой отец, мой *папочка* восстал из мертвых, чтобы довершить то, что он хотел сделать раньше.

— Давай, — сказала я ему. — Давай, но пообещай, что ты освободишь меня после этого. Пообещай мне это.

Мне кажется, я сказала бы то же самое, даже если бы знала, кто это на самом деле, Руфь. Представляешь? Я знаю, что сказала бы то же самое. Понимаешь? Я позволила бы ему вставить в меня свой член, который побывал в стольких глотках мертвецов. Если бы только

он пообещал, что я не умру собачьей смертью от судорог и конвульсий, предстоящих мне. Если бы только он пообещал ОСВОБОДИТЬ МЕНЯ».

Джесси на секунду остановилась, ее дыхание было настолько частым и затрудненным, что она чуть не задохнулась. Она взглянула на слова на экране — невероятное, невыразимое признание, — и почувствовала внезапное непреодолимое желание стереть их. Не из-за чувства стыда, что Руфь прочтет их — конечно, ей было стыдно, но причина была не в этом. Она просто не хотела иметь к ним хоть какое-то *отношение*, и Джесси показалось, что если она не сотрет их, то именно это и произойдет. Ведь слова имеют непонятную власть, умеют создавать и управлять действиями и настроениями.

«Только до тех пор, пока ты не сможешь контролировать их сама», — подумала Джесси и вытянула вперед указательный палец правой руки. Она нажала на кнопку «Deley» — ударила ее, — а потом отдернула руку. Это было правдой, ведь так?

— Да, — ответила Джесси самой себе бормочущим тоном, столь часто используемым ею в часы своего пленения, но только теперь она разговаривала не с Хозяюшкой и не с воображаемой Руфью, теперь она могла разговаривать сама с собой без обиняков. В какой-то степени это был прогресс. — Да, правильно, это правда.

И никаких «но», да поможет мне Бог. Она не нажмет на кнопку стирания информации, несмотря на то, какой ужасной может показаться некоторым людям — включая ее саму — эта правда. Она оставит все, как есть. В конце концов, она может решить не отсылать письмо, не зная даже, удобно ли обременять женщину, которую она не видела целую вечность, таким грузом боли и безумия, но она не сотрет эти слова.

А это значит, что ей лучше всего закончить письмо поскорее, пока ее не покинуло последнее мужество и последние силы.

Джесси склонилась вперед и снова начала печатать:

«Брендон сказал:

— Есть одна вещь, о которой ты должна помнить, Джесси, — нет прямых доказательств и улик. Да, я знаю, что кольца твои исчезли, но, возможно, ты была права насчет них — какой-нибудь нечистый на руку полицейский мог присвоить их.

— А как насчет фотографии №217? — спросила я. — С плетеной корзинкой?

Он содрогнулся, и на меня, возможно, сошел поток осознания, какой поэты называли «прозрением». Он цеплялся за возможность

того, что плетеная корзинка была всего-навсего простым совпадением. Это было довольно трудно, но гораздо легче, чем принять все остальное, — и больше всего тот факт, что чудовище, подобное Джуберту, действительно может иметь отношение к жизни людей, которых он знал и любил. То, что я увидела в лице Брэндона Милхерона в тот день, было до предела просто: он и дальше будет игнорировать целую кучу косвенных доказательств и сосредоточится на отсутствии прямых улик. Он и впредь будет считать, что все это плод моего воображения, ухватившегося за дело Джуберта, чтобы объяснить галлюцинации, преследовавшие меня во время пленения.

Вслед за этим озарением последовало второе, даже еще более сильное: ведь я могу сделать то же самое. Я могу поверить в то, что ошибалась... но если мне это удастся, то моя жизнь будет разбита. Снова вернутся голоса — не только твой, Сорванца или Норы Калиган, но и моей матери, моего брата и сестры, тех детей, с которыми я училась в школе, тех людей, с которыми я мимолетно встречалась, и Бог еще знает чьи.

Мне кажется, что большинство из них будет принадлежать тем жутко пугающим НЛО-голосам.

Я не вынесу этого, Руфь, потому что за два месяца после тяжелых часов, пережитых мною в доме у озера, я вспомнила о многом, о чем раньше старалась не думать. Мне кажется, большинство этих воспоминаний пришло ко мне в период между первой и второй операцией на руке, когда я жила на обезболивающих таблетках. Воспоминания были таковы: два года, разделяющие день солнечного затмения и день рождения Вилла, когда он подшутил надо мной во время игры в крокет, — я *слышала все эти голоса постоянно*. Очевидно, шутка Вилла оказалась грубым, но все же действенным лекарством против стресса. Мне кажется это вполне возможным; разве не известно, что наши предки стали готовить пищу после того, как они попробовали есть то, что оставил после себя лесной пожар? Однако, если в этот день и произошло некоторое излечение, то случилось это не во время шутки, а когда я взорвалась и врезала Виллу по зубам за то, что он сделал... И с этой точки зрения все остальное неважно. Важно же то, что после того дня на террасе целых два года в моей голове жил целый шепчущий хор, дюжина голосов, выносившая свое суждение о каждом моем слове и поступке. Некоторые из них были доброжелательны ко мне, но большинство принадлежало людям, которые боялись, людям, которые смущались, людям, которые считали, что Джесси была бесполезной дурочкой, которая заслуживала то плохое, что случилось с

ней, и которая вдвойне должна платить за хорошее. Целых два года я слышала эти голоса, Руфф, а когда они исчезли, я забыла о них. Не постепенно, а сразу.

Как такое могло случиться? Я не знаю, да и не задумываюсь над этим. Я наверняка бы задумалась, если бы все стало хуже, но этого не произошло — все стало невыразимо лучше.

Эти два года я прожила в сплошном кошмаре, мое сознание было разрушено, расчленено на множество мельчайших частей, и положение вещей было таково: если я позволю милому, доброму Брендону Милхерону придерживаться его точки зрения, то вернусь туда, к шизофрении. И теперь уже у меня не будет маленького брата, чтобы произвести шоковую терапию; теперь мне пришлось бы сделать это самой, точно так же, как я самостоятельно освободилась от этих проклятых наручников.

Брендон смотрел на меня, пытаясь понять, какое впечатление произвели на меня его слова, но ему это не удалось, поэтому он снова произнес их, теперь уже несколько иначе:

— Ты должна помнить, что могла и ошибиться. И мне кажется, ты должна напоминать себе о том, что никогда не будешь знать об этом наверняка.

— Нет, я не согласна с тобой.

Брови Брендона от удивления поползли вверх.

— Есть один прекрасный способ узнать все наверняка. И ты поможешь мне, Брендон.

Он снова хотел было улыбнуться той, менее чем приятной улыбкой, говорящей о том, что невозможно жить с женщинами, но и без них не обойтись (хотя вряд ли он даже догадывался, что она имеется в его репертуаре).

— Неужели? Так как же я это сделаю?

— Ты отведешь меня на свидание с Джубертом, — ответила я.

— О нет, — возразил Брендон. — Этого я не сделаю — не могу сделать, Джесси.

Я освобожду тебя от описания целого часа, потраченного на очень интеллектуальную беседу, смысл которой можно выразить двумя фразами: «Ты сошла с ума, Джесс» и «Перестань управлять моей жизнью, Брендон». Я размахивала перед его носом кипой газетных вырезок — я была уверена, что это заставит его сдаться, но у меня так ничего и не получилось. Единственное, что мне оставалось, так это расплакаться. Может показаться, что слезы — это свидетельство слабости, но это совсем не так. И в этом заключается еще одна разница между мужчиной и женщиной. Он не вполне верил в серьезность моих намерений, пока я не заплакала.

Итак, он подошел к телефону, сделал четыре или пять звонков, а потом сообщил мне, что завтра Джуберт предстанет перед судом Кумберленда по многочисленным обвинениям — в основном это кражи. Он сказал, что если я действительно очень хочу — и если у меня есть шляпка с вуалью, — он отвезет меня туда. Я сразу же согласилась, и хотя лицо Брендона говорило о том, что он делает самую большую ошибку в своей жизни, он сдержал свое слово».

Джесси снова остановилась, а когда продолжила печатать, то делала это очень медленно, глядя сквозь экран в день вчерашний, когда шесть дюймов снега, выпавшие прошлой ночью, были еще просто тучами, плывущими по небу. Она видела голубые огоньки вдоль реки, чувствовала движение голубой машины Брендона.

«Мы опоздали на слушание дела из-за затора на дороге. Брендон не сказал этого, но я знаю, он надеялся, что мы приедем слишком поздно, что Джуберта опять увезут в тюрьму, но швейцар у входа в здание суда сообщил, что слушание по делу все еще продолжается, хотя и подходит к концу. Когда Брендон открывал передо мной дверь, он наклонился и пробормотал мне на ухо:

— Опусти вуаль, Джесси, и не поднимай ее.

Я послушалась. Брендон приобнял меня за талию и ввел в зал судебных заседаний...»

Джесси остановилась, глядя в окно на сгущающиеся сумерки широко раскрытыми серыми, ничего не видящими глазами.

Воспоминания нахлынули на нее.

38

Зал судебных заседаний освещен висящими стеклянными шарами, которые ассоциируются у Джесси с магазинами во времена ее юности; атмосфера в зале такая же солнная, как и на уроке грамматики в конце зимнего дня. Когда она проходила по проходу между рядами, то была уверена только в двух вещах — что рука Брендона все еще лежит на изгибе ее талии и что вуаль касается ее щеки, как паутинка. Смесь этих двух ощущений давала ей чувство радости — так чувствуют себя невесты в день свадьбы.

Два юриста стоят перед столом судьи. Судья склоняется вперед, глядя сверху вниз на их обращенные к нему лица, эти два человека отрешенно ведут какой-то понятный только им разговор. Джесси они кажутся ожившим наброском Боза к одному из романов Чарльза

Диккенса. Судебный пристав стоит слева, рядом с флагом Америки. Рядом с приставом стенографистка ожидает, когда закончится дискуссия, в которой она не принимает участия. А за длинным столом, огражденным перилами, которые разделяют места, отведенные для зрителей, от места для осужденного, сидит тощая, неимоверно высокая фигура, одетая в ярко-оранжевую униформу заключенного. Рядом с ним мужчина в костюме, наверняка это еще один юрист. Человек в оранжевом склонился и что-то пишет.

Где-то за тысячи миль отсюда Брэндон Милхерон плотнее обхватывает Джесси за талию.

— Слишком близко, — бормочет он.

Джесси отодвигается от него. Брэндон ошибается — еще недостаточно близко, Брэндон даже не догадывается о том, что она думает или чувствует, но это и хорошо, достаточно того, что она знает об этом. Джесси наслаждалась неожиданным единением и единодушием, и она знала: если она не подойдет к нему сейчас поближе, если она не подойдет к нему так близко, как только возможно, то он никогда не будет достаточно далеко от нее. Он всегда будет прятаться в кладовке или маячить за окном, или скрываться под кроватью, усмехаясь своей мертвенно-бледной кривой усмешкой — той, которая обнажает поблескивающие золотые пломбы в коренных зубах.

Джесси быстро прошла по проходу к перегородке, отделяющей подсудимого, вуаль прикасалась к ее щекам, словно нежные, ласковые пальчики. Она слышала недовольное ворчание Брэндона, но голос этот был отдален от нее на расстояние десяти световых лет. Ближе (но все еще на другом континенте) один из юристов, стоящий перед скамьей, шепчет: «... расследование производилось непредвзято, ваша честь, и если вы посмотрите в свои записи...»

Еще ближе. Судебный пристав смотрит на нее подозрительно, потом расслабляется, когда Джесси поднимает вуаль и улыбается ему. Не сводя с нее глаз, пристав тыкает указательным пальцем в сторону Джуберта и качает головой; этот жест Джесси расшифровывает без всякого труда: «*Держитесь подальше от этого тигра, мэм. Лучше не попадаться ему в лапы*». Потом он еще больше расслабляется, когда видит, что Брэндон удерживает ее, но он не слышит, как тот ворчит: «*Опусти вуаль, Джесси, или я... черт побери!*»

Джесси не только отказывается выполнять это требование, но даже не смотрит в его сторону. Она знает, что угроза его пуста — он не устроит сцены в таком людном месте, но всячески попытается избежать ее, — впрочем, даже если это и не так, то для нее это не имеет никакого значения. Ей нравился Брэндон, это действительно

так, но времена, когда она делала то, что говорили мужчины, давным-давно прошли. Она почти не понимает, что там шепчет ей Брендон, а судья все еще беседует с прокурором и адвокатом, на лице Джесси застыла улыбка, обезоружившая судебного пристава, но ее сердце бешено бьется в груди. Теперь она всего лишь в двух шагах от барьера — двух *небольших* шагах — и видит, что она ошиблась в своих предположениях о том, что делает Джуберт. Он не пишет, вовсе нет. Он рисует, на его рисунке изображен мужчина с возбужденным пенисом, по размерам напоминающим бейсбольную биту. Нарисованный мужчина опустил голову вниз и удовлетворяет себя. Джесси отлично видела рисунок, но сам художник был полускрыт от ее взора: она видела только часть щеки и волосы, закрывающие лоб.

— Джесси, ты не должна... — проговорил Брендон, хватая ее за руку.

Она вырвала руку, даже не оглянувшись на него, все ее внимание было сосредоточено на Джуберте.

— Эй! — шепнула она ему. — Эй, ты!

Никакой реакции. Джесси охватило чувство нереальности. Неужели она делает это? Неужели все это происходит на самом деле? Неужели она *действительно* делает это? Казалось, что никто не обращает на нее внимания.

— Эй! Ослиная задница! — Теперь уже громче и со злостью, но все еще шепотом. — Эй, я тебе говорю!

Теперь уже судья посмотрел вверх — ну наконец-то хоть кто-то заметил ее. Брендон стонет в хватает ее за плечо. Она вырвется из его рук, если он попытается оттащить ее назад, даже если при этом на ней порвется платье. Возможно, Брендон догадывается об этом, потому что он только пытается усадить ее на пустую скамью в первом ряду (все скамьи в зале заседаний пусты), потому что это — закрытый судебный процесс, и в этот момент Раймонд Эндрю Джуберт наконец-то поворачивается.

Гротескный астероид его лица с выпяченными губами, тонким, как лезвие ножа, носом и нависающим над ним лбом абсолютно неинтересен и лишен всякой осмысленности... но это *его* лицо, Джесси узнает его сразу, и чувство, переполняющее ее, — вовсе не ужас в не страх. Это огромное облегчение.

Его лицо зажигается светом. Румянец на плоских щеках напоминает сыпь, в глазах появляются все те же искорки. Его глаза разглядывают ее так же, как тогда в доме на озере Кашвакамак, взглядом безумца. Джесси загипнотизированно смотрит, как в них зарождается узнавание.

— Мистер Милхерон? — резко вопрошают судья из какой-то другой Вселенной. — Мистер Милхерон, ответьте мне, что вы здесь делаете, и кто эта женщина?

Брендон Милхерон исчез, здесь только космический ковбой, жертва любви. Его огромные губы шевелятся, обнажая зубы — желтые, неприятные, очень острые и мощные зубы дикого животного. Она видит блеск золота, напоминающего горящие глаза волка в темной пещере. И медленно, очень медленно ночной кошмар оживает; ночной кошмар начинает медленно поднимать свои огромные, страшные, длинные оранжевые руки.

— Мистер Милхерон, я бы хотел, чтобы вы и ваша незваная гостья сели на скамью и немедленно!

Судебный пристав, подстегнутый громовыми нотками в голосе судьи, наконец-то приходит в себя. Стенографистка оглядывается. Джесси кажется, что Брендон берет ее за руку, намереваясь выполнить приказ судьи, но она не вполне уверена в этом, да это и неважно, потому что она не может пошевелиться, ей кажется, что она по пояс закована в мокрый цемент. Конечно, снова солнечное затмение — полнейшее, последнее солнечное затмение. Спустя все эти годы звезды снова зажглись днем. Они светили внутри нее.

Она сидит и наблюдает, как усмехающееся чудовище в оранжевом поднимает свои бесформенные руки, по-прежнему не сводя с нее своего затуманенного взгляда. Создание поднимает руки, пока ладони не застывают вверху приблизительно в футе от ушей. Мимика его весьма красноречива: Джесси почти видит столбики кровати, когда чудовище сперва поворачивает ладони с длинными пальцами... а потом раскачивает ими из стороны в сторону, как бы удерживаемыми наручниками, которые может видеть только женщина в откинутой назад вуали. Голос, вырвавшийся из усмехающегося рта создания, являет собой полную противоположность всей его фигуре: это высокий, визгливый голосок безумного ребенка.

— Я не думаю, что ты *существаешь!* — выкрикивает Раймонд Эндрю Джуберт детским, дрожащим голоском, разрезавшим, как острым лезвием, перегретую атмосферу зала заседания. — Просто ты сделана из лунного света!

А потом создание начинает смеяться. Оно раскачивает своими огромными руками вперед-назад на цепях, видимых только для двоих, и смеется... смеется... смеется.

Джесси потянулась к пачке с сигаретами, но рассыпала их по полу. Даже не пытаясь собрать их, она вновь повернулась к монитору:

«Я чувствовала, что схожу с ума, Руфь, — я действительно это чувствовала. Потом внутри меня раздался какой-то голос. Мне кажется, он принадлежал Сорванцу, которая прежде всего показала мне способ, позволивший мне освободиться от наручников, и которая заставила меня действовать, когда пыталась вмешаться Хозяюшка с ее мудрой, безусловной логикой. Да благослови тебя Бог, Сорванец.

«Неужели ты не отомстишь ему, Джесси? — спросила она и продолжила. — И не позволяй Брендону помешать тебе, пока ты не сделаешь все, что должна сделать».

Брендон пытался помешать мне. Он положил обе руки мне на плечи и давил на меня, пытаясь удержать на месте, судья взывал со своего места, судебный пристав уже бежал ко мне, я знала, что у меня осталась последняя секунда, чтобы сделать что-нибудь стоящее и важное, что доказало бы мне, что ни одно солнечное затмение не длится вечность, поэтому я...»

Джесси подалась вперед и плонула этому чудовищу в оранжевом прямо в лицо.

Джесси откинулась на стуле, закрыла глаза рукой и начала всхлипывать. Плакала она почти десять минут — громкие всхлипывания в совершенно пустом доме, — а потом она снова начала печатать, часто останавливаясь, чтобы вытереть текущие по лицу слезы.

«... поэтому я наклонилась вперед и плонула ему в лицо, только это был не просто плевок; я ударила его этим плевком. Мне кажется, что он даже не заметил этого, да это было и неважно. Ведь не для него же я все это сделала.

Мне придется заплатить за подобную привилегию, и Брендон говорит, что, возможно, очень много, но сам Брендон ограничился только выговором, а это значит для меня гораздо больше, чем то, сколько мне нужно будет заплатить.

Мне кажется, что я действительно отправлю это письмо, Руфь, а следующие пару недель я проживу в ожидании твоего ответа. Я дурно поступала с тобой все эти годы, и хотя это и не совсем моя вина, — я

только теперь поняла, как часто и как сильно нужна нам поддержка со стороны, даже если мы гордимся своей силой, самостоятельностью, — но все равно я хочу извиниться. И еще я хочу сказать тебе то, во что и сама начинаю верить: со мной все будет в порядке. Не сегодня, и не завтра, и не на следующей неделе, но скоро. Со мной будет так хорошо, как может быть только нам, простым смертным. Как хорошо знать об этом — хорошо знать, что выживание — это еще свобода выбора, и от этого иногда бывает просто отлично на душе. Иногда оно ощущается как победа.

Я люблю тебя, милая Руфь. Ты и твои настырные замечания сыграли огромную роль в том, что я выжила в октябре, хотя ты и не знала об этом. Я очень люблю тебя. Твоя давняя подруга Джесси.

P.S. Напиши мне, пожалуйста.

А еще лучше, позвони... хорошо?

Д.».

Через десять минут отпечатанное на принтере и запечатанное в огромный конверт письмо лежало на столе в прихожей. Джесси узнала адрес Руфи у Кэрол Риттенхауз — один из последних ее адресов — и надписала его на конверте огромными, шатающимися буквами — это все, на что была способна ее левая рука. Рядом с ним Джесси оставила записку, тоже написанную от руки:

«Мэгги! Пожалуйста, отнеси это на почту. Если я спущусь вниз и попрошу тебя не делать этого, согласись, пожалуйста... а потом все равно отправь».

Она подошла к окну в гостиной, и прежде чем подняться наверх, постояла возле него, глядя на залив. Сумерки сгущались. Впервые за очень долгое время эта мысль не наполнила ее ужасом и страхом.

Потом Джесси повернулась и медленно стала подниматься на второй этаж.

Когда Мэгган Лендис час спустя вернулась домой и увидела письмо на столике в прихожей, Джесси спала глубоким сном на двуспальной кровати в комнате для гостей... которую теперь она называла «своей» комнатой. Впервые за многие месяцы сон ее был спокоен, а уголки губ были изогнуты в загадочной кошачьей улыбке. Когда холодный февральский ветер начинал шуметь в соснах и завывать в печных трубах, она лишь глубже зарывалась под пуховые одеяла... но эта мудрая улыбка не покидала ее лица.

Ноябрь, 16-е, 1991 г.

Бантор, Мэн.

Долорес Клэйборн

«Женщина! Чего она хочет?»

(З. Фрейд)

«У-В-А-Ж-Е-Н-И-Е, поймите,
что это значит для меня».

(Арета Франклин)

Что ты спросил, Энди Биссет?

Понимаю ли я свои права, как вы мне их объяснили?

Господи! Ну почему мужчины такие тупые?

Ничего, Энди, не беспокойся — продолжай жевать и послушай меня. Боюсь, тебе придется слушать весь вечер. Конечно, я поняла, что ты мне прочитал. Разве похоже, что у меня поубавилось мозгов с тех пор, как ты видел меня в магазине? Это было в понедельник утром, если ты забыл. Я еще сказала тебе, что жена намылит тебе шею за такой черствый хлеб — выгадал на пенни, а слупил на фунт, как раньше говорили, — и я была права, так ведь?

Я отлично понимаю свои права, Энди, моя мать не рожала болванов. И свои обязанности я тоже понимаю.

Говоришь, все, что я скажу, может быть использовано против меня в суде? Вот беда-то! А ты лучше не скалься, Фрэнк Проулкс. Это сейчас ты такой крутой полицейский, а я еще помню, как ты носился по двору в замаранных штанах с такой же идиотской улыбкой. Мой тебе совет — когда встречаешь старых знакомых вроде меня, засунь свою улыбку подальше. Я могу прочесть тебя по ней легче, чем выкройку из каталога Сирса.

Ну ладно, повеселились, пора и к делу. Я хочу рассказать вам троим много всего и много такого, что может быть использовано против меня в суде, если кто-нибудь захочет через столько лет затеять суд. Вообще-то, на острове многие это знают и так, но лучше поздно, чем в штаны, как говоривал старый Нелли Робишио, когда бывал под мухой, а было это почти всегда.

Начну с одного, ради чего, по правде сказать, я и пришла сама сюда. Я не убивала эту стерву Веру Донован, и, что бы вы ни думали, я хочу, чтобы вы поняли это. Я не сталкивала ее с этой чертовой лестницей. Меня можно усадить за другое, но ее крови на моих руках нет. И я думаю, Энди, ты поверишь в это, когда я расскажу все. Ты всегда был сообразительным парнем — светлая голова, как говорится, — и вырос не хуже. Но не бери это в голову: тебе, как и всем

мужикам, не обойтись без женщины, которая гладит тебя по головке, вытирает нос и поворачивает на верный путь, если ты забредешь не туда.

И еще одна вещь — вас я знаю, Энди и Фрэнк, но кто эта дама с магнитофоном?

О боже, Энди, я понимаю, что стенографистка! Разве я не говорила, что моя мать не рожала болванов? В ноябре мне будет шестьдесят шесть, но с мозгами у меня еще все в норме. Я знаю, что женщину с магнитофоном и блокнотом называют стенографисткой. Я ведь смотрю все эти сериалы про суды, даже «Закон в Лос-Анджелесе», где, похоже, никто не ходит одетым больше пятнадцати минут.

Как тебя зовут, девочка?

Ага... и откуда же ты к нам приехала?

Ну хватит, Энди! У тебя что, еще дела сегодня ночью? Может, ты хочешь выловить кого-нибудь на пляже за незаконный лов крабов? А что, дело важное, разве не так?

Вот, так-то лучше. Ты — Нэнси Бэннистер из Кеннебанка, а я Долорес Клэйборн отсюда, с Высокого острова. А теперь я, как обещала, все вам расскажу, а вы попытаетесь поймать меня на вранье. Если понадобится прервать меня, так и скажите, не стесняйтесь. Я хочу, чтобы вы вникли в каждое мое слово, начиная с этого: двадцать девять лет назад, когда шериф Биссет еще ходил в первый класс, я убила моего мужа, Джо Сент-Джорджа.

Ты что, Энди? Не можешь помолчать немного? Не знаю, почему ты так удивился. Ты же знал, что я убила Джо. Все на Высоком знали это, и половина людей в Джонспорте тоже. Просто никто ничего не мог доказать. И я не сидела бы сейчас тут с Фрэнком Проулксом и Нэнси Бэннистер из Кеннебанка, если бы не последний трюк этой старой стервы Веры.

Но больше она уже ничего не выкинет, так ведь? Хоть это меня утешает.

Подвинь немного свой магнитофон, Нэнси — говорить, так уж наверняка. Как это япошки умудряются делать такие штуки? Ну ладно... Бог с ним. Эта пленка внутри может упечь меня в исправительное заведение до конца дней, но выбирать не приходится. Знаете, ведь я всегда подозревала, что Вера Донован меня доканает, с тех пор, как впервые ее увидела. И поглядите, что эта сволочь наделала под конец! Вот уж действительно, если богачи не забьют тебя до смерти, то до смерти зацелуют.

Что?

О Господи! Энди, я скажу об этом, если ты не будешь мне мешать! Я только не могу решить, начать с начала или с конца. Вы не могли бы дать мне воды?

Нет, спасибо. Кофе пейте сами, хоть целую кастрюлю. Налей мне стакан воды, Энди, если ты жалеешь для меня глоток виски из бутылки, что стоит у тебя в столе.

Что значит «откуда знаете»? Думаешь, на острове все говорят только о том, как я убила своего мужа? Эта новость уже протухла. Только для вас в ней осталось немного соку.

Спасибо, Фрэнк. Ты тоже всегда был хорошим парнем, хотя у матери вечно были с тобой проблемы в церкви. Иногда ты запускал палец в нос так глубоко, что удивительно, как ты не выковырял мозги. Что ты краснеешь? Не было еще мальчишки, который не искал бы клад у себя в носу. По крайней мере, ты держал руки подальше от карманов и от яиц, хотя бы в церкви, а многие парни...

Ладно, Энди, сейчас. Можно подумать, ты никогда не гонял блох у себя в штанах, а?

Вот что, я нашла выход. Начну не с начала и не с конца, а прямо с середины и в обе стороны. А если тебе это не понравится, Энди Биссет, скажи своему священнику, и пусть отпустит тебе грехи.

У нас с Джо было трое детей, и весной 63-го, когда он умер, Селене исполнилось пятнадцать, Джо-младшему тринадцать, а Маленькому Питу — только девять. Джо не оставил нам даже горшка с дермом, который можно было бы выкинуть в окно...

Нэнси, надеюсь, ты не обижаешься на меня? Я ведь всего-навсего старуха с дрянным характером и таким же дрянным языком, но такое часто бывает от дрянной жизни.

Так о чем это я? Да, спасибо, детка.

Что мне Джо оставил — так это халупу у восточного мыса и шесть акров земли, заросшей черной смородиной и еще какой-то пакостью, которая вырастает, сколько ее ни руби. Что еще? Дайте припомнить. Три сломанных машины — грузовик и два пикапа. Четыре корда дров, счет из бакалеи, счет из хозяйственного, счет за газ и за похороны тоже... и хотите еще глазури на этот торт? Через неделю ко мне заявился этот козел Гарри Дусетт и сказал, что Джо должен ему двадцатку за бейсбольную биту!

Он оставил мне все это, но, думаете, он оставил еще и страховку? Как бы не так! Чтобы долго не рассуждать, скажу вам только одно: Джо Сент-Джордж был вовсе не мужчина, это был мельничный жернов, который я тащила на шее. Даже хуже, потому, что жернов хотя бы не напивается, не приходит домой, воняя пивом, и не лезет к тебе трахаться в час ночи. Конечно, я убила этого сукиного сына не потому, но надо же с чего-то начать.

Могу сказать вам, что наш остров — не самое лучшее место, чтобы кого-то убить. Все время кто-то крутится поблизости и сует нос в твои дела. Потому мне и пришлось так много возиться. А случилось это все через три года после того, как муж Веры Донован

разбился на машине недалеко от Балтимора — они там жили, а на остров приезжали на лето. В то время она была еще женщина в соку.

Когда Джо перекинулся и не оставил нам ни цента, я была в отчаянном положении, в каком может быть только одинокая женщина с тремя детьми на шее. Я уже собиралась перебраться на материк и поискать работу в Джонспорте — продавщицей или официанткой в ресторане, — когда эта дура вдруг решила жить на острове. Другие удивлялись, а я нет — она и раньше торчала здесь подолгу.

Парень, который у нее тогда служил — не помню, как его звали, но ты понимаешь, Энди, о ком я говорю, — такой хмырь, вечно носил штаны в обтяжку, чтобы все видели, что шары у него величиной с елочные стекляшки, — позвонил мне и сказал, что «миссас» (он всегда звал ее так — ну, не осел ли) интересуется, не соглашусь ли я работать у нее домоуправительницей. Я работала в их доме в летние месяцы с 1950-го, и, конечно, она должна была в первую очередь обратиться ко мне, но в тот миг мне показалось, что это Господь ответил на мои молитвы. Я тут же согласилась и работала на нее до позавчерашнего дня, когда она свалилась с лестницы и расшибла свою пустую башку.

Что там делал ее муж, Энди? Самолеты, что ли?

Ну да. Я это вроде бы слышала, но ты знаешь, как любят болтать у нас на острове. Я точно знала только, что они были богаты, и все это досталось ей после его смерти. Ну, конечно, что-то перепало и правительству, но я сомневаюсь, что они взяли налог с настоящей суммы наследства. Майкл Донован был хитер, как лиса. И она тоже, хотя никто не поверил бы в это, глядя на нее последние десять лет. Хитрая, как гвоздь в стуле, и такая же колючая. Мне кажется, она не умерла спокойно в своей постели специально, чтобы оставить мне напоследок все это. Я думала об этом сегодня, когда сидела на ступеньках у Восточного мыса... об этом и о многом другом. Сперва я решила, что этого не могло быть — в тарелке овсянки было больше ума, чем оставалось в голове Веры Донован под конец, — а потом вспомнила про пылесос и подумала, что может быть...

Но теперь это неважно. Важно то, что я влезла задницей прямо в печку, и нужно как-то выкарабкиваться, пока я не поддумянилась. Если получится, конечно.

Я начала с домоправительницы Веры Донован, а кончила чем-то вроде платной подруги. Разницу я хорошо заметила — домоправительницей я возилась в дерьме по восемь часов пять дней в неделю. Став подругой, я из него просто не вылезала.

Первый удар случился с ней летом 68-го, когда она смотрела по телевизору Национальную конференцию демократов в Чикаго. В тот раз она обвинила в этом Говарда Хамфри. «Я столько глядела на

этую задницу, — говорила она, — что перетрудила сосуды. Впрочем, с Никсоном было бы еще хуже».

Второй, уже сильнее, случился в 75-м, и на этот раз политики были ни при чем. Доктор Френо говорил ей, чтобы она бросила пить и курить, но он мог бы поберечь воздух — разве станет такая фифа, как Вера Поцелуй-мой-нижний-профиль Донован, слушать простого сельского врача? «Я еще похороню его, — сказала она, — и выпью виски с содовой на его могиле».

Они разругались, и она поплыла себе дальше, как «Куин Мэри». Потом, в 81-м, ее разбил паралич, и в том же году ее хмырь разбился где-то на материке. Вот тогда я и переехала к ней — в октябре 82-го.

Заплатили мне за это? Что-то не помню. Мне платили пособие — немного, но дети давно уже разъехались, а Маленький Пит вообще ушел из этого мира, бедный ягненочек, так что я даже откладывала кое-что. Много ли старухе надо? Жизнь на острове всегда была дешевой, и даже сейчас она дешевле, чем на материке. Так что, я думаю, мне не платили за то, что я там жила.

К тому же мы с ней были нужны друг другу. Мужчине этого не объяснишь. Может, Нэнси с ее магнитофоном меня и понимает, но вряд ли скажет. Мы были нужны друг другу, как две летучие мыши, висящие рядом в пещере, хотя это далеко от того, что обычно называют дружбой. Да, я держала там свои вещи, но только потому, что с осени 82-го проводила там больше времени, чем дома. Получала я тогда побольше, но этого не хватило даже выплатить за мой «Кадиллак» — видели его? Вот, Энди знает.

По-моему, я делала все это потому, что больше у нее никого не было. Был управляющий в Нью-Йорке по фамилии Гринбуш, но Гринбуш не поехал бы на Высокий, и она не могла кричать ему из окна спальни, чтобы он вешал простыни на шесть прищепок, а не на четыре, и он не стал бы менять ей белье и выгребать дермо из ее судна, пока она твердила бы, что он ворует мелочь из ее копилки, и грозила ему за это тюрьмой. Гринбуш платил по чекам, а я выносила судна и слушала ее бред про простыни, про пыльные головы и про эту чертову копилку.

Ну и что с того? Я не прошу за это медали, даже «Пурпурного сердца». Я за свою жизнь перевидела много дерма, еще больше про него слышала (не забывайте, что я шестнадцать лет прожила с Джо Сент-Джорджем), и это меня мало волновало. Я оставалась с ней потому, что у нее никого больше не было: или я или дом престарелых. Ее дети никогда ее не навещали, и за это я ее тоже жалела. Я удивлялась, почему они не могут забыть старые ссоры, что бы там между ними ни было, и приехать к ней хотя бы на уик-энд. Конечно, она была порядочной стервой, но она же их мать. И она старая. Конечно, сейчас я узнала об этом побольше, но...

Что?

Да, именно так. Чтоб я сдох, если вру, как говорят мои внуки. Можете позвонить этому Гринбушу, если не верите. Я думаю, в газетах напишут, как все это прекрасно. А я скажу вам, что это совсем не прекрасно. Кошмар — вот что это. Что бы ни случилось на самом деле, люди все равно будут говорить, что я выманила у нее это завещание, а потом убила. Я знаю это, Энди, и ты знаешь. Ни один закон не может помешать людям говорить и думать самое плохое.

Но я говорю правду, до последнего слова. Я ничего у нее не выманивала, и она, конечно, сделала это вовсе не потому, что любила меня. Мне кажется, она это сделала потому, что считала себя обязанной... и решила так отблагодарить меня — не за то, что я меняла ей белье, а за то, что я была рядом с ней ночами, когда из углов тянулись провода, а из-под кровати выкатывались пыльные головы.

Я знаю, вы мне не верите, но вы поверите. Прежде чем вы выйдете из этой комнаты, вы поверите во все, обещаю вам.

Она показывала стервозность тремя способами. Я видела женщин, у которых их было больше, но для выжившей из ума старухи, проводившей все время в кресле или в кровати, трех вполне достаточно.

Во-первых, она всегда была стервой. Помните, я говорила, как она заставляла вешать простыни на шесть прищепок, а не на четыре? Так это только один пример.

Нужно было помнить много всяких вещей, если ты работал на Миссис Поцелуй-мой-нижний-профиль Донован, и не забывать ни про одну из них. Если ты забываешь что-то один раз, она пройдется по тебе своим языком. Если два — можешь не приходить за деньгами в конце недели. А уж если три — катись колбасой, и никаких извинений. Такие у нее были правила, и я их приняла. В самом деле — если ты дважды слушаешь, что нельзя выставлять противни из печки остывать на окно, как делают грязные ирландки, и не запоминаешь, то, скорее всего, ты не запомнишь этого никогда.

Три нарушения — и ты уволен, такое было правило, без всяких исключений, и из-за этого я перевидала в ее доме уйму людей за эти годы. Я не раз слышала, что работать у Донованов все равно, что попасть в эти дурацкие вертящиеся двери. Можно прокрутиться один круг, два, может быть, даже десять, но в итоге все равно вылетишь на мостовую. Так что, когда я пришла к ней первый раз — это было в 49-м, — я шла, как в пещеру к дракону. Но все оказалось не так уж страшно. Там можно было работать, если смотришь в оба. Я это могла, и тот хмырь тоже. Но надо было все время быть начеку — она была не дура и знала о нас, островных, куда больше,

чем другие дачники. И придидалась — постоянно, до самой болезни и даже потом. Это было ее хобби.

«Что тебе здесь надо? — спросила она меня в первый же день. — Думаешь таскать сюда свою дочку и закатывать семейные ужины?»

«Миссис Коллун согласна присматривать за Селеной четыре часа в день, — ответила я. — Этого мне вполне хватит, мэм».

«Мне тоже, как и было написано в объявлении, — если, ты его, конечно, читала», — она показала мне свой острый язычок, только показала. Резать она начала потом. Помню, она тогда вязала. Она вообще вязала, как машина — пару носков в день без проблем, даже если начинала в десять часов. Правда, она говорила, что для этого нужно настроение.

«Да, мэм, — сказала я, — читала».

«Меня зовут не «Дамэм», — сказала она, откладывая свое вязанье. — Вера Донован. Ты должна звать меня «миссис Донован» — во всяком случае, пока мы не познакомились поближе, — а я буду звать тебя Долорес. Ясно?»

«Да, миссис Донован», — сказала я.

«Ладно, для начала неплохо. А теперь ответь мне на один вопрос. Какие у тебя планы на будущее?»

«Я хочу подзаработать денег к Рождеству, — сказала я. Я давно уже приготовилась к такому вопросу. — А если мне у вас понравится, то могу остаться и дольше».

«Если *ей* у меня понравится», — повторила она, подняв глаза к небу, будто услышала невесть какую глупость — как может кому-то не понравиться у великой миссис Донован?

Потом она передразнила: «Денег к Рождеству! — и еще раз, глядя на меня в упор. — К Рожж-десс-тву!»

Похоже, она решила или услышала от кого-то, что у меня нелады в семье, и я хочу укрыться у нее в доме, и хотела, чтобы я покраснела и опустила глаза. Но я не сделала ни того, ни другого, хотя мне было всего двадцать два. «Деньги к Рождеству» — и все, я стояла на своем, сколько бы она надо мной ни издевалась. Только много позже я призналась самой себе, почему я пошла тогда туда, в пещеру к дракону: я хотела хоть как-то возместить те деньги, которые Джо за неделю пропивал и проигрывал в покер с другими. В то время я еще верила, что любовь между мужчиной и женщиной сильнее, чем любовь к выпивке и покеру, что она должна расти и расти, как сливки в бутылке с молоком, до самого верха. В следующие десять лет я узнала об этом побольше. Жизнь — горькая школа, так ведь?

«Ладно, — сказала Вера, — дадим друг другу шанс, Долорес Сент-Джордж... хотя, даже если ты удержишься у меня, скоро ты опять забеременеешь, и тогда нам уж точно придется расстаться».

На самом деле я уже два месяца была беременна, но это из меня не вытащили бы и на мустанге Мне нужны были эти десять долларов в неделю, и я их получила, и можете мне поверить, отработала каждый цент сполна. Лето прошло, и после Дня труда Вера спросила, не соглашусь ли я приглядывать за домом, когда они уедут обратно в Балтимор — кто-то же должен содержать такой громадный дом в порядке, ясное дело, — и я согласилась.

Я приглядывала за ним до самого месяца, когда родился Джо-младший, и вернулась снова, когда его еще не отняли от груди. На лето я оставляла его с Арлин Коллун — Вере совсем не нужен был плачущий малыш в доме, — но, когда они с мужем опять уехали, я брала с собой и его, и Селену. Селену уже в два года можно было оставлять одну, а вот Джо, конечно, приходилось таскать с собой. Он сделал свои первые шаги в кабинете хозяина, хотя Вера, уж будьте уверены, никогда об этом не узнала.

Она позвонила мне через неделю после рождения сына, поздравила и сказала то, что на самом деле хотела сказать — что мое место ждет меня. Она ожидала, что я буду благодарить, и я на самом деле была ей благодарна. От такой женщины, как Вера, это наивысший комплимент, и это значило для меня куда больше, чем чек на двадцать пять долларов, который я получила от нее в декабре.

Да, она была не сахар и хозяйничала в доме, как хотела. Ее муж даже летом бывал там один день из десяти, но даже когда он был там, все знали, кто на самом деле главный. Конечно, у него было двести или триста служащих, которые обмирали при одном его косом взгляде, но на острове верховодила Вера, и когда она велела ему скинуть туфли и не таскать грязь по ее чистому ковру, он без слов подчинялся.

И как я говорила, она все делала по-своему и других заставляла. Не знаю, где она набралась таких идей, но она на них просто повернулась. Когда что-нибудь шло не так, как надо, у нее прямо головная боль начиналась. Я думаю, что ей было бы куда легче жить, если бы она не высматривала весь день всякие нарушения.

Все ванны и раковины требовалось чистить «Спик-н-Спэн» — это одно. Не «Лестойл», не «Топ Джоб» — только «Спик-н-Спэн».

Если она видела, что вы чистите ванну чем-то еще, — да поможет вам Бог.

Когда гладишь, нужно было прыскать водой на воротнички из специальной такой штуки и еще подкладывать под воротничок марлю, прежде чем прыснуть. Это не так уж сложно, и я перегладила в этом доме тысяч десять рубашек и блузок, но, если она зайдет в комнату и увидит, что вы гладите без этого маленького куска марли, — да поможет вам Бог!

Если вы забыли включить вентилятор на кухне, когда жарите что-нибудь, — да поможет вам Бог!

Еще были мусорные ведра в гараже, шесть штук. Сонни Квист забирал раз в неделю мусор, и домоправительница или одна из горничных обязаны были в ту же минуту — нет, — секунду — поставить ведра назад в гараж. И не просто запихнуть в угол, а расставить по два вдоль каждой стенки и накрыть крышками. Если вы не сделали это именно так, — да поможет вам Бог!

Потом еще коврики перед входом. Их было три: один у парадного входа, один у двери во двор и один у задней двери, где еще висела эта идиотская табличка «вход для торговцев». Она провисела до прошлого года, а потом я ее выкинула. Раз в неделю я брала эти коврики, относила их к большому камню в конце двора, ярдов за сорок от бассейна, и выколачивала щеткой. Если выбивать их где-нибудь в другом месте, она могла поймать — она стояла на веранде с мужниным биноклем и смотрела. И вот, когда я приносила эти коврики обратно, нужно было положить их правильно, чтобы входящие видели на них надпись «Добро пожаловать». Если вы положили их не той стороной — да поможет вам Бог!

И таких вещей было не меньше четырех дюжин. В те времена, когда я начинала работать у Веры Донован, в магазине внизу можно было услышать про нее много всякого. Громче всех ее ругали молодые девчонки, которых она нанимала и тут же выкидывала, едва они нарушали подряд три правила. Так вот, они говорили, что Вера Донован — хитрюющая старая сова, к тому же чокнутая. Может, она и была чокнутой, но вот что я вам скажу: каждый, ктопомнит, кто с кем спит в этих дурацких мыльных операх, может запомнить и то, что ванны надо чистить «Спик-н-Спэнэм», а коврик клеить надписью к входу. И еще эти простыни. Тут уж никаких ошибок быть не могло. Они должны были висеть строго по линейке, то есть, по сгибу, и непременно на шести прищепках. Не на четырех, а именно на шести. А если вы уронили одну из них, можно было уже не дожидаться трех раз. Я вешала их на заднем дворе, прямо напротив окон ее спальни, и из года в год она высывалась в окно и вопила: «Шесть прищепок, Долорес! Слышишь меня? Шесть, а не четыре! Я слежу, и глаза у меня еще хорошо видят!»

Что, дорогая?

Вот, Энди, ни один мужчина никогда не догадался бы спросить об этом. Я скажу тебе, Нэнси Бэннистер из Кеннебанка, штат Мэн, — да, у нее была сушилка, но нам запрещали сушить в ней простыни, если только прогноз не обещал целую неделю дождей. «Единственные простыни, на которых может спать нормальный человек, — это простыни, высушенные на улице, — говорила Вера, — потому что у них свежий запах. Они ловят ветер и удерживают его, и потом этот запах навевает вам сладкие сны».

Она, конечно, насчет многого ошибалась, но здесь, я думаю, она была совершенно права. Всякий может унюхать разницу между простыней из сушилки и простыней, которая высохла на хорошем южном ветру. Но зимой и утром здесь часто было не больше десяти градусов, и с востока, с Атлантики, дул холодный ветер. В такие утра я тоже должна была развешивать эти простыни без возражений. Развешивать мокрые простыни на морозе — это вроде пытки, и всякий, кто хоть раз этим занимался, уже никогда не забудет.

Вы выносите корзину во двор, и из нее валит пар, и первая простыня еще теплая, и вы, быть может, думаете, если никогда раньше этим не занимались: «О, это не так уж и плохо». Но когда вы повесите эту первую, и расправите, и воткнете эти чертовы шесть прищепок, пара уже не будет. Они еще мокрые, но уже холодные как лед. И ваши пальцы тоже мокрые и холодные. И вы берете следующую, и еще одну, и еще, пока пальцы у вас не сделаются красными и не перестанут сгибаться, плечи у вас болят, и рот тоже, потому что вы держите в нем прищепки, чтобы руками расправлять эти проклятые простыни, но хуже всего пальцы. Добро бы, они просто онемели — вы просто молитесь об этом, так нет, они краснеют и, если простыней достаточно, становятся темно-лиловыми, как лепестки у некоторых лилий. Когда вы заканчиваете, руки у вас похожи на клешни. А хуже всего, когда вы вернетесь с пустой корзиной в дом и ваши руки почувствуют тепло. Их начнет покалывать, а потом ломить в суставах так, что хочется кричать. Я хотела бы словами объяснить это тебе, Энди, но не могу. Нэнси Бэннистер, похоже, знает это, но это разные вещи — развешивать стирку на материке и у нас на острове. Когда пальцы, наконец, отойдут, то в них как будто копошится стая жуков. Тогда их нужно смазать каким-нибудь кремом, и все равно в конце февраля кожа у вас на руках трескается и кровоточит, едва вы сожмете кулак. А иногда, когда вы уже согрелись и идете спать, руки будят вас в середине ночи, вспоминая свою боль. Думаете, я шучу? Можете смеяться, если вам смешно, но я не шучу. Я так и слышала их, как малышей, которые потеряли маму. Это шло откуда-то изнутри, и я лежала и слушала, каждый раз зная, что это повторится снова и снова, такова уж женская доля, и ни один мужчина этого не понимает и не хочет понимать.

И вот, когда у вас болят руки, плечи и все остальное, и сопли замерзают на кончике носа, она еще смотрит на вас в окно с таким вниманием, будто вы делаете какую-то сложную операцию, а не просто развешиваете простыни на холодном ветру. Она сидела или стояла там, нахмурясь, а потом распахивала окно так, что ветер задувал ей волосы назад, и кричала: «Шесть прищепок! Помни про

шесть прищепок! Не хочешь ли ты, чтобы этот ветер сорвал мои простины прямо в грязь? Помни, что я все вижу и все считаю!»

К началу марта мне жутко хотелось взять топор, которым мы с хмырем рубили дрова для кухонной плиты (пока он не умер, а там уж я делала это одна), и врезать этой стерве прямо между глаз, чтобы она наконец заткнулась. Иногда я просто видела это, вот до чего она меня довела. Но я всегда знала, что какая-то часть ее так же не любит так кричать, как я — слушать эти крики.

Это был первый признак ее стервозности, и ей самой он обходился еще тяжелей, чем мне, особенно после этих ее ударов. Тогда стирки стало немного поменьше, но она все так же сходила с ума по поводу того, чтобы все двери запирались и с кроватей снимали белье и клали в шкафы в специальных мешках.

После 1985-го ей стало хуже, и она уже во всем зависела от меня. Если я не хотела вытаскивать ее из кровати и пересаживать в кресло на колесиках, она оставалась лежать. Она сильно растолстела — от ста тридцати в шестидесятых до ста девяноста, — и это был такой желто-синий жир, как иногда у стариков. Он свисал складками с ее ног и рук, как тесто. Некоторые к старости высыхают, но с Верой Донован случилось по-другому. Доктор Френе говорил, что это из-за почек, и, должно быть, это так, но мне часто казалось, что она толстеет, чтобы еще больше досадить мне.

И вес — это еще не все. Она постепенно слепла. Иногда она видела довольно хорошо, особенно правым глазом, но чаще говорила, что видит все через какую-то серую пелену. Я думаю, вы понимаете, как это бесило ее — она ведь привыкла к тому, что видит все вокруг. Несколько раз она даже плакала из-за этого, а заставить ее плакать было нелегко, уж поверьте, даже когда болезнь совсем допекла ее.

Что, Фрэнк?

Выжila из ума?

Да нет, не думаю. А если и так, то она выжila из ума по-другому, чем это обычно бывает у стариков. И я говорю это не для того, чтобы в суде не могли оспорить завещание, мне на это наплевать, я хочу только выпутаться из этой дряни, в которую она меня засунула. Но я скажу вам, что там, наверху, у нее не было совсем уж пусто, даже в конце.

Я думаю так прежде всего потому, что иногда она становилась прежней. Обычно это случалось в те дни, когда она лучше видела. Тогда, вместо того, чтобы валяться в постели, как мешок с зерном, она с моей помощью садилась или перебиралась в кресло, пока я меняла ей постель. Я подвозила ее к окну, откуда были видны задний двор и гавань за ним. Однажды она сказала мне, что точно сойдет с ума, если весь день будет лежать в кровати и видеть только потолок и стены, и я ей поверила.

Конечно, у нее были плохие дни, когда она не помнила, кто я, и почти не помнила даже, кто она сама. В такие дни она была похожа на лодку, потерявшуюся в море, только морем этим было время: она могла утром думать, что сейчас 1947-й, а днем, — что 1974-й. Но бывали и хорошие дни. Их стало меньше, когда у нее участились эти небольшие приступы-припадки, как говорили раньше, но они еще случались. И ее хорошие дни часто становились для меня плохими, потому что она вспоминала все свои старые штучки.

Она была вредной. Это был второй способ выражения ее стервозности. Когда эта женщина хотела, она могла быть вредной, как кошачье дермо. Даже лежа целыми днями в постели, беспомощная, как младенец. То, что она вытворяла в дни уборки, хорошо это показывает. Она делала это не каждую неделю, но говорю вам, это не могло быть простым совпадением.

У Донованов днем уборки всегда был вторник. Это громадный дом — вы даже не можете представить, какой он большой, пока не обойдете его весь, — но большая часть его не использовалась. Это лет двадцать назад с полдюжины девчонок с волосами, связанными в пучок, носились там, как угорелые, вытирая пыль и сметая с углов паутину. А потом я одна ходила по этим угрюмым комнатам, смотрела на мебель под слоем пыли и вспоминала, каким этот дом был в пятидесятых, когда они устраивали летние приемы, — тогда на веранде горели разноцветные японские фонарики, как хорошо я это помню! — и меня пробирала дрожь. Под конец яркие цвета всегда пропадают из жизни, вы не замечали? Все делается серым, как старое, застиранное платье.

Последние четыре года открытыми стояли только кухня, гостиная, столовая, солнечная комната, выходящая во двор, и четыре спальни — ее, моя и две для гостей. Эти две зимой не отапливались, но были убраны на случай, если ее дети все же вдруг приедут.

Даже в эти последние годы в дни уборки мне всегда помогали две девушки из города. Раньше они часто менялись, но с 1990-го это были Шона Уиндем и Сюзи, сестра Фрэнка. Без них я бы не справилась, но многое я делала сама, и когда в четыре дня во вторник они уходили домой, я уже едва держалась на ногах. И еще оставалась куча дел — гладить, составлять список покупок на среду и, конечно, готовить ей ужин. Грешникам нет покоя, как говорится.

И вот тогда-то она и проявляла свою стервозность.

Позывы у нее происходили, в общем-то, регулярно. Каждые три часа я подкладывала ей судно, и она звонила в звонок, когда сделает свои дела. Так было во все дни, но только не во вторник.

Не в каждый вторник, но в те дни, когда она была в сознании, а я еле двигалась от усталости. Боль в спине не давала мне уснуть

до полуночи, и даже анальгин не помогал. Я всю жизнь была здоровой, как лошадь, и сейчас такая, но шестьдесят пять есть шестьдесят пять.

Во вторник в шесть утра в ее судне было только несколько капель. То же в девять. А днем там вообще ничего не было — обычно в это время я находила там такие сухие какашки, похожие на шлак.

Я вижу, ты борешься со смехом, Энди. Ничего, смейся, если тебе хочется. Тогда это было вовсе не смешно, но теперь и мне кажется, что все это чепуха. Старая кошелка копила дермо, как в банке, и я получала все дивиденды, хотела я того или нет.

Большую часть дня во вторник я бегала вверх-вниз, пытаясь угадать ее время, и иногда у меня получалось. Но, что бы у нее ни было с глазами, слышала она нормально и знала, что я не пущу девушек пылесосить большой ковер в гостиной. Когда она слышала, что включился пылесос, она запускала свой станок и начинала выдавать свои сбережения.

Потом я придумала способ поймать ее. Я кричала девушки, что иду пылесосить гостиную, — кричала, даже если они находились в двух шагах, — включала пылесос, а сама тихо поднималась наверх и стояла у двери, держась за ручку, как эти крутые парни в кино, когда готовятся стрелять.

Раз или два я заходила слишком поздно. Это было только хуже — она не могла остановить мотор и от испуга вываливала все в резиновые панталоны, которые на ней были. Как будто взрывалась граната с дермом вместо взрывчатки.

Я вбегала, и она лежала в своей больничной кровати, вся красная, руки сжаты в кулаки, локти уперлись в матрас, и мычала что-то вроде: «уух! ууух! уууу-у-у-ух!» Ей не хватало только каталога Сирса на коленях для полного впечатления.

Нэнси, детка, ну не красней так. Уж лучше слушать, чем делать самому, как говорится. Кроме того, это смешно, как всякое дермо — спросите любого ребенка. Даже мне смешно теперь, когда все это закончилось, а это уже кое-что. Неважно, что будет, но Дермовые Вторники Веры Донован для меня позади.

И что, вы думаете, она говорила? Она, похоже, была довольна, как медведь, влезший в улей с медом. «Что ты тут делаешь? — спрашивала она сдавленно, но все еще тоном благородной девицы, как когда-то. — Это день уборки, Долорес! Займись своим делом. Я тебе не звонила, так что, будь любезна, уходи».

Но прошли времена, когда на меня это действовало. «А я думаю, что нужна здесь, — отвечала я. — Это ведь не «шанелью номер пять» пахнет из вашей задницы, так ведь?»

Иногда она даже пыталась оттолкнуть мои руки, когда я поднимала одеяло. А уж взгляд у нее при этом был такой, что она

превратила бы меня в камень, если бы могла, и нижняя губа у нее оттопыривалась, как у мальчишки, который не хочет идти в школу.

Но все это меня не останавливало — я в три секунды откидывала простыни, а в следующие пять сдирала с нее панталоны. Тогда она уже не сопротивлялась, знала, что ее поймали. Я переодевала ее, подсовывала ей судно и шла в самом деле пылесосить ковер, а ее оставляла там, как выброшенного на берег кита. Вот в тот момент она ничуть не напоминала воспитанницу пансиона, скажу я вам — ведь она проиграла, а она ненавидела это больше всего, даже в таком состоянии.

Так случалось несколько раз подряд, и я уже начала думать, что выиграла всю войну, а не только пару сражений, но мне следовало бы знать ее лучше.

Был как раз день уборки, года полтора назад, и я как раз готовилась идти наверх ловить ее. Мне это уже начинало нравиться: ведь я столько раз в жизни не поспевала за ней. В тот раз, по всем приметам, она готовила мне настоящий дерзомовый ураган. Во-первых, у нее выдался даже не день просветления, а целая неделя — она даже попросила в понедельник подложить ей доску, чтобы она могла раскладывать пасьянс, как в старые добрые времена. И кишечник ее вел себя соответственно — она не выдала мне ни капли с самого уик-энда. Так что в тот вторник она явно намеревалась выдать мне и дивиденды, и свои пансионские замашки.

Когда я днем вынула из-под нее судно и увидела, что оно сухое, как кость, я сказала ей: «Может, попытаетесь еще, Вера?»

«Ох, Долорес, — она посмотрела на меня своими синими гляделками, невинными, как у того барабашка, что жил у Мэри, — я пыталась, как только могла, даже больно стало. Боюсь, у меня запор.»

«Боюсь, что так, моя дорогая, — согласилась я, — и, если вы не постараетесь хорошенько, я скормлю вам целую коробку слабительного».

«О, я думаю, до этого не дойдет», — и она одарила меня одной из своих улыбок. К тому времени у нее не осталось зубов, а вставные челюсти она могла носить, только сидя в кресле, иначе она рисковала подавиться ими. Когда она улыбалась, ее лицо было похоже на кусок коры с дырками от сучков. «Ты ведь знаешь, Долорес — я полагаюсь во всем на природу».

«Знаю», — пробормотала я и повернулась к выходу.

«Что ты сказала, дорогая?» — переспросила она так сладко, будто у нее во рту как раз в тот момент растаял сахар.

«Я говорю, что не могу стоять тут и ждать, пока у вас получится», — сказала я. — У меня полно работы. Сегодня же день уборки».

«В самом деле? — удивилась она, словно не знала этого с первой же минуты после пробуждения. — Тогда иди, Долорес. Если я почувствую, что мне пора опорожниться, я тебя позову».

Позовешь, подумала я, через пять минут после того, как все случится. Но я не сказала этого, а молча сошла вниз.

Я достала пылесос из кухонного шкафа, отнесла его в гостиную и включила. Но я не стала сразу пылесосить, а подождала несколько минут, стоя там и чего-то ожидая.

Когда момент настал, я крикнула Сюзи и Шоне, что начинаю пылесосить гостиную. Я кричала так громко, что меня могли слышать половина соседей, а не только ее величество наверху. Я начала пылесосить, потом встала и подошла к лестнице. В тот день ждать пришлось недолго: тридцать или сорок секунд. Потом я кинулась наверх, уверенная, что поспею как раз вовремя. И что, вы думаете, я там увидела?

Ничего!

Кроме...

Кроме того, как она *смотрела* на меня. Так ласково-ласково.

«Ты что-нибудь забыла, Долорес?» — осведомилась она.

«Ага, — ответила я, — забыла разобраться с этим еще пять лет назад».

«С чем, дорогая?» — она недоуменно выпучила свои гляделки, как будто ничего не понимала.

«С вашим поведением, вот с чем. Скажите мне, наконец, прямо — нужно вам судно или нет?»

«Нет, — сказала она самым честным своим голосом. — Я ведь уже сказала», — она улыбалась, и эта улыбка ясно говорила: что, попалась, Долорес? Хорошо я тебя надула?

Но я *знала*, что она накопила в этот раз слишком много дряни в своем кишечнике и что мне прибавится уйма работы, если я не успею с судном. Поэтому я сошла вниз, постояла там минут пять и снова взбежала наверх. На этот раз она не смотрела на меня и не улыбалась. Она лежала на боку и спала... по крайней мере, я так подумала. Она надула меня окончательно, и вы знаете поговорку — кто надул меня однажды — позор ему, кто надул меня дважды — позор мне.

Когда я спустилась во второй раз, я на самом деле стала пылесосить ковер. Когда я закончила, то убрала пылесос и пошла посмотреть на нее. Она сидела в постели, раскрывшись и сбросив простыни, ее резиновые панталоны были спущены на ее старческие дряблые колени. Господи Боже! Постель прямо тонула в дерме, дермо было на полу, на кресле, на стенах. Даже на занавесках. Как будто она зачерпывала его горстью и разбрасывала, как дети разбрасывают грязь, когда купаются в какой-нибудь луже.

Рассердилась ли я? Да я чуть не спятила!

«Ах ты, грязная сука!» — завопила я. Я не убивала ее, Энди, но если бы убила, то именно в тот момент, когда я увидела все это и почуяла запах. Я и правда хотела убить ее, не стану скрывать. А она просто смотрела на меня с удивленным выражением, как обычно, когда у нее отключалось что-то в мозгах... но я видела, как в глазах у нее пляшут чертики, и знала, что она сыграла-таки со мной шутку. Кто надул меня дважды, — позор мне.

«Кто это? — спросила она. — Бренды, это ты, дорогая? Неужели коровы опять пришли?»

«Ты знаешь, что тут с 55-го года нет ни одной коровы!» — закричала я, вбегая в комнату. Зря я это сделала — тут же поскользнулась на дерьме и едва не упала на спину. Если бы упала, боюсь, точно бы убила ее. Просто не смогла бы удержаться.

«Не знааю, — захныкала она, как несчастная, больная старуха, какой она, в общем-то, и была. — Не знаааю! Я не могла, у меня расстроился желудок. Я думала, меня разорвет на куски. Это ты, Долорес?»

«Конечно, я, старая ты крыса! — Я все еще кричала во весь голос. — Я могла бы убить тебя!»

Похоже, Сюзи Проулкс и Шона Уиндем стояли у лестницы и слушали все это. Вы, конечно, уже говорили с ними, и их показания подвели меня чертовски близко к петле. Не надо мне ничего объяснять, Энди, у тебя все написано на лице.

Вера увидела, что меня не удастся одурачить на *этот* раз, и решила прикинуться сумасшедшей. Знаете, по-моему, я тоже ее боялась. А может, я боялась сама себя — но, Энди, видел бы ты эту комнату! Это было похоже на пикник в аду.

«Я знаю! — завопила она в ответ. — Ты только и мечтаешь об этом, старая ведьма! Ты убьешь меня, как убила своего мужа!»

«Нет, мэм, — ответила я. — Не совсем так. Когда мне надоест возиться с вами, я обойдусь без долгих приготовлений. Просто выкину вас в окно, и одной вонючей тварью станет меньше».

Я схватила ее и рванула вверх, словно Суперженщина. Ночью я почувствовала это усилие в своей спине и утром едва смогла встать, так все болело. Я ездила к массажисту в Мэчиас, и он сделал что-то такое, от чего боль утихла, но она так и не отпустила меня до сих пор. Но тогда я этого совсем не чувствовала. Я выдернула ее из кровати, как девчонка куклу. Она в самом деле испугалась, и осознание этого помогло мне держать себя под контролем, но я совру, если скажу, что ее страх не доставлял мне радости.

«Оууу! — завизжала она. — Оууу, *неет!* Не выкидывай меня в окно! Не выкидывай, не смей! Положи меня! Мне больно, Долорес! ПОЛООЖИИ МЕНЯ-а-а-а!!»

«Хватит орать, — бросила я, толкнув ее в кресло так, что у нее лязгнули зубы... Хотя у нее нечему было лязгать, но так показалось. — Смотрите, что вы наделали. И не уверяйте меня, что вы не видите этого. Я же знаю, что видите. Так что смотрите».

«Извини, Долорес, — прохныкала она с пристыженным видом, но я видела, что чертики все еще плясали у нее в глазах. Я видела это, как в чистой воде из лодки можно увидеть рыбу, проплывающую у самого дна. — Извини, я не хотела этого, я пыталась тебе помочь», — она всегда так говорила, когда пачкала постель, хотя в этот раз она впервые испугалась. «Я пыталась тебе помочь, Долорес», — Боже, как трогательно!

«Сидите и молчите, — сказала я. — Если вы не хотите быстро добраться до этого окна и еще быстрее — до камней внизу, то лучше молчите и слушайте, что я говорю».

Эти девчонки внизу слышали каждое слово, я в этом не сомневаюсь. Но тогда я была слишком сердита, чтобы думать о таких мелочах.

У нее хватило ума последовать моему совету, но все равно она выглядела довольной. А почему нет? Она сделала, что хотела, — на этот раз она выиграла сражение и дала мне понять, что война не окончена. Я чистила и мыла комнату часа три, и, когда я закончила, спина у меня пела «Аве Мария».

Я говорила вам насчет ее стервозности, и по вашим глазам видела, что вы кое-что поняли. Насчет дерьяма объяснить труднее. Дело в том, что я в жизни видела много дерьяма и попривыкла к нему. Конечно, оно пахнет не розами и содержит всякую заразу, как и слюна, и рвота, но оно все же смыывается. Каждый, у кого есть дети, знает, что дерьмо смыывается. Так что я переживала не из-за этого.

Я думаю, из-за того, что она сделала все нарочно. Она выжидала момент и, едва ей выдавался шанс, устраивала мне сюрприз, и притом как можно быстрее, потому что знала, что я не дам ей много времени. Она *планировала* это, насколько ей позволял ее затуманный мозг, и это больше всего расстраивало меня, когда я за ней убирала.

Когда я перестелила постель, когда отнесла заляпанные дерьмом простины, матрас и наволочку вниз для стирки, когда отмывала пол и стены, когда сняла занавески и повесила новые, когда стискивала зубы от боли в спине в то время, как я мыла ее и переодевала в чистую рубашку, когда кое-как перевалила ее из кресла обратно в кровать (причем она не делала ни малейшей попытки помочь мне, хотя в иные дни она помогала, если хотела), когда я снова отмывала пол и это чертова кресло, отскребая то, что засохло, — когда я делала все это, в душе моей было темно, и она знала это.

Она знала это и радовалась.

Когда я вечером вернулась домой, я выпила анальгин, чтобы уменьшить боль в спине, легла в постель, свернувшись в клубок, хотя от этого спина болела еще сильней, и плакала, плакала. Я просто не могла остановиться. Никогда, со временем того давнего дела с Джо, я не чувствовала себя такой несчастной и опустошенной. Или такой *старой*.

И это был второй способ проявления ее стервозности, как я уже говорила.

Что, Фрэнк? Делала ли она это после?

Ты догадлив. Да, она сделала то же самое на следующей неделе и еще через неделю. Это было не так плохо, как в первый раз, отчасти потому, что ей не удавалось скопить такой запас, но больше из-за того, что я готовилась. Но все равно после второго раза я опять плакала в постели, и, когда я лежала и плакала от боли в спине и от обиды, я сказала себе: «Успокойся! В конце концов какое тебе дело, что случится с ней и кто будет о ней заботиться? Пусть хоть подохнет с голода в своей засранной постели».

Я заснула, все еще плача — мне было жалко и себя, и ее, после принятого мною решения, — но проснулась я вполне нормальной. Я думаю, это правда, что сознание человека не засыпает, когда он сам спит, и продолжает что-то додумывать, и иногда думает даже лучше, чем сам человек, которого отвлекает всякая чушь — что готовить на обед, что сегодня по телевизору, и все такое. Во всяком случае, проснулась я с ясным пониманием того, как ей удается дурачить меня, как она на самом деле бессовестна, и как я недооценивала ее. Едва я поняла это, как я уже знала, что мне делать.

Мне не хотелось давать Шоне Уиндем пылесосить ковер в гостиной. Энди, ты знаешь, какая она неуклюжая — все Уиндемы такие, но она была в семь раз более неуклюжей, чем они. Казалось, из нее растут какие-то щупальца, которые сбивают на пол все на расстоянии нескольких футов. Это, конечно, не ее вина, но я не могла сдержать того, что мой дед называл «дрожью предвкушения», представляя, как Шона входит с пылесосом в гостиную, где столько дорогого стекла и керамики.

Ну ладно. Я это сделала, а на следующий год ковер пылесосила Сюзи. Она не балерина, но за весь год не разбила ни одной вещи. Славная девчонка твоя сестра, Фрэнк, и я была рада за нее, когда получила приглашение на свадьбу, хотя тот парень и не из наших. Как там они, ты знаешь?

Это хорошо. Хорошо. Я рада за нее. Не думала, что она так скоро решит вынимать пирог из печки. В наши дни молодежь все больше ждет, пока старики освободят им дом, прежде чем обзаводиться потомством.

Да, Энди, я рассказываю — не забывай только, что я рассказываю о своей жизни — о своей чертовой жизни! Так что можешь вытянуть ноги и расслабиться. Тогда тебе легче будет слушать меня и не перебивать.

В любом случае, Фрэнк, передай ей мои поздравления и скажи, что весной 91-го она почти что спасла жизнь Долорес Клэйборн. Можешь пересказать ей эту историю про вторичные дермовые ураганы и как я их усмирила. Я никогда им ничего не рассказывала, и они знали только, что я столкнулась лбом с Ее Величеством. Теперь я вижу, что мне было стыдно рассказывать им об этом потому, что я вела себя не лучше Веры.

Проснувшись в то утро, я поняла, что это звук пылесоса. Слышала она хорошо, как я вам уже говорила, и звук пылесоса сообщал ей, в самом ли деле я работаю или просто оставляю его включенным, а сама иду наверх. Когда пылесос стоит на одном месте, он издает только один звук, вроде «зззззз». Но когда вы что-нибудь пылесосите, он начинает издавать два звука, волнами. Это «зззз», когда вы водите щеткой по ковру, и «зззз», когда вы поднимаете ее в воздух. Вот так: «зззз-зззз», «зззз-зззз».

Эй вы, хватит чесать в затылке. Посмотрите лучше, как Нэнси улыбается. Сразу видно, кто из вас общался близко с пылесосом, а кто нет. Энди, попробуй представить это или как-нибудь займись, хотя Мария, наверно, упадет без чувств, если придет домой и застанет тебя пылесосящим ковер.

В то утро я поняла, что она слушает не то, включен пылесос или нет, а то, какой у него звук. Пока она не слышала этого «зззз-зззз», она не выкидывала своих грязных штучек.

Мне не терпелось проверить это, но я не могла сделать этого сразу, потому что она вошла в плохой период и покорно делала все дела в судно или в пеленки, если не могла удержаться. Я боялась, что так теперь и будет — знаю, как глупо это звучит, но когда у человека появляется идея, ему страсть как хочется ее проверить. И вы знаете, я ведь еще и чувствовала привязанность к ней, к этой старой стерве. Все-таки я знала ее сорок лет. Когда-то она связала мне шаль — это было давно, но шаль все еще у меня и греет меня февральскими вечерами, когда дует холодный ветер.

Потом, через месяц или чуть больше после того, как мне в голову пришла эта идея, она снова принялась за старое. Она смотрела викторину по ящику и издевалась над участниками, если они не знали, кто был президентом во время войны с Испанией или кто играл Мелани в «Унесенных ветром». И она снова начала болтать о том, что ее дети могут приехать к ней на День труда. И, конечно же, она садилась у окна и следила, как я вешаю белье — на четыре прищепки или на шесть.

Потом настал вторник, когда я вынула из-под нее судно, и оно было сухим, как кость, и пустым как обещания коммивояжера. Не могу передать, как я была рада, увидев это пустое судно. Вот оно, старая лиса, подумала я. Теперь посмотрим, кто кого. Я спустилась вниз и позвала Сюзи.

«Я хочу, чтобы сегодня *ты* пылесосила гостиную», — сказала я ей.

«Хорошо, миссис Клэйборн», — сказала она. Так они меня звали, Энди, и так меня звали все на острове. Я никогда никого не просила об этом, но, похоже, они все думали, что когда-то у меня был муж Клэйборн, а может, мне самой хотелось, чтобы они не вспоминали Джо, хотя многие его помнили. В конце концов, это не так важно — во что бы я ни верила, я была замужем один раз, именно за этим ублюдком.

«Но почему вы шепчете?» — удивилась она.

«Неважно, — прошептала я, — и сама говори потише. И ничего не разбей там, Сьюзен Эмма Проулкс. Поняла меня?»

Она покраснела, как пожарная машина, так забавно:

«Откуда вы узнали, что мое второе имя Эмма?»

«Брось, детка, — сказала я ей. — Я прожила на Высоком всю жизнь и знаю многое всего. Поосторожнее с мебелью и стеклом, особенно когда пятышься, и все будет в порядке».

«Я буду очень осторожна», — сказала она.

Я подвела ее к двери и, приложив ладони ко рту, закричала: «Сюзи! Шона! Я иду пылесосить гостиную!»

Сюзи, конечно, стояла тут же, и все ее лицо было одним сплошным вопросом, но я только махнула ей рукой, чтобы она шла и занималась своим делом. И она пошла.

Я на цыпочках подошла к лестнице и встала на своем месте. Это глупо, конечно, но я не волновалась так с тех пор, как отец впервые взял меня на охоту, когда мне было двенадцать. Это было то же чувство, когда сердце в груди бьется сильно, но ровно. У этой дамы в гостиной было полно всякой старины и стекла, но я в тот момент даже не думала, что Сюзи вертится там с пылесосом.

Я простояла там, сколько могла — минуты полторы. Потом сорвалась с места и побежала наверх, и, конечно, она лежала там, вся красная, с выкаченными глазами, вцепившись в простыни, и пыхтела: *ух! Уууух! Уууух!* Когда она услышала скрип двери, ее глаза метнулись в испуге. Эх, жаль у меня не было фотоаппарата!

«Долорес, убирайся отсюда! — пропыхтела она. — Я пытаюсь выдавить из себя что-нибудь, и у меня получится, если ты не будешь каждые двадцать минут глязеть на меня, как корова».

«Долорес, убирайся отсюда! — пропыхтела она. — Я пытаюсь выдавить из себя что-нибудь, и у меня получится, если ты не будешь каждые двадцать минут глязеть на меня, как корова».

«Ладно, — сказала я. — Я уйду, но сперва подсуну вам старое доброе судно. По запаху я чувствую, что вы скоро справитесь со своим запором».

Она отталкивала мои руки и щипалась — а ущипнуть она могла довольно больно, — но я не обращала на это внимания. Я подсунула под нее судно, и потом мы поглядели друг на друга и ничего не сказали. Мы ведь давно знали друг друга.

Ну вот, старая вонючка, подумала я, вот я тебя и поймала. Как тебе это понравится?

Не очень, Долорес, подумала она в ответ, но ничего. Ты поймала меня сейчас, но это не значит, что ты сможешь ловить меня всегда.

Но я ловила. Несколько раз она еще обдевалась, но не так, как раньше, когда дермо было даже на занавесках. Это была ее последняя битва. Потом она все реже и реже находилась в здравом уме. Конечно, от этого у меня меньше болела спина, но я не радовалась. Это была моя боль, и я привыкла к ней, если вы понимаете, о чем я.

Можно мне еще стакан воды, Фрэнк?

Спасибо. От разговоров всегда хочется пить. Знаешь, Энди, если ты решишь вытащить наружу свою бутылку из стола, то я никому про это не скажу.

Не хочешь? Что ж, на тебя это похоже.

Так о чем я?

Да-да. О том, какая она была. Так вот, третий способ показать свою стервозность был хуже всех. Она была стервой просто потому, что была старухой, которой оставалось только умереть в пустом доме на острове, вдалеке от тех мест и людей, с которыми она провела жизнь. Она знала это и чувствовала себя, как подмытый рекой берег, который вот-вот рухнет вниз.

Она была одинока, и я никогда не понимала этого и прежде всего не понимала, зачем она переехала на остров. Только вчера я это поняла и скажу вам в свой черед. И она боялась, я видела это, но в своем страхе черпала силу, как старая королева, которая, даже умирая, не хочет расставаться с короной.

Я уже говорила, что у нее были хорошие дни и плохие. Ее приступы случались с ней в промежутке, когда она переходила от нескольких дней ясности к неделе или двум затмения рассудка. В это время она словно блуждала где-то, и с ней происходили странные вещи.

Не знаю, были ли это галлюцинации. Сейчас я не так уверена в этом, как раньше. Может быть, я расскажу вам об этом позже, если буду чувствовать себя нормально.

Наверное, не все из них случались в воскресные дни или по ночам, но эти я помню лучше всего из-за того, что в доме тогда

было особенно тихо, и я пугалась, когда она начинала кричать. Это было, как будто в жаркий летний день на вас опрокинули ведро холодной воды. Не было случая, когда бы я не боялась, что у меня разорвется сердце от ее внезапных криков или что я приду к ней в спальню и найду ее мертвой. Хотя я никогда не знала, почему она боится, то есть я видела, что она боится, и могла даже догадаться *чего*, но никогда не знала *почему*.

«Проволока! — кричала она, когда я вбегала. Она скрючилась на кровати, обхватив себя руками, ее синие старческие губы дрожали, вся она была бледная, как призрак, и из глаз текли слезы. — Проволока, Долорес, останови эту проволоку!» И при этом она всегда смотрела в одну и ту же точку — на плинтус в дальнем углу.

Там, конечно, ничего не было, но не для нее. Она *видела*, как эта проволока выходит из стены и тянется по полу к ее кровати — по крайней мере, ей казалось, что она это видит. Мне приходилось спускаться вниз, хватать один из ножей для мяса и возвращаться с ним наверх. Я наклонялась в угол или ближе к кровати, если ей казалось, что проволока забралась уже далеко, и делала вид, что режу ее. Я осторожно, чтобы не поцарапать паркет, касалась лезвием пола, пока она не переставала кричать.

Потом я подходила к ней, вытирала ей слезы полотенцем или одной из бумажных салфеток, что всегда лежали возле кровати, и целовала ее, говоря: «Вот, дорогая, они ушли. Я порезала эту противную проволоку, посмотрите сами».

Она смотрела (хотя в такие дни она ничего не могла увидеть) и плакала еще некоторое время, а потом обнимала меня и говорила: «Спасибо, Долорес, спасибо. На этот раз они едва не достали меня». Иногда она называла меня Брендой — так звали домоправительницу Донованов в Балтиморе. А иногда Клариссой — это была ее сестра, которая умерла в 58-м году.

Бывали дни, когда я входила в ее комнату и видела, что она пытается слезть с кровати и вопит, что в подушке змея. В другой раз она завернулась с головой в одеяло, крича, что окна усиливают солнечный свет, и она сейчас сгорит заживо. Иногда она утверждала, что у нее уже горят волосы, хотя на улице могло быть дождливо и туманно, как в голове у пьяницы. Мне приходилось плотно закрывать шторы и держать ее, пока она не успокаивалась. А иногда и дольше, потому что она, даже перестав плакать, мелко дрожала, словно испуганный щенок. Она снова и снова просила меня посмотреть, не обуглилась ли у нее кожа, и я снова и снова отвечала, что нет, пока она наконец не засыпала. Или не засыпала, а впадала в забытье и начинала говорить с людьми, которых не было. Иногда она говорила на французском, которого никто на нашем острове не

знал. Они с мужем любили Париж и при любом случае ездили туда, с детьми или сами. Бывало, она рассказывала об этом — о кафе, о музеях, о лодках на Сене, — и мне нравилось ее слушать. Она умела говорить, и, когда описывала что-нибудь, казалось, что видишь это своими глазами.

Но хуже всего — чего она боялась больше всего, — были пыльные головы. Это просто комочки пыли, которые собираются под кроватями и в углах, но она почему-то боялась их до полусмерти, даже когда не видела. Она, похоже, принимала их за какие-то привидения, и я, мне кажется, поняла однажды, почему. Не смеялась, но я поняла это во сне.

К счастью, эти пыльные головы беспокоили ее реже, чем солнце или проволока в углах, но когда это случалось, я знала, что наступает плохое время. Уже по ее крику, который будил меня среди ночи, можно было понять, что речь идет именно о пыльных головах. Когда она видела...

Что, дорогая?

Нет, не надо пододвигать этот магнитофон ближе, если хочешь, чтобы я говорила громче, так и скажи. Я всегда говорила громко, и Джо часто ругался, что нужно затыкать уши ватой, когда я дома. Но то, как она вела себя с этими пыльными головами, до сих пор бросает меня в дрожь. Наверное, от этого я и заговорила тише. Иногда я пыталась убедить ее, что это глупо, но она так вовсе не думала. Часто мне казалось, что в конце концов она запугает себя до смерти, и теперь я думаю, что так оно и случилось.

Так вот, я начала говорить, что, когда она видела все это — змею в подушке, проволоку, солнце, — она кричала, а когда это были пыльные головы, она просто *вопила*. Это были даже не слова, а просто вопли, такие громкие и пронзительные, что сердце сковывало холодом.

Я вбежала к ней, и она рвала на себе волосы или царапала ногтями лицо, как ведьма. Глаза ее, такие выпученные, что походили на крутые яйца, смотрели в угол.

Иногда она находила силы сказать: «*Пыльные головы, Долорес! О Господи, пыльные головы!*» В другие разы она только плакала и стонала. Она закрывала глаза руками, но через мгновение открывала их снова, как будто не могла не смотреть. И снова начинала царапать ногтями лицо. Я подстригала их как можно короче, но она умудрялась несколько раз расцарапать себя до крови, и я каждый раз удивлялась, как ее сердце выдерживало все это.

Один раз она упала с кровати и так и осталась лежать с подвернутой под себя ногой. Когда я вбежала, она лежала, выбивая кулаками дробь по полу и рыдая от страха. Тогда, единственный раз за все эти годы, я позвонила среди ночи доктору Френу. Я испуга-

лась, что она сломала ногу, но доктор сказал, что нога просто растянута. Не знаю, как ей так повезло, но на следующий день она вошла в период ясности и ничего не помнила о своем припадке. В такие дни я пару раз спрашивала ее о пыльных головах, и она смотрела на меня так, будто я свихнулась. Она не понимала, о чем я говорю.

Когда это случилось несколько раз, я поняла, что надо делать. Как только я услышала эти вопли, я выскочила из своей комнаты — вы знаете, она всего в двух дверях от ее спальни, между ними бельевой шкаф, — и взяла заранее приготовленные щетку и совок. Я вошла к ней, размахивая щеткой, будто собиралась остановить поезд, и крича (только так я могла сама себя услышать):

«Я иду, Вера! Я сейчас их прогоню! Держись!»

И я вымела тот угол, куда она смотрела, а потом и все остальные, и с тех пор делала так каждый раз. Иногда она после этого успокаивалась, но чаще продолжала вопить, что они остались еще под кроватью. Поэтому я вставала на колени и делала вид, что выметаю их оттуда. Однажды эта старая чокнутая идиотка едва не свалилась мне на спину, пытаясь заглянуть под кровать. Она раздавила бы меня, как мууху, вот была бы комедия!

Когда я выметала все углы, я показывала ей пустой совок и говорила: «Вот, Вера, дорогая, я их всех поймала, видите?»

Она глядела сперва на совок, потом на меня, и глаза ее от слез были похожи на камни в воде прилива, и она шептала: «Ох, Долорес, они такие *серые!* Такие *страшные!* Убери их скорее. Пожалуйста».

Я относила щетку и совок к своей двери до следующего раза и возвращалась успокаивать ее. Да и себя, по правде сказать. Если вы думаете, что *мне* не надо было успокоиться, попытайтесь как-нибудь проснуться среди ночи в таком вот старом пустом музее, когда ветер воет снаружи, а старая ненормальная баба — внутри. Сердце у меня стучало, как колеса локомотива, и я с трудом переводила дыхание... но я не хотела, чтобы она это замечала, а то бы она стала сомневаться во мне.

Чаще всего после таких дел я расчесывала ей волосы — это, по-моему, успокаивает лучше всего. Она сперва стонала и плакала, а иногда обнимала меня, прижимая лицо к моему животу. Я помню, какими горячими были ее лоб и щеки после этих пыльных голов, и как она промачивала мою рубашку слезами насквозь. Бедная ста-руха! Никто из вас не знает, что значит быть старым, да еще когда за тобой гоняется что-то, чего нельзя объяснить никому, даже самой себе.

Иногда даже полчаса со щеткой не давали результатов. Она продолжала смотреть мимо меня в угол и всхлипывать или протя-

гивала руку вниз, под кровать, и тут же отдергивала, будто боялась, что кто-то ее укусит. Раз или два мне даже казалось, что там и вправду что-то двигается, и я еле удержалась, чтобы не закричать самой. Конечно, это была всего-навсего тень ее же руки, я знаю это, но это показывает, в каком состоянии я тогда была. Даже я, а я никогда не была особенно пугливой.

Когда ничего больше не оставалось, приходилось ложиться вместе с ней в постель. Она обхватывала меня руками и прижимала голову к тому, что осталось от моей груди, и я тоже обнимала ее и держала, пока она не засыпала. Тогда я вылезала из постели, очень осторожно, чтобы не потревожить ее, и возвращалась к себе. Несколько раз — именно тогда, когда она будила меня своими воплями среди ночи, — я засыпала с ней рядом.

В одну из таких ночей мне приснились пыльные головы. Только во сне я была не я. Я была *она*, распростертая в этой больничной постели, такая толстая, что не могла повернуться без посторонней помощи, и внизу у меня все горело от воспаления мочевого канала, с которым организм уже не мог бороться. Конечно, коврик у входа всегда говорил «Добро пожаловать» любой заразе, и он всегда был повернут правильной стороной.

Я смотрела в угол и видела там что-то вроде головы, слепленной из пыли. Глаза ее вращались, а рот был полон острых пыльных зубов. Потом она начала катиться к кровати, очень медленно, и глаза ее, когда она катилась, продолжали смотреть на меня, и я увидела, что это Майкл Донован, муж Веры. Но когда лицо посмотрело на меня в следующий раз, это был уже *мой* муж. Это был Джо Сент-Джордж со своей наглой ухмылкой и длинными лязгающими зубами. В третий раз это был уже кто-то незнакомый, но живой и голодный, и он катился ко мне, чтобы меня сожрать.

Я проснулась и так подскочила, что сама едва не выпала из кровати. Было раннее утро, и солнце полосами освещало комнату. Вера еще спала. Она отдавила мне руку, но сперва у меня не было даже сил высвободить ее. Я лежала и дрожала, вся в поту, пытаясь заставить себя поверить, что я проснулась и все нормально, как всегда бывает после кошмара. И знаете, еще секунду после того, как проснулась, я продолжала видеть эту пыльную голову возле кровати, с ее пустыми глазами и длинными зубами. Потом все пропало, пол и углы комнаты были пустыми и чистыми, как всегда. Но с тех пор я думала, что она как-то *передала* мне свой сон, и я видела то, что видела она в те разы, когда так кричала. Может быть, я взяла часть ее страха и обратила в свой собственный. Как вы думаете, такие вещи случаются в жизни или только в тех газетенках, что продают в магазине? Я не знаю... но знаю, что этот сон напугал меня до полусмерти.

Ну ладно. Так вот, эти ее вопли по ночам были третьим способом выражения стервозности. Но это все было очень грустно. У всякой стервозности, на дне — грусть, но все же иногда мне хотелось открутить ей голову, как катушку у швейной машинки. Думаю, даже у святой Жанны д'Арк возникали иногда такие желания. Когда Сюзи с Шоной слышали, как я ору в тот день, что хочу убить ее... или когда об этом узнали люди... словом, иногда мне казалось, что я с радостью подберу юбку и сплящу на ее могиле. Я думаю, Энди, ты слышал что-нибудь в этом роде вчера и сегодня. Не говори, я читаю все по твоему лицу. Я же знаю, как люди любят почесать языки. Они болтали про меня и Веру, а раньше болтали про меня и Джо — и до того, как он умер, и много позже. Здесь, в глухи, нет ничего интересней внезапной смерти, вы не замечали?

Теперь о Джо.

Я порядком намучилась с этим и думаю, что нет уже смысла ничего скрывать. Я уже сказала, что убила его, но теперь пришла пора рассказать о главном — почему и как.

Я сегодня много думала о Джо, Энди, по правде говоря, больше, чем о Вере. Я пыталась понять, почему я вышла за него замуж, и не могла. Я пришла от этого в ужас, как Вера, когда ей казалось, что у нее в подушке змея. Потом вспомнила — мне хотелось любви, как всем тем девчонкам, которых Вера нанимала в июне, а осенью с треском выгоняла за то, что они не выполняли ее правил. Мне хотелось любви, и я верила в любовь тогда, в 45-м, когда мне было восемнадцать, а ему девятнадцать, и мир был юным.

Знаете, что я вспомнила, когда сидела сегодня там, на ступеньках, и думала о любви? Только то, что у него был красивый лоб. Я сидела рядом с ним в классе, когда мы вместе учились — это было во время войны, — и смотрела на его белый чистый лоб. На носу и на подбородке у него были прыщи, но лоб казался чистым, как сметана. Я помню, что хотела дотронуться до него... мечтала об этом, по правде сказать, мне хотелось проверить, правда ли он такой гладкий, каким кажется. И когда он на выпускном балу пригласил меня на танец, я смогла потрогать его лоб и волосы, которые спускались на него такими мягкими волнами. Я гладила его волосы и лоб в полутьме зала, пока оркестр играл «Лунный коктейль»... Несколько часов просидев на этих чертовых ступеньках, я смогла вспомнить хотя бы *это*, и вы видите, как это мало после всех лет. Конечно, за последующие недели я трогала не только его лоб, но это не уберегло меня от ошибки.

Только не подумайте, что я столько лет прожила с этим старым козлом потому, что когда-то в седьмом классе мне нравилось смотреть на его лоб. Черт, конечно, нет. Но я пытаюсь объяснить, как мне тогда хотелось любви, и от этого мне сейчас делается

плохо. Сидеть на этих ступеньках у восточного мыса и думать о прошлом... это было чертовски трудно. В первый раз я поняла, что продала себя слишком дешево и все потому, что дешево себя ценила: и в первый раз до меня дошло, что я понадеялась на любовь человека, который вообще не мог никого любить (кроме себя, может быть). Может, вам в диковинку, что такая старая стерва, как я, верила в любовь, но говорю вам — это единственное, во что я верила и верю.

Но это не главная причина, почему я вышла за него, а о главной я сейчас расскажу. Я уже недель шесть носила в себе девочку, когда пришла к нему и сказала, что хочу быть с ним, пока смерть не разлучит нас. Это было самое красивое, а потом пошли глупые объяснения, за которыми обычно и следуют глупые замужества.

Я устала спорить со своей матерью.

Я устала выслушивать ворчание отца.

Все мои подруги делали это, заводили свои семьи, и я тоже хотела быть взрослой, как они, я устала быть глупой девчонкой, которую все поучают.

Он сказал, что хочет меня, и я ему поверила.

Он сказал, что любит меня, и я поверила и в это... А потом он спросил, чувствую ли я то же, что он, и оставалось ответить «да».

Я боялась того, что произойдет, если я не скажу так... Куда я денусь, и что будет с моим ребенком.

Это будет выглядеть очень глупо, когда ты запишешь это, Нэнси, но глупее всего, что дюжина моих подруг вышли замуж точно по таким же причинам, и большинство из них еще замужем и мечтают только пережить своих мужей и вытрясти, наконец, их пивную вонь из прстынь.

Году к 52-му я уже забыла про его лоб, а к 56-му меня мало интересовало и все остальное в нем, а когда Кеннеди принял пост у Айка, я уже начала его ненавидеть, хотя мысли убить его у меня еще не было. Наверное, я оставалась с ним только потому, что детям нужен был отец. Ну не смешно ли? Но это так, клянусь вам. И еще клянусь, что, дай мне Бог еще один шанс, я убила бы его снова, даже если бы это значило адский огонь и вечное проклятие... а это так и есть.

Я говорила, что всякий на острове знал, что я убила его, и большинство из них считали, что знают причину — из-за того, что он поколачивал меня. Но я убила его не из-за этого, не на меня он тогда поднял руку, а меня последние три года он ни разу не трогал. Я выбила из него эту дурь в конце 60-го.

До тех пор он часто бил меня, это правда. В первый раз это случилось на второй день после замужества. Мы поехали в Бангор на уик-энд — это был наш медовый месяц, — и остановились у

Паркера. Мы оттуда почти не выходили — понимаете, мы были парой старых деревенских мышей и все время боялись потеряться. Джо сказал, что вовсе не собирается тратить двадцать пять долларов, которые нам дали мои родные, на такси, когда мы не сможем найти дорогу в гостиницу. Ну не болван ли? Конечно, я тоже... я тоже... но у меня не было (и я очень рада) этой вечной его подозрительности. Он считал, что все вокруг только и мечтают ткнуть его носом в грязь, и я думаю, он и напивался больше затем, чтобы иметь возможность уснуть спокойно.

Ну ладно, одним словом, в субботу мы хорошо поужинали в ресторане и снова поднялись к себе. Джо, помню, по дороге шатался — он выпил за ужином четыре или пять бутылок пива, а за день уговорил еще штук десять. Когда мы пришли, он встал и смотрел на меня так долго, что я спросила — уж не позеленела ли я?

«Нет, — сказал он, но там внизу какой-то тип все время разглядывал тебя, Долорес. Просто глаз не отрывал. И ты это знала, так ведь?»

Я хотела сказать ему, что там могли сидеть Гэри Купер с Ритой Хейворд, и я бы не заметила их, но потом подумала, что с пьяным Джо щутить не стоит: все же я выходила замуж не с закрытыми глазами и кое-что уже поняла.

«Если он разглядывал меня, почему ты не встал и не закрыл ему глаза, Джо?» — спросила я. Это была тоже просто шутка, но Джо так не показалось. Вообще, по-моему, у него никогда не было чувства юмора, и этого я еще не знала, когда начинала все это.

Я думала, что чувство юмора — это, как нос или глаза, есть у каждого, хоть и разной величины.

Он схватил меня, перегнулся через колено и ударил ботинком.

«До конца твоих дней никто не должен видеть, какого цвета у тебя исподнее, Долорес, — сказал он. — Никто, кроме меня. Ты поняла?»

Я еще думала, что это что-то вроде любовной игры, притворная ревность, только ревность оказалась вовсе не притворной. Он был как пес, грызший кость и рычащий на всякого, кто к ней подходит. Я не думала тогда об этом потому, что стала считать: то, что муж время от времени колотит жену, — это естественная часть брака, хоть и мало приятная. Чистка сортира тоже не самое приятное дело, однако большинство женщин занимаются этим, когда свадебное платье убирается в шкаф. Так ведь, Нэнси?

Мой отец тоже иногда бил мою мать, и я считала, что так и должно быть. Я любила отца, и они с матерью тоже друг друга любили, но он не выносил, когда его хоть немного гладили против шерсти.

Помню, один раз, когда мне было девять лет, отец вернулся с поля Джорджа Ричардса на Западном мысе, а мать не успела с

обедом. Не помню, почему так получилось, но хорошо помню, что он сделал, когда вошел. Он был в одних штанах — башмаки и носки он снял на пороге, потому что в них было полно соломы. Он сжег лицо и плечи, и в волосах прямо надо лбом у него застрял клочок сена. Он выглядел усталым и раздраженным.

Он вошел в кухню и увидел, что на столе нет ничего, кроме стеклянной вазы с цветами. Тогда он повернулся к матери и спросил: «Эй, где мой ужин?» Она открыла рот, но не успела ничего сказать — он ударил ее по лицу так, что она отлетела в угол. Я стояла на пороге и смотрела. Он пошел ко мне, нагнув голову — с тех пор, когда я видела человека, приходящего вот так домой после тяжелой работы, я всегда вспоминала своего отца, — и я испугалась. Я хотела убежать, боясь, что он и меня ударит, но ноги как будто приросли к месту. Он не стал меня бить, а только взял за плечи своими теплыми руками и вывел во двор. Там он уселся на чурбак для рубки дров и долго сидел, опустив голову и положив руки на колени. Сперва он шуганул цыплят, но потом они вернулись и стали бегать прямо у его ног. Я думала, он пнет какого-нибудь из них так, что перья полетят, но он ничего такого не сделал.

Потом я пошла поглядеть, как там мама. Она все еще сидела на полу, приложив к лицу полотенце, и плакала. Руки ее были прижаты к груди, и это я запомнила лучше всего, не знаю, почему — как она прижала руки к груди. Я подошла и обняла ее, и она попросила меня пойти к отцу и спросить, не хочет ли он стакан холодного лимонада или пива.

«Только скажи, что пива всего две бутылки, — сказала она. — Если ему нужно больше, пусть сам идет в магазин».

Я пошла и сказала ему, а он ответил, что не хочет пива, но вот стакан лимонада был бы очень кстати. Я отнесла ему лимонад, потом мать подала ужин, и, хотя лицо у нее было еще опухшее от слез, но она напевала что-то под нос, а ночью я слышала из их комнаты скрип пружин, как и в большинство других ночей. Больше мы об этом не вспоминали. Такие вещи назывались тогда «воспитанием» и считались в порядке вещей, и иногда я думаю, что матери и самой хотелось этого, иначе отец такого бы не делал.

Я еще несколько раз видела, как он ее «воспитывал», но тот случай я запомнила лучше всего. Кулаком он ее больше не бил, как Джо меня, но как-то хлестнул ей по ногам мокрым брезентом, а это чертовски больно. Потом на ногах остаются красные полосы и болят целый день, уж я-то знаю.

Теперь это уже не называется «воспитанием» — термин вышел из употребления, и такие отношения тоже, но я выросла с убеждением, что женщин и детей нужно колотить, когда они сбиваются с пути, на который их направил мужчина. Конечно, мне это не очень

нравилось, но я долго позволяла Джо распускать руки. Думаю, что я слишком уставала от работы дома и в чужих домах, от детей и от попыток уладить отношения с соседями, испорченные Джо, чтобы думать еще и об этом.

Быть замужем за Джо... тыфу, черт! Что вообще значит «замужем»? Разные браки не похожи друг на друга, и роднит их только одно: изнутри они выглядят не так, как снаружи. Иногда это смешно, иногда страшно, но всегда это не то, каким кажется.

Люди, а может, и мои дети, думали, что Джо был пьяницей и колотил меня, когда напивался. Они думали, что он в конце концов переборщил с этим и я отобрала у него билет. Конечно, Джо пил и ездил иногда на встречи «Анонимных алкоголиков» в Джонспорт, но он был не большим алкоголиком, чем я. Каждые четыре или пять месяцев он надирался до полусмерти с подонками вроде Рика Тибодо или Стиви Брукса — вот они-то и впрямь были алкоголиками, — но остальное время вполне контролировал себя, потому что никогда не допивал бутылку до конца. Ни один алкаш не оставит начатую бутылку, и их интересуют только две вещи: чем заплатить за ту, что в руках, и как достать ту, что еще в небе.

Нет, он не был алкоголиком, но не мешал людям думать и говорить о нем так. Это помогало найти ему работу, особенно летом. Тогда, как и сейчас, много говорили об «Анонимных алкоголиках», которые якобы встали на путь исправления. Как-то Джо не пил целый год — или, по крайней мере, никому не говорил об этом, — и они пригласили его в Джонспорт и премировали тортом и медалью. С тех пор он приходил к дачникам и первым делом говорил им, что он вылечившийся алкоголик. «Если вы из-за этого не возьмете меня на работу, — говорил он, — я не обижусь, но это здорово помогло бы мне. На встречах «Анонимных алкоголиков» нам говорили, что главное лекарство от пьянства — работа».

И после этого он показывал им свою медальку, и, я думаю, пара-тройка из них даже плакали, слушая его трогательный рассказ о том, как он молится богу всякий раз, когда ему хочется выпить (а это случалось с ним каждые пятнадцать минут). Конечно, все нанимали его, причем на полдоллара или даже на доллар в час дороже, чем они собирались заплатить. Вы, должно быть, думаете, что этот трюк не проходил у него долго, но нет — он работал так много лет, даже здесь, на острове, где все его знали.

По правде, большинство раз, когда Джо бил меня, он был трезв. Когда он напивался, ему было не до меня. Как-то в 60-м или 61-м он пришел домой после того, как помогал Чарли Диспенсери вытаскивать лодку на берег, и полез в холодильник за кокой. Тут я увидела, что у него лопнули сзади штаны, и рассмеялась. Просто не могла удержаться. Он ничего не сказал, но когда я отвернулась к

плите посмотреть капусту — я ее тушила на ужин, — он взял полено у печки и двинул меня им по почкам. Ох, как было больно! Если вас когда-нибудь били по почкам, вы меня поймете. Они сразу становятся такими горячими и тяжелыми, будто готовы взять и выпасть на пол.

Я кое-как нащупала стул и опустилась на него. Если бы стула рядом не было, я бы упала на пол. Так я и сидела там, дожидаясь пока боль утихнет. Я не плакала, потому что не хотела пугать детей, но слезы все равно текли по моему лицу. Слезы боли не так уж легко удержать.

«Не будешь смеяться надо мной, стерва, — буркнул Джо. Он кинул полено, которым ударил меня, в ящик для дров и уселся читать «Америкэн» — Могла бы научиться этому еще десять лет назад».

Прошло минут двадцать, прежде чем я смогла подняться с этого стула. Пришлось позвать Селену, чтобы она пошевелила капусту, хотя плита находилась всего в четырех шагах от меня.

«Что такое, ма? — спросила она. — Я смотрю мультики с Джо».

«Я отдыхаю», — сказала я.

«Ага, — добавил Джо из-за газеты, — она трепала языком, пока не устала», — и он засмеялся. Этот его смешок все и сделал. Я твердо решила, что больше он не тронет меня и пальцем, иначе ему придется дорого заплатить за это.

Мы поужинали, как обычно, и посмотрели телевизор, как обычно — я со старшими на диване, а Маленький Пит — на коленях у отца в большом кресле. Пит задремал около половины восьмого, и Джо отнес его в постель. Через час я послала спать Джо-младшего, а Селена ушла в девять. Обычно я ложилась около десяти, а Джо мог сидеть до полуночи, задремывая, перечитывая избранные места в газете и ковыряя в носу. Так что видишь, Фрэнк, некоторые взрослые тоже занимаются этим.

В тот вечер я не пошла спать, а сидела с Джо. Боль утихла, и я могла сделать то, что собиралась. Может быть, я боялась, но это не имело никакого значения. Я просто ждала, когда он заснет, и вот он задремал.

Я встала, пошла на кухню и взяла со стола небольшой кувшин для молока. Он стоял там, потому что Джо-младший, который в тот день убирал со стола, забыл поставить его в холодильник. Джо всегда о чем-нибудь забывал: поставить кувшин в холодильник, накрыть масленку крышкой, завернуть хлеб в пакет, чтобы он не черствел. И теперь, когда я вижу, как он по телевизору говорит о чем-то, что я с трудом понимаю, я думаю, что бы сказали демократы, если бы узнали, как плохо лидер их большинства в сенате штата Мэн убирал со стола, когда ему было одиннадцать. Хотя, конечно, я горжусь им и всегда гордилась, хоть он и чертов демократ.

К тому же он забыл убрать именно то, что надо: кувшин был маленький, но тяжелый, и держать его было удобно. Я пошла к ящику для дров и взяла топорик с короткой ручкой, который там стоял. С этим я вернулась в комнату, где он спал. Кувшин я держала за ручку и с размаху ударила им по голове Джо. Кувшин разлетелся на тысячу кусков.

Он подскочил на метр, Энди, ты бы видел! Господи Боже и сын Его! Он завопил, как бык, которому прищемило хвост калиткой. С выпученными глазами он скатился за ухо, из которого сразу потекла кровь. На щеке его остались брызги сметаны.

«Хочешь еще, Джо? — спросила я. — Я, оказывается, еще не устала».

Я слышала, как Селена соскочила с постели, но не посмела оглянуться. Раз уж я это сделала, нужно было действовать быстро. Топор я держала в левой руке, пряча его под фартуком, и, когда Джо начал подниматься со своего кресла, я вынула его и показала ему.

«Если не хочешь получить этим по башке, — сказала я, — сядь лучше обратно».

Какую-то секунду я думала, что он все равно встанет. Если бы он это сделал, тут бы ему и конец, потому что я не шутила. Он тоже понял это и плюхнулся назад в кресло.

«Мама!» — позвала Селена из комнаты.

«Иди спать, дорогая, — сказала я, не отводя глаз от Джо. — Мы с папой должны поговорить».

«Все в порядке?»

«Ага, — сказала я. — Правда, Джо?»

«Угу, — промямлил он. — В порядке».

Я услышала, как она отошла назад, но секунд десять не слышала, как хлопнула дверь ее комнаты, и знала, что она стоит там и смотрит на нас. Джо так и сидел с одной рукой на ручке кресла, чуть приподнявшись. Потом мы оба услышали, как ее дверь закрылась, и это, казалось, заставило Джо понять, как по-дурацки он выглядел с другой рукой, прижатой к уху, с которого стекали кровь и сметана.

Он окончательно сел и убрал руку от лица. Ухо распухло и все еще кровоточило. «Ну, стерва, — сказал он, — ты мне за это заплатишь».

«Да? — спросила я. — Ну так слушай меня, Джо Сент-Джордж: все, что я тебе заплачу, ты вернешь мне вдвойне».

Он осклабился, будто не верил тому, что слышал:

«Тогда почему бы мне просто не прикончить тебя?»

Я протянула ему топор непроизвольно, и только когда увидела, как он взял его, поняла, что это единственное, что я могла сделать.

«Давай, — сказала я. — Только постараися сразу — я и так достаточно намучилась».

Он переводил взгляд с меня на топор и обратно, и выражение на его лице было бы комичным, если бы не серьезность того, что происходило.

«А когда сделаешь, разогрей ужин и поешь хорошенъко, — продолжала я. — Съешь, сколько можешь, потому что, я слышала, в тюрьме не балуют домашней едой. Думаю, сначала тебя отправят в Белфаст, — там как раз выстроили новый корпус».

«Заткнись, сука» — сказал он. Но я не заткнулась:

«А потом тебя переведут в Шоушенк, и я знаю, что там не балуют горячими обедами. И не позволят тебе играть по ночам в покер с твоими друзьями-алкашами. Так что, прошу тебя, делай все быстрее, пока дети не увидели».

После этого я закрыла глаза. Я была почти уверена, что он ничего такого не сделает, но «почти» очень много значит, когда на кону стоит ваша жизнь. Тем вечером я поняла одну вещь. Я стояла с зажмуренными глазами, представляя, как топор вот-вот обрушится на мой нос, рот, подбородок. Помню, я думала, успею ли почувствовать на вкус щепки дерева на лезвии прежде, чем умру, и радовалась, что хорошо наточила топор два или три дня назад. Если он убьет меня, то по крайней мере острым орудием.

Мне кажется, что яостояла так лет десять. Потом он сказал: «Ну что, пойдешь спать или так и будешь стоять тут, как Белоснежка, описавшаяся во сне?»

Я открыла глаза и увидела, что он сунул топор под кресло — я видела только кончик рукоятки. Газета лежала у него на коленях, как тент. Он взял ее и развернул, делая вид, что ничего не случилось, но по щеке его все еще текла кровь, а руки дрожали так, что он еле смог развернуть газету. На бумаге остались красные следы, и я решила перед сном сжечь эту пакость, чтобы дети утром не увидели.

«Я пойду спать, но сперва нам нужно разобраться с этим, Джо».

Он поднял глаза и сказал сквозь зубы: «Не начинай снова, Долорес. Ты сильно ошиблась. Не надо было *так* поступать со мной».

«Я просто хотела сказать, что кончились дни, когда ты бил меня. Если ты сделаешь это еще раз, один из нас отправится в больницу. Или в морг».

Он долго смотрел на меня, Энди, и я тоже смотрела на него. Топора у него в руках не было, но я знала — если я первой опущу глаза, удары и пинки начнутся снова. Но он опустил глаза раньше, уткнулся в газету и только пробормотал: «Делай свое дело, женщина. Принеси полотенце, а то я заляпаю кровью всю рубашку».

Это был последний раз, когда он меня ударил. Он испугался, хотя я не кричала на него и не угрожала ни до того, ни после. Конечно, я не стала бы бить его этим кувшином, если бы не знала этого, но когда я сидела на стуле после того, как он ударил меня, я поняла, что, если я не остановлю его сейчас, то не сделаю этого никогда больше. Вот я это и сделала.

Знаете, надеть кувшин на голову Джо было не самым сложным. Перед этим я вспоминала, как мой отец бил мать и хлестал ее мокрым брезентом по ногам — я любила их обоих, и все же мне тяжело было вспоминать это. Я не хотела, чтобы Селена видела, как ее мать с распухшим лицом сидит и плачет только потому, что имела когда-то глупость выйти замуж за подонка. Это уже не «воспитание» — бить женщину, с которой живешь, кулаками или поленом, и я, наконец, решила, что глупо позволять это Джо Сент-Джорджу, как и любому другому мужчине.

Потом ему не раз хотелось поднять на меня руку, но всякий раз я видела в его глазах, что он помнит про кувшин... а может быть, и про топор. Поэтому он притворялся, что поднял руку только затем, чтобы почесать лоб. Так он получил первый урок, который остался и единственным.

Было кое-что еще после того вечера, когда он ударил меня поленом, а я его кувшином. Я не хочу говорить об этом — я из тех старомодных людей, которые считают, что то, что происходит в спальне, не должно выходить оттуда, — но теперь скажу, потому что это часть всего, что случилось.

Хотя мы с ним прожили с тех пор еще два года, почти три, он только несколько раз пытался предъявить свои права. Он...

Что, Энди?

Конечно, я имею в виду, что он стал импотентом! Или ты думаешь, я говорю о его праве глядеть на меня голую? Я никогда не отказывала ему, он просто не мог. Он никогда не был особенным силачом в этом — всегда это было «раз-два-благодарю вас, мэм». Но у него еще хватало интереса забираться на меня раз или два в неделю, пока я не разбила об него кувшин.

Конечно, частично это было из-за пьянства — он пил все больше и больше, — но не думаю, что только из-за него. Я помню, как однажды ночью он скатился с меня после двадцати минут бесполезного пыхтения, и его штуковина висела, как макаронина. Не помню, когда это было, но явно после той ночи, потому что почки у меня болели, и я, лежа под ним, думала после пойти на кухню и выпить анальгин.

«Вот, — сказал он, чуть не плача. — Ты довольна, Долорес? Скажи мне».

Я ничего не сказала. Есть случаи, когда даже мужчина может отличить ложь от правды.

«Скажи, — настаивал он. — Ты довольна?»

Я по-прежнему молчала, глядя в потолок и слушая, как за окнами воет ветер. Он дул с востока, я слышала в нем голос океана и любила этот звук — он меня убаюкивал.

Он повернулся, и я почуяла его дыхание, провонявшее пивом. «Можешь гасить свет и дальше, — сказал он, — только без толку. Я и в темноте вижу твою уродскую рожу, — он протянул руку и дернул меня за сосок. — И это: плоская, как противень. А дыра у тебя еще хуже.

Черт, тебе же нет тридцати пяти, а трахать тебя — все равно что трахать мешок с грязью».

Я хотела сказать: «В мешок с грязью ты смог бы воткнуть свою макаронину, Джо, может тогда тебе было бы легче», но я придержала язык. Патриция Клэйборн не рожала болванов, я вам уже говорила.

Он затих, и я даже подумала, что усыпила его, и собиралась идти за анальгином, когда он заговорил опять... И на этот раз он точно плакал.

«Хотел бы я никогда не видеть твою рожу, — сказал он, и потом. — Ну почему ты не отрубила его своим чертовым топором? Так было бы лучше».

Так что, как видите, удар пришелся ему не только по голове, и с этим мне тоже предстояло разбираться. Я по-прежнему молчала и ждала, уснет он или попытается опять побить меня. Он просто лежал, и скоро я услышала, как он сопит. Не помню, был ли это последний раз, когда он предъявлял супружеские права, во всяком случае, один из последних.

Никто из его собутыльников, конечно, ничего не узнал об этом — разве стал бы он рассказывать им, что жена избила его кувшином, а его дружок не может поднять головы? Как бы не так! Когда они хвастались, как они учат своих жен, он не отставал от них и рассказывал, как всыпал мне за то, что я много болтала, или, может быть, за то, что купила в Джонспорте новое платье на деньги, отложенные на кухонный шкаф.

Откуда я знаю? Но, когда я раскрываю уши, а не рот, а это бывает не так уж редко, хотя вы и не поверите, то слышу много всякого.

Как-то, когда я работала у Маршаллов — помнишь, Джона Маршалла, Энди, который все предлагал провести мост на материк? — в доме зазвонил звонок. Я была одна, поспешила открыть дверь и ударила о каминную доску. На руке, прямо над локтем, остался громадный синяк.

Тремя днями позже, когда синяк из коричневого стал желто-зеленым, я встретила в магазине Иветту Андерсон. Она посмотрела

на синяк, и, когда она заговорила со мной, ее голос так и дрожал от сочувствия. Женщина, которая видит такие вещи, счастливее свиньи, нашедшей новую лужу.

«Какие ужасные эти мужчины, Долорес!» — воскликнула она.

«Когда как», — ответила я. Я не имела понятия, о чем она говорит — я думала только о том, чтобы успеть купить свиных отбивных.

Она осторожно взяла меня под руку — другую, не ушибленную, — и сказала: «Держитесь, дорогуша. Все делается к лучшему. Я сама прошла через это, и я знаю. Я буду молиться за вас, Долорес». Последнее она произнесла так торжественно, будто давала мне миллион долларов. Я вошла в магазин заинтригованная. Можно было подумать, что она лишилась ума, но всякий, кто знал Иветту, знал и то, что ей нечего было лишаться.

Я стояла у прилавка, и Скиппи Портер взвешивал мои отбивные, когда до меня дошло. Я так расхохоталась, что Скиппи уставился на меня и спросил: «Вы в порядке, миссис Клэйборн?»

«В порядке, — сказала я. — Просто вспомнила кое-что смешное.»

«Понятно», — и Скиппи повернулся к своим весам. Благослови Господь Порттеров: пока они здесь, на острове будет хотя бы одна семья, занимающаяся только своими делами. А я продолжала смеяться, и несколько встречных поглядели на меня так, будто я свихнулась. Но когда жизнь выкидывает такие коленца, не смеяться просто невозможно.

Муж Иветты, то есть Томми Андерсон, в конце пятидесятых и потом был одним из дружков Джо. Через день-два после того, как я ударила руку, целая толпа их заявилась к нам, чтобы покататься на приобретении Джо — подержанном «Форде-пикапе», — и мне пришлось поить всех этих бездельников чаем.

Томми, должно быть, видел мой синяк, когда я наливалась чай, и спросил потом у Джо, в чем дело. Во всяком случае, мой муженек не упустил случая похвастаться. Думая об этом по пути из магазина, я гадала, почему по словам Джо, я получила этот синяк — потому ли, что помедлила принести ему тапочки или пересолила бобы на субботний ужин. Что бы там ни было, Томми пришел домой и рассказал Иветте, что Джо Сент-Джордж опять «воспитывал» жену. И все это из-за того, что я в спешке ушиблась о каминную полку!

Вот что я имела в виду, когда говорила, что у брака есть две стороны — внешняя и внутренняя. Люди на острове смотрели на меня с Джо, как и на все другие пары нашего возраста: не очень счастливые, не очень несчастные, просто бегут рядом, как две лошади в упряжке... они могут ссориться и дуться друг на друга, но

будут по-прежнему тащить эту упряжку и ни в коем случае не станут кусаться, лягаться и делать что-нибудь такое, что может замедлить движение.

Но люди не лошади, и брак — не упряжка, хотя были времена, когда мне и самой так казалось. Люди на острове не знали о кувшине и о том, как Джо плакал ночью и желал никогда не видеть мою уродскую рожу. Но это было еще не самым худшим. Худшее началось через год после того, как мы закончили постельные дела. Смешно, когда люди смотрят на какую-то вещь в упор и совершенно неправильно судят о том, почему она случилась. Но это естественно, если помнишь, что есть внешняя и внутренняя стороны брака. То, что я сейчас расскажу вам, всегда было внутри, и до сегодняшнего дня я думала, что оно там и останется.

Оглядываясь назад, я думаю, что все началось в 62-м. Селена только начала ездить в высшую школу на материк. Она стала очень хорошенькой, и я помню, что тем летом у них были очень теплые отношения с отцом. Я беспокоилась насчет его дурного влияния на нее и насчет того, что он начнет перетягивать ее к себе.

Вместо этого семья наслаждалась коротким периодом мира и дружелюбия, когда она выходила и смотрела, как он за домом копается в машине, или сидела рядом с ним на диване, когда мы вечером смотрели телевизор, и расспрашивала о проведенном дне. Он отвечал ей так спокойно и рассудительно, как я и вспомнить не могла... но помнила. Таким он был в школе, когда я только познакомилась с ним и он хотел меня очаровать.

И в то же время она отдалась от меня. Конечно, она делала то, о чем я ее просила, и иногда рассказывала о своих делах в школе... но только когда я вытягивала это из нее. Появилась холодность, какой раньше и в помине не было, и только потом я смогла связать это с тем моментом, когда она вышла из комнаты и увидела нас: своего отца с рукой, прижатой к окровавленному уху, и меня, стоящую над ним с топором.

А он был не из тех, кто упустил бы такую возможность, я вам это уже говорила. Томми Андерсону он рассказывал одну историю, а дочери — другую, но это были два входа в одну церковь. Думаю, сперва это была только злость: он знал, как я люблю Селену, и решил втолковать ей какая я нехорошая, а может, и опасная. Он пытался настроить ее против меня, и, хотя в этом он не слишком преуспел, ему удалось сойтись с ней ближе, чем когда-либо раньше. А почему нет? Она всегда была отзывчивой девочкой, моя Селена, а я не знала никого, кто умел бы так давить на жалость, как Джо.

Он влез в ее жизнь и, осмотревшись там, заметил, какая она хорошенькая, и решил, что ему надо от нее что-то еще, кроме как

слушать его болтовню или подавать ключи, когда он роется в моторе. И все время, пока дело менялось к худшему, я крутилась как белка в колесе, работала на четырех работах и пыталась каждую неделю выкроить что-нибудь из расходов и счетов и отложить детям на колледж. Я ничего не замечала, пока не стало чересчур поздно.

Она была живая, веселая девочка, и всегда была готова помочь. Когда ее просили что-нибудь принести, она не медлила, бежала сразу. Когда она подросла, то готовила ужин, если я задерживалась на работе, без лишних напоминаний. Сперва у нее частенько подгорало, и Джо кричал на нее и отправлял плачущую в ее комнату, но со временем, о котором я говорю, он перестал это делать. Тогда, весной и летом 62-го, он вел себя так, будто каждый ее пирог был чистой амброзией, даже когда он оказывался тверже цемента, и нахваливал простое мясо, говоря, что оно вкуснее французских деликатесов. Конечно, она гордилась этим, но не задирала нос, она была не из таких. Хотя скажу вам вот что: когда Селена уехала из дома, ее худшие блюда были лучше, чем самые удачные мои.

Что касалось помощи по дому, то лучшей дочки и представить было нельзя... особенно для матери, которая проводила чуть не весь день, убирая чужие дома. Селена никогда не забывала утром дать Джо-младшему и Маленькому Питу с собой обед, когда они уходили в школу, и оборачивала им учебники в начале каждого года. Джо-младший, по крайней мере, мог бы делать это и сам, но она не давала ему шанса.

Ей приходилось много учиться, но она не теряла интерес к тому, что происходит в семье, как часто бывает с детьми. Большинство детей лет в тринадцать-четырнадцать думают, что все, кому за тридцать, — старые чучела, и забывают о них через две минуты после того, как выйдут за дверь. Но только не Селена. Она подавала им кофе или помогала с посудой, а потом сидела на стуле возле печки и слушала разговоры, были ли это я с подругами или Джо с тремя-четырьмя друзьями. Она оставалась, даже когда они играли в покер, хотя словечки они отпускали еще те. Она все слушала — ведь дети обращаются с разговором взрослых, как мыши с куском сыра: что могут — съедают, а что не могут — оставляют на потом.

Ну а после она переменилась. Не знаю, когда это началось, но думаю, вскоре после того, как начался ее выпускной год. Где-то в конце сентября.

Сперва я заметила, что она не приезжает домой с ранним паромом, как раньше, а ведь ей это было удобно — она успевала сделать домашнее задание до прихода мальчишек и начинала убирать или готовить ужин. Вместо двухчасового она стала приезжать на пароме, который шел в четыре сорок пять.

Когда я спросила ее об этом, она сказала, что решила делать домашнее задание в школе, вот и все, и посмотрела на меня так, что было ясно — она не хочет говорить истинной причины. Мне показалось, что я увидела в ее глазах стыд... и какую-то боль. Это меня встревожило, но я решила подождать, пока что-нибудь определится. Видите ли, говорить с ней было нелегко — между нами чувствовалось отчуждение, и я понимала, откуда это пошло: от Джо, сидящего в кресле, и от меня, стоящей над ним с топором. Тогда я впервые поняла, что он наговорил ей про меня и про все остальное.

Мне хотелось расспросить ее получше, но даже я, тридцатипятилетняя женщина, вряд ли смогла бы ответить внятно на вопрос «что с тобой происходит?» — а уж что говорить о пятнадцатилетней девочке? В этом возрасте с детьми ужасно трудно говорить: приходится ходить вокруг них на цыпочках, как вокруг склянки с нитроглицерином.

Как-то они в школе устроили родительский вечер, и я отправилась туда, имея в виду свое. С учительницей можно было не так церемониться: я прямо спросила ее, не знает ли она, почему Селена стала позже уезжать из школы. Та сказала, что не знает, но думает, что девочка просто хочет получше подготовиться. Я подумала, что раньше она нормально готовилась за своим маленьким столиком дома, но не сказала. Было видно, что ее все это не интересует и сама она мчится домой, как только прозвенит звонок.

Другие учителя тоже ничем мне не помогли. Я послушала, как они расхваливают Селену — не скрою, это было не так уж неприятно, — и отправилась домой, зная не больше, чем по пути туда.

Я сидела в кабине парома и смотрела, как парень с девушкой ненамного старше Селены стоят снаружи, держась за перила, и смотрят на луну, встающую над океаном. Он повернул ее к себе и сказал что-то такое, что заставило ее рассмеяться. Ты будешь ослом, если упустишь такой шанс, сказала я себе, но он не упустил — взял ее за руку, притянул ближе и поцеловал в самые губы. Я обругала себя дурой, когда смотрела на них. Я забыла, что в пятнадцать лет каждый нерв в теле готов вспыхнуть, как римская свеча. Селена встретила парня, вот и все, и теперь они вместе делают уроки после школы. Я даже почувствовала облегчение.

Я думала об этом несколько дней — когда стираешь, гладишь и пылесосишь ковры, хорошо только то, что всегда есть время подумать, — и чем больше я думала, тем больше сомневалась. Она не говорила ни о каких парнях, это во-первых, а не в характере Селены было молчать о том, что ее занимало. Конечно, она была не так откровенна со мной, как раньше, но никакой стены молчания между нами не было. Кроме того, меня беспокоили ее глаза, очень беспо-

коили. Я же знаю, что если девчонка сходит с ума по какому-нибудь парню, глаза у нее сияют, будто кто-то зажег в них фонарики. Но у Селены этого сияния в глазах не было, сколько я ни смотрела... и это еще не самое плохое. Свет, который был в них раньше, тоже пропал — вот что было хуже всего. Смотреть ей в глаза было как заглядывать в окна дома, из которого давно выехали жильцы и забыли закрыть ставни.

Это открыло, наконец, *мои* глаза, и я стала замечать то, чего раньше не видела — потому, что много работала, и еще потому, что думала о том, что Селена дуется на меня из-за той сцены с кувшином.

Сперва я заметила, что она отдалась и от Джо. Она больше не выходила к нему, когда он чинил мотор во дворе, и не сидела рядом с ним на диване у телевизора. Если она и была там, то устраивалась возле печки с вязаньем на коленях. Но большую часть вечеров она проводила в своей комнате, за закрытой дверью. Джо это, казалось, не беспокоило. Он так же сидел в кресле, держа на коленях Маленького Пита, пока тот не укладывался спать.

И еще ее волосы — она перестала расчесывать их каждый день. Иногда они казались достаточно сальными, чтобы жарить на них яйца, и это вовсе не было похоже на Селену. У нее всегда была чистая белая кожа с еле заметными веснушками — должно быть, наследство со стороны Джо, — а в эту осень на лице у нее высypали прыщи, как тюльпаны на садовой клумбе после Дня Памяти. И аппетит у нее пропал.

Она общалась еще с двумя своими подругами, Таней Кэрон и Лори Лэнгилл, но не так часто, как раньше. Я вдруг поняла, что ни Таня, ни Лори давно не были у нас дома... во всяком случае, с последнего месяца каникул. Это напугало меня, Энди, и заставило поближе присмотреться к моей девочке. То, что я увидела, напугало меня еще больше.

Например, то, что она стала иначе одеваться. Сам стиль ее одежды изменился, и изменился к худшему. Вместо платьев и юбок она теперь надевала в школу свитера, которые все были ей велики. В них она выглядела толстой и бесформенной.

Дома она носила такие же свитера, доходящие до колен, и не вылезала из джинсов и рабочих ботинок. На голову она наматывала какую-то уродскую косынку, закрывающую лоб до бровей так, что глаза ее глядели из-под этой косынки, как два испуганных зверька из пещеры. И однажды, когда я не постучала в дверь, когда заходила к ней вечером, она чуть не сломала ноги, метнувшись за своей хламидой, которая висела на стуле.

Но хуже всего было то, что она перестала говорить — не только со мной, но и с остальными. За ужином она сидела, опустив голову

так, что отросшие волосы падали ей на глаза, а когда я пыталась завести с ней разговор, спрашивая, как дела в школе, она отвечала что-то вроде «угу» и «ну» вместо того ручейка, каким журчала раньше. Джо-младший тоже пытался и наткнулся на ту же стену. Он смотрел на меня с удивлением, но я только пожимала плечами. И как только ужин заканчивался и посуда была вымыта, она исчезала в своей комнате.

И, спаси Господи, первое, о чем я подумала, когда поняла, что это не парень — марихуана. Не смотри на меня так, Энди, будто я не знаю, о чем говорю. Да, тогда это называли «марихуаной» или «понюшкой», а не «травой», но это была та же штука, и многие на острове пробовали ее, если цены на омаров шли вниз... и даже если не шли. Тогда на прибрежных островах многие баловались этим, и так осталось до сих пор. Кокаина тогда, слава Богу, не было, но марихуану можно было найти без труда. Как раз тем летом береговая охрана сцепала Марки Бенуа — у него нашли четыре шарика этой дряни в ботинке, и я, наверное, из-за этого так подумала. Сейчас удивляюсь, как я могла не разглядеть самой простой причины, которая сидела со мной за одним столом, требуя обычно мытья и бритья — Джо Сент-Джордж собственной персоной, самый большой подонок Высокого острова. А я в это время думала, что моя девочка прячется за школьным забором и курит дрянь. Подумать только!

Я хотела уже зайти к ней и пошарить в столе и в шкафу, но потом мне стало стыдно. Чем-чем, Энди, а ищейкой я не была никогда в жизни. Сама эта идея показывает, как я тогда ходила по вокруг да около и дожидалась, пока все решится само собой.

Потом однажды — перед Хэллуином, потому что Маленький Пит выставил в окне бумажную ведьму, — я решила после обеда наведаться к Стрэйхорнам. Мы с Лайзой Макэндлес должны были перевернуть их большие персидские ковры — это нужно делать каждые полгода, чтобы они не выгорали, хотя они давно уже выгорели, черт бы их побрал. Я надела пальто и уже застегнулась, а потом сказала себе: дура, зачем тебе это пальто? На улице шестьдесят пять градусов, настоящее индейское лето. А другой голос сказал: на берегу-то не так жарко, там не больше пятидесяти. Вот я и решила не ходить к Стрэйхорнам, а съездить на пароме в Джонспорт проведать Селену. Я позвонила Лайзе, сказала, что переворачивание ковров откладывается, и пошла на паром. Я как раз успела на 2.15, и если бы я опоздала, то потеряла бы и ее, и кто знает, как тогда бы все обернулось?

Я сошла с парома первой — они только успели прикальпить, — и сразу отправилась в школу. По пути мне представлялось, что я не найду ее в классе, что бы там они ни говорили с ее учительницей,

что она сидит за забором в компании таких же сопляков, и они ржут и передают друг другу замусоленную сигарету, а может, и бутылку дешевого вина. Если вы никогда не были в такой ситуации, вам не понять. Одно могу сказать — я просто шла вперед, надеясь, что не увижу ничего такого.

И точно, когда я заглянула в дверь класса, она сидела там, за столом, склонившись над учебником алгебры. Сперва она не заметила меня, и я стояла и смотрела на нее. Она не попала в плохую компанию, как я боялась, но мне от этого было не легче, Энди, потому что я видела, что здесь дело похуже. Может, ее учительница не видела ничего странного в том, что девочка одна сидит после уроков в классе: может, ей это даже нравилось. Мне это совсем не нравилось.

Ей нужно было болтать с подружками, слушать пластинки или уж любоваться луной с каким-нибудь парнем, а не сидеть здесь, в пыльной и душной комнате, среди запаха мела и увядших цветов, склонившись над учебником с таким видом, будто там заключены все тайны жизни и смерти.

«Здравствуй, Селена», — сказала я ей. Она подпрыгнула, как кролик, скинув половину своих книжек на пол. Глаза у нее были с пол-лица, а лоб и щеки побледнели, как сливки, только новые прыщи горели на них, как ожоги.

Когда она увидела, что это я, страх исчез, но не сменился радостью. Как будто занавеска опустилась на ее лицо... или будто она зашла в замок и убрала за собой мост. Да, именно так. Понимаете, что я имею в виду?

«Мама! — сказала она. — Что ты тут делаешь?»

Я хотела сказать: «Я пришла отвезти тебя домой и расспросить кое о чем, моя малышка», — но что-то подсказало мне, что такое лучше не говорить в этой пустой комнате, где так же пахло бедой, как мелом и пылью. Я чуяла этот запах и хотела понять, откуда он идет. Я уже не думала, глядя на нее, что это наркотики, но, что бы это ни было, оно пожирало ее заживо.

Я сказала ей, что просто поехала в магазин, но не нашла того, что мне нужно. «Вот я и подумала: может, мы вместе вернемся домой? Как ты, Селена?»

Она, наконец, улыбнулась. Я готова была отдать тысячу долларов за эту улыбку — улыбку для меня.

«Конечно, мама. С удовольствием».

И мы пошли вниз по холму к парому, и когда я стала спрашивать ее о школе, она рассказала мне больше, чем за несколько недель. После этого испуганного крольччьего взгляда, каким она встретила меня, она казалось совсем переменившейся, и я уже начала надеяться.

Нэнси, наверное, не знает, как мало народу на пароме, идущем в 4.45, но вы это знаете. Большинство тех, кто работает на материке, возвращаются домой в полшестого, и 4.45 развозит только почту и товары в магазин. Поэтому даже в тот дивный осенний день мы с ней были на палубе почти одни.

Мы стояли там, глядя на дорожку воды, бегущую за паромом. Солнце уже клонилось к закату, и его след на воде дробился волнами на маленькие золотые слитки. Когда я была маленькой, отец говорил мне, что это настоящее золото и что русалки иногда выплывают и собирают его. Хотя я была в возрасте Селены, я никогда не сомневалась в этом, как и во всем, что говорил отец.

Вода в тот день была темно-синей, как бывает только в тихие дни в октябре, и шум дизеля убаюкивал нас. Селена сняла с головы платок, подняла руки и со смехом воскликнула: «Здорово, правда, мама?»

«Да, дочка. И ты тоже хороша. Почему в другие дни ты не такая?»

Она посмотрела на меня, и я увидела, что у нее как будто два лица: одно, верхнее, выражало удивление и все еще смеялось, но то, что было под ним, смотрело беспокойно и недоверчиво. В этом нижнем лице было все, что Джо наговорил ей за весну и лето, прежде чем она стала избегать его. У меня нет друзей, вот что говорило это лицо. Во всяком случае, вы мне не друзья. Чем дольше я смотрела на нее, тем больше это проявлялось.

Она перестала улыбаться и стала смотреть на воду. Это расстроило меня, Энди, но я не поддалась жалости, как потом не поддавалась ей с Верой. Нам всем иногда приходится быть жестокими, как доктору, который делает укол плачущему малышу. Тогда мне было больно сознавать это, и до сих пор больно.

«Я не знаю, о чем ты, мама», — сказала она, глядя на меня также беспокойно.

«Ты переменилась — сказала я. — Твоя одежда, твое поведение. Похоже, с тобой что-то случилось».

«Ничего», — пробормотала она, отворачиваясь от меня, но я поймала ее за руки прежде, чем она успела их убрать. Нужно было на этот раз довести дело до конца.

«Нет, есть чего, и мы не сойдем с этого парома, пока ты мне все не расскажешь».

«Ничего! — закричала она, пытаясь вырвать руки, но я держала крепко. — Ничего не случилось, и пусти меня! Пусти!»

«Погоди, — сказала я. — Что бы это ни было, это не убавит моей к тебе любви, Селена, но я не могу помочь тебе, не зная, в чем дело».

Она перестала вырываться и только смотрела на меня. И я увидела под двумя ее лицами третье, которого сперва не замечала —

жалкое, испуганное. Селена многое взяла от меня, но в этот момент она удивительно походила на Джо.

«Сперва скажи мне одну вещь», — попросила она.

«Конечно, если только смогу».

«Почему ты ударила его? — спросила она. — Почему ты тогда его ударила?»

Я едва не спросила «кого», чтобы выгадать время — но тут же поняла кое-что. Не спрашивай, «как», Энди — может быть, это то, что называется женской интуицией, — но я поняла, что если я помедлю хоть одну секунду, то потеряю ее. Поэтому я не стала медлить.

«Потому, что он перед тем ударил меня поленом по спине, — сказала я. — Едва не отбил мне почки. Я тогда решила не позволять ему больше делать этого. Вот и все».

Она моргнула, и ее рот приоткрылся, как большая удивленная буква «О».

«Он ведь говорил тебе другое, так ведь?»

Она кивнула.

«А что он говорил? Из-за его пьянства?»

«Да и из-за покера, — сказала она еле слышно. — Он говорил, что ты не хочешь, чтобы он или кто другой веселились. Что поэтому ты не хотела, чтобы он играл в покер, и чтобы я в прошлом году пошла ночевать к Тане. Он говорил, что ты хочешь заставить всех работать восемь дней в неделю, как ты сама. И поэтому ты ударила его этим кувшином и угрожала отрезать голову, если он что-нибудь сделает. И что ты ударила его, когда он спал».

Я едва не рассмеялась, Энди, до того это было глупо.

«И ты ему поверила?»

«Не знаю, — сказала она. — Я так боялась, когда вспоминала этот топор, что не знала, чему верить».

Этот ответ вонзился мне в сердце, как нож, но я не подала виду.

«Селена, — сказала я, — это неправда».

«*Так оставь меня в покое!* — крикнула она, вырываясь. На ее лице снова появилось это затравленное выражение, и я поняла, что она не просто стыдится чего-то, а боится до полусмерти. — Я сама разберусь! Не нужно мне твоей помощи, и оставь меня в покое!»

«Ты не разберешься сама, Селена, — сказала я тихо, успокаивающе, как говорят с телятами или ягнятами, когда освобождают их из колючей проволоки. — Послушай меня. Мне жаль, что ты увидела меня с топором, я очень жалею обо всем, что ты увидела и услышала той ночью. Если бы я знала, что это сделает тебя такой, я бы ничего не сделала, а терпела бы и дальше».

«Ты что, не можешь помолчать? — она, наконец, вырвала свои руки и заткнула ими уши. — Я не хочу тебя больше слушать. Не хочу».

«Я не могу помолчать, потому что все это кончилось, и надо с этим как-то жить. Поэтому дай мне помочь тебе, дорогая моя. Прошу тебя», — я попыталась обнять ее.

«*Нет! Не бей меня! Не трогай меня, сволочь!*» — закричала она и отпрянула назад. Она споткнулась о перила, и сердце у меня замерло: я была уверена, что она так и спланирует в океан. Но, слава Богу, руки у меня проворнее сердца, и я успела схватить ее за пальто и притянуть к себе. Я поскользнулась на чем-то и сама чуть не упала. Пока я восстанавливала равновесие, она опять вырвалась и ударила меня ладонью по лицу.

Я не обратила на это внимания, только снова поймала ее и обняла. Мне было не больно, но я так боялась потерять ее, когда она перегнулась через перила, и я представила, как она падает головой вниз — прямо увидела это. Наверное, с тех пор у меня и поседели волосы.

Потом она стала плакать, и извиняться, и говорить, что не хотела меня бить, и я успокоила ее и сказала, что я так и думала. Но то, что она сказала потом, приковало меня к месту.

«Тебе не нужно было удерживать меня, мама. Пусть бы я утонула».

Я чуть отодвинулась от нее — к тому времени мы уже обе плакали, — и сказала: «Никогда не говори мне таких вещей, дорогая, слышишь?»

Она покачала головой:

«Я не хочу оставаться здесь, мама... не могу. Я чувствую себя такой грязной и несчастной, что не могу ничему радоваться».

«Но почему? — спросила я, снова начиная бояться. — Почему, Селена?»

«Если я скажу тебе, — проговорила она, — то ты сама столкнешь меня в воду».

«Как знаешь. Но я сказала тебе, что мы не сойдем с этого парома, пока ты все мне не расскажешь. Так что если хочешь болтаться тут до конца года, то так тому и быть. Боюсь только, что мы обледенеем тут еще до конца ноября, если раньше не помрем от простуды».

Я думала развеселить ее, но она только нагнула голову и сказала что-то; глядя в палубу, так тихо, что я не расслышала.

«Что ты говоришь, дорогая?»

Она повторила, и на этот раз я услышала, несмотря на рев волн и шум мотора. Тут же я поняла все, и с этого момента для Джо Сент-Джорджа начался отсчет дней.

«Я не хотела. Это все он», — вот что она сказала.

Я целую минуту не могла двинуться, а когда потянулась к ней, она отпрянула. Лицо ее было белым, как бумага. Тут паром тряхнуло, и я села бы на свою старую задницу, если бы Селена не

поймала меня за руку. В следующий момент я опять обняла ее, и она расплакалась.

«Иди сюда, — сказала я ей. — Сядь и расскажи мне все. Достаточно мы болтались по разным сторонам лодки, так ведь?»

Мы пошли к скамейке, обнимая и поддерживая друг друга, как пара инвалидов. Не знаю, чувствовала ли Селена себя инвалидом, но я уж точно чувствовала. Селена плакала так, будто решила выпустить из себя все запасы жидкости, и я была рада, слыша этот ее плач. Конечно, я с большим удовольствием послушала бы ее смех, но выбирать не приходилось. Только тогда я поняла, что она потеряла не только румянец и аппетит, но и *чувства*.

Мы сели на скамейку, и я дала ей выплакаться. Когда ее немного отпустило, я дала ей свой платок, но она не взяла его, а только посмотрела на меня и спросила:

«Так ты не будешь ненавидеть меня, мама? Это правда?»

«Нет, — ответила я. — Ни теперь, ни когда-нибудь еще. Обещаю тебе. Но я хочу услышать все, с самого начала. Я вижу, что ты думаешь, что не сможешь, это рассказать, но я знаю, что сможешь. И помни — ты можешь никому больше не говорить об этом, даже своему мужу, но мне ты *должна* рассказать. Понимаешь?»

«Да, мама, но он сказал, если я расскажу... он сказал, что ты можешь... как тогда, когда ударила его кувшином... он сказал, что если мне захочется рассказать тебе, чтобы я вспомнила про топор...»

«Нет, *не* то, — сказала я. — Начни сначала и говори все по порядку. Но сперва я хочу узнать одну вещь. Твой отец был с тобой, так ведь?»

Она потупилась и ничего не сказала. Мне этого было достаточно, но ей нужен был громкий ответ.

Я подняла ей пальцем подбородок и заглянула в глаза: «Так или нет?»

«Да», — выдавила она и заплакала снова. На этот раз не так долго и сильно. Я не могла спросить, что он с ней делал, потому что она могла и не знать этого точно. В уме у меня был всего один вопрос: «Трахнул ли он тебя?» — но она могла не понять и этого, и кроме того, я никогда не решилась бы так спросить.

Наконец я решилась:

«Он всовывал в тебя свой член, Селена? Он совал его тебе туда?»

Она мотнула головой:

«Я не позволила ему. Пока еще».

После этого мы обе немного расслабились. Я чувствовала только гнев, как будто у меня внутри открылся глаз, о котором я никогда раньше не подозревала, и этим глазом я видела только Джо — его длинное лошадиное лицо, его желтые зубы и плотно сжатые губы. С тех пор я все время видела его, этот глаз не закрывался даже во

сне, и я начала понимать, что он не закроется, пока Джо будет жив. Это было как любовь, только наоборот.

А Селена тем временем рассказывала свою историю, с начала до конца. Я ни разу не прервала ее, и, конечно, все началось именно с той ночи, когда она увидела, как он сидит, держась за кровоточащее ухо, а я стою над *ним* с топором, будто и вправду собираюсь отрезать ему голову. Я ведь хотела только остановить его, Энди, и рискнула своей жизнью, но ничего этого она не видела. Она увидела только то, что говорило в *его* пользу. Дорога в ад вымощена благими намерениями, это так, и я знаю это по своему горькому опыту. Не знаю только, *почему* — почему желание добра так часто ведет ко злу. Думаю, для этого нужна голова поумнее моей.

Я не хочу пересказывать тут всю эту историю, не только из-за Селены, но и потому, что она слишком долгая и противная. Но я скажу, что она выдала сначала. Я никогда не забуду это, потому что это лишний раз подтверждает, как по-разному выглядят вещи со стороны и изнутри.

«Он был такой несчастный, — сказала она. — Из глаз его текли слезы, и пальцы были в крови, и он выглядел очень несчастным. Я ненавидела тебя не за его кровь, а за этот взгляд, и дала себе слово как-то возместить ему это. Перед сном я стала на колени и стала молиться, чтобы Бог не позволил тебе ударить его еще раз. Я обещала сделать для него все, только бы он не был таким несчастным».

Вы хотели бы услышать такое от своей дочки, когда знаете, в чем действительно дело? А, Энди? Фрэнк? А ты, Нэнси Бэннистер из Кеннебанка? Знаю, что не хотели, и упаси вас Бог от такого.

Она начала ухаживать за ним — сидела рядом, когда он возился во дворе с машиной, и у телевизора, и слушала его обычный бред о политике — о том, что Кеннеди развел везде евреев и католиков, что комми на юге хотят пустить негров в школы и рестораны, и скоро вся страна встанет на уши. Она слушала и смеялась его щуткам, и клала ему в рот поп-корн, когда руки у него были в масле. Конечно, он не упустил такой возможности. Сначала он только настраивал ее против меня, рассказывая, какая я плохая и как я испортила ему жизнь.

А в конце весны 62-го он начал вести себя с ней не по-отцовски. Сперва он легонько поглаживал ее по ноге, когда они сидели на диване, а я зачем-нибудь выходила из комнаты, или шлепал по заднице, когда она приносила ему пиво в гараж. С этого все началось, а дальше было хуже. К середине июля бедная Селена уже боялась его не меньше, чем до этого меня. И ко времени, когда я, наконец, выудила из нее правду, он сделал с ней почти все, что мужчина может сделать с женщиной... и запугал ее так, что она сказать ничего не смела.

Я думаю, он начал приставать к ней напрямую перед Днем Труда, когда Джо-младший и Маленький Пит почти не появлялись дома, а я работала по двенадцать, а то и по четырнадцать часов в день. И когда никого не было дома, Джо шел к ней, тискал, просил поцеловать его или потрогать в «особых местах»! (так он говорил) и объяснял, что мужчине это обязательно нужно, а я отказываю ему в этом, поэтому он вынужден просить ее. Если же она расскажет мне, говорил он, то я могу убить их обоих, и напоминал ей про кувшин и про топор. Он говорил ей, какая я вздорная, злая стерва, и как ему приходилось это терпеть, потому что мужчине нужно это. Он вдабливал ей все эти вещи, пока она едва не свихнулась. Он...

Что, Фрэнк?

Да, он работал, но эта работа не очень-то мешала ему приставать к родной дочери. Он помогал дачникам по хозяйству, сторожил два дома (надеюсь, их хозяева хорошо следили за своим имуществом), рыбаки иногда звали его на лов, когда не хватало рук, и, конечно, он занимался своими машинами. Одним словом, он делал то же, что многие мужчины на острове (а то и меньше) — подтолкни тут, потяни там. С такой работой можно было легко распоряжаться своим временем, и Джо тем летом распоряжался им так, чтобы оказаться возле Селены, как только меня не будет дома.

Понимаете, что я пытаюсь вам объяснить? Что он пытался влезть ей не только под юбку, но и в душу! Это видение меня с топором, нависшей над ним, давило ее, как кошмар, и он умело это использовал. Когда он понял, что этого недостаточно, чтобы ее завоевать, он удовольствовался запугиванием. Он снова и снова говорил ей, что я выкину ее из дома, если не хуже, если узнаю, что они делают.

Они! Вам понятно?

Она говорила, что ей не хочется, а он убеждал ее, что останавливаться поздно, что она распалила его, а из-за этого и случаются изнасилования, как знают все женщины (должно быть, и такая вздорная стерва с топором, как я). Джо обещал, что он ничего не скажет, пока она ничего не скажет. «Но пойми, детка, — добавлял он, — как только что-нибудь станет известно, так выплынет и все остальное».

Она не знала, что значит «все», и не понимала, почему, если она приносила ему стакан лимонада и рассказывала про нового щенка Лори Лэнгилл, он вдруг совал ей руку между ног и начинал там щупать и тискать, но была убеждена, что делает что-то, что заставляет его так нехорошо поступать, и что она сама виновата. Это было хуже всего — не страх, а сознание вины.

Она говорила, что однажды, чуть не рассказала эту историю миссис Шитс, Классной руководительнице, и даже пришла к ней в

кабинет, но сбежала, пока та говорила с другой девочкой. Это было всего за месяц до нашей с ней беседы.

«Я подумала, как я скажу об этом», — сказала она, когда мы сидели на скамейке парома. Мы уже почти приплыли и видели впереди восточный мыс, залитый закатным солнцем. Селена, наконец, перестала плакать. Время от времени она всхлипывала, и мой платок промок чуть не насквозь, но она взяла себя в руки, и я гордилась ею.

Но она не отпускала мою руку — вцепилась в нее мертввой хваткой так, что на другой день я увидела там синяк.

«Я представляла, как сижу там и говорю: "Миссис Шитс, мой папа пытается сделать со мной, сами знаете что". А она такая строгая, что непременно скажет: "Нет, я не знаю, Селена. Пожалуйста, объясни". И тогда я расскажу ей, как отец пытался изнасиловать меня, и она не поверит, потому что в *ее* времена такого не было».

«Я думаю, что это было всегда, — сказала я. — Печально, но это так. И я думаю, классная руководительница тоже знает это, если она не полная дура. Она не дура, Селена?»

«Нет, мама, не думаю, только...»

«Дорогая, думаешь, ты первая девушка, с которой такое случилось?» — спросила я, и она опять сказала что-то так тихо, что я не услышала. Пришлось переспросить.

«Не знаю, — сказала она и прижалась ко мне, и я обняла ее в ответ. — Только я не могла ей это рассказать. Может, если бы я зашла сразу, а так пришлось сидеть и ждать очереди, и вспоминать все это, и думать, может, папа прав, и я сама виновата...»

«Ты не виновата» — сказала я и обняла ее снова.

Она ответила мне улыбкой, которая согрела мне сердце.

«Теперь я это знаю, — сказала она, — но тогда совсем не была уверена. И когда я сидела и смотрела через стекло на миссис Шитс, мне показалось, что я знаю, почему не должна ходить туда».

«И почему же?» — спросила я.

«Потому что это не дело школы».

Это так рассмешило меня, что я расхохоталась. Селена присоединилась ко мне, и скоро мы хохотали, как старые завсегдатаи дурдома. Другие пассажиры даже вышли посмотреть, все ли с нами в порядке.

По пути домой она рассказала мне еще о двух вещах — об одной языком, а о другой глазами. Сказала она, что подумывала собрать вещи и уехать: это был хоть какой-то выход. Но это не решило всех проблем — куда ни беги, твоя голова и твое сердце останутся с тобой, — а в глазах ее я прочитала, что к ней не раз приходила мысль о самоубийстве.

Я подумала об этом — о том, что моя дочь хотела убить себя, — и еще яснее, чем раньше, представила лицо Джо. Представила, как он изводил ее, как лез ей под юбку до тех пор, пока она не стала все время носить джинсы, и он не получил, чего хотел (вернее, *всего*, чего хотел) только по счастливому стечению обстоятельств. Я боялась подумать о том, что произошло бы, если бы я узнала обо всем слишком поздно, но все равно думала об этом. И думала о том, как он издевался над ней — как злой хозяин, погоняющий лошадь, пока та не упадет мертвой... и потом еще стоял бы над ней с палкой и удивлялся, отчего это случилось. Я впервые поняла, что живу с безжалостным, не знающим любви человеком, который считает, что может хватать все, до чего дотягиваются его руки, даже собственную дочь.

Я как раз думала об этом, когда мне в голову впервые пришла мысль об убийстве. Конечно, я не велела себе убить его, нет, но я бы солгала, если бы сказала, что не думала об этом всерьез.

Селена, должно быть, заметила что-то в моих глазах, потому что взяла меня за руку и спросила: «А если все это продолжится, мама? Если он узнает и...»

Я пыталась как-то успокоить ее, сказать то, что она хотела услышать, но не смогла. Джо попытался вернуться к вечеру, когда я разбила о его голову кувшин, и победить меня за счет Селены, но я не могла ему этого позволить.

«Не знаю, что он сделает, — сказала я, — но скажу тебе две вещи, Селена: ты ни в чем не виновата, и кончились дни, когда он хватал тебя. Поняла?»

Ее глаза снова наполнились слезами, и одна из них покатилась по щеке. «Я не хочу, чтобы мы ссорились! — она помолчала, борясь со слезами, и продолжала. — Ну зачем? Зачем ты тогда ударила его, а он начал это со мной? Почему нельзя было оставить все как есть?»

Я взяла ее руку.

«Все никогда не останется на месте, дорогая. Иногда бывает плохо, а потом все встает на место. Ты ведь знаешь это».

Она кивнула. Я видела на ее лице боль, но не сомнение.

«Да, — сказала она. — Я знаю».

Мы подошли к причалу, и разговаривать было некогда. Я была почти рада: не было сил больше выносить на себе этот ее взгляд, полный слез, который просил у меня того, чего я не могла сделать. Я еще не знала, что я *должна* сделать, что велит мне этот внутренний глаз. Мы сошли с парома, не говоря ни слова, и направились домой.

Вечером, когда Джо вернулся от Карстерсов, у которых он чинил крыльца, я отослала всех трех детей в магазин. Селена, когда

уходила, оглядывалась на меня, и лицо ее опять было похоже на стакан с молоком. Каждый раз, когда она поворачивала голову, Энди, я видела в ее глазах тот топор. Но было в них и еще что-то, и мне кажется, это было облегчение. По крайней мере, все разрешится, так она думала и боялась этого тоже.

Джо сидел у печки и читал «Америкэн», как каждый вечер. Я стояла у ящика с дровами и смотрела на него, и этот глаз внутри, казалось, открылся шире. Смотри, подумала я, вот он сидит, Великая Каменная жопа. Сидит, будто это не он лез под юбку к своей единственной дочери и будто это самое естественное дело в мире, после которого мужчина может спать спокойно. Я пыталась понять, как мы дошли от выпускного бала до этого вечера, когда он сидел и читал газету в своих старых джинсах и грязной майке, а я стояла напротив и желала ему смерти, и не могла. Это было похоже на волшебный лес, где тропинка исчезает прямо за твоей спиной.

А внутренний глаз тем временем видел больше и больше. Он видел шрам на его ухе, когда я ударила его кувшином, видел набухшие синие жилы на его носу, видел, как идиотски оттопыривается его нижняя губа; видел, как он выдергивает волосы из носа или чешет между ног.

И все это было отвратительно, и я подумала, что замужество за этим человеком было не только самой большой моей ошибкой: оно было единственной важной ошибкой, за которую предстояло еще платить и платить. Селену он уже втянул в это, а есть еще двое младших. Раз он не остановился перед изнасилованием дочери, то что он может сделать с ними?

Я повернула голову, и мой внутренний глаз увидел топор, лежащий на полке над дровяным ящиком, как всегда. Я мысленно потянулась к ручке, думая, что на этот раз не вложу его в руку Джо. Потом я представила, как Селена или все они вдруг возвращаются и видят это, и решила, что, как бы там ни было, проклятый топор не должен участвовать в этом. Вместо этого я нагнулась и взяла из ящика кленовое полено.

Топор или полено, неважно, но Джо в тот момент был на волосок от смерти. Чем больше я смотрела, как он сидит, читает свою чушь и дергает волосы из носа, тем больше думала о том, что он сделал с Селеной; а чем больше я об этом думала, тем в большую ярость приходила, тем сильнее мне хотелось размозжить ему голову этой деревяшкой. Я даже знала, куда я его ударю. Его волосы начали редеть, особенно сзади, и при свете лампы была видна проплешина. Под волосами просвечивала кожа с блеклыми веснушками. Вот сюда, решила я, в это самое место. Кровь зальет лампу, но она все равно старая и некрасивая. Чем больше я думала, тем сильнее мне хотелось увидеть, как кровь брызнет на лампу, как капли ее стекут на

лампочку с тихим шипящим звуком. Мои пальцы все крепче сжимали полено. Знаю, что это глупо, но я не могла отвернуться от него, а внутренний глаз не отвернулся бы, даже если бы я это сделала.

Я говорила себе, что нельзя это делать из-за Селены, чтобы не сбылись ее худшие страхи, но это не действовало. Как я ни любила ее — не действовало. Этот глаз побеждал любую любовь. Он не думал о том, что будет с ними тряся, если я убью его, а сама сяду в тюрьму. Он оставался открытым и выискивал на лице Джо все новые и новые уродливые детали. Засохшие пятнышки горчицы на подбородке, оставшиеся от ужина. Лошадиные зубы с криво поставленными коронками. И каждый раз, когда я что-то замечала, моя рука крепче сжимала полено.

Только в последнюю минуту я подумала: если я сделаю это сейчас, Селене это не поможет. И мальчикам тоже. Я хочу сделать это только потому, что он три месяца дурачил меня, а я ничего не замечала. Если я убью его, сяду в тюрьму и буду видеть детей только раз в неделю, по субботам, то не из-за Селены, а из-за того, что он меня дурачил, а я, как и Вера, не любила этого больше всего на свете.

Это и остановило меня. Внутренний взгляд не закрылся, но как-то померк и утратил власть надо мной. Я пыталась разжать руку, но полено словно приклеилось к ней. Пришлось другой рукой по одному разгибать пальцы прежде, чем полено упало на пол.

Тогда я подошла к Джо и тронула его за плечо.

«Я хочу поговорить с тобой», — сказала я.

«Так говори, — буркнул он из-за газеты. — Я тебе не мешаю».

«Я хочу, чтобы ты смотрел на меня. Отложи этот листок».

Он положил газету на колени и посмотрел на меня:

«Когда же твой язык, наконец, устанет?»

«О своем языке я позабочусь сама, — сказала я, — а ты лучше позабочься о своих руках. Если ты этого не сделаешь, я тебе их укорочу».

Он, подняв брови, спросил, о чем это я.

«О том, что ты должен оставить Селену в покое», — сказала я.

Вид у него был такой, словно ему въехали коленом прямо в семейные драгоценности. Это было лучшее во всем этом поганом деле, Энди, — вид Джо, когда он узнал, что его поймали. Он побледнел, челюсть у него отвалилась, и он весь вздрогнул, как вздрагивает человек, когда просыпается от страшного сна.

Он попробовал притвориться, что ничего не случилось, но ни меня, ни себя он одурачить не мог. У него уже был пристыженный вид, но этого мне было мало. Даже глупому щенку стыдно, если его ловят за кражей яиц.

«Я не знаю, о чём ты говоришь», — сказал он.

«Тогда почему у тебя такой вид, будто у тебя черт в штанах сидит?» — спросила я.

«Если этот чертов Джо-младший что-нибудь наплел», — начал он грозно.

«Джо ничего не наплел, — перебила я, — и можешь не гадать. Селена мне сама сказала. Она рассказала все — как она жалела тебя, когда увидела, как я бью тебя кувшином, и как ты отплатил ей за это».

«Она врет! — крикнул он, швыряя газету на пол, будто это она была виновата. — Врунья и выдумщица! Вот возьму ремень, и как только она покажется — если только посмеет...»

Он начал вставать. Я толкнула его обратно — очень легко толкнуть человека, пытающегося встать с кресла, я даже удивилась, как это легко. Хотя три минуты назад я с легкостью прибила бы его поленом.

Глаза его сузились, и он сказал, чтобы я не трогала его.

«Ты раз сделала это, — сказал он, — но не думай, что можно дразнить кошку до бесконечности».

Я и сама недавно думала об этом, но теперь мне было легко заткнуть ему рот.

«Можешь говорить это своим дружкам, — сказала я, — сейчас твое дело не говорить, а слушать... и слушай хорошенко, каждое слово. Если ты еще хоть раз тронешь Селену, я упеку тебя в тюрьму за развращение малолетних. Там ты, я думаю, остынешь».

Это его отрезвило. Он опять открыл рот и некоторое время сидел молча.

«Ты не...» — начал он и остановился, потому что знал, что я это сделаю. Поэтому он выпятил губу и обиженно спросил:

«Так ты поверила ей, Долорес? Ты никогда не становилась на мою сторону».

«А у тебя есть сторона? — спросила я его. — Когда сорокалетний мужчина просит свою четырнадцатилетнюю дочь снять трусы, чтобы он видел, выросли ли у нее волосы, есть ли у него какая-то сторона?»

«Ей через месяц пятнадцать», — брякнул он, будто это что-то меняло. Да, он был тот еще жук!

«Ты себя-то слышишь? — спросила я. — Слышишь, что мелет твой язык?»

Он еще посмотрел на меня, потом нагнулся и поднял с пола газету.

«Оставь меня, Долорес, — попросил он самым жалобным своим голосом. — Я хочу дочитать статью».

Мне хотелось вырвать чертову газету у него из рук и швырнуть ему в лицо, но тогда все кончилось бы дракой, а я не хотела, чтобы

это видели дети. Поэтому я только большим пальцем отогнула ее верхний край, глядя на него.

«Сперва пообещай, что оставишь Селену в покое, — сказала я, — чтобы это осталось между нами. Пообещай, что никогда больше не тронешь ее ни одним пальцем».

«Долорес, ты не...» — начал он.

«Обещай, Джо, или я сделаю из твоей жизни ад».

«Думаешь, я тебя боюсь? — крикнул он. — Ты уже пятнадцать лет делаешь мне жизнь адом, стерва! Сама виновата, со своей гнусной рожей».

«Ты еще не знаешь, что такое ад, — сказала я ему, — но, если ты не оставишь ее в покое, я тебе это покажу».

«Ладно! — закричал он. — Обещаю! Пускай! Ты довольна?»

«Да», — ответила я, хотя это было не так. Я не осталась бы довольной, даже если бы он у меня на глазах повторил чудо с хлебами и рыбами. Я дала себе слово уехать из этого дома с детьми или покончить с ним до конца года, неважно каким способом. Но об этом вовсе не обязательно было знать ни ему, ни кому-либо другому.

«Ладно, — сказал он. — Значит, об этом больше не будем, так? — но он смотрел на меня с каким-то блеском в глазах, который мне не нравился. — Ты ведь считаешь себя красавицей, правда?»

«Не знаю, — сказала я, — во всяком случае, мозги у меня есть, а когда на тебе держится весь дом, тут уж не до красоты».

«Давай-давай, — ухмыльнулся он, — работай, пока задница не задымится. Ты еще всего не знаешь».

«Что это значит?»

«Ничего, увидишь, — хмыкнул он и развернул газету так озабоченно, будто там печатали курс акций его фирмы. — Для такой работницы, как ты, это будет как раз кстати».

Мне это не понравилось, но я не стала продолжать этот разговор. Я устала, и, кроме того, я действительно считала себя приятной женщиной, покрасивее его, во всяком случае, и не собиралась слушать его издевательства. Здесь разговор продолжился минут пять, и я не могла и подумать, что он сделал.

Когда дети вернулись из магазина, я отослала мальчишку в дом, а Селену отвела на участок, где буйно росла черная смородина. Дул легкий ветерок, и кусты шуршали немного зловеще. Там из земли вылезал большой белый камень, на который мы и уселись. Над Восточным мысом вставала луна, и, когда Селена взяла мою руку, пальцы у нее были как ледышки.

«Я боюсь заходить, мама, — сказала она дрожащим голосом. — Я пойду к Тане, можно? Пожалуйста».

«Не бойся, моя дорогая, — сказала я. — Я уже обо всем позабочилась».

«Я не верю», — прошептала она, хотя лицо ее говорило другое — ей хотелось в это верить.

«Это правда. Он обещал оставить тебя в покое. Он часто не выполнял обещаний, но это выполнит, потому что до смерти перепуган».

«Перепуган — чем?»

«Тем, что я пообещала усадить его в Шоушенк, если он не отстанет от тебя».

Она охнула и опять ухватилась за мои руки.

«Мама, ты не сделаешь этого!»

«Сделаю, — сказала я. — И лучше помни об этом, Селена. Но не думаю, что до этого дойдет. Скорее всего, он будет теперь обходить тебя за десять футов, а потом ты уедешь в колледж и обо всем забудешь».

Она медленно отпустила мои руки, и я увидела, как ее лицо освещается надеждой... и еще чем-то. Как будто молодость возвращалась к ней здесь, под луной, среди кустов смородины, и тут я поняла, какой *старой* она выглядела в эти месяцы.

«И он не будет меня гладить?» — спросила она.

«Нет, я сказала».

Она повернула, и склонилась головой мне на плечо, и опять заплакала. На этот раз это были слезы облегчения, чистые и откровенные, и при их виде я еще больше возненавидела Джо.

Я думаю, следующие несколько ночей девочка спала лучше, чем предыдущие три месяца... но я не спала. Я слушала, как рядом хранит Джо, и смотрела на него своим внутренним глазом, и мне хотелось повернуться и зубами перервать ему глотку. Но я была не такой сумасшедшей, как тогда, когда стояла за его спиной с поленом. Мысли о детях не играли роли, когда во мне разгорался этот внутренний глаз, но теперь, когда я сказала Селене, что все кончилось, и она мне поверила, я немного остыла. И я тоже, как и она, хотела верить, что ее отец образумится, и все пойдет, как раньше. Но даже если бы он сдержал свое обещание — а я вовсе не была в этом уверена, — такие, как Джо, никогда не отступятся от своих привычек. В следующий раз он будет осторожнее, вот и все.

Там, в темноте и спокойствии после того жуткого дня, ко мне пришло решение. Нужно было взять детей и переехать на материк, и чем скорее, тем лучше. Тогда я успокоилась, но ненадолго: тот внутренний глаз не позволил бы мне. В следующий раз он увидит Джо еще более уродливым и мерзким, и тогда никакая сила на земле не сможет меня остановить. Это было что-то вроде сумасшествия, и у меня хватило ума ему не поддаваться. Нужно было убраться с

Высокого, пока это сумасшествие не одолело меня. И когда я стала думать об этом, я вдруг поняла, что значил этот блеск в его глазах. О Господи!

Через несколько дней на одиннадцатичасовом пароме я отправилась на материк. Дети были в школе, а Джо с Майком Старгиллом и его братом Гордоном ушел ловить омаров и не должен был вернуться до заката.

Я взяла с собой банковские книжки детей, на которые мы откладывали деньги им на колледж с самого их рождения. Вернее, я откладывала: Джо было плевать, попадут его дети в колледж или нет. Когда я поднимала эту тему, он так же сидел в своем поганом кресле, читал «Америкэн», ковырял в носу, и говорил: «С чего это ты решила посыпать детей в колледж, Долорес? Я там не был, и ничего».

Да, с этим не поспоришь. Раз уж Джо считал, что он «ничего», то не изменил бы мнения, пока стоит мир. К тому же, он, похоже, думал, что из колледжей выходят только коммунисты и друзья негров. Когда он зимой заработал кое-что на строительстве дороги, я взяла у него для детей пятьсот долларов, и он шипел, как кот. Сказал, что я отобрала у него все деньги, но я-то знаю, Энди, — там было две тысячи, а может и больше.

«Почему ты всегда меня обираешь, Долорес?» — спросил он.

«Если бы ты был нормальным отцом, для которого дети дороже всего, ты бы такого не спрашивал», — сказала я, но он все ворчал и ворчал. Мне было тошно от всего этого, но кто позаботился бы о моих детях, кроме меня?

Конечно, на трех счетах, по нынешним меркам, было не так много — две тысячи у Селены, около восьмисот у Джо-младшего и четыреста у Маленького Пита, — но тогда, в 62-м, это были приличные деньги. Во всяком случае, на отъезд и обустройство хватило бы. Я хотела забрать со счета Маленького Пита наличными, а на остальные выписать чеки. Я решила съездить в Портленд и поискать там жилье и работу — конечно, мы не привыкли к городской жизни, но Портленд тогда и не был большим городом, не то, что теперь.

Тогда можно было снова начать откладывать деньги на учебу. Я была уверена, что заработкаю, но это было неважно — главное увезти их отсюда. Это было сейчас куда важнее, чем колледж.

Я думала тогда в основном о Селене, но страдала от всего этого не только она. Джо-младшему тоже приходилось несладко. В 62-м ему было двенадцать, самый возраст для мальчишки, но он почти не улыбался. Отец прямо задергал его: «заправь рубашку», «причесши волосы», «не горбись», «хватит сидеть над книжками, как дурак, будь мужчиной». Когда он не хотел играть в школьной команде

летом, Джо его просто заел. Добавьте то, что он замечал отношение отца к его сестре, и получится такая каша, которую не так-то просто расхлебать. Когда Джо-младший иногда смотрел на отца, я ясно читала ненависть в его взгляде. За неделю или две до этой поездки на материк я поняла, что Джо-младший тоже смотрит на него своим внутренним глазом.

Маленький Пит, еще когда ему было четыре, во всем подражал отцу — даже так же дергал себя за кончик носа, хотя у него там не было никаких волос, но он делал вид. Когда он пошел в первый класс, он явился домой весь в грязи и со свежей ссадиной на щеке. Я обняла его и спросила, что случилось, и он ответил, что это маленький засранец Дики О'Хара его толкнул. Я спросила, знает ли он, что такое «засранец», и порядком удивилась, услышав его ответ.

«Конечно, — сказал он. — Засранец — это маленький мудак вроде Дики О'Хара».

Я сказала, что это плохие слова, и чтобы он не смел их говорить, и он посмотрел на меня оттопырив губу, точь-в-точь как его отец. Селена боялась отца, Джо-младший ненавидел его, но за Пита я переживала даже больше, потому что он любил отца и хотел быть на него похожим.

Так вот я взяла их книжки из своей шкатулки с бусами (я держала их там потому, что во всем доме только она запиралась, и ключ от нее я носила на шее) и отправилась прямо в банк Северного побережья в Джонспорте. Там я сказала, что хочу закрыть три счета, и дала им книжки.

«Минутку, миссис Сент-Джордж», — сказала кассирша и полезла в журнал. Тогда еще не было никаких компьютеров, и все занимало куда больше времени.

Она нашла мои счета, и тут лоб ее прорезала морщина, и она что-то сказала другой сотруднице. Они обе склонились над журналом, а я стояла с другой стороны и уговаривала себя не волноваться.

Потом, не возвращаясь ко мне, кассирша направилась в одну из отгороженных конурок, которые они называют офисами. Там были стеклянные стенки, и я видела, как она говорит что-то высокому лысому типу в сером костюме. Когда она вернулась к окошку, карточек у нее не было.

«Думаю, вам лучше обсудить этот вопрос с мистером Пизом, миссис Сент-Джордж», — сказала она, протягивая мне книжки как-то двумя пальцами, как будто они были заразные.

«Почему? — спросила я. — Что с ними такое?»

К этому моменту я уже не уговаривала себя, я поняла, что есть повод для волнения, и сердце у меня билось вдвое чаще, чем обычно.

«Не могу сказать, но тут какая-то ошибка. Мистер Пиз вам все объяснит», — сказала она, но по тому, как она смотрела, я поняла, что никакой ошибки тут нет.

Я поплелась в этот офис, будто к каждой ноге мне привязали по мешку с цементом. Я уже начинала соображать, что случилось, но не могла понять, как. Джо ведь не брал книжки из моей шкатулки, а без книжек они не могли отдать ему деньги, не имели права. А если бы он их и вытащил (смешно подумать; этот тип не мог ложки бобов до рта донести, не рассыпав половину), то в книжках должны были поставить штамп «счет закрыт»... а там ничего такого не было.

Но я уже знала, что скажет мне мистер Пиз, и он именно это и сказал. Он сказал, что счета Джо-младшего и Маленького Пита закрыты два месяца назад, а счет Селены — всего неделю. Джо выбрал это время потому, что знал, что я не буду добавлять деньги на счета до рождества, когда будут оплачены все счета.

Пиз показал мне эти зеленые карточки, и я увидела, что Джо снял последние пять сотен со счета Селены через день после того, как я взяла с него слово, а он сказал, что я еще всего не знаю. Тут он был прав.

Я перечитала эти записи раз десять, и, когда подняла голову, мистер Пиз с обеспокоенным видом сидел и смотрел на меня. Я видела капельки пота на его лысом черепе — он хорошо знал, что произошло.

«Как видите, миссис Сент-Джордж, ваш муж закрыл эти счета и...»

«Почему? — спросила я его, швыряя все три книжки ему на стол. Он испуганно дернулся. — Почему вы ему отдали их, когда книжки здесь, у меня?»

«Понимаете, — начал он, моргая, как ящерица, греющаяся на солнце, — понимаете, миссис Сент-Джордж, это были так называемые опекунские счета, то есть деньги с них можно было выдать одному из родителей по предъявлении книжки».

«Но он же не предъявлял вам эти чертовы книжки! — крикнула я так, что все в банке посмотрели на нас. Я видела это через стекло. — Как вы могли отдать ему деньги без книжек?»

Он нервно потирал руки, все быстрее и быстрее. Звук был сухой, как будто между ладонями у него был песок. Похоже, о его ладони можно было зажигать спички.

«Миссис Сент-Джордж, не могли бы вы говорить потише?»

«Это мое дело! — крикнула я еще громче. — А ваше дело — следить за вкладами в вашем проклятом банке и не раздавать их кому попало!»

Он вытащил из стола какую-то бумажку.

«В соответствии с этим, ваш муж заявил, что книжки утеряны, и попросил завести новые. Это обычная практика...»

«Черт бы вас побрал с вашей практикой! — крикнула я. — Вы не позвонили мне! Эти счета мы заводили вместе, и вы обязаны были сообщить мне. Или ваши правила этого не предусматривают?»

«Миссис Сент-Джордж...» — опять начал он, но я уже закусила удила:

«Он рассказал вам сказочку, и вы поверили — новые книжки! О Господи! Как вы думаете, кто клал в банк эти деньги? Если вы думаете, что это был он, то вы еще больший осел, чем кажетесь».

К этому времени все в банке слушали только нас. Большинство, конечно, посчитали это хорошим шоу. Посмотрела бы я на них, если бы такое случилось с деньгами *их* детей! Мистер Пиз покраснел, как старый сарай моего отца. Даже его лысина была красной.

«Прошу вас, миссис Сент-Джордж, — сказал он, как будто готов был заплакать. — Я не говорю, что это абсолютно законно, но это обычная банковская практика».

Тогда я понизила голос. Моя злость немного утихла. Джо надул меня, но тут уж ничего не поделаешь. Кто надул меня дважды — позор мне.

«Я не знаю, законно ли это, — сказала я. — Но неужели никто в вашем банке не подумал, почему он забирает деньги? И неужели эта «обычная банковская практика» запрещала вам один-единственный раз позвонить мне? Вот же номер прямо на этой карточке».

«Миссис Сент-Джордж, мне очень жаль, но...»

«Если бы все было наоборот, — продолжала я, — если бы я пришла и сказала, что потеряла книжки, и хотела бы снять деньги со счетов, неужели бы вы не позвонили Джо? Если бы я сегодня забрала деньги, как собиралась, неужели вы не кинулись бы ей звонить, как только я вышла бы за дверь?»

Ведь я и ожидала этого, Энди, потому и выбрала день, когда он ушел к Старгиллам. Я собиралась вернуться на остров, собрать детей и уехать задолго до того, как Джо заявится домой с корзинкой от обеда в одной руке и упаковкой пива в другой.

Пиз посмотрел на меня и открыл рот, потом закрыл его и ничего не сказал. Но ответ читался на его лице. Конечно, он или кто-нибудь другой позвонили бы Джо, потому что Джо был глава семьи и мужчина, а я всего-навсего его жена, и мне никто не удосужился ничего сообщить. Мое дело — драить полы и унитазы, а не лезть в денежные вопросы, и если мужчина решил обобрать своих собственных детей, то он вправе сделать это, как глава семьи. Он отвечает за все, а я только за унитазы и жареных цыплят по воскресеньям.

«Если у вас проблемы, — осторожно начал Пиз, — мне очень жаль, но...»

«Если вы еще раз скажете, что вам очень жаль, я так пну вас по заднице, что вы перевернетесь, — сказала я, но, конечно, это была

пустая угроза. В тот момент у меня не хватило бы сил пнуть даже банку из-под пива. — Скажите мне только одно, и я уйду: эти деньги у вас?»

«Откуда мне знать?» — оскорблённо спросил он своим песочным голосом.

«В этом банке Джо держал деньги всю жизнь, — объяснила я. — Он мог бы доехать до Мэчиаса или Коламбия-Фоллс и положить их туда. Но он не сделал этого — он слишком туп и ленив. Другое дело, что он мог положить их в банку и закопать где-нибудь. Это я и хочу узнать: открывал ли мой муж новый счет у вас за последние месяцы?»

«Но... это секретная информация!» — выдавил он.

«Допустим, — согласилась я. — И я прошу вас нарушить правила. Я вижу по вас, что вы не часто это делаете, но это деньги моих детей, мистер Пиз, и он обманом взял их. Вы знали это, и не лгите мне, что вы не могли позвонить мне и хотя бы поставить в известность».

Он прочистил горло и начал:

«Мы не обязаны...»

«Знаю, что не обязаны, — мне хотелось взять его за шиворот и трясти, но я знала, что с ним такие номера не помогут. Кроме того, моя мать всегда говорила, что на мед гораздо легче приманить мух, чем на уксус, и я думаю, что это правда, — знаю, но подумайте, от каких волнений вы избавили бы меня своим звонком. И сейчас вы еще можете помочь мне — скажите, открыл ли он счет, или я начну рыть ямы вокруг своего дома. Прошу вас. Я никому не скажу, клянусь богом».

Он смотрел на меня и барабанил пальцами по этим зеленым карточкам. Ногти у него были такие аккуратные, будто он делал маникюр, хотя я сомневаюсь — все-таки это было в Джонспорте, в 62-м году. Наверное, это делала его жена. Чистый человек, всю жизнь проведший с бумагами. Зачем ему помогать мне, и какое ему вообще дело до нас на острове и до наших проблем? Главное, что ему в задницу не дует.

И когда он заговорил, мне стало стыдно за свои мысли.

«Я не могу сделать это прямо сейчас, миссис Сент-Джордж, — сказал он. Почему бы вам не пойти в кафе и не выпить кофе с булочкой? У вас ужасно усталый вид. Я подойду туда через пятнадцать минут. Нет, через полчаса».

«Спасибо, — медленно проговорила я. — Спасибо вам большое».

Он вздохнул и снова зашелестел бумагами.

«Я, должно быть, спятил», — сказал он, нервно усмехаясь.

«Нет, — сказала я. — Вы просто помогаете женщине, которой больше некому помочь, вот и все».

«Несчастные женщины всегда выводили меня из равновесия, — улыбнулся он. — Значит, через полчаса».

«Но вы придетете?»

«Да, — твердо сказал он. — Приду».

Он пришел, правда, через сорок пять минут, и я уже думала, что он обманул меня. А когда он вошел, я решила, что у него плохие новости.

Он несколько секунд стоял у входа, разыскивая меня, а может, боясь, что кто-нибудь увидит его вместе со мной, и у него будут неприятности. Потом он подошел и сел за мой столик.

«Деньги в банке, — сказал он. — Большая их часть, около трех тысяч долларов».

«Слава богу!» — воскликнула я.

«Это хорошая новость. Но и плохая: счет открыт только на его имя».

«Конечно, он не даст мне и взглянуть на эту новую книжку. Думает, что этим он вывел меня из игры».

«Знаете, — сказал он, с опаской осматриваясь по сторонам, — большинство женщин подписывают любую бумагу, которую им дают мужья».

«Я — не большинство», — сказала я.

«Я заметил. Во всяком случае, я выполнил вашу просьбу и должен идти. Надеюсь, мы с вами еще выпьем кофе».

«Что-то я в этом сомневаюсь», — сказала я.

«По правде говоря, я тоже», — сказал он и пожал мне руку, словно я была мужчиной — похоже, с его стороны это был комплимент. Он ушел, и официантка спросила, не хочу ли я еще кофе. Я сказала: «Нет, спасибо, у меня и так болит желудок». Он действительно болел, только не от кофе.

Человек всегда находит что-то хорошее, даже в самом поганом положении, и, возвращаясь домой, я была рада хоть тому, что смогла все разузнать. И рада, что не сказала Селене — она могла бы проболтаться подружкам, и это каким-нибудь образом дошло бы до Джо. А еще она могла вдруг отказаться ехать. От пятнадцатилетней девчонки можно ожидать всего.

У меня были радости, но не было идей. Мы оказались на мели: наша с Джо наличность, лежащая в суннице, составляла всего сорок восемь долларов. И я не могла просто взять детей и уехать куда глаза глядят, оставив Джо спокойно тратить украденные деньги. Из них по меньшей мере две с половиной тысячи было моих — я заработала их, драя полы в чужих домах и развешивая простыни этой стервы Веры Донован — шесть прищепок, а не четыре! — все лето подряд.

Мы с детьми все равно должны были уехать, но с деньгами. Стоя на пароме и глядя, как между ним и берегом увеличивается полоска

воды, я думала, что должна выкотить из него эти деньги. Я не знала только, как.

Жизнь шла своим чередом. Со стороны могло показаться, что ничего не изменилось. Но для меня той осенью все было по-другому. Самое главное — мне не нужен был больше третий глаз; ко времени, когда Маленький Пит снял с окна ведьму, я уже видела все, что нужно, двумя глазами.

Например то, как Джо похабно, по-свинячни смотрел на Селену в ночной рубашке или ощупывал глазами ее зад, когда она мыла пол. Как она обходила его стороной, проходя мимо его кресла к себе в комнату, как она старалась не дотронуться до его руки, передавая ему тарелку с супом. Сердце у меня сжималось от боли и гнева, и долгие дни после этого я чувствовала отзвуки этой боли. Он ведь был ее *отец*, в ее жилах текла его кровь, у нее были его темные ирландские волосы и тонкие пальцы, но он весь подбирался, как волк, когда тесемка рубашки сползала с ее плеча.

Я видела, как смотрел на это Джо-младший, и как с ним обращался отец. Помню, как он принес однажды домой сочинение о президенте Рузвельте, за которое в школе ему поставили высший бал. Учительница еще написала на обложке тетради, что впервые за двадцать лет поставила такую оценку и думает, что это сочинение вполне можно напечатать в газете. Я спросила Джо-младшего, в какую газету он думает его послать, но он только покачал головой и усмехнулся. Не понравилась мне эта усмешка.

«И терпеть *его* хамство еще полгода? — спросил он. — Ты что, не помнишь, как он называл его «Франклин Делано Срудзельт?»

Я так и вижу, Энди, как он стоит на крыльце, засунув руки в карманы, двенадцать лет, но уже шести футов ростом, и смотрит на меня, а я держу в руках его сочинение. Он чуть-чуть улыбался, без радости, без смеха. Это была улыбка его отца, но я ему об этом не сказала.

«Из всех президентов отец больше всех ненавидит Рузвельта, — сказал он. — Поэтому я о нем и писал. А сейчас я сожгу его в печке».

«Не вздумай, Джо, — сказала я, — если не хочешь получить сперва от меня».

Он пожал плечами — тоже точь-в-точь как его отец, с деланным безразличием.

«Ладно. Только ему не показывай».

Я пообещала, и он побежал играть в мяч со своим другом Вэнди Гигером. Я смотрела на него и думала о его высшем балле и том, что он написал именно про того президента, которого ненавидит отец.

Еще был Маленький Пит, который оттопыривал губы и называл всех засранцами, и каждые три дня с кем-нибудь дрался. Однажды

меня вызвали в школу из-за того, что он до крови разбил одному мальчику лоб. В тот вечер отец сказал ему: «Ничего, в следующий раз будет знать, верно, Пит?» Я видела, как у парня загорелись глаза, и как ласково отец уложил его спать. Я видела и замечала той осенью все, кроме главного — как избавиться от него.

И знаете, кто в конце концов подсказал мне ответ? Вера Донован. И она одна знала, что я сделала — до сегодняшнего дня. И она одна смогла дать мне ответ.

Все пятидесятые Донованы — вернее, Вера с детьми, — как и все дачники, жили на острове только летом. Они приезжали на День Памяти и уезжали на День Труда. Не знаю, можно ли проверять по ним часы, но уж календарь наверняка. После их отъезда целая бригада мыла и чистила дом от носа до кормы, застилала постели, собирала игрушки и относила в подвал коробки с детскими играми — к 60-му году их накопилось там штук триста. С уборкой можно было не спешить, потому что до Дня Памяти они не появлялись.

Конечно, были и исключения: в год рождения Маленького Пита они явились на День Благодарения, когда дом насквозь промерз, и еще как-то приезжали на Рождество. Помню, их дети приглашали к себе Селену с Джо-младшим, и Селена вернулась домой вся раскрасневшаяся, с глазами блестящими, как алмазы. Ей было тогда лет восемь или девять, но впечатлений хватило надолго.

Так что они были типичными дачниками, но потом Вера перебралась сюда и стала такой же островитянкой, как я, а может, и больше.

В 61-м все началось так же, хотя ее муж годом раньше погиб в автокатастрофе, — они с детьми приехали на День Памяти, и Вера начала вязать, курить, собирать ракушки и устраивать коктейли, которые начинались в пять, а заканчивались в полдесятого. Но что-то все-таки изменилось. Дети были непривычно тихими и грустными, должно быть, вспоминали отца. Вскоре после четвертого июля у них случилась какая-то ссора с матерью, а на следующий день они уехали. Хмырь отвез их на моторной лодке, и с тех пор я их не видела. А Вера осталась, хотя ей было нелегко и одиноко. Тем летом она выгнала с полдюжины служанок, и, когда «Принцесса» увозила ее, я подумала: вряд ли она еще появится здесь.

Но я плохо знала Вера Донован. Она нарисовалась аккурат на День Памяти в 62-м и прожила на острове до самого Дня Труда. Она приехала одна, много пила и курила, никому не сказала доброго слова, но так же собирала ракушки на берегу. Как-то она сказала мне, что Дональд с Хельгой, быть может, приедут в конце июля в Пайнвуд (так они называли свой дом, ты это знаешь, Энди, а Нэнси, наверное, нет), но они не приехали.

Начиная с 62-го она стала уезжать с острова все позже. В том году она позвонила мне в середине октября и велела снять чехлы с мебели и привести дом в порядок. «Теперь ты будешь чаще видеть меня, Долорес, — сказала она. — Может быть чаще, чем тебе хочется. И может быть, детей тоже». Но тут что-то в ее голосе подсказывало мне, что это вряд ли.

Она приехала, пожила три дня — хмырь приехал с ней и жил в домике за гаражом, — и уехала, а в конце ноября приехала снова. Детей с ней опять не было, но она сказала, что, может быть, они еще приедут.

Я опять готовилась к ее приезду, пылесосила ковры и застилала кровати, думая только о том, как мне быть с деньгами моих детей. Со времени моего визита в банк прошел целый месяц, и весь этот месяц я не знала покоя. Я не могла есть, плохо спала, забывала менять белье. Мои мысли все время крутились вокруг того, что Джо сделал с Селеной и как он забрал деньги из банка. Я заставляла себя не думать об этом — и не могла. Даже когда я думала о другом, какая-нибудь мелочь обязательно возвращала меня все к тому же. Наверное, именно поэтому я и рассказала в конце концов обо всем Вере.

Я не хотела этого делать: она и раньше заботилась только о своих проблемах, а теперь, после смерти мужа и размолвки с детьми, ей и вовсе было не до меня. Но в тот день, когда это случилось, настроение у меня вдруг изменилось.

Она сидела на кухне и читала какую-то вырезку из «Бостон глоб».

«Смотри, Долорес, — сказала она, — если нам повезет с погодой, то следующим летом мы увидим кое-что интересное».

Я до сих пор помню заголовок той статьи, потому что, когда я его прочитала, во мне словно что-то перевернулось. «*Полное затмение закроет небо Новой Англии будущим летом*». Там была и маленькая карта, показывающая, какая часть Мэна попадет в зону затмения, и Вера красным карандашом отметила на ней Высокий.

«Следующее будет только через сто лет, — сказала она. — Наши правнуки увидят его, Долорес, но это еще не скоро, поэтому лучше нам посмотреть на это».

«Может, в этот день будет лить как из ведра», — ответила я рассеянно — я думала, она издевается надо мной в том мрачном настроении, в каком пребывала после смерти мужа. Но она рассмеялась и пошла наверх, напевая что-то под нос. Я помню, удивилась этому.

Часа через два я поднялась к ней застилать постель, где она позже столько времени провела беспомощная. Она сидела в кресле у окна, вязала и все еще напевала. Печка горела, но комната еще

не прогрелась как следует — эти большие дома ужасно медленно прогреваются, — и на плечах у нее была ее розовая шаль. Дул резкий ветер с запада, и в окно время от времени брызгали капли дождя. Выглянув в окно, я увидела отблески света на стенке гаража — хмырь сидел у себя и дрых, как клоп в норке.

Я расправляла углы простыни и думала о Джо и о детях, и моя нижняя губа дрожала все сильней. Потом начала дрожать и верхняя. Потом глаза мои наполнились слезами, я села на кровать и заплакала.

Нет.

По правде говоря, я не заплакала — я закрыла лицо платком и засыпала, думая о том, как это глупо, что я тут сижу, и как я устала и хочу спать. Не знаю, сколько времени я сидела так и выла, но когда я закончила, платок был весь мокрый, а нос хлюпал так, что я еле могла дышать. Я боялась убрать платок и увидеть, как Вера смотрит на меня и говорит: «Кончай спектакль, Долорес. Ты получишь расчет в среду. Кенопенски — так звали хмыря, вспомнила, — привезет тебе деньги». Это было бы на нее похоже. Но все случилось совсем не так. Поведение Веры трудно было предсказать даже тогда, когда мозги у нее были на месте.

Когда я наконец отняла платок от глаз, она сидела со своим вязаньем и смотрела на меня, как на какую-то редкостную букашку. Я помню, что на лбу и щеках ее плясали тени от дождевых струй.

«Долорес, — сказала она, — расскажи, что еще сногшибательного выкинула та скотина в человеческом облике, с которой ты живешь».

Какое-то время я не понимала, о чем она говорит. Потом при слове «сногшибательного» мне вспомнилось, как Джо ударил меня поленом, а я ударила его кувшином, и тут же все встало на свои места. Я вдруг начала хохотать и хохотала почти так же неудержимо, как раньше плакала. Я поняла, что она решила, что я опять беременна, и сама мысль о том, что я могла бы позволить себе зaimеть ребенка от Джо *теперь*, заставляла меня хохотать как безумную.

Вера посмотрела на меня, потом снова принялась вязать, опять что-то напевая. Как будто то, что ее домоправительница сидит на ее кровати и хохочет, как гиена, было самым нормальным делом. Если так, то у Донованов в Балтиморе была странная прислуга.

Потом смех опять перешел в слезы, как дождь иногда переходит зимой в снег, когда ветер меняет направление. Потом все прекратилось, и я осталась сидеть на кровати, ощущая стыд... но и облегчение тоже.

«Извините меня, миссис Донован», — сказала я.

«Вера».

«Прошу прощения?» — не поняла я.

«Вера, — повторила она. — Я предпочитаю, чтобы женщины, устраивающие истерики на моей кровати, звали меня по имени».

«Не знаю, что на меня нашло», — сказала я.

«Я думаю, знаешь. Иди умойся, а то тебя будто окунули в чан с кипятком. Можешь воспользоваться моей ванной».

Я пошла в ванную и пробыла там долго. По правде говоря, я боялась идти назад. Я уже не думала, что она выгонит меня, раз она велела звать себя по имени, но не знала, что она собирается делать. Она могла быть жестокой, наверное, вы это уже поняли, и могла издеваться над людьми.

«Ты что, утонула там?» — окликнула она, и это значило, что пора выходить. Я вытерла лицо и вернулась в спальню. Я начала извиняться, но она махнула рукой и продолжала разглядывать меня, как букашку.

«Знаешь, ты меня удивила, — призналась она, — все эти годы не подозревала, что ты умеешь плакать. Я думала, что ты из камня».

Я пробормотала что-то об усталости и головной боли.

«Это я вижу, — сказала она. — Но кое-чего я не вижу, и ты должна мне об этом рассказать. Я думала, это ребенок».

«Нет, мэм», — и черт меня побери, если я не выложила ей тут же на месте всю историю. Приходилось следить за собой, а то бы я снова оказалась на ее постели с платком у глаз. Никогда не думала, что расскажу это именно Вере Донован с ее деньгами, с домом в Балтиморе и с ее хмырем, который был при ней не только шофером, но я это сделала, и под конец на сердце у меня стало немножко легче.

«Вот и все, — закончила я. — Теперь я не знаю, что делать с этим сукиным сыном. Думаю, придется взять детей, уехать и как-то перебиваться — вы знаете, я не боюсь тяжелой работы, — но я не хочу оставлять ему эти деньги и не могу простить ему это».

«Простить что?» — осведомилась она. Она уже почти довязала свой платок — никогда не видела таких быстрых пальцев.

«Он хотел изнасиловать свою родную дочь, — сказала я. — Он запугал ее так, что она никогда от этого не отойдет, а потом наградил себя за хорошую работу тремя тысячами долларов. Вот чего я ему не прощу».

«Да?» — спросила она, ее спицы легонько щелкали, и дождь барабанил по стеклу, и его серые струи отбрасывали тень на ее лоб и щеки, похожую на серые морщины. При виде всего этого я припомнила сказку, которую рассказывала бабушка, — о трех небесных сестрах, которые прядут нить нашей жизни: одна мотает,

одна держит, а еще одна обрывает, когда придет срок. Последнюю вроде бы звали Атропос, и это имя вызывало у меня дрожь.

«Да, — сказала я, — но я не знаю, как с ним расквитаться за это».

Клик-клик-клик. Перед ней стояла чашка чая, и она прервалась, чтобы сделать глоток. Потом наступили времена, когда она пыталась пить чай правым ухом, но в 62-м она была еще острой, как бритва моего отца. Когда она смотрела на меня, ее глаза, казалось, видели насеквоздь.

«И что в этом хуже всего, Долорес? — спросила она наконец, отставляя чашку и опять принимаясь за вязанье. — Не для Селены или для мальчиков, а для тебя?»

«Этот сукин сын смеется надо мной, — сказала я. — Вот что больше всего меня бесит. Он знал, что я пойду в банк и что я найду там, и смеялся надо мной».

«Может, тебе это кажется», — сказала она.

«Какое мне дело? Я чувствую так».

«Да, — согласилась она, — чувство важнее всего. Я согласна. Продолжай, Долорес».

Что значит «продолжай»? Я рассказала ей все. Но нет, не все — что-то еще вылезало, как чертик из коробочки.

«Он не смеялся бы так, — сказала я, — если бы знал, что пару раз я чуть не остановила его часы».

Она спокойно смотрела на меня. Тени продолжали плясать по ее лицу и мешали видеть глаза, и я опять подумала о тех трех сестрах.

«Я боюсь, — сказала я, — не его, а себя. Если я поскорее не увезу отсюда детей, случится что-то плохое. Я это знаю. Внутри меня сидит такая штука и давит на меня».

«Это глаз? — спросила она спокойно, и меня как холодом сковало. Как будто она пробила дырку в моем черепе и заглянула прямо в мои мысли. — Что-то вроде глаза?»

«Откуда вы знаете?» — прошептала я, вся дрожа.

«Знаю, — она начала вязать новый ряд. — Я все про это знаю, Долорес».

«Ну вот... я могу забыть про деньги и про все... и делать это».

«Чушь, — сказала она, и ее спицы мелькали, клик-клик-клик. — Мужья умирают каждый день, Долорес. Может, один из них умер прямо сейчас, пока мы тут с тобой говорим. Умирают и оставляют свои деньги женам, — она довязала ряд и посмотрела на меня, но я по-прежнему не видела ее глаз из-за теней, которые вились по ее лицу, как змеи. — Я-то это знаю. Посмотри, что со мной произошло».

Я молчала. Мой язык прилип к небу, как пережаренная котлета к сковороде.

«Несчастный случай, — произнесла она наставительно, — иногда лучший друг женщины».

«Что это значит?» — смогла я кое-как прошептать.

«Да что угодно, — сказала она и улыбнулась. Нет, Энди, ухмыльнулась, и от этой ухмылки у меня мороз прошел по коже. — Просто помни, что твое — это твое, а его — тоже твое. Если он попадет в катастрофу, его деньги станут твоими. На этот счет в нашей великой стране есть закон».

Тени пропали, и я, наконец, смогла заглянуть ей в глаза. То, что я увидела, заставило меня отвернуться. Снаружи Вера была холодна, как кусок льда, но внутри у нее было горячее, чем в центре лесного пожара. Чересчур горячо, чтобы долго на это смотреть.

«Закон — хорошая штука, Долорес, — сказала она. — И то, что скотина в человеческом обличье может попасть в катастрофу, — тоже не так уж плохо».

«Вы говорите...» — начала я, уже чуть громче.

«Я ничего не говорю, — перебила она. В те времена, когда Вера решала закончить разговор, она захлопывала его, как книжку. Она положила вязанье в корзину и встала. — Хотя вот что я скажу — ты никогда не застелешь постель, пока будешь сидеть на ней. Я сейчас спущусь и приготовлю чай. Когда закончишь, спускайся и попробуешь яблочного пирога, который я привезла с материка. Если тебе повезет, добавлю еще ванильного крема».

«Хорошо», — сказала я. В голове у меня все кружилось, но кусок пирога показался мне как раз тем, что мне нужно. Впервые за последние недели я чувствовала настоящий голод.

Вера дошла до двери, потом повернулась ко мне.

«Мне не жаль тебя, Долорес, — сказала она. — Ты не сказала мне, что беременна, когда устраивалась на работу, а ведь ты была. Я вычислила это. Сколько было к тому времени, три месяца?»

«Шесть недель, — поправила я шепотом. — Селена родилась чуть раньше».

«И что в таких случаях делают разумные девушки на Высоком острове? Конечно, скрывают все. Этому тебя мать научила? Плохо, что она не научила тебя вот чему: хныканье не спасет твою дочь от этого вонючего старого козла и не вернет твоих денег. Но мужчины, особенно пьющие, часто попадают в катастрофы. Они падают с лестницы, засыпают в ванне или влетают в дерево на своем «БМВ», когда спешат домой из Арлингтон-Хайтс от любовницы».

С этими словами она вышла и закрыла дверь. Я застилала постель и думала о том, что она сказала... о том, что не так плохо, когда скотина попадает в катастрофу. Я начинала видеть то решение, которое было прямо передо мной, и разглядела бы его сразу

же, если бы мои мысли не метались в панике, как воробы на чердаке.

Но когда мы попили чай и я проводила ее наверх, кое-что в моей голове прояснилось. Я хотела расквитаться с Джо, хотела отобрать деньги моих детей. Если бы он попал в какую-нибудь катастрофу, это было бы то, что надо. Деньги, которые я не могу получить, пока он жив, вернулись бы ко мне. Он оказался хитрее, чем я думала, но одного он не учел — что он может когда-нибудь умереть.

И все перейдет ко мне как к его жене.

Когда я вечером покинула Пайнвуд, дождь уже кончился, и я шла медленно. Где-то на полпути я вспомнила про старый колодец за деревянным сараем.

Когда пришла, дома никого не было — мальчишки где-то играли, а Селена помогала миссис Девере в прачечной — знаете, она той осенью перестирила все белье в гостинице. Где Джо, я не знала и не хотела знать. Грузовика его не было, и, учитывая грохот, с каким он ездил, я узнала бы о его возвращении.

Я постояла минуту, глядя на записку, оставленную Селеной. Странно, от каких мелочей зависит то, что мы делаем. Даже сейчас я не уверена, хотела ли я тогда убить Джо. Да, я пошла смотреть этот колодец, но это была скорее игра, как у детей. Если бы не эта записка Селены, я могла бы не сделать этого и... кто знает, что тогда было бы. Но Селена этого не узнала и не знает.

Записка была такая: «Мама, я пошла к миссис Девере с Синди Бебоком помочь со стиркой — у них сейчас много постояльцев, а ты знаешь про ее артрит. Она очень меня просила. Вернусь к ужину. Целую».

Я знала, что за это она получит всего долларов шесть или семь, но знала и то, что она была бы рада работать и бесплатно, лишь бы уйти из дома, и с радостью устроиться в гостиницу горничной, если будет такая возможность. Деньги есть деньги, даже на нашем острове, и, конечно, миссис Девере возьмет ее на работу — Селена никогда не ленилась и не боялась запачкать руки.

Иными словами, она была такой же, как я в ее возрасте, а поглядите на меня сейчас — ведьма с согнутой спиной, вечно глотающая анальгин от болей в спине. В пятнадцать лет Селена еще не знала этого, как и я в свое время, но я не хотела, чтобы она шла по моему пути. Я читала ее записку снова и снова и думала, что не допущу этого, даже если мне придется умереть. Но я надеялась, что с нас хватит и смерти Джо.

Я положила записку на стол и надела резиновые сапоги. Потом пошла к белому камню, где мы с Селеной сидели после моего разговора с Джо. Дождь прекратился, но с кустов смородины все еще

стекала вода, и в ветвях повисли дождевые капли. Они были похожи на бриллианты Веры Донован, только поменьше.

Эти заросли тянулись на пол-акра, и я была рада, что на мне сапоги и ветровка — из-за сырости и из-за убийственных колючек. В конце 40-х там росли цветы и кое-какие овощи, но спустя шесть лет после того, как мы переехали в этот дом — его оставил Джо его покойный дядя Фредди, — колодец высох, и все это погибло. Джо пригласил Питера Дойона, и тот вырыл новый колодец с западной стороны дома.

Колючки цеплялись за мою куртку, но я шла вперед, разыскивая глазами дощатую крышку старого колодца. Я порезала руки в трех или четырех местах, и пришлось опустить рукава.

Наконец я нашла эту чертову штуку, едва не свалившись в нее. Я наступила на что-то, полускрытое травой, раздался треск, и я отпрянула прежде, чем доска провалилась вниз. Если бы я упала вперед, крышка бы не выдержала.

Я опустилась на корточки, заслоняясь рукой от проклятых колючек, и стала рассматривать колодец. Крышка была футов четырех в поперечнике; доски уже все побелели и прогнили.

На ощупь они были, как лакричный корень. Доска, на которую я наступила, сломалась и почти раскололась. Тогда я весила сто двадцать, а Джо фунтов на пятьдесят больше.

В кармане у меня был платок. Я повязала им верхушку ближайшего к колодцу куста, чтобы потом отыскать его. После этого я пошла к дому. Той ночью я спала как убитая и не видела страшных снов впервые с того дня, когда узнала от Селены, что с ней сделал ее отец.

Это было в конце ноября, и я долго ничего не предпринимала. Не знаю, стоит ли вам говорить, но я скажу: если бы я ним что-то случилось сразу после нашей беседы на пароме, Селена обязательно заподозрила бы меня. А ведь часть ее все еще любила его и, может быть, и сейчас любит. Я боялась того, что она подумает обо мне... и о себе. Может быть, так и случилось. Не знаю. Неважно.

Поэтому я тянула время, что всегда было для меня самым тяжелым. Дни складывались в недели, недели в месяцы. Временами я спрашивала Селену: «Хорошо ли ведет себя папа?» — и мы обе понимали, что это значит. Она всегда отвечала «да», и я была рада, потому что иначе мне пришлось бы действовать прямо тогда, наплевав на последствия.

После Рождества, в начале 63-го, у меня появились и другие поводы для беспокойства. Во-первых, деньги. Каждый день я думала, не начал ли он их тратить. Триста долларов он спустил, кто помешает ему взяться за остальные? Не могу передать, как я охотилась за его новыми книжками, не нигде не могла их найти.

Все, что я могла, — это смотреть, как он то притаскивает домой новую электропилу, то является с дорогими часами на руке, и надеяться, что он еще не спустил деньги в своих воскресных покерных играх в Бангуре. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой беспомощной.

Потом нужно было решить, где и как делать это... если я вообще решусь это сделать. Идея использовать старый колодец оставалась; вопрос был в том, как сохранить это в тайне. Это в кино люди умирают быстро и чисто, а жизнь совсем не похожа на кино — это я знала еще тридцать лет назад.

Допустим, он свалился туда и начал кричать. Остров тогда не был так застроен, как сейчас, но у нас было трое соседей по Ист-лэйн — Кэрроны, Лэнгиллы и Джоландеры. Они могли и не услышать этих криков сквозь смородину... но могли и услышать, если ветер будет дуть в нужную сторону. Кроме того по Ист-лэйн уже тогда ездили машины, немного, но вполне достаточно, чтобы беспокоить женщину, думающую о том, о чем думала я.

Я уже почти не думала трогать колодец, когда ответ пришел сам собой. И его опять подсказала мне Вера.

Она ждала затмения, вот в чем дело. Она приезжала чуть ли не каждую неделю и регулярно привозила вырезки из разных местных газет и из журналов вроде «Сайентифик Америкэн».

Еще она волновалась потому, что считала, что затмение обязательно приведет в Пайнвуд Дональда и Хельгу — она говорила мне об этом снова и снова. К середине мая, когда уже совсем потеплело, она и не вспоминала про Балтимор, а была озабочена этим чертовым затмением. В шкафу у нее были четыре камеры, три из них уже на штативах, да еще восемь пар специальных темных очков, перископы и еще какие-то непонятные приборы.

Потом, в конце мая, я пришла к ней и увидела на столе вырезку из нашей газетки: «Гостиница предлагает постояльцам все для наблюдений затмения». На фотографии Джимми Гэньон и Харли Фокс сколачивали какую-то трибуну на крыше гостиницы — она тогда была такая же плоская, как сейчас. И знаете что? Во мне опять что-то сдвинулось, как тогда, когда я увидела первую статью о затмении на том же столе.

В заметке говорилось, что владельцы гостиницы хотят оборудовать на крыше что-то наподобие обсерватории, и что крыша будет для этого «специально перестроена» (смешно подумать, что Джимми и Харли могут что-нибудь перестроить), и что планируется продать триста пятьдесят особых «мест для наблюдения затмения», причем преимущество предоставлялось постояльцам гостиницы. Цена была скромной — два доллара, — но наверняка они хотели выгадать за счет бара и закусок.

Я еще читала статью, когда вошла Вера. Я не слышала этого и, когда она заговорила, подпрыгнула фура на два.

«Ну, Долорес, — сказала она, — что ты выбираешь? Крышу гостиницы или «Принцессу острова»?

«А при чем тут «Принцесса»? — удивилась я.

«Я сняла ее на весь день затмения».

«Не может быть!» — воскликнула я, хотя знала, что Вера не бросает слов на ветер. Но снять такую громадину, как паром...

«Может, — сказала она. — Это стоило мне немало, пришлось оплатить все рейсы за день, но я это сделала. И если ты выберешь паром, можешь располагать всеми напитками на борту, — и, поглядев на меня прищуренными глазами, добавила: — Твоему мужу это бы подошло, как тебе кажется?»

«Господи, Вера, — ахнула я, — ну зачем вам *паром*? — ее имя все еще застrevало у меня во рту, но она тогда не щутила и не собиралась возвращаться к «миссис Донован». — То есть я знаю, как вы интересуетесь этим затмением, но вы могли бы снять лодку почти такой же величины и вдвое дешевле».

Она, пожав плечами, поглядела на меня тем самым своим взглядом «поцелуй-мой-нижний-профиль».

«Я сделала это потому, что люблю эту дыру, — сказала она. — Этот остров — мое самое любимое место на земле, ты это знаешь, Долорес?»

Да, я знала это и молча кивнула головой.

«Конечно, знаешь. И именно «Принцесса» всегда привозила меня сюда — старая толстая «Принцесса». Я объявила, что там может с удобством разместиться четыреста человек, на пятьдесят больше, чем на крыше гостиницы, и все, кто хочет, могут поехать со мной и с детьми, — она улыбнулась, и это была улыбка девочки, которая рада жизни и хочет радовать других. — И знаешь еще что, Долорес?»

«Не знаю».

«Можешь свободно... — тут она прервалась и с тревогой посмотрела на меня, — Долорес, ты в порядке?»

Но я ничего не ответила. Передо мной предстала жуткая картина: плоская крыша гостиницы, забитая людьми с задранными вверх головами и у берега — черная громадина «Принцессы», тоже заполненная народом, и все смотрят вверх, на большой черный диск, окруженный огнем. Картина правда была жуткая, но я думала не о ней. Я думала об *остальной части острова*.

«Долорес? — повторила она, положив мне руку на плечо. — Тебе что, плохо? Сядь сюда, я принесу стакан воды».

Мне не было плохо, но легкую слабость я чувствовала, поэтому послушно села, куда она сказала... вернее, чуть не упала, потому

что колени у меня были, словно резиновые. Я смотрела, как она несет мне воду, и считала. Если сложить тех, кто полезет на крышу гостиницы, и тех, кто поплынет на «Принцессе», получится семьсот пятьдесят человек. Это были не все, кто живет на острове в середине июля, но почти все. А остальные, скорее всего, будут наблюдать затмение на пляже и на пристани.

Вера принесла воду, и я выпила ее залпом. Она выглядела обеспокоенной.

«Ты правда в порядке, Долорес? — спросила она. — Может, хочешь лечь?»

«Нет, спасибо, — ответила я. — Так, легкая слабость».

Наверное, слабость всегда появляется, когда окончательно решаясь на убийство собственного мужа.

Часа через три, когда все было вымыто, ужин сварен (ужинала она всегда одна — она могла делить с хмырем постель, но не стол), а купленные продукты разложены по местам, я собралась уходить. Вера сидела за столом в кухне, разгадывая кроссворд в газете.

«Подумай насчет парома, Долорес, — снова сказала она. — На море будет гораздо уютнее, чем на твоей раскаленной крыше».

«Спасибо вам, Вера, — сказала я, — но, раз уж мне выпадет выходной, я лучше проведу его дома».

«Ты не обидишься, если я скажу, что это глупо?» — спросила она, все так же глядя на меня.

С каких это пор ты боишься меня обидеть, стерва? — подумала я, но, разумеется, ничего не сказала. Кроме того, она действительно выглядела озабоченной, когда решила, что мне плохо, хотя может быть, только из-за того, что она боялась, что я залью кровью из носа пол на кухне.

«Нет, Вера, — ответила я. — Глупо и глупо. Я вообще глупа, как пробка».

«Разве? — она как-то странно подмигнула. — Иногда я так и думаю... А иногда мне кажется, что я ошибаюсь».

Я попрощалась и пошла домой, снова и снова думая о своей идее и ища в ней слабые места. Их не было — помешать мог только случай. Случай, конечно, много значит, но если о нем все время думать, вообще ничего не сделаешь. К тому же, если что-то будет не так, я всегда могу пойти на попятный.

Прошел май с Днем Памяти, и начались школьные каникулы. Я уже готовилась спорить с Селеной по поводу ее работы в гостинице, но тут подвернулся прекрасный случай. К нам как-то пришел преподобный Хафф — он еще тогда был методистским священником, — и сказал, что методистскому лагерю в Уинтропе требуются две девушки — вожатые, хорошо умеющие плавать. Что ж, Селена и Таня Кэррон плавали, как рыбы, и преподобный это знал. Короче,

через неделю мы с Мелиссою Кэррон махали платками нашим девочкам, упльывающим на «Принцессе», и плакали, как дуры. Селена надела розовый дорожный костюм, и я впервые увидела, что она совсем взрослая. Это расстроило меня тогда, и до сих пор тяжело вспоминать.

«Есть у кого-нибудь платок?»

«Спасибо, Нэнси. Так о чём это я?»

«Ах, да.»

Селена уехала; оставались мальчишки. Я попросила Джо позвонить его сестре в Нью-Глостер и попросить ее с мужем принять их на июль, как уже бывало пару раз, когда парни были помладше. Я боялась, что Джо не захочет расставаться с Маленьким Питом, но он, наверное, представил, как дома будет тихо, и ему это понравилось.

Алисия Форберт — так звали его сестру, — сказала, что они будут рады видеть детей. Джек Форберт, похоже, был не так рад, но всем заправляла Алисия, и вопрос решился.

Проблема была в том, что ни Джо-младший, ни Маленький Пит не хотели уезжать. Я их не винила: мальчики Форбертов были уже тинэйджеры и не очень-то возились с такой мелкотой. Но меня такие вещи остановить не могли. В итоге я просто надавила на них. Джо-младший сопротивлялся чуть дольше, пока я не сказала ему: «Подумай, это же отдых от твоего отца». Печально, что приходилось убеждать детей таким образом.

А потом они и сами были рады уехать — Джо после четвертого июля пил все больше, и даже Маленький Пит не находил его в таком состоянии очень уж привлекательным. Его пьянство меня не очень беспокоило; я ему даже помогала.

Когда он в первый раз открыл кухонный шкаф и обнаружил там непочатую бутыль виски, он прямо осталбенел — я думала он упадет в обморок. Но потом он уже не задавал вопросов, а только пил. С четвертого июля до дня своей смерти Джо Сент-Джордж большую часть времени был под мухой, а в таком состоянии мужчину ничего не интересует.

Однако неделя до отъезда мальчишеска была для меня не очень-то приятной. Я уходила утром к Вере, когда он валялся на кровати, хранил и вонял, как гнилой сыр. Приходила я в два или в три, и он торчал на веранде (он перетащил туда любимое кресло), читал «Америкэн» и прихлебывал виски прямо из бутылки. Он пил всегда один, мой Джо был не из тех, кого называют «душа нараспашку».

В «Америкэн» тоже писали о затмении, но, похоже, Джо всегда плохо понимал, что читал. Его волновали только коммунисты, участники маршей протеста («ниггеры из автобусов», как он их называл) и чертов католик в Белом доме. Узнай он тогда, что

случится с Кеннеди через четыре месяца, он умер бы счастливым, этот подонок.

Я сидела возле него и слушала, как он рассуждает о прочитанном. Я хотела, чтобы он привык к моему обществу, когда я дома, но черт меня побери, если это было легко. Даже от выпивки он не сделался добрее, хотя с некоторыми это бывает.

По мере приближения великого дня, я уходила от Веры все с большим облегчением, хотя дома меня ждал только пьяный вонючий муж. Она совсем спятила — металась по дому, все время проверяла свои приборы для наблюдения и звонила разным людям, приглашая их прокатиться вместе с ней на пароме.

В июне под моим началом было шесть девушек, а после Четвертого июля их стало восемь — такого количества дом Донованов еще не видел. Они вымыли и отчистили каждый уголок так, что все сияло, и застелили все до одной кровати. Пришлось даже поставить еще кровати в солярии и на веранде второго этажа. Она ожидала в день затмения человек двадцать гостей с материка, носилась повсюду, выкрикивая указания, и была совершенно счастлива.

Потом, сразу после того, как мальчишки собрались и уехали к тете Алисии и дяде Джеку, ее хорошее настроение вдруг улетучилось. Или скорее лопнуло, как воздушный шарик. Только что она глядела весело и что-то напевала, а на другой день как-то сгорбилась, и в глазах ее опять появился тот взгляд, с каким она приехала на остров после смерти мужа. В тот день она уволила двух девушек — одна стояла на пульте, моя окно в гостиной, другая болтала на кухне с рассыльным и смеялась. Эта другая даже заплакала, когда это случилось. Она сказала Вере, что училась с этим парнем в школе и не видела его с тех пор, сказала, что просит простить ее и не выгонять, иначе мать устроит ей взбучку.

Веру это ничуть не проняло.

«Есть и хорошие стороны, дорогая, — сказала она ледяным тоном. — Мать будет тебя ругать, зато ты хорошо посмеялась с этим парнем».

Девушка — ее звали Сандра Мэлкей — пошла прочь, повесив голову и рыдая во весь голос. Вера стояла в холле и притворялась, что смотрит в окно. У меня так и чесалась нога пнуть ее под задницу... но я ее и жалела. Я-то поняла, почему у нее испортилось настроение — дети, которых она так ждала, не приехали, несмотря на паром и все прочие приманки. Может, у них были просто другие планы, как всегда у детей, но мне казалось, что размолвка между ними и матерью продолжалась.

Настроение Веры улучшилось, когда начали приезжать гости, Но я все равно была рада, уходя каждый день домой, а во вторник она уволила еще одну девушку, Карин Джоландер, которая выбросила

треснутую тарелку. Карин не плакала, уходя по дороге, но смотреть на нее было тяжко.

Видно, тогда я была на взводе, потому что, как только Карин ушла, я пошла разыскивать Веру. Она бродила по саду в своей соломенной шляпе и срезала розы так свирепо, как будто была не Верой Донован, а мадам Дюфарж, отрезающей головы.

Я подошла прямо к ней и сказала:

«Зря вы уволили эту девушку».

Она выпрямилась и смерила меня взглядом благородной девицы.

«Ты так думаешь? Рада услышать твое мнение, Долорес. Знаешь, каждый вечер, ложась спать, я так и спрашиваю себя: «Что бы сказала об этом Долорес Сент-Джордж?» Просто уснуть не могу».

Это меня еще больше взбесило.

«Долорес Сент-Джордж думает, — сказала я, — что она никогда не стала бы вымешивать свои обиды на беззащитных людях. Она не такая стерва».

Челюсть ее отвалилась, как будто я открутила держащие ее болты. Похоже, она так удивилась, что даже не заметила моего испуга. Ноги у меня так дрожали, что я еле дошла до кухни, чтобы посидеть там и подумать. Я наблюдала в окошко над раковиной, как она продолжала срезать розы, и они падали в ее корзину, как мертвые солдаты с окровавленными головами.

Я уже собралась уходить, когда она захотела поговорить со мной. Душа у меня ушла в пятки — я не сомневалась, что она мне скажет, что не нуждается больше в моих услугах, в последний раз посмотрит на меня этим своим «поцелуй-мой-нижний-профиль» взглядом, и я пойду себе по дороге, как те девушки. Конечно, я бы почувствовала облегчение, но и обиду тоже. Меня никогда еще не выгоняли с работы. Короче, я собрала остатки сил и вошла в ее комнату.

Но когда я ее увидела, я поняла, что увольнять меня не собираются. Она смыла весь макияж, который был на ней утром, и похоже было, что она плакала. В руках она держала коричневый пакет, который и протянула мне.

«Что это?» — спросила я.

«Два бинокля и два рефлектора, — сказала она. — Я подумала, что вам с Джо может понадобиться. У меня, — она откашлялась и снова посмотрела на меня. Одно меня в ней восхищало — как она умела смотреть на людей, что бы она при этом ни говорила: — У меня остались лишние».

«Да? — спросила я. — Очень жаль».

Она отмахнулась и спросила, не собралась ли я ехать с ней на пароме.

«Нет, — сказала я. — Я посмотрю на это со своего крыльца вместе с Джо. А если он куда-нибудь провалится, пойду на Восточный мыс».

«Пусть провалится, — она смотрела на меня в упор. — Я хочу извиниться за сегодняшнее утро... и передай Мэйбл Джоландер, что я изменила свое решение».

Ей стоило немалого сказать такое, Энди — ты не знал ее так хорошо, как я, и можешь мне не поверить, но ей это очень дорого стоило. По правде говоря, я в первый раз услышала, чтобы она извинялась.

«Передам, — сказала я. — Только это Карин, а не Мэйбл. Мэйбл работала у вас шесть лет назад, а сейчас она в Нью-Хэмпшире, в телефонной компании».

«Ну, Карин, — согласилась она. — Скажи ей, что я передумала, пусть возвращается. И больше ни слова об этом, Долорес. Ты поняла?»

«Да, — сказала я. — И спасибо за бинокли. Они нам очень пригодятся».

«Пожалуйста, — сказала она, и, когда я уже выходила, окликнула меня: — Долорес!»

Я обернулась, и она опять подмигнула мне, будто знала что-то такое, чего не должна была знать.

«Иногда приходится быть стервой, — сказала она. — Только так женщина может выжить».

И она закрыла дверь перед самым моим носом; но осторожно, а не захлопнула.

Ну вот, наступил день затмения, и я не могу рассказывать вам про него — а я собираюсь рассказать *все*, — с сухим горлом. Я говорю уже два часа, и еще много осталось, поэтому говорю тебе, Энди, — доставай свою бутылку из стола, или на сегодня придется закончить.

Вот так-то лучше. Эй, куда ты столько льешь! Один глоток может прочистить трубу, а два забьют ее снова. Хватит.

Теперь можно и продолжать.

Вечером 19-го я легла спать вся больная, потому что по радио передали, что возможен дождь. Я столько думала обо всем этом, а про дождь даже не вспоминала. Потом я сказала себе: Долорес, ты зашла слишком далеко. Ты сделаешь это, даже если будет лить, как из ведра. И я закрыла глаза и спокойно уснула.

Суббота, 20 июля 63-го года, была жаркой и облачной. Радио сказали, что дождя, по всей вероятности, не будет, но возможна сильная облачность, и шансы жителей побережья увидеть затмение примерно пятьдесят на пятьдесят.

Я чувствовала, что груз свалился с моих плеч, и, оставив свои тревоги, отправилась к Вере готовить прием, который она планиро-

вала. Неважно, что будет облачно, все равно все будут торчать на крыше или на пароме, пытаясь разглядеть между облаков то, чего они не увидят больше никогда в жизни. Надежда — великая сила, никто не знает это лучше меня.

Я помнила, что Вера пригласила к себе восемнадцать гостей, но банкет был рассчитан на гораздо большее число — человек на тридцать. Те, кто должен был ехать с ней (а это были в основном местные), собирались на пристани к часу, а старая «Принцесса» должна была подойти туда к двум.

Я думала застать Вера в волнении, готовой выскочить из кожи, но она, похоже, всю жизнь только и делала, что удивляла меня. На ней было что-то красно-белое, больше похожее на плащ, чем на платье; по-моему, это называется «кафтан», а волосы она связала в простой пучок, совсем не похоже на пятидесятидолларовую прическу, которую она обычно делала по торжественным дням.

Она ходила вокруг длинного банкетного стола, установленного на лужайке перед домом, смеялась и разговаривала с гостями, большинство которых приехало из Балтимора. В этот день она выглядела не так, как всю предыдущую неделю. Помните, я говорила, что она все время напевала под нос? Так вот, в день затмения она скорее жужжала, как сердитая муха, и смех ее был каким-то особенно звонким.

Она увидела меня и поспешила навстречу с какими-то указаниями, но она и ходила не так, как в предыдущую неделю, а словно все время хотела побежать. И она по-прежнему улыбалась. Я решила — она смирилась с тем, что ее дети не приедут, и подумала, что может быть счастлива и без них. И знаешь, Энди — я ее знала еще тридцать лет, но никогда больше не видела такой счастливой. Довольной — да, но не счастливой, как бабочка на цветке в теплый летний день. Тогда она казалась именно такой.

«Долорес! — воскликнула она. — Долорес Клэйборн!» — в первый раз она назвала меня девичьей фамилией, хотя Джо был еще жив и здоров. Когда я поняла это, я вздрогнула — так, наверное, вздрагиваешь, когда проходишь мимо места, где тебя похоронят.

«Доброе утро, Вера, — сказала я. — Жаль, что день такой пасмурный».

Она поглядела на серое небо и улыбнулась:

«К трем часам появится солнце».

«Вы говорите так, будто дали ему команду», — заметила я.

Я пошутила, конечно, но она вполне серьезно кивнула и сказала:

«Именно так. А теперь сходи на кухню и вели побыстрее подавать кофе».

Я пошла, но она тут же окликнула меня, как за два дня до этого, когда сказала, что женщине приходится иногда быть стервой. Я

повернулась, думая, что она мне скажет на этот раз, но она просто стояла там в своем красно-белом наряде, улыбаясь и выглядя не старше двадцати пяти в этом белом утреннем свете.

«Солнце выглядит в три, Долорес, — сказала она наконец. — Вот увидишь!»

Банкет кончился в одиннадцать. Гости двинулись к пристани, а мы с девушками вымыли посуду и тоже стали расходиться. Сама Вера ушла только в полпятого — уехала с тремя или четырьмя гостями на старом «форде», который у нее был на острове. Я возилась с посудой до часу, потом сказала Гейл Лавескью, что у меня разболелась голова, и оставила ее за старшую. Когда я уходила, Карин Джоландер обняла меня и поцеловала. Она опять плакала — эта девчонка вообще ревела по любому поводу.

«Не знаю, что тебе наболтали, Карин, — сказала я ей, — но меня тебе не за что благодарить. Я ничего не сделала».

«Никто мне не наболтал, — всхлипнула она, — но я знаю, что это вы, миссис Сент-Джордж. Никто другой не посмел бы перечить этому старому дракону».

Я чмокнула ее в щеку и пожелала в душе, чтобы она не перебила слишком много тарелок. Потом я ушла.

Я помню все, что случилось дальше, Энди — *все*, но лучше всего помню, как я шла от дома Веры до центра и думала: «Я иду убивать своего мужа. Я иду убивать своего мужа», как будто вбивала эту мысль в свою голову, как гвоздь в стенку. Но, оглядываясь сейчас назад, я думаю, что вбивала это не в голову, а в *сердце*.

Хотя было еще час пятнадцать и до затмения оставалось три часа, улицы совсем опустели. При виде этого я вспомнила этот городок на юге штата, где исчезли все жители. Потом я посмотрела на крышу гостиницы — там уже сидели около сотни человек и глазели на небо, как фермеры в сезон уборки. Внизу у пристани я увидела «Принцессу», тоже забитую людьми, которые ходили по палубе с бокалами, как на пикнике. На пристани толпился народ, и вокруг сновали лодки, штук пятьсот, больше, чем я когда-либо видела. И у всех были темные очки или рефлекторы. Такого дня на острове не было ни до того, ни после, и он показался мне похожим на сон, даже если бы я не задумала то, что задумала.

Магазин был открыт, — думаю, хозяин не закрыл бы его и на Страшный Суд, — и я зашла и купила бутылку «Джонни Уокера».

Придя домой, я сунула бутылку Джо, ничего не говоря — просто плюхнула на колени, — и пошла относить пакет с биноклями, который мне дала Вера. Когда я снова вышла на крыльце, Джо рассматривал бутылку на свет.

«Будешь пить или только смотреть?» — спросила я.

Он подозрительно посмотрел на меня и осведомился:

«Что это значит, Долорес?»

«Отпразднуй затмение, — сказала я. — Если не хочешь, могу выпить в раковину».

Я потянулась к бутылке, и он живо ее отдернул.

«Что-то ты расщедрилась, — буркнул он. — Мы не можем тратиться на такие вещи», — однако достал нож и срезал пробку.

«Что ж, по правде сказать, это не только из-за затмения, — сказала я. — Я просто так счастлива, что хочу с кем-то поделиться. А раз тебе доставляет радость только выпивка...»

Он скрутил пробку и отхлебнул. Руки его дрожали, и я смотрела на это с удовлетворением — мои шансы увеличивались. «А с чего это ты счастлива? — спросил он. — Встретила кого-нибудь уродливей себя?»

«Мог бы не говорить это хотя бы в день, когда я купила тебе бутылку лучшего виски, — сказала я. — Еще не поздно у тебя ее забрать», — и снова протянула руку.

«Попробуй», — сказал он.

«Ну, ладно. Посмотрим, почему ты выучился у своих «Анонимных алкоголиков».

Он непонимающе посмотрел на меня:

«Да с чего ты так развеселилась? Оттого, что отослала парней из дома?»

«Нет, я уже скучаю по ним», — это была правда

«Да уж, — он снова отхлебнул. — Тогда отчего?»

«Потом скажу», — и я встала.

Он схватил меня за руку.

«Говори сейчас, Долорес. Ты знаешь, я не люблю, когда надо мной смеются».

Я посмотрела на него сверху вниз и сказала:

«Убери руку, или эта дорогая бутылка разобьется о твою башку. Я не хочу с тобой драться, Джо, особенно сегодня. Я купила салами, швейцарский сыр и пирожные».

«Пирожные! — воскликнул он. — Ну, ты даешь!»

«Не волнуйся, эти деликатесы не хуже, чем лопают гости Веры на пароме».

«К черту деликатесы! — сказал он, оживившись немного. — Лучше просто сделай мне сэндвич».

«Ладно, сделаю», — сказала я.

Он посмотрел на берег и заметил, наконец, паром и все, что там творилось, и его нижняя губа опять по-уродски оттопырилась. Лодок прибавилось, и людей тоже, и мне показалось, что небо чуть посветлело.

«Ты глянь! — протянул он, как в последнее время повторял за ним Маленький Пит. — Из-за такой ерунды все эти мудаки готовы

выпрыгнуть из штанов. Хотя бы пошел дождь! Хотя бы поднялся ветер и потопил эту суку, у которой ты работаешь, и всех остальных!»

«Узнаю моего Джо, — сказала я. — Сама доброта и любезность».

Он посмотрел на меня, прижимая к груди бутылку, как медведь колоду с медом:

«Что ты там несешь, женщина?»

«Ничего, — сказала я. — Я пойду приготовлю сэндвич тебе и что-нибудь для себя. Мы посидим, выпьем и посмотрим затмение — Вера дала нам бинокли. А потом я скажу, почему я так рада. Это сюрприз».

«Не люблю я твоих сюрпризов», — сказал он.

«Я знаю, что не любишь. Но этот тебе понравится. Ты ничего подобного еще не слышал», — и я пошла на кухню, чтобы он как следует занялся бутылкой. В конце концов это был его последний виски в жизни. Больше ему не понадобятся «Анонимные алкоголики», чтобы отвыкнуть от пьянства.

Это был самый длинный день в моей жизни и самый странный. Он сидел в своем кресле с бутылкой и газетой и бубнил в кухонное окно что-то о проклятых демократах, совсем позабыв о затмении и о моем сюрпризе. Я делала сэндвич, напевала и думала: «Делай получше, Долорес — положи его любимого красного лука и горчицы. Делай получше, ведь это его последняя еда на этом свете».

С того места, где я стояла, я видела белый камень и верхушки кустов смородины. Платок, который я повязала над кустом смородины, я тоже видела. Он кивал мне на ветру.

Я помню, как в тот день пели птицы и как с берега доносились голоса собравшихся там людей, похожие на звуки радио. Я помню даже, что напевала «Господен Рай — как сладок этот звук», когда делала себе крекеры с сыром (мне совсем не хотелось есть, но иначе Джо мог что-нибудь заподозрить).

Где-то без четверти два я вышла на крыльце с подносом в одной руке, как официантка, и с сумкой, где лежали бинокли, в другой. Небо все еще было в облаках, но заметно просветлело.

Джо ничего не сказал, но по тому, как он отложил газету и вгрызся в сэндвич, я увидела, что ему понравилось. Что-то похожее я видела в кино или в книжке: «Приговоренный к смерти ест последний ужин».

Я сама не могла удержаться: слопала все крекеры до единого и выпила целую бутылку пепси. Раз или два я думала, хороший ли аппетит у палачей перед казнью. Смешно, о каких вещах думает человек, когда ему нужно заставить себя что-то сделать, правда?

Солнце выглянуло, когда мы заканчивали есть. Я вспомнила, что мне утром сказала Вера, посмотрела на часы и улыбнулась. Было

ровно три. В то же время мимо проехал Дэйв Пеллетье — он тогда развозил почту на острове, — оставил за собой хвост пыли, и больше до темноты я не видела ни одной машины.

Я поставила тарелки и пустую бутылку из-под воды на поднос, но, прежде чем я успела встать, Джо сделал то, чего не делал многие годы: обхватил меня рукой за шею и поцеловал. От него воняло виски и луком, но это был настоящий поцелуй, даже нежный. Помню я закрыла глаза и чувствовала на своих губах его губы, а на лбу солнечное тепло.

«Не так уж плохо, Долорес», — сказал он: высшая похвала в его устах.

И я вспомнила вдруг не то, что он сделал с Селеной, и как он вел себя все эти годы, а тот выпускной вечер в 1945-м, и как я подумала: «Если он меня сейчас поцелует, я протяну руку и пощупаю кожу у него на лбу — правда ли она такая гладкая и нежная, как кажется». На миг я снова стала той зеленой девчонкой, какой была тогда, и снова, как тогда, я протянула руку и коснулась его лба. И тут мой внутренний глаз вдруг раскрылся шире, чем когда-либо, и я увидела, что так он добивался того, чего хотел, и от меня тогда, и от Селены, и от работников банка. А добившись, он ломал людей и портил, как игрушки. Я вспомнила, как он хлопал по плечу Маленького Пита, когда тот называл кого-нибудь засранцем или говорил, что мальчик из их класса ленивый, как негр. Он испортит их всех, если дать ему волю, а потом умрет, оставив нам неоплаченные счета и дырку в земле.

Что ж, дырка для него была готова, тридцати футов глубиной, выложенная камнем. Ни его единственный поцелуй после стольких лет страданий, ни его красивый лоб, из-за которого эти страдания начались, не могли ничего изменить... но я дотронулась до него еще раз, вспоминая, как оркестр играл «Лунный коктейль», и запах его одеколона, взятого у отца.

Потом я пришла в себя.

«Я рада, — сказала я и встала. — Пойду вымою тарелки, а ты разберись с этими биноклями».

«Плевать мне на бинокли и на все это чертово затмение, — сказал он. — Я уже видел темноту, каждую ночь».

«Как знаешь», — пожала я плечами.

Когда я дошла до двери, он спросил:

«Может, пойдем покуыркаемся, а, Долорес?»

«Посмотрим», — сказала я, думая, что да, Джо Сент-Джордж покуыркается сегодня больше, чем за всю свою жизнь.

Я мыла тарелки и думала, что он все равно мог в постели только храпеть и пердеть, и его пьянство было виновато в этом скорее, чем мое уродство. Но я боялась, что мысль о траханье (извини меня,

Нэнси) отвлечет его от бутылки. Напрасно — для Джо бутылка всегда на первом месте. В окно я видела, как он вытащил один из биноклей и стал его вертеть. По телевизору как-то показывали, как шимпанзе пытается включить радио — очень похоже. Потом он отложил бинокль и снова присосался к «Джонни Уокеру».

Когда я вышла на крыльцо с корзиной, у него уже появился знакомый осовевший взгляд, и он подозрительно уставился на меня.

«Ничего, — сказала я как можно ласковее. — Я посижу тут, зашью кое-что, пока солнце не зайдет. Правда, интересно?»

«Господи, Долорес, у меня что, сегодня день рождения?» — в кои веки у него был довольный голос!

«Ну, может и так», — загадочно сказала я и начала штопать джинсы Маленького Пита.

Следующие полтора часа тянулись медленнее, как в детстве, когда тетя Клорис обещала в первый раз свозить меня в кино в Эллсварт. Я заштопала джинсы, поставила заплатки на двое брюк Джо-младшего (даже тогда он не носил джинсы — не удивлюсь, если он уже тогда знал, что будет политиком) и зашила две юбки Селены. Под конец я заштопала почти новые носки Джо. Помню, я подумала, что похороню его в них.

Потом я заметила, что свет начал понемногу меркнуть.

«Долорес! — окликнул Джо. — Похоже, это то, чего ты и все эти ослы ожидали».

«Ага, вижу», — сказала я. Свет из желтого, каким он должен быть в июле, стал розовым, и тени как-то странно истончились, как я никогда раньше не видела и теперь уже не увижу.

Я взяла рефлектор, как показывала мне Вера, и подумала о чем-то странном, словно из сна. «Та маленькая девочка на коленях у отца тоже держит такую штуку», — подумала я.

Не знаю, почему, Энди, но я думала о ней, а в следующую минуту мне даже показалось, что я вижу ее. Наверное, так пророки из Ветхого Завета видели будущее и всякие вещи: девочка лет десяти, в красно-желтом полосатом платьице вроде сарафана, с рефлектором у глаз. Ее светлые волосы были зачесаны назад, будто она хотела казаться взрослее. Я увидела еще кое-что, что заставило меня вспомнить о Джо: рука ее отца лежала на ее ноге, выше, чем надо бы. Потом все исчезло.

«Долорес? — позвал Джо. — Ты в порядке?»

«Конечно. А что?»

«У тебя был странный вид».

«Это из-за затмения», — сказала я, и, может, так оно и было, Энди — я думаю, это была настоящая девочка, которая сидела на коленях у отца где-нибудь на пути затмения в тот самый момент.

Я поглядела в рефлектор и увидела маленько белое солнце с узенькой черной полоской с одной стороны. Потом я поглядела на Джо. Он тоже смотрел в бинокль.

«Черт, — сказал он. — Оно исчезает».

Тут в траве застремотали кузнечики, похоже, они решили, что начался закат. Я посмотрела в сторону парома — вода в океане стала темно-синей, немного жуткой и в то же время прекрасной. Казалось, что все лодки, застывшие там, — мираж.

Я взглянула на часы: без десяти пять. В следующий час все на острове не оторвут глаз от неба. Улица вымерла, соседи были на «Принцессе» или на крыше гостиницы, и мне пора было действовать. Кишки мои будто склеились, и перед глазами все еще стояла та девочка, но я знала: если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю никогда.

Я отложила рефлектор и позвала:

«Джо».

«Что?» — спросил он, не отрываясь от бинокля. Затмение захватило и его, хоть он и не собирался смотреть.

«Пришло время для сюрприза», — сказала я.

«Какого еще сюрприза?» — он недовольно опустил бинокль и посмотрел на меня. Он выглядел слегка обалдевшим, то ли от затмения, то ли от виски. Если он не поймет меня, то весь мой план рухнет, и что тогда? Я помнила только об одном: назад пути нет.

Тут он взял меня за плечо и тряхнул:

«О чём ты говоришь, женщина?»

«О деньгах на счетах наших детей», — сказала я.

Его глаза сузились, и я увидела, что он не так уж пьян, как мне показалось. И еще я поняла, что тот поцелуй ничего не изменил и не мог изменить. Иуда тоже целовал Христа.

«Ну и что с ними?» — спросил он.

«Ты взял их».

«Ты что?»

«Не отпираяся, — сказала я. — После того, что ты выкинул с Селеной, я поехала в банк. Я хотела забрать деньги и уехать от тебя вместе с детьми».

Он несколько секунд молча смотрел на меня, потом откинулся в своем кресле и начал смеяться.

«Ну, и как тебе это понравилось? — спросил он, отхлебывая еще виски и снова поднося к глазам бинокль. — Половины уже нет, Долорес! Ты погляди!»

Я заглянула в свой рефлектор. Он был прав: половина солнца исчезла.

«Ага, — сказала я, — половины нет. А деньги...»

«Забудь про них. Не забивай себе голову. С деньгами все будет нормально».

«О, я не беспокоюсь, — сказала я. — Ни капельки. Когда ты меня одурачил, я много думала об этом».

Он кивнул и снова засмеялся, как школьник, который не боится распекающего его учителя. Он так смеялся, что в воздухе перед ним повисло маленькое облачко брызг слюны.

«Прости, Долорес, — проговорил он. — Не хотел смеяться, но уж больно у тебя потешный вид».

«Ага, — согласилась я. — Но знаешь, что говорят об этом?»

«А что тут можно сказать? — удивился он. Он отложил бинокль и смотрел на меня, и от смеха на его маленьких свиных глазах даже выступили слезы. — Что говорят о мужьях, которые показали женам на их место?»

«Кто надул меня однажды, позор ему; кто надул меня дважды, позор мне, — сказала я. — Ты надул меня с Селеной и с деньгами, но я тебя все же поймала».

«Слушай, если ты боишься, что я их потратил, то...»

«Я не боюсь, — сказала я. — Уже не боюсь».

Тут он перестал улыбаться и долго смотрел на меня, пытаясь понять, о чем я говорю. Губа его опять оттопырилась.

«Долорес, женщины не понимают насчет денег главного, — сказал он, — и ты не исключение. Я просто положил их на один счет, а тебе не сказал, чтобы не слушать твой бред. Не беспокойся об этих деньгах, и все будет в порядке», — и он поднес к глазам бинокль, давая понять, что тема закрыта.

«Да, один счет на твое имя».

«Ну и что? — спросил он. Солнце уже почти скрылось, и все погрузилось в полумрак. Где-то запела ночная птица, потом еще одна. Температура тоже начала падать. Все это было похоже на странный сон, ставший вдруг явью. — Почему он не может быть на мое имя? Я же их отец».

«Да, в них течет твоя кровь. Если это делает тебя их отцом, то ты отец».

Я видела, как он пытается разобраться в этой фразе и не может.

«Не говори так больше, Долорес, — сказал он наконец. — Продупреждаю тебя».

«Ладно, не буду. У нас впереди еще сюрприз».

«О чём ты, черт побери, болтаешь?»

«Я познакомилась с одним человеком в банке. Мистер Пиз из Джонспорта. Я рассказала ему, что произошло, и он был очень огорчен. Особенно когда я показала ему настоящие книжки, и оказалось, что они вовсе не утеряны».

Вот тут Джо потерял всякий интерес к затмению. Он сел в своем вонючем кресле, уставившись на меня и медленно сжимая и разжимая кулаки.

«Мистер Пиз проверил, остались ли эти деньги в банке, и когда они нашлись, мы с ним вздохнули с облегчением. Он спросил, собираюсь ли я заявлять в полицию, но я пожалела тебя и сказала, что достаточно будет вернуть эти деньги мне. Так он и сделал. Поэтому я уже не беспокоюсь о счетах моих детей, Джо. Ну, как тебе мой сюрприз?»

«Ты врешь! — крикнул Джо, вскакивая. Бинокль упал у него с коленей и вдребезги разбился об пол веранды. Выражение на его лице порадовало меня: такого я не видела, даже когда говорила с ним насчет Селены. — Они не могли! Ты не могла взять оттуда ни цента, не могла даже взглянуть на эту книжку!»

«Вот как? А откуда я знаю, что ты уже снял с нее три сотни? Слава богу, что не больше, но у меня все равно сердце кровью обливается. Ты вор, Джо Сент-Джордж, грязный вор, который обокрал собственных детей!»

Лицо его стало белым, как у трупа. Только глаза горели ненавистью. Кулаки его продолжали сжиматься. Я на миг взглянула вниз и увидела, как солнце, от которого остался только узкий полумесяц, дробилось и отражалось в осколках разбитого стекла. Потом я снова посмотрела на него, и зрелище было не очень приятным.

«На что ты потратил эти триста долларов, Джо? На шлюх? Или проиграл в покер? В дом ты ничего не приносил».

Он ничего не сказал, только стоял, сжимая и разжимая кулаки, и за ним на фоне дома летали первые светлячки. Лодки у берега превратились в еле заметные силуэты, и я подумала о Вере — она сейчас находилась если не на седьмом небе, то в его прихожей. Впрочем, мне нужно было думать не о Вере, а о Джо. Нужно было заставить его двигаться.

«Впрочем, мне до этого нет дела, — сказала я. — Остаток мой, и это главное. Можешь теперь трахать сам себя, если твой огрызок встанет».

Он бросился ко мне, давя осколки стекла, и схватил за руку. Я делала вид, что вырываюсь, но не очень активно.

«Ты заткнешь свой поганый рот, — прошипел он, дыша мне в лицо перегаром, или я сам это сделаю».

«Мистер Пиз предлагал мне оставить деньги в банке, но я не захотела — я подумала, что ты попробуешь опять наложить на них лапу. Поэтому я попросила выдать мне их наличными. Он сперва не хотел, но в конце концов согласился, и теперь все они у меня, в надежном месте».

Тут он схватил меня за горло. Я, конечно, испугалась, но одновременно это значило, что он мне поверил. И еще это значило, что теперь все, что я ему сделаю, будет самообороной — хотя закон этого не мог знать, но я это знала. Я защищала себя и своих детей.

Он тряс меня и что-то кричал. Не помню точно — он, кажется, пару раз ударил меня головой о столб крыльца. Он кричал, что я чертова сука, что он убьет меня, если я не верну деньги, что деньги эти его, и другую такую же чушь. Я уже боялась, что он действительно убьет меня прежде, чем я скажу ему то, что он хочет. Стало еще темнее, и светляки — сотни светляков, — заполнили весь двор, или мне так показалось?

И его голос звучал где-то вдали, поэтому мне представилось, что я сама вместо него падаю в колодец.

Наконец он отпустил меня, и я приземлилась на пол прямо среди стеклянных осколков. В одном из них, самом большом, отражался узкий полумесяц, оставшийся от солнца. Я хотела взять его, потом раздумала. *Нельзя* было резать его стеклом, это было совсем не то. Нужно подождать. Горло у меня болело так, что я не удивилась бы, если бы потом харкала кровью.

Он рывком поднял меня на ноги, зажал мою шею локтем и подтянул к себе на расстояние, достаточное для поцелуя — только теперь он вовсе не собирался меня целовать.

«Я же просил тебя заткнуться, — сказал он, тяжело дыша. Глаза его были мокрыми, как будто он плакал, и меня испугало то, что его глаза смотрели прямо сквозь меня, как будто меня для него не существовало. — Миллион раз просил. Теперь ты мне веришь, Долорес?»

«Да, — сказала я еле слышно. — Да, верю.»

«Скажи еще раз! — потребовал он, все еще зажимая мою шею так, что заболел нерв. Я закричала, и это заставило его ухмыльнуться. — Скажи, что жалеешь об этом!»

«Жалею! — взвыла я. — Жалею!» — Я планировала притвориться испуганной, но Джо избавил меня от такой необходимости. Да, в тот день мне почти не пришлось притворяться.

«Хорошо, — сказал он. — Я рад это слышать. А теперь говори, где деньги, до последнего цента».

«За домом», — сказала я. Я была рада, что меня еле слышно; так мой голос звучал правдоподобней. Я сказала, что положила деньги в банку и спрятала в смородине.

«Ох, женщины! — фыркнул он и толкнул меня в спину. — Ну, веди показывай.»

Я спустилась с крыльца и пошла вперед. Джо шел прямо за мной. Было совсем темно, и я вдруг заметила такое, что заставило меня на миг забыть обо всем.

«Смотри, Джо! — крикнула я. — Звезды!»

Это действительно были звезды — так ясно я видела Большую Медведицу только в зимние ночи. Кожа у меня пошла мурашками, но Джо это ничуть не волновало.

«Звезды? — переспросил он. — Если не поторопишься, увидишь их еще больше, это я тебе обещаю».

Я снова пошла вперед. Белый камень, где мы с Селеной сидели в прошлом году, ярко светился в темноте, как бывало при луне. Но нет, этот свет не был похож на лунный — он был каким-то диким, жутким. Расстояния между предметами было почти невозможно определить, кусты черемухи слились в одно черное колючее пятно, над которым сновали тучи светлячков.

Вера говорила мне, что смотреть на затмение невооруженным глазом опасно; это может опалить сетчатку или даже ослепить. Но я могла сопротивляться желанию посмотреть наверх не более чем жена Лота, который запретил оглядываться на гибнущие Содом и Гоморру. Я посмотрела, и то, что я увидела, не давало мне покоя недели и даже месяцы, уже тогда, когда я начала забывать про другие события того страшного дня.

Затмение было почти полным. Небо окрасилось в королевский пурпур, и в нем повисло что-то похожее на большой черный зрачок, окруженный кольцом огня. С одной стороны блестел полумесяц солнца, как жидкое золото в чугунном ковше. Я должна было оторваться от этого зрелица, но не могла. Это было похоже.. не смеяйтесь, но это было похоже на тот самый мой внутренний глаз. Как будто он вышел из меня, чтобы посмотреть, какправляюсь с его заданием. Только он был куда больше, чем я представляла И чернее.

Должно быть я застыла на месте, потому что Джо опять меня толкнул. Я опустила голову, и перед глазами у меня поплыло большое синее пятно вроде того, какое бывает после того, как посмотрешь на огонь сварки. Я подумала, что сожгла сетчатку — это моя кара, моя Каинова Печать.

Мы прошли мимо камня, вдоль стены сарая и вперед, где начались кусты. Джо держал меня за воротник платья. Я почти ничего не видела — перед глазами была темнота, в которой плавало это синее пятно. Когда первый куст оцарапал мне кожу, я вспомнила, что на этот раз на мне не было ни джинсов, ни резиновых сапог. Но я уже заметила свой платок, висящий на верхушке куста над тем местом, где был колодец. Я вырвалась из его рук и побежала прямо в заросли смородины.

«Стой, сука!» — заорал он и кинулся за мной. Ему удалось ухватить меня снова, но отчаянным движением я опять вырвалась. Бежать было трудно; на колючках оставались клочья платья и,

похоже, моей кожи. Кровь залила мне все ноги, но я заметила это только потом, когда вернулась домой.

«А ну вернись!» — крикнул он сзади и схватил меня за юбку. Будь она поновее, я оказалась бы у него в руках, но старая материя треснула, и я побежала дальше, слыша, как он чертыхается. В этих зарослях было темно, как у кролика в норе, но я сумела разглядеть под ногами крышку колодца — вернее ее белеющую тень. Тогда я собрала все силы и прыгнула.

Из-за этого я не видела, как он упал. Я это услышала: громкое «кр-р-рак!» — а потом его вопль. Он вопил, как заяц, попавший в капкан. Повернувшись, я увидела в центре крышки большую дыру, из которой торчала голова Джо. Он цеплялся за обломок одной из досок окровавленными руками, и по подбородку его тоже стекала кровь.

«О Боже, Долорес, — простонал он, — это же старый колодец. Ну, помоги мне скорее, а то я упаду».

Я стояла, не двигаясь, и выражение его глаз стало меняться. Он начал понимать. Только тогда я испугалась по-настоящему: стоя там, под этим черным солнцем, и глядя на него.

«Ах ты сука», — выдохнул он и начал выкарабкиваться.

Нужно было бежать, но ноги мои не двигались. Да и куда было бежать? В тот день я поняла еще одно — если вы живете на острове и хотите кого-то убить, то лучше делать это на совесть, иначе бежать будет совсем некуда.

Я слушала, как его ноги скребут по дереву, и тот звук почему-то напомнил мне затмение: что-то, что неумолимо приближается. Потом мне часто это снилось во сне, но во сне он вылезал из колодца снова и снова, а наяву случилось другое. Доска, за которую он держался, сломалась, и он полетел вниз. Это случилось так быстро, что я едва заметила. Только что на этом месте торчала его голова, и вот уже там только серые доски с черным отверстием посередине.

Он закричал опять, уже внизу, и этот крик эхом отразился от стен колодца. Потом раздался глухой удар, и крик оборвался, как гаснет лампа, когда ее разбивают о стену.

Я села на землю, обхватив колени руками, и стала ждать. Не знаю, сколько времени прошло, но солнце померкло окончательно. Затмение стало полным. Из колодца по-прежнему не доносилось никаких звуков, но теперь я ощущала веющий из него ветер и чувствовала его запах — знаете, как пахнут заброшенные колодцы? Такой затхлый, медный запах, бросающий меня в дрожь.

И вот я снова увидела ту девушку, ясно, как днем, — она тоже стояла на коленях, заглядывая под свою кровать, и я подумала: «Она чувствует этот запах и боится. Только он идет не из колодца; это что-то связанное с ее отцом».

В этот момент она посмотрела прямо на меня, Энди... Она увидела меня. И я тут же поняла, в чем дело, и почему она так боится: ее отец был с ней, и она хотела это скрыть. Наверное, она тоже знала, что на нее смотрит женщина, находящаяся Бог знает за сколько миль от нее, на пути затмения, и только что убившая своего мужа.

Она что-то сказала, и, хотя я не слышала ее, слова пришли откуда-то из глубины мозга. «Кто ты?» — спрашивала она.

Не знаю, ответила я ей или нет, потому что в эту минуту из глубины земли раздался слабый дрожащий зов:

«До-лорр-ессс...»

Кровь словно застыла во мне, и я знаю, что мое сердце на секунду остановилось, потому что потом я услышала три или четыре удара подряд, они как будто нагоняли друг друга. «Это только твое воображение, Долорес, — сказала я себе. — Сначала эта девочка, заглядывающая под кровать, потом крик Джо. Тебе это показалось, это просто чувство вины. Джо лежит в колодце с разбитой головой. Он мертв и не будет больше преследовать ни тебя, ни детей».

Сперва я сама себе не верила, но время шло, и все было тихо, только сова заухала где-то в поле. Ветерок прошел по кустам смородины, и они зашуршили. Я посмотрела на звезды наверху, потом опять на крышку колодца. Она, казалось, плыла в темноте, и черная дырка в ней опять напомнила мне глаз. 20 июля 1963-го я повсюду видела глаза.

Потом из колодца опять послышался голос:

«Помоги мне, До-лорр-ессс...»

Я застонала и закрыла лицо руками. Теперь не было нужды уговаривать себя, что это мое воображение или чувство вины. Это был Джо.

«Помоги мне пожалстаа... ПОЖААЛСТААА», — хрюпал он.

Я шатаясь пошла назад по тропинке, ведущей к дому. Хорошо помню, что я не была в панике, потому что остановилась и подняла рефлектор, который валялся в кустах. Это я правильно сделала, учитывая, как обернулось с этим чертовым доктором Маколиффом, но тогда я ни о чем таком не думала и сделала это просто машинально.

Потом начала подступать паника, и только мысли о Селене помогли мне ее отогнать. Я представила, как она стоит на берегу озера Уинтроп с Таней и несколькими десятками детишек, и все они держат рефлекторы, а девушки показывают им, как правильно нужно смотреть на затмение. Я увидела это не так ясно, как ту девочку, но достаточно ясно, чтобы услышать, как Селена своим добрым голосом уговаривает самых маленьких не бояться. Еще я подумала, как я встречу ее и братьев, когда они вернутся... и поняла,

что если сейчас впаду в панику, я не смогу этого сделать. Я зашла слишком далеко, и помочь мне теперь было некому.

Я пошла в сарай и нашла там большой фонарь Джо. Включила, но он не работал: должно быть, батарейки сели. Тогда я отыскала в тумбочке новые и попробовала их вставить. Руки у меня так тряслись, что я уронила батарейки на пол и уже хотела было дождаться солнца — затмение должно было скоро кончиться, и, кроме того, внутренний голос шептал мне, что не стоит туда ходить, что он уже испустил дух.

Но все же я вставила их. Фонарь загорелся, и я смогла подойти к колодцу, не оцарапав ног еще больше. Я не знала, который час, но было еще темно, и звезды сияли все так же ярко.

Я поняла, что он не умер, еще на полпути, услышав, как он стонет и умоляет меня помочь ему. Я не была уверена, что его не услышат Джоландеры или Кэроны, если они дома, но оборвала эти мысли. И без них у меня было много проблем. И главная: что делать с Джо?

«Помогии, До-лорр-ессс!» — звал он глухо, будто из пещеры. Я включила свет и попыталась заглянуть, но дырка в крышке была слишком далеко от края, и в свете фонаря я видела только каменные стены колодца, поросшие зеленым мхом, который казался черным и ядовитым.

Джо увидел свет.

«Долорес? — позвал он. — Ради Бога, вытащи меня! Я весь разбился!»

Теперь *его* голос звучал еле слышно. Я не отвечала; вместо этого я дотянулась до одной из досок, которые он сломал при падении, и вырвала ее, как гнилой зуб.

«Долорес! — крикнул он. — О Боже! О Боже, помоги мне!»

Я молча оторвала еще одну доску, потом еще и еще. И тут я увидела, что стало светлеть и птицы запели, как на рассвете. Звезды померкли, но светлячки продолжали летать, и было все еще темнее, чем обычно в рассветный час. Я продолжала отрывать доски.

«Долорес! — взывал снизу его голос. — Возьми деньги! Все деньги! И я никогда больше не трону Селену, клянусь тебе! Клянусь Господом Богом и всеми его ангелами! Прошу тебя, дорогая, вытащи меня отсюда!»

Я оторвала последнюю доску, бросила ее в кусты смородины и направила фонарик вниз.

Сразу же луч света упал на его опрокинутое лицо, и я закричала. Это был просто белый круг с двумя дырками в нем. Какой-то миг я почему-то думала, что он выбил глаза о камни. Потом он моргнул, и я увидела, что это его глаза, хотя он, должно быть, видел только мой темный силуэт на фоне неба.

Он стоял на коленях, и его подбородок, шея и рубашка спереди были в крови. Когда он открывал рот и кричал, оттуда тоже брызгала кровь. Он сломал ребра, когда падал, и они, похоже, проткнули ему легкие со всех сторон, как иглы дикобраза.

Я не знала, что делать — просто сидела там, чувствуя спиной и затылком возвращающееся тепло. Потом он слабо помахал мне дрожащими руками, и я не вынесла. Я отпрянула назад и села, обхватив руками кровоточащие колени.

«*Пожалстааа!* — кричал он еще и еще. — *Пожалстааа! Пожалстаааа. До-лоррр-есcc!*»

О, это было ужасно, как никто не может себе представить, и казалось, что это никогда не кончится. Я думала, что сойду с ума. Затмение кончилось, и птицы перестали петь, и светлячки больше не летали (или я их просто не видела), и с побережья доносилось тарактенье моторов разъезжающих лодок. А он все не унимался: он называл меня ласковыми именами, каких я никогда не слышала, и говорил, как он изменится и купит мне «бьюик», как я хотела. Потом он начал проклинять меня и изобретать пытки, какими он будет меня пытать, пока я не подохну.

Раз он попросил сбросить ему бутылку виски. Можете в это поверить? Он просил эту чертову бутылку и обзывал меня старой сукой и еще по-всякому, когда увидел, что я не собираюсь ему ничего давать.

Наконец начало снова темнеть — на этот раз по-настоящему, и я поняла, что уже девять, и начала вслушиваться в шум на дороге. Машины не проезжали, но мне не приходилось бесконечно надеяться на удачу.

Я уронила голову на грудь и поняла, что задремала. Спала я совсем не долго, но за это время светлячки успели вернуться, и сова опять принялась за свое уханье. Теперь это все звучало не так зловеще, как в первый раз.

Я сдвинулась с места, и тут же в ноги мне вонзились тысячи иголок: они совсем затекли, пока я там сидела. Из колодца ничего не было слышно, и я начала надеяться, что он умер, пока я дремала, но потом услышала его сопение и звуки, похожие на плач. Он плакал, и это было тяжелее всего.

Я кое-как подняла фонарь и снова посветила в колодец. Он каким-то образом умудрился встать, и я увидела, что луч света отражается в какой-то темной луже у его ног. Сначала я подумала, что это кровь, но потом поняла, как поняла и то, как он мог упасть с высоты тридцати футов и не разбиться. Колодец не совсем высох, вот в чем дело. Он не наполнился снова, иначе Джо утонул бы, как котенок в ведре, но дно было сырое, и это смягчило его падение.

Он стоял, опустив голову и уцепившись руками за каменную стену, чтобы не упасть снова. Потом он посмотрел вверх, увидел меня и ухмыльнулся. При виде этой ухмылки я вздрогнула. Энди — это была ухмылка мертвеца с кровью, текущей изо рта, и с камнями вместо глаз.

Потом он полез вверх.

Я смотрела прямо на него и не верила своим глазам. Он цеплялся пальцами за большие камни, подтягивался и ставил ноги в щели между камней. Он был похож на большую жирную мокрицу. Остановившись передохнуть, он поднял голову на свет фонаря, и я увидела у него на подбородке кусочки мха.

Он все еще ухмылялся.

Можно мне еще глоточек, Энди? Нет, не виски — хватит на сегодня. Просто воды.

Спасибо. Спасибо большое.

Потом он упал. Раздался глухой звук, и он вскрикнул и схватился руками за грудь, как делают в кино, когда изображают сердечный приступ. Потом он уронил голову на грудь.

Я не могла больше там сидеть. Пробираясь меж кустов смородины, я дошла до дома, зашла в ванную, и там меня вырвало. Потом я пошла в спальню и упала на кровать. Я вся тряслась и думала: что, если он так и не умрет? Что, если он проживет ночь, проживет несколько дней, утоляя жажду водой из лужи? Что, если соседи услышат в конце концов его крики и вызовут Гаррета Тибодо? Или кто-нибудь придет к нам завтра, кто-нибудь из его дружков, и услышит, как он вопит в кустах смородины? Что тогда, Долорес?

Какой-то другой голос отвечал на все эти вопросы. Мне кажется, он принадлежал тому внутреннему глазу, но он был похож на голос Веры Донован. «Конечно, он умер, — говорил этот голос, — а если и нет, то скоро умрет. От шока, и от переохлаждения, и от пробитых легких. Конечно, многие не поверят, что в июльскую ночь можно умереть от переохлаждения, но они никогда не проводили эту ночь в тридцати футах под землей, на холодных камнях. Я знаю, думать об этом неприятно, Долорес, но это, по крайней мере, успокоит тебя немного. Ложись спать, а утром сама увидишь».

Я не знала, слушать ли мне этот голос, но его доводы звучали разумно. Я попыталась уснуть, но не могла. Каждый раз, когда я засыпала, мне казалось, что Джо крадется мимо сарая к задней двери дома, и я вздрогивала при каждом шорохе.

Наконец я не могла больше выносить этого, надела джинсы и свитер и взяла фонарь из ванной, где забыла его, когда меня рвало. Потом я вышла на улицу.

Было темнее, чем обычно. Не знаю, была ли луна, но если и была, то ее закрывали опять появившиеся облака. Чем ближе я

подходила к кустам, тем тяжелее было передвигать ноги. Кое-как я добрела до крышки колодца и постояла там несколько минут, прислушиваясь. Ничего не было слышно, кроме свиста ветра в смородине и пения сверчков. И еще далеко на востоке волны тяжело накатывали на берег, но к этому звуку на острове так привыкаешь, что перестаешь его замечать. Я стояла там с фонариком, чувствуя, как липкий пот заливает мне все тело, и заставляла себя нагнуться и заглянуть в колодец. Разве не за этим я шла?

Но я не могла, а беспомощно стояла там, и сердце у меня в груди не билось, а слабо трепетало, как крылья летучей мыши.

А потом белая рука, вся в грязи и крови, высунулась прямо из колодца и схватила меня за лодыжку.

Я выронила фонарь, и он упал в кусты у края колодца. Мне повезло: если бы он упал в колодец, я очутилась бы в полной темноте. Но я не думала о фонаре, а думала только об этой руке, которая тащила меня в яму. И вспоминала строчку из Библии, она звенела в моей голове, как колокол:

«Вот вырыл я яму для врагов своих и сам свалился в нее».

Я вскрикнула и рванулась, но Джо держал меня так крепко, будто его рука была вмурорвана в цемент. Мои глаза привыкли к темноте, и я смогла разглядеть его даже без фонаря. Он почти вылез из колодца. Не знаю, сколько раз он срывался и падал, но в конце концов добрался до вершины.

Голова его была всего в двух футах от крышки. Он все еще ухмылялся, и его нижняя губа оттопыривалась — я и сейчас вижу это так ясно, словно он сидит напротив меня вместо тебя, Энди. Его лошадиные зубы казались черными от крови.

«До-лорр-ессс! — прохрипел он и рванул меня к себе. Я с криком упала на бок и заскользила к этой проклятой дырке, слыша, как хрустит смородина подо мной. — До-лорр-ессс, сссука-кка», — он как будто пел. Помню я подумала: «Сейчас еще запоет «Лунный коктейль».

Я пнула его по голове свободной ногой, но слишком слабо.

«Иди ссю-дда, До-лорр-ессс», — сказал он, будто звал меня есть мороженое или, может быть, танцевать кантри.

Я почувствовала задницей край крышки и знала, что, если я не сделаю что-нибудь прямо сейчас, мы оба упадем туда и там останемся, быть может, обняв друг друга. И когда нас найдут, ослы вроде Иветты Андерсон будут говорить, как сильно мы любили друг друга.

Я собрала последние силы и еще раз рванулась, и его рука наконец не выдержала. Он заорал и подался назад; я подождала звука удара, но его все не было. Удивительно живучим был этот сукин сын.

Я повернулась и увидела, что он цепляется за край провала. Он смотрел на меня и так же ухмылялся сквозь грязь и кровь. Потом его рука опять потянулась вперед.

«Долорр-еесccc, — простонал он. — До-лорр-еесccc! До-лоо-орр-еесccc!» — он начал выкарабкиваться.

«Да разбей же ему башку, дура!» — крикнул в моей голове голос Веры Донован. Даже не в голове — я слышала его так же ясно, как вы сейчас слышите меня, и, если бы там была Нэнси с магнитофоном, она смогла бы его записать.

Тогда я схватилась за один из камней, лежащих возле колодца. Он тянулся к моей руке, но я успела поднять камень — это был большой камень, покрытый засохшим мхом, — и изо всех сил опустила ему на голову. Я услышала, как хрустнула его нижняя челюсть — как фарфоровая тарелка, которую уронили на кирпич. Потом он исчез.

Я лишилась чувств. Просто лежала там и смотрела в небо. Там ничего не было, кроме облаков, поэтому я закрыла глаза... А когда открыла их опять, небо было полно звезд. Я поняла, что прошло какое-то время.

Фонарь все еще лежал в кустах и светил так же ярко. Я подняла его и посветила в колодец. Джо лежал на дне, свесив голову на плечо и раскинув ноги. Камень, которым я ударила его, валялся там же.

Я светила на него несколько минут, но он так и не пошевелился. Потом я встала и пошла к дому. Два раза все начинало кружиться вокруг меня, и я останавливалась, но в конце концов дошла. Я вошла в спальню, скинула одежду и бросила ее на пол. После я минут десять стояла под душем — просто стояла; думаю, я могла бы там прямо заснуть, только вот вода бы остыла. Потом наспех вымылась и вылезла. Руки и ноги у меня были все в царапинах, и горло все еще болело, но я не думала, что умру от таких мелочей. Тогда я не думала, что кто-нибудь заметит эти царапины и синяки у меня на шее, когда Джо найдут. Мне было не до того.

Я натянула ночную рубашку, легла и заснула. Проснулась я через полчаса, крича и чувствуя руку Джо на своей лодыжке.

Когда я поняла, что это сон, я немного успокоилась, но подумала: «Что если он опять вылезет?» Я знала, что это невозможно — ведь я ударила его тяжелым камнем, — но какая-то часть меня была уверена, что это так и что с минуты на минуту он появится в комнате.

Я полежала там еще, пока это видение делалось все ярче и ярче, и сердце у меня у меня стучало так, будто собиралось разорваться. Наконец я оделась, схватила фонарь и почти побежала к колодцу. На этот раз я подходила к нему осторожно, почти *подкрадываясь*;

слишком уж я боялась, что его белая рука высунется из темноты и опять схватит меня.

Я посмотрела вниз. Он лежал в той же позе, что и раньше, уронив голову и раскинув ноги. Я долго смотрела на него и, только вернувшись домой во второй раз, начала верить, что он действительно мертв.

Только тогда я смогла уснуть. Последним, о чем я тогда подумала, было: «Теперь все будет в порядке». Но я еще пару раз просыпалась с криком — мне казалось, что кто-то возится на кухне. Один раз я пыталась выпрыгнуть из кровати, запуталась в одеяле и упала. Поднявшись, я включила свет и обошла весь дом. Он был пуст. Тогда я взяла фонарь и опять пошла к колодцу.

Джо все еще лежал на дне. Мне пришлось смотреть на него еще дольше, чем раньше, чтобы убедиться, что его положение не изменилось. Один раз мне показалось, что его нога дернулась, но скорее всего это была просто тень. Там было много теней, потому что моя рука, державшая фонарь, сильно дрожала.

Пока я смотрела туда, меня посетила странная мысль. Что, если я сейчас прыгну в колодец? Нас найдут там вместе, но, по крайней мере, не в объятиях, и все это кончится. Мне не нужно будет просыпаться по ночам от мысли, что он сейчас войдет в комнату.

Потом опять заговорил голос Веры, в самое мое ухо. «Все, что тебе надо сейчас, это сон, — говорил он. — Поспи, и, когда ты проснешься, затмение в самом деле закончится. Ты сама удивишься, насколько лучше все выглядит при дневном свете».

Я послушалась этого совета и вернулась. На этот раз, перед тем как лечь, я заперла обе двери и сделала то, чего никогда раньше не делала: придвинула к двери стул. Мне сейчас стыдно — я чувствую, что щеки горят, — но это помогло, и я уснула. Когда я проснулась, было совсем светло. Хорошо, что в этот день мне не надо было идти к Вере: она сказала, что Гейл Лавескью и девушки справятся без меня.

Я встала, еще раз приняла душ и оделась. На все эти дела у меня ушло полчаса — так все болело, особенно спина, которая так и не прошла до конца с той ночи, когда Джо ударил меня поленом по почкам. Когда я наконец справилась с этим, я села в кухне за стол, выпила чашку черного кофе и хорошенько все обдумала. Оставалось сделать не так уж много, но нужно было ничего не забыть, ни одной мелочи, иначе я попаду в тюрьму. Джо Сент-Джорджа у нас не очень любили, и никто бы о нем особенно не пожалел, но я не думала, что за убийство мужа мне повесят медаль, каким бы куском дермы он ни был.

Я налила себе еще кофе и вышла с ним на крыльцо. Куски стекла и корпус бинокля лежали на полу, а другой бинокль и рефлекторы

я убрала в пакет, в котором Вера передала их мне. Стекла я смела в совок и выкинула.

Я решила сказать, что вообще не видела Джо в тот день, что пришла домой от Веры, не нашла его и от злости вылила виски на землю. Если они найдут в его организме алкоголь, то ведь он мог напиться и в другом месте.

Один взгляд в зеркало доказал мне, что так говорить нельзя. Если не Джо, то кто тогда наставил мне на шею эти жуткие синяки, спросят они, и что я им отвечу? Что это Санта-Клаус? Хорошо, что я сказала Вере, что пойду смотреть затмение на восточный мыс. Конечно, там были люди, и они меня не видели, но Русский луг на полпути к мысу тоже вполне подойдет, а уж там точно не было ни одного человека. Я сама видела это с крыльца. Оставался только один вопрос.

Что, Фрэнк?

Нет, я не беспокоилась, что его машина дома. У него отобрали права еще в 59-м за вождение в пьяном виде. Эдгар Шеррик, наш констебль, сказал, что если еще раз поймает его за таким делом, то вообще лишит его лицензии. Маленькую дочку Эдгара задавил пьяный водитель в 49-м, и он очень строго относился к пьяным за рулем, хотя на многое другое смотрел сквозь пальцы. Нет, когда я пришла домой и увидела, что Джо нет, я решила, что они с дружками смотались куда-нибудь отмечать затмение.

Я говорила, что оставался только один вопрос: зачем я купила эту бутылку? Конечно, я покупала ему виски и раньше, и люди думали, что я пытаюсь задобрить его, чтобы он меня не бил. Но это не вязалось с сочиненной мной историей, а нужно было продумать все неувязки. Когда совершил убийство, никогда не знаешь, что может тебя выдать. Но все, что я могла придумать, — это отнести бутылку к колодцу, чтобы подумали, что он пришел туда с ней.

Я шла и репетировала: «Он выпил, правильно, я и хотела, чтобы он нажрался и не мешал мне смотреть затмение, но потом он спутал мою шею с ручкой насоса, и мне пришлось убежать от него на Русский луг, проклиная себя за то, что я купила ему этот «Джонни Уокер». Когда я вернулась, его не было, и мне оставалось только убрать за ним и надеяться, что он вернется в хорошем настроении». Я решила, что это звучит правдоподобно. Кусты смородины были не так сильно помяты, как я опасалась, и я надеялась, что они еще выпрямятся. А вот колодец днем выглядел так же страшно, как ночью. Зря я вообще к нему пошла. Дыра с вырванными досками уже не напоминала глаз, но от этого было не легче. Теперь она была похожа на пустую глазницу черепа, и я чувствовала оттуда этот гнилой, медный запах. Я вспомнила про девочку, которую

видела во время затмения, и подумала: как она чувствует себя сейчас?

Я хотела вернуться домой, но вместо этого подошла и заглянула в этот проклятый колодец. Джо все так же лежал там с раскинутыми ногами, по лицу его ползали жуки, и теперь уже было окончательно видно, что он мертв. Я вытерла бутылку платком, чтобы стереть отпечатки, и бросила ее в колодец. Она не разбилась, но жуки испугались и поползли прочь по его шее и по воротнику рубашки. Этого я тоже никогда не забуду.

Я уже собиралась уходить, когда заметила в кустах доски, которые тогда оторвала. Это могло вызвать ненужные вопросы. Я думала, что с ними делать, пока не вспомнила, что время идет и кто-нибудь может зайти к нам. Тогда я бросила их в колодец и пошла домой, собирая по пути с кустов клочки моего платья. Позже я прошла там еще раз и подобрала три или четыре клочка, которые не заметила в первый раз. «Пусть Гаррет Тибодо попробует найти еще, — думала я. — Все выглядит так, будто он напился и упал в колодец, и при его репутации никому не придет в голову заподозрить меня».

Но эти клочки не отправились на дно вместе с биноклем и пробкой от «Джонни Уокера» — их я утопила потом в море. Я вдруг вспомнила, что Джо, когда падал, схватил меня за платье и вырвал кусок. Что, если он так и остался у него в руке?

Эта мысль поразила меня как громом. Я стояла под жарким июльским солнцем и чувствовала, что покрываюсь гусиной кожей. Потом Вера опять заговорила у меня в голове. «Раз с этим уже ничего не поделаешь, Долорес, — сказала она, — то лучше забудь про это». Тогда я пошла домой и остаток утра провела, бродя по комнатам и по крыльцу, как будто что-то искала. Может, я думала, что этот мой внутренний глаз подскажет мне еще что-нибудь, что надо сделать, но он молчал.

Около одиннадцати я позвонила Гейл Лавескью в Пайнвуд и спросила, как там Вера..

«Все в порядке, — сказала она, — только один гость, помнишь, тот лысый с усами, как зубные щетки, — знаешь, что он выкинул?»

Я не знала.

«Он утром спустился вниз и, когда я спросила, не хочет ли он кофе, он выскочил на крыльце и наблевал прямо в петунии. Представляешь, Долорес — бэээ-э-э!»

Я рассмеялась так, что горло опять заболело, но мне стало немного легче.

«Они, должно быть, порядком напились, когда вернулись с парома, — сказала она. — Если бы я продала за никель каждый

окурок из тех, что я подобрала утром, я могла бы купить «Шевроле». Но когда миссис Донован спустилась вниз, все было уже в ажуре». «Молодец, — сказала я ей. — Если понадобится помочь, звони мне».

Гейл засмеялась:

«Не беспокойся. Ты на той неделе вымоталась, и миссис Донован это знает. Поэтому до завтра она тебя и на порог не пустит».

«Ладно, — тут я сделала небольшую паузу. Она думала, что я скажу «до свидания», но я вместо этого спросила: — Ты не видела там Джо?»

«Твоего Джо?»

«Ага».

«Нет... Он тут никогда не бывает. А почему ты спрашиваешь?»

«Он не приходил ночевать сегодня».

«О, Долорес! — в голосе у нее появился интерес. — Пьет?»

«Наверное, — сказала я с деланным безразличием. — Это не в первый раз, так что я не очень волнуюсь. Вернется; дермо не тонет».

Я положила трубку, решив, что на сегодня хватит.

На ланч я сделала тосты с сыром, но есть не могла. Он запаха сыра и жареного хлеба меня мучило, и я выпила две таблетки аспирина и легла. Проснулась я уже в четыре и решила посеять еще немного семян. Я позвонила тем друзьям Джо, у кого были телефоны, и спросила, не видели ли они его. Объяснила, что он не приходил ночевать, и я начинаю беспокоиться. Конечно, они его не видели, и все расспрашивали меня, но я сказала что-то только Томми Андскому, может быть, потому, что Джо вешал ему лапшу на уши насчет того, как он меня «воспитывает». Я сказала, что у нас с Джо вышел спор и он совсем спятил и побил меня. Я позвонила еще кое-кому вечером, и слухи начали распространяться.

Ночью я спала плохо; мне снились кошмары. В одном из них Джо стоял на дне колодца и смотрел на меня черными глазами-углями. Он говорил, что ему одиноко, и умолял меня прыгнуть к нему за компанию.

Другой был еще хуже — о Селене. Ей было только четыре года, и она носила розовое платье, которое ей купила бабушка как раз перед смертью. Селена вышла во двор с моими ножницами в руках, я хотела их у нее забрать, но она покачала головой. «Я виновата и себя накажу», — сказала она и вдруг отрезала себе этими ножницами нос. Он упал в пыль между ее черными лакованными туфельками, и я закричала. На часах было четыре, но больше я так и не спала.

В семь я опять позвонила Вере. На этот раз подошел Кенопенски. Я сказала, что не могу прийти, пока не узнаю, где мой муж, который уже две ночи не ночевал дома.

В конце разговора Вера сама взяла трубку и спросила, что случилось. «Я потеряла своего мужа», — сказала я.

Она несколько секунд молчала, и я понятия не имела, о чем она думает. Потом она сказала, что на моем месте не стала бы об этом переживать.

«Ну, — сказала я, — все же у нас трое детей. Я подойду попозже, если он найдется».

«Ладно, — сказала она, и потом: — Тед, ты еще здесь? Иди куда-нибудь. Есть у тебя какая-нибудь работа?»

«Да, Вера», — и он повесил трубку.

Она опять помолчала, потом спросила:

«Может, с ним что-нибудь случилось?»

«Да, — сказала я. — Я бы этому не удивилась. Он последние недели много пил, а когда я перед затмением сказала ему о деньгах, он чуть меня не задушил».

«Неужели? — спросила она. — Что ж, желаю удачи, Долорес».

«Спасибо, Вера».

«Если я смогу чем-нибудь помочь, звони».

«Спасибо».

«Не за что, — сказала она. — Я просто не хотела бы потерять тебя. В наше время трудно найти прислугу, которая не заметает грязь под ковер».

Не говоря уже о прислуге, которая кладет коврики нужной стороной, подумала я, но помолчала, конечно. Я попрощалась с ней, подождала еще полчаса и позвонила Гаррету Тибодо. Тогда у нас не было шерифа; Гаррет был на острове констеблем с 1960-го, когда Эдгара Шеррика хватил удар.

Я сказала ему, что Джо не ночевал дома уже две ночи, и я волнуюсь. Гаррет казался сонным — похоже, он не успел еще выпить утренний кофе, — но сказал, что свяжется с материком и попробует позвонить нескольким людям.

Наверняка, это были те же, кому я уже звонила, но я ему это не сказала. Закончил он пожеланием, чтобы Джо вернулся домой к обеду. Как же, старый хрыч, подумала я, вешая трубку, — после дождичка в четверг. У него хватило ума петь «Янки Дудл», но не думаю, чтобы он хотя бы помнил слова.

Они искали его целую неделю, и я чуть с ума не сошла. Селена приехала в среду. Во вторник я позвонила ей и сказала, что отец пропал, и она тут же отправилась домой. Мальчишек я не стала трогать — мне и с Селеной хватало хлопот. В четверг она подошла ко мне на огороде и начала:

«Мама, скажи мне одну вещь».

«Да, дорогая», — сказала я, но уже знала, о чем она спросит, и все во мне куда-то опустилось.

«Ты сделала с ним что-то?»

«Внезапно ко мне вернулся мой сон: Селена в детском розовом платьице, отрезающая себе ножницами нос. И я взмолилась: «Господи, помоги мне солгать моей дочери! Я никогда не попрошу тебя больше ни о чем, но помоги мне солгать ей, чтобы она поверила мне».

«Нет, — сказала я. — Он был пьян и душил меня так, что остались эти вот синяки, но я ничего ему не сделала. Я только ушла, потому что боялась оставаться. Ты не будешь меня винить? Ты ведь знаешь, что его можно бояться».

Она кивнула, но продолжала смотреть мне в глаза. Глаза ее были темнее, чем я помнила раньше — темно-голубыми, как океан в бурю. Я все еще видела перед собой лязгающие ножницы и кончик носа, падающий в пыль. Я думаю, Бог помог мне наполовину, как это обычно и бывает. Мне больше не приходилось лгать Селене, но поверила ли она мне? Вряд ли. Тогда я увидела в ее глазах сомнение, и с тех пор оно так и не исчезло.

«Все, в чем я виновата, — продолжала я, — это в том, что купила ему бутылку виски, чтобы задобрить его».

Она посмотрела на меня еще, потом подхватила пакет с огурцами, который я держала.

«Ладно, — сказала она. — Я помогу тебе».

Больше мы об этом не говорили. Она так же помогала мне, как и раньше, но между нами снова возникло отчуждение. А когда в семейной стене появляется трещина, в нее скоро входит весь мир. Она звонит и пишет мне аккуратно, как часы, но мы чужие. То, что я сделала, я сделала прежде всего из-за нее, а не из-за парней или из-за тех денег. Я убила его, чтобы спасти ее, и это стоило мне ее любви. Иногда мне даже становится смешно, когда я думаю об этом.

Тем временем Гаррет Тибодо и его приятели все никак не могли найти Джо. Я бы с удовольствием оставила его там, где он лежал, до самого Страшного Суда, но деньги в банке были записаны на него, а я не могла ждать семь лет, пока его объянят умершим. Селене нужно было идти в колледж раньше.

Наконец кто-то додумался, что он мог уйти в лес и там куда-нибудь упасть. Гаррет говорил, что это он придумал, но я ходила с ним в школу и не очень этому верю. Во всяком случае, он сколотил отряд человек из сорока, и в субботу утром они отправились на поиски.

Они выстроились в шеренгу и обошли остров от восточного мыса до нашего участка. Я видела в окно, как они подошли с шутками и смехом к кустам смородины, и там смех вдруг оборвался.

Я стояла у двери, смотрела, как они бегут ко мне, и сердце у меня ушло в пятки. Помню, я подумала, что хоть Селены нет дома — она пошла к Лори Лэнгилл, — и порадовалась этому.

Потом, конечно, было вскрытие — в тот же день, когда его нашли, и тогда же, ближе к вечеру, Джек и Алисия Форберт привезли мальчишек. Пит плакал, но я думаю, он не понимал толком, что случилось с его отцом. Джо-младший понял, и я боялась, что он задаст мне тот же вопрос, что и Селена. Но он спросил меня совсем о другом.

«Мама, если бы я обрадовался его смерти, Бог послал бы меня в ад?»

«Джо, человек не может скрыть свои чувства, и Бог это знает», — ответила я.

Тогда он заплакал и сказал то, от чего мне стало очень больно.

«Я *пытался* любить его, — сказал он. — Всегда *пытался*».

Я прижала его к себе и обняла. Я сама могла бы заплакать, но не могла позволить себе такой роскоши, пока дело не закончилось.

Следствие назначили на вторник, и Люсиль Мерсье, который держал тогда единственное на острове похоронное бюро, назначил похороны на среду. Но в понедельник Гаррет позвонил мне и попросил зайти к нему в офис. Этого звонка я ждала и боялась, но не идти было нельзя, поэтому я попросила Селену накормить парней обедом и пошла. У Гаррета сидел Джон Маколифф, и, хотя я могла это предвидеть, сердце у меня и сейчас колотится, когда я об этом вспоминаю.

Маколифф был тогда медицинским экспертом графства. Он умер три года спустя, когда в его «Фольксваген» врезался снегоочиститель. После него экспертом стал Генри Брайертон, и если бы он в 63-м сидел передо мной, я бы не боялась — он был только чуточку поумней Гаррета Тибодо. Но у Джона Маколиффа ум был, как луч прожектора.

Он был настоящий шотландец и попал в наши края после второй мировой. Я думаю, он стал гражданином США, раз работал на такой должности, но говор у него оставался странным. Впрочем, мне было все равно, американец он или китаец.

Ему было не больше сорока пяти, но он уже весь поседел. Его голубые глаза были яркими и пронизывающими, как сверла, — он будто заглядывал прямо вам в душу и читал мысли в алфавитном порядке. Как только я увидела его и услышала, как за мной захлопнулась дверь участка, я поняла, что настоящее следствие произойдет не завтра, а именно сегодня и здесь.

«Прости, что побеспокоил тебя в такое время, — сказал Гаррет. Он нервно потирал руки, как мистер Пиз в банке, но у него, должно быть, руки были помозолистей — звук напоминал мне не трение песка, а наждачную бумагу. — Но доктор Маколифф хотел бы задать тебе несколько вопросов».

По удивленному виду Гаррета я поняла, что он не знает, о каких вопросах идет речь, и это испугало меня еще больше. Мне совсем

не нравилось, что этот чертов шотландец решил допросить меня в обход официального расследования.

«Примите мои глубочайшие извинения, миссис Сент-Джордж, — начал Маколифф со своим шотландским акцентом. Он был невысокий, но плотный, и носил маленькие усики, такие же седые, как его голова. Голубые его глаза так и сверлили меня, и я не видела в них ни малейшей симпатии. — Я очень, очень сожалею».

Конечно, док, подумала я. В последний раз ты очень сожалел, когда тебя приперло как раз перед платным туалетом. Но главное, о чем я думала — нельзя показывать ему свой испуг. Он ведь мог сказать мне что угодно: например, что когда Джо положили на стол в прозекторской, в руке у него нашли клочок женского платья. Такое тоже могло быть, но я не хотела раньше времени доставлять ему удовольствие.

«Спасибо вам большое», — сказала я.

«Садитесь, мадам», — пригласил он, будто это был его офис.

Я села, и он попросил у меня разрешения закурить. Я сказала, что не боюсь загореться, и он засмеялся, будто это было так уж смешно, но глаза его не смеялись. Он достал трубку, набил ее и зажег, и с того момента, как он сунул ее в зубы, его глаза-сверла ни на секунду не отпускали меня. Даже сквозь дым, который он напустил, они глядели мне в душу, как луч прожектора.

Я начала мигать от этого его взгляда и тут вспомнила, как Вера Донован говорила: «Чушь. Мужья умирают каждый день», — и подумала, что Маколифф мог бы глядеть на Вера до посинения, и она бы даже не шевельнула ногой. Это немного успокоило меня, и я села прямо, положив руки на сумку.

Наконец он увидел, что я не собираюсь падать на колени и, заливаясь слезами, сознаваться в убийстве моего мужа. Тогда он вынул трубку изо рта и сказал:

«Вы сказали констеблю, что синяки вам наставил ваш муж, миссис Сент-Джордж».

«Да».

«Что вы сидели на крыльце и смотрели затмение, когда между вами случился спор».

«Да».

«И о чем же вы спорили?»

«О деньгах, — сказала я, — а на самом деле о его пьянстве».

«Но вы сами в тот день купили ему бутылку спиртного, не так ли?»

«Да», — сказала я. Я могла бы что-то добавить, объяснить, но не стала. Маколифф только и ждал, чтобы я начала оправдываться. Оправдания — верный путь в тюрьму.

Наконец он решил нарушить молчание первым:

«После того, как муж напал на вас, вы убежали и пошли на Русский луг смотреть затмение».

«Да».

Внезапно он наклонился вперед и спросил:

«Миссис Сент-Джордж, вы знали, в каком направлении в тот день дул ветер?»

Я подумала: осторожней, Долорес Клэйборн, не попадись. Тут колодцы везде, и этот тип их все знает.

«Нет, — ответила я, — тот день был тихий».

«Ну, разве что бриз», — начал Гаррет, но Маколифф движением руки прервал его, как отрезал.

«Он дул с запада, — сказал он. — Западный ветер, *бриз*, если вам угодно, семь-девять миль в час. Странно, миссис Сент-Джордж, что при таком ветре вы не услышали с Русского луга криков вашего мужа».

Я секунды три молчала. Дело в том, что я считала до трех, прежде чем отвечать на любой вопрос, чтобы не попасть ни в один из его колодцев. Но он решил, что поймал меня — он еще больше подался вперед, и глаза его из голубых сделались раскаленно-белыми.

«Ничего удивительного, — сказала я. — Семь миль в час — не так уж много в пасмурный день. К тому же у берега собралось с тысячу лодок, и они гудели. Да и откуда вы знаете, кричал он или нет?»

Он откинулся назад с немного разочарованным видом.

«Это можно предположить, — сказал он. — Мы знаем, что он не умер сразу при падении и оставался в сознании еще какое-то время. Миссис Сент-Джордж, если бы вы упали в колодец и лежали там со сломанными ребрами и разбитой головой, вы стали бы кричать?»

Я посчитала до трех и ответила:

«Это же не я упала в колодец, мистер Маколифф. Это был Джо, и он был пьян».

«Да. Вы купили ему бутылку виски, хотя мне говорили, что вы ссорились с ним из-за этого. Вы купили ему виски, и он напился. Он был очень пьян. Изо рта у него вытекло много крови, и рубашка тоже была в крови. Если сопоставить это с тем, что у него пробиты легкие осколками ребер, то знаете ли вы, что это значит?»

Раз-два-три, мой милый пони.

«Не знаю», — сказала я.

«Это значит, что такого рода повреждения вызваны продолжительными криками о помощи». Да, Энди, он так и сказал — «помощи».

Это был не вопрос, но я все равно сосчитала до трех.

«Так вы думаете, что он звал на помощь?»

«Не думаю, мадам, — сказал он. — Я в этом уверен».

На этот раз не стала ждать.

«Доктор Маколифф, вы что считаете, что я его туда столкнула?»

Это на миг выбило его из колеи, и его глаза отпустили меня. Он пыхнул пару раз своей трубкой, а я попыталась угадать, что он мне ответит.

Но вместо него заговорил Гаррет:

«Долорес, никто и думать не может...»

«Погодите, — Маколифф опять прервал его. Я чуть затормозила его паровоз, но с колеи он не сошел и спешил теперь наверстать потерянное расстояние. — Я могу. Видите ли, это моя работа, миссис Сент-Джордж».

«Не зовите меня так, — сказала я. — Раз уж вы обвиняете меня в том, что я столкнула своего мужа в колодец и смотрела сверху, как он зовет на помощь, можете звать меня Долорес».

Это во второй раз заставило его смутиться. Думаю, он не видел такого с окончания медицинского училища.

«Никто вас ни в чем не обвиняет, миссис Сент-Джордж», — сказал он, но в его глазах я прочла — «пока».

«Это хорошо, — сказала я. — Просто глупо думать, что я могла бы его столкнуть. Он был тяжелее меня на пятьдесят фунтов, а может, и больше. Последние годы, да и раньше, он не стеснялся избить любого, кто его задевал. Можете спросить людей, если не верите мне».

Это, конечно, было преувеличение, но на острове и правда сложилось такое мнение, и я вовсе не хотела его оспаривать.

«Никто не говорит, что вы его столкнули, — сказал шотландец. — Но он действительно кричал, быть может, несколько часов, и довольно громко».

Раз-два-три, мой милый пони.

«Теперь вы думаете, что он упал туда случайно, но я слышала его крики и не отозвалась. Так я вас поняла?»

Лицо его говорило «да» и еще говорило, что он взбешен тем, что все идет не по его сценарию. На щеках у него вспыхнул легкий румянец, и я обрадовалась, увидев это. Я хотела, чтобы он взбесился.

«Миссис Сент-Джордж, — снова начал он, — нам будет очень трудно разговаривать, если вы будете заменять мои вопросы своими».

«Но вы же ничего не спросили, доктор Маколифф, — я изумленно выпучила глаза. — Вы сказали что Джо кричал, вот я и...»

«Ладно, ладно, — сказал он и вытряхнул трубку в медную пепельницу Гаррета так, что она стукнулась о край. Теперь румянец появился у него и на лбу. — Вы слышали, как он кричал, миссис Сент-Джордж?»

Раз-два-три, мой милый пони.

«Джон, по-моему, хватит ее мучить», — опять вмешался Гаррет уже более резко, и будь я проклята, если он не заставил этого чертowego шотландца отвлечься. Я чуть не рассмеялась при виде этого.

«Вы согласились на это», — бросил Маколифф.

Бедный старый Гаррет съежился в своем кресле и буркнул:

«Да, но не надо же пережимать».

Маколифф, забыв про него, опять повернулся ко мне, чтобы повторить свой вопрос, но я ему не дала.

«Нет, — твердо сказала я. — Я ничего не слышала, потому что все время таращили лодки, и эти дураки кричали, что началось затмение».

Он подождал, не скажу ли я чего-нибудь еще — старый трюк, — и воцарилось молчание. Мы с ним смотрели друг на друга.

«Ты мне все расскажешь, женщина, — говорили его глаза, — Все, что я захочу... и столько раз, сколько я захочу».

А мои глаза отвечали ему: «Нет, болван. Можешь сверлить меня своими гляделками, сколько тебе влезет, но я не скажу ни слова, пока ты сам не откроешь рот».

Мы просидели так, наверное, целую минуту; я уже ослабла и готова была сказать что-нибудь вроде: «Разве мама не учила вас, что нехорошо так долго смотреть на людей?»

Тут заговорил Гаррет — вернее, его желудок. Это был такой дооооолгий звук.

Маколифф укоризненно посмотрел на него, но Гаррет только достал из кармана ножик и начал чистить ногти. Маколифф в ответ извлек из внутреннего кармана своего шерстяного (это в июле-то!) пиджака записную книжку, посмотрел что-то и сунул ее назад.

«Он пытался вылезти, — объявил он. — Я получил заключение».

Мне в бок будто воткнули вилку, в то место, куда Джо когда-то ударили меня поленом, но я изо всех сил старалась не показать этого.

«Неужели?» — спросила я.

«Да, — подтвердил Маколифф. — Колодец вымощен большими камнями, и на нескольких из них остались кровавые отпечатки. Видимо, он встал на ноги и медленно полез наверх. Это потребовало от него больших усилий».

«Жаль, что он так мучился, — я пыталась говорить спокойно, но чувствовала, что по спине у меня стекает пот — помню, я боялась, что он будет виден у меня на лбу, — Бедный Джо».

«Да, — глаза Маколиффа снова вспыхнули. — Бедный... Джо. Он ведь мог вылезти. Конечно, скорее всего, он бы все равно умер, но он мог вылезти. Что-то ему помешало».

«Что?» — спросила я.

«Ему разбило череп, — голос Маколиффа стал мягким, вкрадчивым. — Мы нашли у его тела большой камень, покрытый его кровью, миссис Сент-Джордж. Кровью вашего мужа. И мы нашли на нем микроскопические частицы фарфора. Знаете, что это значит?»

Раз-два-три...

«Это значит, что Джо разбил свои коронки, — сказала я. — Жаль. Не знаю, как Люсиль Мерсье сможет придать ему приличный вид для церемонии».

Губы Маколиффа приоткрылись, когда я это сказала, и я посмотрела на его зуны. Никаких коронок. Я думала, он улыбнется, но не тут-то было.

«Да, — сказал он. — Да, это фарфор из его коронок. А теперь скажите, миссис Сент-Джордж, как, по-вашему, камень мог попасть в лицо вашему мужу, когда он был на краю колодца?»

Раз-два-три, мой милый пони.

«Не знаю. А вы что думаете?»

«Я думаю, что кто-то поднял этот камень и с большой силой и яростью бросил им в поднятое кверху лицо вашего супруга».

Никто ничего не сказал. Мне хотелось, очень хотелось как можно быстрее сказать: «Это не я. Кто угодно, но не я». Но я не могла — я снова была в смородине, и на этот раз колодцы поджидали меня повсюду.

Я сидела и смотрела на него, чувствуя, как предательский пот собирается у корней волос и медленно стекает по лбу. И он заметил это, он был приучен замечать такие вещи. Я попыталась вспомнить о Вере, о том, как она вела себя с ним, но эти его проклятые глаза не давали мне сосредоточиться. Похоже, этот докторишка воображал себя сыщиком-любителем из журнальных романов: потом уж я узнала, что он усадил в тюрьму человек десять с побережья. Я уже готова была открыть рот и что-то сказать, неважно что. Слышно было, как тикают часы на столе у Гаррета — скучный, пустой звук.

Но тот, о ком я забыла, — Гаррет Тибодо — опять подал голос вместо меня. Он заговорил беспокойным тоном, и я поняла, что он просто не может больше выносить этого молчания.

«Ну, Джон, я думаю, что Джо ухватился за этот камень, и тот...»

«Вы можете заткнуться?!» — рявкнул Маколифф на него голосом, в котором слышались раздражение и разочарование, и я немного расслабилась. Все кончилось. Я знала это, и шотландец тоже знал. Как будто мы с ним были вдвоем в темной комнате, и он держал у моего горла что-то вроде бритвы, и вдруг старый глупый констебль Тибодо распахнул дверь, и оказалось, что это не бритва, а всего лишь птичье перышко.

Гаррет пробормотал что-то неодобрительное, но док не обратил на него внимания. Он повернулся ко мне и сказал: «Ну, миссис Сент-Джордж?» — как будто уже загнал меня в угол. Но это было не так. Он мог надеяться на какую-нибудь мою ошибку, но за мной стояло трое детей, и я не имела права ошибаться.

«Я сказала вам все, что я знаю, — ответила я. — Он напился, когда мы ждали затмения. Я сделала ему сэндвич, думала, что он пропрееает, но он стал кричать, потом схватил меня за горло, поэтому я вырвалась и ушла на Русский луг. Когда я вернулась, его не было. Я думала, он пошел к друзьям, как часто бывало. Но похоже, он пытался выйти на дорогу через эти кусты. Может, даже искал меня, чтобы извиниться. Я этого не знаю... и так оно и лучше, — я печально посмотрела на него. — В ваших медицинских деталях можете разбираться сами, доктор Маколифф».

«Ваши советы мне не требуются, мадам, — красные пятна на щеках и на лбу выступали у него все сильней. — Но скажите: вы ведь рады, что он умер?»

«Господи, да какое вам дело до него и до меня! — воскликнула я. — Что вы ко мне пристали?»

Он не ответил, только взял свою трубку — руки у него немного дрожали, — и снова начал набивать. Он больше ничего у меня не спрашивал; последний в тот день вопрос мне задал Гаррет Тибодо. Маколифф не задал его потому что для него этот вопрос ничего не значил; но для старины Гаррета он значил много, как и для остальных островитян. Тут речь шла не о тюрьме, а о мнении людей.

«Долорес, скажи, зачем ты купила ему эту бутылку виски? — спросил он. — Что на тебя нашло?»

«Я надеялась, что он отстанет от меня, — ответила я. — Думала, мы мирно посидим и посмотрим затмение».

Я не плакала, но одна слеза все же скатилась у меня по щеке. Иногда я думаю, что только из-за нее я смогла остаться жить на Высоком — из-за одной маленькой слезы. Иначе меня бы выжили шепотом за спиной, и показыванием пальцем, и записками вроде: «Не хотим жить с убийцами». Меня трудно довести, но такие вещи могут довести кого угодно. Все это было и, может быть, еще будет, но записок было бы гораздо больше, если бы не эта слеза. И знаете — я ведь действительно плакала из-за Джо, из-за того, что шотландец сказал, как он мучился. Конечно, я ненавидела его за то, что он сделал с Селеной, но я никогда не хотела, чтобы он мучился. Я думала, что он умрет сразу, клянусь Богом.

Бедный старый Гаррет Тибодо был весь красный. Он достал из ящика успокоительное и протянул мне; наверное, боялся, что за первой слезой последует целый ливень. Он извинился, что они заставили меня перенести такое «болезненное мероприятие».

Маколифф только хмыкнул, услышав это, и вышел — выполз, точнее, и хлопнул за собой дверью так, что задребезжало стекло.

Гаррет подождал, пока он уедет, и проводил меня до двери, держа за руку, но стараясь не глядеть в лицо (что было довольно смешно). Он что-то бормотал на счет того, что ему очень жаль — у этого парня было доброе сердце, и он не мог видеть, как кто-то плачет. Кого еще после двадцати лет службы в полиции провожали торжественным обедом, в конце которого все встали в его честь? Я скажу вам — место, где добрый человек может двадцать лет быть констеблем, это не такое уж плохое место. И все же я никогда не была так рада закрыть за собой дверь, как в тот день, выходя из полицейского участка.

Следствие на следующий день было в сравнении с этим сущим пустяком. Маколифф задавал, конечно, всякие каверзные вопросы, но он уже не мог меня достать и знал это. Моя слеза перевесила все его вопросы, но после них на острове начались разговоры. Что ж, людям ведь надо о чем-то говорить.

Они вынесли вердикт «смерть от несчастного случая», Маколиффу это не нравилось, и он прочитал вердикт совершенно механическим голосом, но там было все, что нужно: Джо в пьяном виде упал в колодец, звал на помощь, потом попытался вылезти и ухватился за камень, который упал и разбил ему череп, после чего он опять упал на дно, где и умер.

Может быть, главным было то, что они не сумели навесить на меня никаких мотивов. Конечно, многие (и доктор Маколифф в том числе) думали, что я его убила, но ничем не могли подкрепить своих подозрений. Никто ведь не догадался допросить мистера Пиза, а только он и Селена знали кое-что о моих мотивах.

Что до Селены, то она судила меня своим судом. Я и теперь вижу ее потемневшие глаза, и как она меня спрашивает: «Ты сделала с ним что-то? Мама, скажи! Скажи — это я виновата и должна заплатить за это?»

Я думаю, она и заплатила. Девочка с острова, которая никогда не выезжала из штата Мэн — только один раз в Бостон на соревнования по плаванию, — сделала карьеру в Нью-Йорке. О ней два года назад была статья в «Нью-Йорк таймс», вы не знали этого? Она пишет во все эти журналы и еще находит время писать мне раз в неделю... Но это письма из-под палки, как и ее звонки два раза в месяц. Думаю, этим она успокаивает себя и не дает признаться себе, что ей не хочется приезжать сюда и видеть меня. Да, она, которая в этой истории была меньше всех виновата, заплатила за все и до сих пор платит.

Ей уже сорок четыре, она не была замужем, она слишком худая (я видела ее фото в журналах), и, мне кажется, она пьет — я

слышала это в ее голосе. Может, она не приезжает еще и потому, что не хочет, чтобы я видела, что она пьет, как пил ее отец. Или потому, что боится снова задать мне тот же вопрос и на этот раз получить ответ. Но что об этом теперь говорить? Что сделано, то сделано. Жизнь шла своим чередом. Никто не подоспел в последнюю минуту, чтобы обвинить меня, как в кино, и я не пыталась убить кого-нибудь еще, и Господь не поразил меня молнией. Я вернулась работать к Вере в Пайнвуд. Селена снова сошлась со старыми подругами, когда осенью пошла в школу, и я иногда слышала, как она смеется по телефону. Маленький Пит и Джо, конечно, тяжело переживали смерть отца. Джо даже тяжелее, чем я думала. Он похудел и видел страшные сны, но к весне все прошло. Единственное, что действительно изменилось — Сет Рид закрыл свой старый колодец бетонной плитой по моей просьбе.

Через полгода после смерти Джо рассматривали дело о его наследстве. Я туда даже не ездила, и через неделю мне прислали бумагу, что я могу делать со всем, что хочу — продать или бросить в море. Последнее было бы верней, когда я посмотрела, что мне досталось. Хотя мне повезло, что все друзья у него были идиоты. Я продала Норису Пиннетту его приемник, который он паял раз десять, за двадцать пять долларов, а Томми Андерсону — три сломанные машины, что стояли во дворе. Этот осел был до смерти рад купить их, а на вырученные деньги я купила «Шеви» 59-го года. Еще я получила банковскую книжку Джо и снова стала собирать детям на колледж.

Да, и еще одно — в январе 64-го я снова взяла девичью фамилию. Я не особенно трубила об этом, но не собиралась тащить за собой «Сент-Джордж» до конца жизни, как собака жестянку, привязанную к хвосту. Вы можете сказать, что я обрезала веревку, но от него было не так легко избавиться, как от его имени.

Мне шестьдесят пять, и пятьдесят из них мне приходилось самой принимать решения и платить по счетам. Иногда эти решения были довольно путанные, но уйти от них было нельзя — особенно, когда от меня зависели другие. Тогда приходилось решать, а потом расплачиваться. Я не помню, сколько ночей приходилось просыпаться в холодном поту, когда слышала этот звук, с которым камень ударился о его коронки — звук бьющейся фарфоровой тарелки. И когда я не просыпалась, а засыпала еще крепче, а иногда я слышала его наяву — когда я сидела на крыльце или чистила серебро у Веры. Этот звук. Или звук его падения на дно. Или его крик: «До-лоррр-ессс...»

Я не думаю, что эти звуки отличаются от того, что видела Вера, когда она кричала о проволоке под кроватью или пыльных головах. Бывало, когда я в это время входила к ней и успокаивала ее, я

слышала вдруг звук удара, а потом закрывала глаза и видела, как фарфоровая тарелка разлетается на тысячу кусков. Тогда я обнимала ее, будто она была моей сестрой, и мы ложились в постель, каждая со своими собственными страхами, и засыпали в обнимку. Иногда, перед тем как заснуть, я думала: «Вот чем ты платишь за свою стервость. И незачем говорить тебе, что ты не платила бы, если бы не была такой стервой. Жизнь заставила тебя стать такой. Но за это нужно платить, платить страшную цену».

Энди, можно мне попросить еще один маленький глоточек из твоей бутылки? Я никому не скажу.

Спасибо. И тебе спасибо, Нэнси Бэннистер, что сидишь тут с такой болтливой старухой, как я. Как твои пальцы?

Хорошо. Потерпи, я как раз перехожу к той части, которую вы хотели услышать. Пора — уже поздно, и я устала. Я работала всю свою жизнь, но не помню, чтобы когда-нибудь уставала так, как сегодня.

Я вешала белье вчера утром — а кажется, что это было лет шесть назад, — а у Веры как раз был период просветления. Вот почему все и случилось так неожиданно. В такие дни она была стервой, все правильно, но в этот раз — в первый и последний, — она *свихнулась*.

Так вот, я вешала белье, а она сидела у окна в своем кресле на колесиках и время от времени вопила:

«Шесть булавок, Долорес! Шесть, а не четыре! Помни, что я смотрю!»

«Да, — сказала я. — Вам бы еще хотелось, чтобы было градусов на сорок холоднее и дул ветер в двадцать узлов».

«Что? — спросила она. — Что ты говоришь, Долорес Клэйборн?»

«Я говорю, что кто-то, должно быть, нагадил у вас в саду, дерьмом несет еще сильнее, чем обычно».

«Ты недовольна, Долорес?» — спросила она ядовитым голосом, который снова появлялся у нее в светлые периоды. Я была даже рада слышать это, как в старые времена. Ведь в последние три-четыре месяца она все больше валялась, как колода, и соображения у нее было столько же.

«Нет, Вера, — ответила я. — Если бы я была недовольна, я давно ушла бы от вас».

Я думала, она крикнет еще что-нибудь в том же духе, но она молчала. Поэтому я продолжала развешивать ее простыни, и пеленки, и все остальное. Я развесила половину и остановилась. У меня появились дурные предчувствия, не знаю, почему. И вдруг ко мне пришла дикая мысль: «Та девочка в беде... та, что я видела в день затмения. Она выросла, ей теперь столько лет, сколько Селене, но она в большой беде».

Я повернулась и посмотрела наверх, будто ожидая увидеть ту выросшую девочку в ее ярком платье, но я никого не увидела. А ведь там должна была сидеть Вера в кресле, я сама ее там посадила и не понимала теперь, куда она могла деться.

Потом я услышала ее крик.

«До-лоорр-ессс!»

Как я похолодела, когда услышала это, Энди! Это звучало, как будто вернулся Джо и снова зовет меня из колодца. На секунду я так и подумала, потом она закричала снова, и я поняла, что это ее голос:

«Долорес! Это пыльные головы! Они везде! О Боже! О Боже! До-лорр-есс, помоги! Помоги мне!»

Я бросила корзину с бельем и побежала наверх, но каким-то образом попала ногой в простыни и запуталась в них. Мне вдруг показалось, что у простыней выросли руки и они меня не пускают. Вера наверху продолжала кричать, и я вспомнила свой сон про пыльные головы, как они катятся по полу и щелкают зубами. Тогда мне показалось, что у одной из голов лицо Джо с угольками вместо глаз.

«Долорес, скорее! Скорее, прошу тебя! Пыльные головы! Пыльные головы везде!»

Потом она уже просто кричала, без слов. Это было ужасно. В самом страшном сне невозможно было представить, что старая жирная баба вроде Веры Донован может так кричать. Как будто на нее обрушились огонь, вода и конец света.

Я боролась с этими простынями, и меня охватило чувство бессилия, как тогда, в день затмения, когда Джо чуть не удушил меня. Мне казалось, что какие-то духи и вправду держат меня и душат своими невидимыми пальцами.

И знаете что? Они были пыльные.

Наконец я добралась до кухонной двери и побежала вверх по темной лестнице, а она все это время продолжала кричать. Я совсем потеряла голову, и, когда я добежала до площадки, мне показалось, что ко мне бежит Джо.

Потом я разглядела, что это Вера. Она ковыляла к лестнице и кричала, и на рубашке у нее сзади было большое бурое пятно — на этот раз она обделалась не из вредности, а от страха.

Кресло ее валялось у двери спальни. Должно быть, она опрокинулась, когда увидела то, что ее так напугало. Раньше она могла только кричать, но оставалась сидеть или лежать там, где я ее оставляла, и многие думали, что она вообще не может двигаться, но вчера она это сделала. Она опрокинула кресло, каким-то образом выбралась из него и поковыляла к лестнице, держась за стенку.

Я стояла там, в первую минуту оторопев от того, что увидела — как она после стольких лет идет сама, без посторонней помощи. И я видела, куда она идет.

«Вера! — закричала я ей. — Стойте, вы упадете! Стойте!»

Потом я побежала ей навстречу. Мне снова показалось, что это уже было, что это Джо, только теперь я пыталась не дать ей упасть.

Не знаю, слышала ли она меня, но она продолжала кричать:
«Помоги мне, Долорес! Пыльные головы! Пыльные головы!»

Я кричала: «Стойте, Вера!» — пока не охрипла, но она не останавливалась. Одна нога ее уже зависла над пустотой, и я сделала все, что могла — прыгнула за ней. Я еще успела поймать ее последний взгляд. Он был полон ужаса, но это был не ужас перед падением. Она боялась не того, что впереди ее, а того, что позади.

Я схватила ее за край рубашки, и она проскользнула меж моих пальцев с еле слышним шуршанием.

«До-лооррр...» — крикнула она, и следом раздался удар. Кровь у меня застыла в жилах, когда я вспомнила этот звук: точно так Джо ударился о дно колодца. Она упала в пролет, и следом за ударом послышался хруст. Я увидела на голове у нее кровь и побежала вниз так быстро, что сама едва не скатилась с лестницы. Я наклонилась над ней, и то, что я увидела, заставило меня закричать. Это был Джо.

Пару секунд я видела его так же ясно, как тебя, Энди: его ухмыляющееся лицо, вымазанное грязью и кровью, и его желтые лошадиные зубы.

Потом все исчезло, и я услышала ее стон.

Я не могла поверить, что она еще жива, и до сих пор в это не верю. Джо тоже не умер сразу, но он был мужчина в расцвете лет, а она — больная старуха, перенесшая три удара, не считая дюжины мелких. И ее падения не смягчили ни грязь, ни вода.

Я чувствовала жар. Вы знаете, как это бывает, когда внезапно повышается температура — все вокруг кажется стеклянным и плавит вокруг вас. Вот так я себя и чувствовала, когда сидела возле нее на коленях. Я не хотела смотреть, что у нее сломано, не хотела вообще дотрагиваться до нее, но выбирать не приходилось. Тут один ее глаз дрогнул, раскрылся и выпятился на меня взглядом животного, попавшего в капкан.

«Долорес, — прошептала она. — Этот сукин сын гнался за мной все эти годы».

«Тсс, — сказала я. — Не надо говорить».

«Правда, — шепнула она, будто я спорила с ней. — Ох, ублюдок. Проклятый ублюдок».

«Я пойду вниз. Надо вызвать врача».

«Не надо, — сказала она, протянула руку и взяла меня за запястье. — Не надо врача. Пыльные головы... они даже здесь. *Везде*».

«Все будет хорошо, Вера, — я попыталась высвободить руку. — Если вы будете лежать тихо, все будет хорошо».

«Долорес Клэйборн говорит, что все будет хорошо! — сказала она тем сухим, насмешливым голосом, каким говорила до своих ударов. — Как я рада услышать мнение специалиста!»

Мне словно дали пощечину — так не ожидала я услышать этот ее голос. Это вывело меня из состояния паники, и я в первый раз как следует рассмотрела ее и вслушалась в то, что она говорит.

«Мне конец, — сказала она, — и ты это знаешь. Думаю, у меня сломана спина».

«Вы не можете это знать, Вера», — но я знала, что она знает. И знала, о чем она меня сейчас попросит, предчувствовала это. Я была в долгу у нее за тот день 1962-го, когда я сидела у нее на кровати и ревела в платок, а Клэйборны всегда отдавали долги.

Когда она заговорила снова, голос ее был четким, как тридцать лет назад, когда Джо еще был жив, а дети жили дома.

«Мне осталось решить только одну вещь, — сказала она, — умру я у себя дома или в больнице. Я решила сделать это дома, Долорес. Я устала видеть по углам лицо моего мужа и видеть, как они падают в карьер на своем «Корвете», и как вода льется к ним в окна...»

«Вера, я не знаю, о чем вы говорите», — сказала я.

Она подняла руку и помахала ею взад-вперед знакомым нетерпеливым жестом, потом уронила ее на пол.

«Я устала ходить под себя и забывать, кто ко мне приходил, через полчаса после их ухода. Я должна с этим кончить. Ты поможешь мне?»

Я склонилась над ней, взяла ее руку, упавшую на пол, и прижала к своей груди. Я думала о звуке камня, разбивающего лицо Джо — об этом звуке бьющегося фарфора, — думала, буду ли я слышать его и дальше, и знала, что буду. Мне показалось, что это он, когда она звала меня, и когда она упала в пролет и лежала внизу, разбившись, как раньше она боялась, что могут разбиться ее любимые стекляшки в гостиной. Я буду слышать и видеть это все годы, сколько мне осталось жить — я знаю это так же точно, как то, что Ист-лайн кончается на Восточном мысу этой старой деревянной лестницей.

Я держала ее руку и думала о том, как происходит иногда — как плохие люди попадают в катастрофы, а хорошие женщины превращаются в стерв. Я смотрела, как ее закатившиеся глаза беспомощно ищут меня, и как кровь, текущая из раны на голове, заполняет морщины на щеке, как дождь — трещины в почве.

Я сказала:

«Если вы так хотите, Вера, я помогу вам».

Она заплакала, и я впервые видела, как она плачет, находясь в здравом уме.

«Да, — сказала она. — Я так хочу. Помоги тебе Бог, Долорес».

«Не бойтесь», — сказала я, поднесла ее старую морщинистую руку к губам и поцеловала ее.

«Скорее, Долорес, — прошептала она. — Если ты правда хочешь мне помочь, то скорее».

«Пока мы обе не пожалели об этом», — говорили ее глаза.

Я снова поцеловала ее руку, потом положила ее ей на живот и встала. Силы вернулись ко мне, и я спустилась вниз и пошла на кухню. Я совсем недавно достала скалку, потому что собиралась вчера печь хлеб. У нее была тяжелая скалка — из серого мрамора с черными прожилками. Я взяла ее, все еще чувствуя, что нахожусь во сне, и вернулась в холл. Когда я проходила через гостиную, я вспомнила про ее штучки с пылесосом, как она обманывала меня. Что, если она обманет меня и на этот раз?

Я начала подниматься к ней по лестнице, держа скалку за одну из деревянных ручек. Я не хотела останавливаться перед ней, иначе я не могла бы этого сделать, а собиралась со всего размаху разбить ей этой скалкой голову. Может, потом поверили бы, что она сама упала и разбилась, но я бы все равно это сделала.

Когда я подошла к ней, то увидела, что во мне уже не было нужды: она сделала все сама, как делала большинство вещей в жизни. Просто закрыла глаза и умерла.

Я села возле нее, положив скалку на пол и держа ее за руку. Я не знаю, говорила ли я ей что-нибудь — думаю, я просила ее отпустить меня, не заставлять проходить через это снова, но, может быть, я просто так думала. Помню, я целовала ее руку, смотрела на нее и думала, какая она розовая и чистая, и линии на ней почти исчезли, как у младенца. Я знала, что нужно встать и позвонить кому-нибудь, но я страшно устала. Мне было легче сидеть там и держать ее за руку.

Потом позвонили в дверь. Если бы не это, не знаю, сколько бы я там просидела. Я встала и побрела вниз, как будто мне было на десять лет больше, чем есть, держась за перила, чтобы не упасть. Мир все еще казался стеклянным, и я боялась упасть и разбить его.

Это оказался Сэмми Маршант в своей дурацкой почтальонской шляпе — он, наверное, думает, что похож в ней на рок-звезду. В одной руке он держал обычную почту, а в другой — еженедельный большой пакет из Нью-Йорка, новости о ее финансовых делах. О ее деньгах заботился тип по фамилии Гринбуш, я вам это говорила?

Так вот, иногда в этих конвертах были бумаги, которые надо было подписать, и в большинстве случаев мне приходилось водить рукой Веры, а иногда и самой расписываться за нее. Это не вызывало никаких вопросов; ее подпись все равно превратилась в какие-то каракули. Но, если вы захотите, можете привлечь меня еще и за подлог.

Сэмми сразу протянул мне этот конверт, но как только он разглядел мое лицо, глаза у него расширились, и он как-то дернулся назад, к выходу.

«Долорес, вы в порядке? — спросил он. — У вас кровь!»

«Это не моя, — сказала я, и голос у меня был такой спокойный, будто он спрашивал, что идет по телевизору. — Это Веры. Она упала с лестницы и умерла».

«О Боже», — сказал он и пробежал мимо меня в дом. Я медленно пошла за ним. Мир уже не казался мне стеклянным, но вместо этого появилось ощущение, что ноги мои налиты свинцом. Когда я дошла до холла, Сэмми наклонился над Верой, рассыпав содержимое своей почтальонской сумки — счета за воду и газ и каталоги Л. Л. Бина.

Я подошла к нему, медленно подтягивая одну ногу к другой. Никогда в жизни я не чувствовала такой усталости, даже в тот день, когда убила Джо.

«Она умерла», — сообщил он, поднимая на меня глаза.

«Я же говорила», — сказала я.

«Я думал, она не могла ходить. Вы же сами мне это говорили, Долорес».

«Да, — сказала я. — Похоже, я ошибалась», — было глупо так говорить, стоя над ее трупом, но что я еще могла сказать? Иногда легче говорить даже с Джоном Маколиффом, чем с болваном Сэмми Маршанта.

«Что это?» — спросил он, заметив скалку, которую я оставила на полу.

«А что ты думаешь? — спросила я. — Птичья клетка?»

«Похоже на скалку».

«Молодец, Сэмми, — мой голос доносился откуда-то издалека, как будто он был в одном месте, а я — в другом. — Ты вполне созрел для колледжа».

«Но что скалка делает возле лестницы?» — спросил он, и тут я заметила, как он смотрит на меня. Сэмми всего двадцать пять, но его отец был в той поисковой партии, что нашла Джо, и наверняка воспитал Сэмми в убеждении, что Долорес Клэйборн убила своего мужа. Невиновным гораздо труднее оправдаться, и вот теперь, глядя на Сэмми, я решила, что пришла пора немножко оправдаться.

«Я была на кухне и собиралась печь хлеб, когда она упала», — начала я. И еще одно — когда лжет невиновный, любая ложь, даже

самая маленькая, сразу заметна. Невиновные не придумывают часами свои показания, как я когда-то, когда рассказала, что ходила на Русский луг и не видела Джо до тех пор, пока его не привезли в контору Мерсье. В ту же минуту, когда я соврала про хлеб, я увидела, что он мне не верит.

Он встал и сделал шаг назад, медленно, не отрывая от меня глаз, и я поняла, что он боится быть рядом со мной. Должно быть, он боялся, что я убью и его, как, по его мнению, убила ее. Его глаза так прямо и говорили: «Ты один раз сделала это, Долорес Клэйборн, и мой отец говорил, что Джо Сент-Джордж заслужил это. Но эта женщина — она ведь давала тебе хлеб и крышу над головой и платила деньги. Как ты посмела?» И еще его глаза говорили, что женщина, которая раз столкнула человека вниз, сделает это и во второй. А потом для верности еще и добьет скалкой.

«Подбери лучше почту, Сэмми, — сказала я наконец. — Мне нужно позвонить в «скорую помощь».

«Миссис Донован не нужна «скорая помощь», — возразил он, делая еще два шага назад, — и я думаю лучше позвонить Энди Биссету».

Так я и сделала, вы знаете. Сэмми Маршант стоял и смотрел, как я звоню. Когда я повесила трубку, он собрал рассыпанную почту (поминутно оглядываясь на меня, будто ожидал увидеть, как я подкрадываюсь к нему со скалкой) и встал у лестницы, как сторожевой пес. Он молчал, и я тоже ничего не говорила.

Скоро приехал ты, Энди, вместе с Фрэнком и я отправилась с вами в участок и сделала заявление. Это было только вчера, и, думаю, не стоит его повторять. Вы знаете, что я ничего не сказала про скалку и написала, что не помню, как она очутилась в холле. Тогда я не могла написать ничего другого. Подписав показания, я села в свою машину и поехала домой. Все прошло так мирно — заявление и все остальное, — что я уже начала уговаривать себя, что беспокоится не о чем. В конце концов, я ее не убивала; она *в самом деле* упала. Когда я подъехала к дому, мне уже казалось, что все будет хорошо.

Это чувство исчезло, когда я подошла к двери. На крыльце лежала записка — просто листок бумаги с торопливым почерком: «*На этот раз тебе не сойдет с рук*». И все. Но этого было достаточно, разве это не так?

Я вошла в дом и открыла окна кухни, чтобы выветрилась духота. Ненавижу затхлый запах, а дом все эти дни просто провонял им, как будто я ни проветривала его. Скорее всего, это было потому, что я в основном жила у Веры, но мне казалось, что дом умер... как Джо и Маленький Пит.

Дома ведь живут своей жизнью, как и люди в них; я действительно в это верю. Наш дом пережил то, что умер Джо, и что двое старших уехали учиться: Селена в Вассар на оплаченное обучение (на ее деньги в банке я купила ей одежду и учебники), а Джо-младший — в Мэнский университет в Ороно. Он пережил даже то, что Маленького Пита убило взрывом мины в Сайгоне. Это случилось почти сразу же, как только он туда попал, и за два месяца до конца этой войны. Я смотрела по телевизору, как последние вертолеты взлетают с крыши американского посольства, и плакала. Это было в доме у Веры, но она как раз уехала в Бостон за покупками, и я не боялась ее.

После похорон Маленького Пита жизнь начала уходить из дома. Дети так и не вернулись в него. Джо-младший уже поговаривал о политике, а пока работал менеджером в Мэчиасе — не так плохо для парня с острова, только что закончившего колледж, — и хотел баллотироваться в законодательное собрание штата.

Селена немного пожила здесь, а потом переехала в Нью-Йорк и занялась писательством. Помню, однажды мы с ней мыли посуду, и вдруг я почувствовала на себе ее взгляд. Я знала, о чем она думала, и увидела в ее глазах тот же вопрос, что и двенадцать лет назад, когда она подошла ко мне в саду: «Ты с ним что-то сделала? Мама, скажи — это я виновата? Сколько же мне еще платить?»

Я подошла к ней, Энди, и обняла ее. Она тоже обняла меня, но ее тело было неподатливым, как кочерга, — и тогда я почувствовала, что жизнь уходит из дома. Будто услышала последний вздох умирающего. Думаю, Селена тоже чувствовала это. Джо-младший не чувствовал — он заезжал сюда во время своей предвыборной кампании, но ничего не заметил, ведь он никогда по-настоящему не любил этот дом. Ведь для него это было место, где над ним издевались и называли никческим книжным червяком. Общежитие в университете было для Джо-младшего больше домом, чем наш дом на Ист-лэйн.

Но для меня это был дом и для Селены тоже. Я думаю, моя девочка жила здесь еще долго после того, как отряхнула пыль Высокого со своих ног; она жила здесь в своих мыслях, в своих снах. В своих кошмарах.

От этого затхлого запаха было невозможно избавиться.

Я села у открытого окна, чтобы подышать свежим воздухом, потом вдруг решила запереть двери. Передняя закрылась легко, а вот задняя так заржавела, что я ее сдвинула ее с места. И немудрено: я не помню, когда в последний раз их запирала.

При мысли об этом мне стало нехорошо. Я пошла в спальню и легла, положив голову под подушку, как делала маленькой девочкой, когда меня в наказание отсылали спать.

Я плакала, и плакала, и плакала. Не знала, что во мне осталось столько слез. Я плакала о Вере, и о Селене, и о Маленьком Пите; думаю я плакала даже о Джо. Я плакала, пока не заболел желудок, а потом уснула.

Когда я проснулась, было темно, и звонил телефон. Я встала, ощупью добралась до комнаты и взяла трубку. Кто-то — какой-то женский голос сказал: «Ты не должна была убивать ее, знай это. Если даже закон не доберется до тебя. Мы сами доберемся. Мы не хотим жить с убийцами, Долорес Клэйборн, пока на острове еще есть христиане, которые этого не потерпят».

Голова у меня так гудела, что сперва мне показалось, что я вижу сон. Но когда я, наконец, проснулась, она уже повесила трубку. Я пошла на кухню, чтобы сварить кофе или достать из холодильника пиво, уж не помню, когда телефон зазвонил опять. Это была уже другая женщина, и яд так и капал у нее изо рта, так что я быстро отключила ее. Мне снова захотелось плакать, и я пошла на кухню и открыла пиво, но оно показалось мне таким безвкусным, что я вылила его в раковину. Думаю, я с удовольствием выпила бы виски, но после смерти Джо я не держала в доме ни капли спиртного.

Я налила себе воды, но у нее был привкус, как у медной монеты, зажатой целый день в чьем-нибудь потном кулаке. Это напоминало мне ту ночь в кустах смородины, где так же плохо, и ту девочку в красно-желтом платьице. Я вспомнила, как мне показалась, что она в беде — та женщина, в которую она выросла. Не знаю, кто она была и где, но я никогда не сомневалась, что она *была*.

Но это неважно. Я говорю, что вода из крана помогла мне не больше, чем пиво — даже пара кубиков льда не смогли отбить этот проклятый медный запах. Потом я стала смотреть какое-то дурацкое шоу по телевизору, попивая гавайский пунш, который нашла в холодильнике — я держала его там для двойняшек Джо-младшего. Одно шоу сменялось другим, и я смотрела их подряд, просто чтобы ни о чем не думать.

Я не думала и о том, что мне делать, ночью о таких вещах лучше не думать, потому что ваш ум отключается. Все, о чем вы думаете после заката, утром кажется глупым и смешным. Поэтому я просто сидела перед экраном и в конце концов опять уснула.

Мне приснился сон про меня и Веру, только Вера была такой, какой я ее знала раньше, когда еще жив был Джо. Во сне мы с ней мыли посуду — она мыла, а я вытирала, но делали это не на кухне, а у меня в комнате, перед маленькой франклинской печкой. А ведь Вера ни разу за всю жизнь не была у меня дома.

Она мыла тарелки в пластиковом тазике — не мою дешевку, а свой китайский фарфор, — и передавала их мне, и одна из них вдруг

выскользнула у меня из рук и разбилась о кирпичи, на которых стояла печка. «Ты должна быть осторожнее, Долорес, — сказала Вера, — если не будешь осторожной, когда устраиваешь несчастные случаи, то потом придется расхлебывать много всего».

Я пообещала ей быть осторожней, и я пыталась, но следующая тарелка тоже разбилась, и еще одна, и еще.

«Так не годится, — сказала Вера. — Только посмотри, что ты натворила!»

Я посмотрела, и вместо осколков тарелок на кирпиче лежали маленькие кусочки зубов Джо. «Не давайте мне их больше, Вера, — сказала я и заплакала. — Наверное, я уже слишком старая. Я их все перебью, если это не кончится».

Она все равно давала мне их, и они падали и разбивались, и их звон становился все громче и пронзительней, пока не превратился в грохот. Только потом я сообразила, что это не сон, и открыла глаза. Грохот раздался снова, и на этот раз я его узнала — стреляли из пистолета.

Я встала и выглянула в окно. По улице проезжали два грузовика с людьми в кузовах. Там их было трое или четверо, и у всех были пистолеты, и они не переставая палили в воздух. По тому, как эти люди шатались (и как вихлялись из стороны в сторону их грузовики), я поняла, что они в стельку пьяны. И один из грузовиков я узнала.

Что?

Нет, я не буду вам этого говорить — незачем доставлять людям неприятности. Может, это был и не тот грузовик.

Во всяком случае, когда я увидела, что они дырявят только облака, я стала смотреть в окно без опаски. Они развернулись у нас на холме — причем один из них чуть не выпал из кузова, и даже это вызвало у остальных смех, — и поехали обратно, гудя, как сумасшедшие, и стреляя. Я прижала ладони ко рту и крикнула: «Проваливайте отсюда! Не мешайте людям спать!» Они посмотрели на меня, и один крикнул в ответ: «Убирайся с острова, чертова стерва, убийца!» — и они еще несколько раз выпалили в воздух, чтобы показать, какие они смелые. Потом они поехали прочь, виляя из стороны в сторону, и скоро все затихло.

Это совсем испортило мне настроение — если еще было, что портить. Я не испугалась, но не могла понять, зачем люди делают такие вещи. Я вспомнила Сэмми Маршанта — как он смотрел на меня, когда увидел ту скалку. Глаза его были темно-синими, цвета океана в бурю, как глаза Селены в тот день на огороде.

Я уже знала, что утром пойду сюда, Энди, но у меня еще оставался выбор — рассказать обо всем или кое о чем промолчать. Потом я решила, легла спать и спокойно проспала до девяти. Не

помню, чтобы я еще когда-нибудь с момента свадьбы проспала так долго, но я ведь поздно уснула.

Я умылась, оделась и опять воткнула телефон в розетку — в конце концов, был уже день, и можно было не бояться дурных снов и злобных голосов. Если бы кто-нибудь еще позвонил, я выдала бы ему пару-тройку ласковых из моих запасов, что-нибудь вроде «вонючей желтопузой гадюки». Но когда он в самом деле зазвонил, я ничего такого не сказала, а стала слушать. Женский голос спросил:

«Можно поговорить с миссис Долорес Клэйборн?»

Я сразу поняла, что звонят издалека — по звуку, к тому же никто на острове не называл меня «миссис».

«Я слушаю», — сказала я.

«Это говорит Алан Гринбуш», — сообщила она.

«Странно. По-моему это мужское имя».

«Это его офис, — уточнила она, будто это само собой разумелось. — Можно соединить вас с мистером Гринбушем?»

Это имя было мне знакомо, но я не могла вспомнить откуда.

«А в чем дело?»

«По-моему, это касается миссис Веры Донован. Так соединить вас или нет?»

Тут я сообразила — Гринбуш посыпал ей эти большие конверты из Нью-Йорка.

«Ага».

«Простите?» — удивилась она.

«Соединяйте».

Потом была долгая пауза — вернее, это мне она показалась долгой. Я подумала: может, это из-за того, что я подписывалась за Веру? Беда никогда не приходит одна.

Тут он взял трубку.

«Миссис Клэйборн?»

«Да, это я».

«Мне позвонили вчера с Высокого острова и сообщили, что Вера Донован умерла, — сказал он. — Было поздно, и я решил позвонить вам утром».

Я хотела сказать, что на острове мне не стесняются звонить в любое время, но промолчала.

Он откашлялся и продолжил:

«Я пять лет назад получил письмо от миссис Донован, где говорится о том, как я должен распорядиться ее наследством в течение двадцати четырех часов с момента ее смерти. Хотя с тех пор я не раз говорил с ней по телефону, это было последнее ее письмо», — у него был сухой, нервный голос, будто он торопился что-то сказать.

«Послушайте, — сказала я, — что вам нужно? Переходите прямо к делу».

Он сказал:

«Я рад сообщить вам, что, кроме небольшого пожертвования сиротскому приюту Новой Англии, основная часть наследства миссис Донован переходит к вам».

Мой язык прилип к горлани, и я почему-то вспомнила про ее штучки с пылесосом.

«Вы получите сегодня подтверждение, но я хотел сообщить вам об этом как можно скорее. Миссис Донован не терпела проволочек».

«Да, — сказала я, — не терпела, это точно».

«Я уверен, что вы скорбите о смерти миссис Донован, как и мы все, но я хочу, чтобы вы знали — вы теперь очень богаты, и, если я могу быть вам полезен, то я был бы рад помочь вам и впредь, как помогал миссис Донован. Конечно, пройдет некоторое время, пока завещание утвердят, но я не думаю, что проблемы...»

«Подождите, — перебила я его. — Сколько у нее было денег?»

Конечно, я знала, что она была богата, Энди, хотя она в последние годы носила только фланелевые ночные рубашки и питалась одними детскими кашами. Я видела ее дом, видела машины и иногда читала кое-что в этих бумагах, прежде чем их подписывать. Это были бланки обмена акций, и я знаю, что бедняки не продают две тысячи акций Апджона и не покупают пять тысяч «Электростанций долины Миссисипи».

Я спросила не потому, что мечтала завести кредитную карту и выписывать вещи по каталогам Сирса, не подумайте такого. Просто я уже знала, что многие думают обо мне как о ее убийце, и хотела знать, за что я мучаюсь. Мне казалось, что речь идет о шестидесяти-семидесяти тысячах долларов... хотя она *говорила*, что оставит что-то сиротам, и окончательная сумма могла быть и меньше.

Он сказал что-то, чего я не расслышала. Что-то вроде «бу-бу-бу — около — тридцати — миллионов».

«Что вы сказали?» — переспросила я.

«Что после вычета налогов у вас останется что-то около тридцати миллионов долларов».

Моя рука, державшая трубку, начала дрожать. Ноги будто кололо маленькими иголочками, как бывает, когда просыпаешься после долгого сна, и мир опять начал казаться мне стеклянным.

«Извините, — сказала я. — Должно быть, связь не очень хорошая. Мне показалось, что вы сказали «миллион».

«Я так и сказал. Вообще-то, я сказал «тридцать миллионов», — клянусь, он бы засмеялся, если бы я получила эти деньги не из-за смерти Веры Донован. По-моему, он был жутко *возбужден* — деньги

для этого типа были, как электричество, подпитывали его энергией. А может, ему было действительно приятно сообщить мне эту новость и услышать ту чепуху, что я говорю.

«Не может быть», — сказала я голосом таким слабым, что сама еле его расслышала.

«Я понимаю ваши чувства. Это очень большая сумма, и, конечно, не сразу верится».

«Но это *правда?*» — спросила я, и на этот раз он засмеялся.

Он повторил еще раз про тридцать миллионов, и рука у меня еле держала трубку. Я начала ощущать панику — какой-то чужой голос у меня в голове повторял «тридцать миллионов долларов», но это были только слова. Когда я пыталась понять, что они значат, в голову не приходило ничего, кроме комикса Джо-младшего, где Скрудж Мак-Дак купался в бассейне, полном золотых монет. Потом я опять подумала про Сэмми Маршанта и его глаза, когда он смотрел на скалку; потом про ту женщину, что говорила по телефону о том, что христиане на нашем острове не хотят жить с убийцами. Я подумала, что они все скажут, когда узнают, что смерть Веры принесла мне тридцать миллионов долларов... и мысль об этом приводила меня в ужас.

«Вы не можете! — воскликнула я. — Слышите? Вы не можете отдать их мне!»

Теперь настала его очередь удивляться и думать, что он не расслышал. Ничего удивительного — такие, как Гринбуш, просто не могут поверить, что кто-то способен отказаться от тридцати миллионов. Я уже открыла рот, чтобы сказать ему, что он не может, что он должен все деньги отдать сиротам, когда вспомнила, что тут вообще все не так.

«Постойте! — сказала я. — А Дональд и Хельга?»

«Прошу прощения?» — спросил он с опаской.

«Ее дети! Сын и дочь! Это же их деньги, они наследники, а я всего-навсего домоправительница».

Наступила пауза, и я уже думала, что нас разъединили, когда он заговорил снова своим сухим голосом:

«Так вы не знали?»

«Не знала о чем? — крикнула я. — Я знаю, что у нее есть сын Дональд и дочь Хельга и что они могли бы хоть раз приехать навестить ее, но, думаю, теперь они не откажутся приехать и получить то, о чем вы говорите».

«Вы не знали, — повторил он. — *Как* вы могли не узнать это за столько лет, что вы у нее работали? Разве Кенопенски вам не говорил? — не дождавшись ответа, он сам начал отвечать на свой вопрос. — Конечно, это могло быть. Кроме заметки в местной газете, она все сумела скрыть и скрывала тридцать лет. Я не уверен даже,

что были похороны, — он прервался, потом сказал с каким-то восхищением. — Она говорила о них, как будто они живы. Все эти годы!»

«Да что вы такое несете?! — закричала я на него. В желудке у меня как будто ездил лифт, а в голове кружились какие-то обрывки мыслей. — Конечно, она говорила как будто они живы! Они живы! Он работает в страховой компании в Аризоне — Ассоциация «Голден Уэст»! А она — модельер в Сан-Франциско, в доме моды «Гэйлорд»!

Хотя... Она все время читала исторические романы, где на обложке девушки в платьях без рукавов целовали мужчин в латах, и они выпускались издательством «Голден Уэст» — на каждой из них была эта надпись. И тут же я вспомнила, что она родилась в городке под названием Гэйлорд, штат Миссури. Но раньше я думала, что ее дочь назвала свой дом моды по месту рождения матери.

«Миссис Клэйборн, — сказал Гринбуш медленно. Муж миссис Донован погиб в автокатастрофе, когда Дональду было пятнадцать и Хельге тринадцать...»

«Я знаю это!» — перебила я, словно не хотела слушать дальше.

«...и это вызвало напряженность в отношениях между миссис Донован и ее детьми».

Я и это знала. Я вспомнила, какими грустными они приехали на остров в День Памяти в 61-м, и как люди говорили, что они нигде не появлялись втроем, что было особенно странно после недавней смерти главы семьи; обычно это наоборот сплачивает оставшихся... хотя бывает по-разному. Потом я вспомнила еще кое-что, что рассказал мне той осенью Джимми Девитт.

«Они поссорились сразу после Четвертого июля в 61-м, — сказала я. — После этого парень с девчонкой уехали. Помню, этот хмырь — то есть Кенопенски, — отвез их на материк на моторной лодке».

«Да, подтвердил Гринбуш. — Случилось так, что Тед Кенопенски рассказал мне, о чем у них был спор. Дональд получил той весной водительские права, и миссис Донован купила ему машину. Девочка, Хельга, тоже захотела машину, и миссис Донован попыталась объяснить ей, что ей не дадут прав, пока ей не исполнится пятнадцать. Хельга говорила, что в Мэне можно получить права и в четырнадцать. Это правда, миссис Клэйборн?»

«Тогда это было правдой, — сказала я, — но сейчас установили норму пятнадцать лет. Мистер Гринбуш, машина, которую она подарила сыну... это был «Корвет»?

«Да. Откуда вы знаете?»

«Должно быть слышала где-то», — сказала я, но я слышала не свой голос, а слова Веры: «Я устала видеть, как они падают в карьер на своем «Корвете», и как вода льется к ним в окна».

«Я удивлен, что она от вас скрыла, — сказал Гринбуш. — Дональд и Хельга разбились на этой машине в октябре 61-го, почти через год после смерти отца. По-видимому, за рулем была девочка».

Он еще что-то говорил, но я его еле слушала — я заполняла пробелы в своей памяти. До меня дошло, что где-то в глубине я знала, что они умерли, догадывалась. Гринбуш сказал, что они были пьяны и вели машину на скорости почти сто миль в час, когда девочка не справилась с рулем, и они слетели в карьер; он сказал, что они, скорее всего, умерли еще до того, как машина ударилась о дно.

Он сказал, что это был несчастный случай, но я знала о несчастных случаях побольше его. Вера тоже, и она, конечно, спорила не о том, можно ли Хельге водить машину. Когда Маколифф спрашивал меня, о чем мы спорили с Джо, я ответила: о деньгах, а на самом деле о его пьянстве. Люди часто спорят об одном, имея в виду другое, и на самом деле они спорили о том, что случилось с Майклом Донованом.

Она и хмырь убили его, Энди. Она никогда не попалась бы, конечно, но дети разбираются в том, что произошло в семье, куда лучше полиции. Так случилось с Селеной; и с Дональдом и Хельгой тоже. Я думала, смотрели они на Веру тогда в ресторане так же, как Селена на меня, и не знала этого.

Что я знала — так это то, что Дональду Доновану было рано водить машину, и Вера знала это тоже и боялась. Она могла ненавидеть мужа, но детей она любила. Она это скрывала, но любила их, как саму себя. А они... похоже, боялись ее. Не хочу думать, что они, узнав что-то, пытались ее шантажировать, но такое тоже могло быть. В богатых семьях бывает всякое. Если отец месяцами пытается затащить в постель собственную дочь, то почему в этом мире можно удивляться?

«Они умерли, — сказала я. — Вы так сказали?»

«Да», — сказал он снова.

«Умерли уже тридцать лет назад?»

«Да», — сказал он снова.

«И все, что она рассказывала мне, было ложью».

Он опять откашлялся, и, когда снова заговорил, голос у него был почти человеческим:

«А что она рассказывала вам о них?»

И я вспомнила, Энди, что она рассказывала мне очень много, начиная с лета 62-го, когда она, казалось, на десять лет состарилась и на двадцать фунтов похудела. Помню, она говорила, что Дональд с Хельгой приедут в августе, и заставляла меня покупать квакерский рулет, который они любят есть на завтрак. В октябре, когда Кеннеди и Хрущев решали, взрывать нас всех или нет, она приехала опять

и сказала, что надеется скоро встретить детей, но что-то такое было в ее голосе... и в ее глазах...

Стоя с трубкой в руке, я вспоминала ее глаза. Она рассказывала мне за эти годы о многом; как они закончили школу, где они работали, об их личной жизни (Дональд женился и завел двоих детей; Хельга вышла замуж, но развелась), но я поняла теперь, что с осени 62-го ее глаза говорили правду: они умерли. Но... не совсем умерли. Пока хотя бы одна глупая домоправительница на забытом богом островке верит, что они живы.

Потом я вспомнила лето 63-го, когда я убила Джо. Тогда Вера сходила с ума от этого затмения потому, что надеялась, что оно привлечет Дональда и Хельгу в Пайнвуд. Она говорила мне это постоянно. Мне сейчас кажется, что она в те месяцы сошла с ума: она действительно верила, что они живы. Она стерла из памяти это видение «Корвета», падающего в карьер; она хотела вернуть их к жизни силой воли. Она и вернула, но только для себя.

Она сошла с ума и хотела оставаться сумасшедшей — чтобы опять вернуть их или чтобы наказать себя, не знаю — но в ней тогда было слишком много здоровья. Перед самым затмением и после она вела себя, как Красная королева в «Алисе в стране чудес» — орала на всех и то и дело увольняла служанок. Похоже, это была ее последняя попытка оживить их, и она тоже не удалась.

Я помню, что она сказала мне, когда я вступилась за дочку Джоландеров. Я думала, она и меня выгонит, а она дала мне те бинокли для наблюдения затмения и сказала: «Иногда приходится быть стервой. Только так женщина может выжить».

Да, подумала я. Ей ничего другого не оставалось.

«Миссис Клэйборн? — раздался голос у меня в ухе, и я вспомнила, что все еще говорю по телефону. — Миссис Клэйборн, вы еще тут?»

«Тут», — ответила я. Он спросил меня, что она мне о них рассказывала, но я не могла говорить об этом с человеком из Нью-Йорка, который ничего не знает о нашей жизни. О ее жизни здесь. Он знал об акциях «Электронной долины Миссисипи», но не о проволоке в углах или пыльных головах.

Он начал снова:

«Я спрашиваю, что она...»

«Она заставляла меня стелить им постели и покупать квакерский рулет на завтрак, — сказала я. — Говорила, что они вот-вот должны приехать».

«О, это удивительно!» — воскликнул он, как доктор воскликнул бы: «О, это явное размягчение мозга!»

Мы говорили еще о чем-то. Помню, я просила его отдать все в сиротский приют, и он сказал, что не вправе это сделать. Он сказал,

что, когда я получу эти деньги, то смогу распорядиться ими по своему усмотрению. Наконец я пообещала ему позвонить, когда у меня в голове прояснится, и повесила трубку. Я стояла у телефона минут пятнадцать, и мне было... жутко. Я чувствовала, что эти деньги ползают по мне, как мухи, и боялась, что они в конце концов задушат меня.

Когда я смогла наконец стронуться с места, я забыла, что собиралась пойти в полицию. По правде говоря, я забыла даже толком одеться: натянула свитер и старые джинсы, хотя все уже лежало на кровати. Еще я надела свои старые галоши.

В таком виде я дошла до большого белого камня за сараем и постояла там, слушая, как ветер свистит в кустах смородины. Я видела с того места белую бетонную крышку колодца и при виде ее дрожала, как в ознобе. Потом я прошла через Русский луг и вышла к Восточному мысу. Там я постояла, чтобы океанский ветер освежил мою голову, как он всегда это делал, а потом направилась к лестнице.

О, не беспокойся, Фрэнк — веревка и знак там еще целы, просто я не боялась, что лестница старая и непрочная, после всего, что мне пришлось пережить.

Я сошла на самый низ, к камням у берега. Там раньше был док, но теперь от него ничего не осталось, как вы знаете, кроме ржавых железных колец, вделанных в гранит. Они похожи на глаза дракона. Я в детстве не раз рыбачила там, ты, Энди, я думаю, тоже, и так будет всегда, пока это море не пересохнет.

Я села на нижнюю ступеньку и просидела там семь часов подряд. Сначала я думала о деньгах, но не о том, как их много и на что бы их потратить, нет. Может, люди, которые привыкли к ним, все время думают об этом, а я вспоминала только лицо Сэмми Маршанта — как он смотрит на эту скалку, а потом на меня. Вот что для меня значили эти деньги.

Потом я думала про Дональда и Хельгу. «Надул меня однажды — позор тебе, — сказала я неизвестно кому, сидя там над волнами, которые иногда допрыгивали до моих ног. Надул меня дважды — позор мне». Но она не надувала меня... ее глаза всегда говорили правду.

Я вспомнила, как однажды до меня дошло, что я не видела их с самого 61-го, и я, нарушив все правила, спросила Веру: «Как поживают ваши дети?» Она сидела в гостиной и вязала, и, когда услышала мой вопрос, прервалась и посмотрела на меня. В тот день было ясное солнце, и оно светила ей прямо в глаза, а она смотрела на меня таким страшным взглядом, что мне хотелось закричать. Глаза ее были черными, с ярким ободком солнечного отражения, очень похожие на *его* глаза, когда он смотрел на меня из колодца...

как черные угольки в золе. Секунду или две она выглядела как призрак; потом качнула головой и превратилась в ту же Веру, которая, правда, выпила накануне больше, чем нужно. С ней это тогда часто случалось.

«Не знаю толком, Долорес, — сказала она. — Мы не видимся». Вот и все, и ничего больше говорить было не надо. Только эти три слова: «мы не видимся».

Я сидела там, перебирала все это в памяти и решила наконец не беспокоить вас. Все было кончено — для Джо, для Веры, для Майкла Донована, для Дональда и Хельги... и для Долорес Клэйборн тоже. Раньше или позже последние мосты будут сожжены, и время, как море, затопит мою жизнь. Паром, который пересекает это море, — память, но это корабль-призрак, исчезающий, когда исчезает сам человек.

Забавно это все. Сидя там, я вспомнила еще одно — фразу из Библии, которая пришла мне на ум, когда Джо вылез из колодца и схватил меня за ногу: *«Вот вырыл я яму для врагов своих и сам свалился в нее»*. Так и случилось, только я упала в свою яму не сразу.

Вера тоже упала в свою яму — и мне, в отличие от нее, не пришлось хотя бы делать вид, что мои дети живы... хотя иногда, слыша по телефону голос Селены, я думала, что не стала бы винить ее, если бы она избавила нас обеих от этого горя и боли.

Но все-таки двое из моих детей еще живы и преуспели в жизни куда больше, чем можно было ожидать. Уже за это я должна благодарить судьбу, и я не хочу, чтобы перед судом всевышнего меня обвинили в грехе неблагодарности. У меня и так достаточно грехов. Но послушайте меня, все трое: все, что я делала, я делала из любви... из любви матери к детям. Это самая сильная любовь в мире и самая смертоносная. Нет на земле большей стервы, чем мать, которая боится за своих детей.

Я думала о Вере и о себе — о двух стервах, живущих рядом на маленьком клочке земли, о том, как эти две стервы спали вместе, когда старшая из них боялась, и как они дурачили друг друга. Я вспомнила, как она кричала, когда ее одолевали пыльные головы, кричала и дрожала, как животное. Вспоминала, как я обнимала ее и засыпала с ней в обнимку, как рубила ножом эту ее проволоку и расчесывала ее поредевшие волосы, уговаривая: «Тсс, дорогая... тсс. Эти пыльные головы ушли. Все в порядке».

Но они не ушли, никогда не уходили. Они всегда возвращались, и у них были лица, лица тех людей, которых вы никогда больше не хотели видеть, наяву или во сне.

Я вспомнила, как она лежала там, на полу, и говорила, что она устала и хочет кончить с этим. И я тоже устала и знала, стоя там,

почему я пришла именно туда, на эти прогнившие ступеньки. Я смертельно устала. Я прожила долгую жизнь, никогда не бежала от работы, никогда не уходила от решений, какими бы тяжелыми они ни были. Вера была права, когда говорила, что женщина иногда вынуждена быть стервой, но быть стервой — тяжелый труд. Я устала, и мне пришло в голову, что еще не поздно шагнуть с этих ступенек вниз.

Потом я снова услышала голос Веры. Я слышала ее, как тогда ночью, возле колодца — не в голове, а в ушах. На этот раз это было еще более жутко: тогда, в 63-м, она была хотя бы *жива*.

«О чём ты думаешь, Долорес? — спросила она своим «Поцелуй-мой-нижний-профиль» голосом. — Я заплатила куда большую цену, чем ты, большую, чем, кто-нибудь может представить, но я жила с ней. Эти пыльные головы могли сжить меня со света и в конце концов сжили, но я прожила с ними не один десяток лет. Теперь ты, я вижу, раскисла и забыла свою смелость, которая была у тебя тогда, когда ты заставила меня взять обратно ту девчонку Джолайдеров. Поэтому лучше прыгай, потому что без смелости ты станешь такой же старой развалюхой, как я».

Я оглянулась по сторонам, но не увидела ничего, кроме Восточного мыса, темного и мокрого от морских волн. Кругом не было ни души. Я посидела еще немного, глядя на облака. — Я люблю смотреть на них, они такие тихие и свободные, — потом встала и пошла домой. Два или три раза я останавливалась, потому что от долгого сидения в сырости у меня разболелась спина. Но я дошла. Дома я выпила три таблетки анальгина, села в машину и поехала прямо сюда.

Вот и все.

Нэнси, я вижу, ты записала с десяток этих своих кассет, и твой магнитофон совсем дошел. Я тоже, но я пришла сюда рассказать все и рассказала, до последнего чертова слова. Теперь делай со мной все, что надо, Энди; свое я сделала и довольна. Я знаю, кто я: Долорес Клэйборн, шестидесяти пяти лет, голосовала за демократов, всю жизнь прожила на Высоком острове.

Я хочу сказать еще две вещи, прежде чем ты, Нэнси, нажмешь кнопку «стоп».

В конце концов, стервы тоже зачем-то нужны в этом мире, и еще пыльным головам: *фиг вам!*

Вырезки

Из эллсуортской «Америкэн», 6 ноября 1992 г. (стр. 1).

«Жительница острова оправдана
Долорес Клэйборн с Высокого острова, многолетняя домоправительница миссис Веры Донован, тоже жительницы острова, признана невиновной в смерти миссис Веры Донован специальным коронерским расследованием в Мэчиасе. Целью расследования было определить, была ли смерть миссис Донован естественной. Спекуляции о роли миссис Клэйборн в смерти ее хозяйки подогревались тем фактом, что миссис Донован, впавшая к моменту смерти в старческое слабоумие, оставила своей companionке большое наследство, размер которого, по некоторым оценкам, составляет десять миллионов долларов».

Из «Бостон глоб», 20 ноября 1992 г. (стр. 1).

«Счастливый День Благодарения в Сомервилле.
Анонимный благотворитель жертвует сиротам 30 млн.

Ошарашенные директора Новоанглийского сиротского приюта объявили в срочно созванной пресс-конференции, что неизвестный благотворитель перевел на счет приюта, где содержатся сто пятьдесят сирот, тридцать миллионов долларов.

«Сообщение об этом мы получили от известного нью-йоркского юриста Алана Гринбуша, — сказал Брэндон Джеггер, глава совета директоров НАСП. — Даритель, вернее, ангел-хранитель, как мы с полным основанием можем его назвать, настаивает на соблюдении своей анонимности. Жаль, что мы не имеем возможности выразить ему свою глубочайшую признательность.

Если сообщение о многомиллионном даре подтвердится, это будет самое большое пожертвование в подобные заведения во всей Новой Англии с 1928 года, когда...

Из «Уикили тайд», 14 декабря 1992 г. (стр. 16).

«Новости с Высокого от Проныры Нетти.

Миссис Лотти Маккэндлс выиграла главный приз на рождественском балу в Джонспорте на прошлой неделе — 240 долларов, Проныра Нетти та-а-ак завидует! Поздравляем, Лотти!

Брат Джона Кэрона, Фило, приехал из Дерри, чтобы помочь брату отремонтировать их подку «Морская звезда». И в наше время случается то, что называется «братьской любовью», правда, ребята?

Джолин Обюшон, живущая со своей внучкой Патрисией, закончила выкладывать изображение острова Св. Елены из 2 000 кусочков. Джолин говорит, что собирается отметить свое 90-летие выкладыванием мозаики из 5 000 кусочков. Браво. Джолин! Проныра Нетти и вся «Уикили тайд» поздравляют тебя!

Долорес Клэйборн на этой неделе придется покупать много продуктов! Она уже знала, что ее сын Джо — «мистер Демократ», — приедет из своего дома в Огасте встречать Рождество, но теперь она узнала, что и ее дочь, известная писательница Селена Сент-Джордж, посетит ее в первый раз за двадцать лет! Долорес говорит, что чувствует себя «очень польщенной». Когда Проныра спросила ее, будут ли они обсуждать последнее сочинение Селены в «Атлантик мансли», Долорес только улыбнулась и сказала: «О, нам о многом нужно поговорить».

В больнице Проныра слышала, что Винсент Брэгг, который в прошлом октябре сломал руку, играя в футбол...»

Содержание

| | |
|-------------------------|------------|
| ИГРА ДЖЕРАЛЬДА | 6 |
| ДОЛОРЕС КЛЭЙБОРН | 284 |
| Перевод В. Вадимова | |

Литературно-художественное издание

Стивен Кинг

ДОЛОРЕС
КЛЭЙБОРН

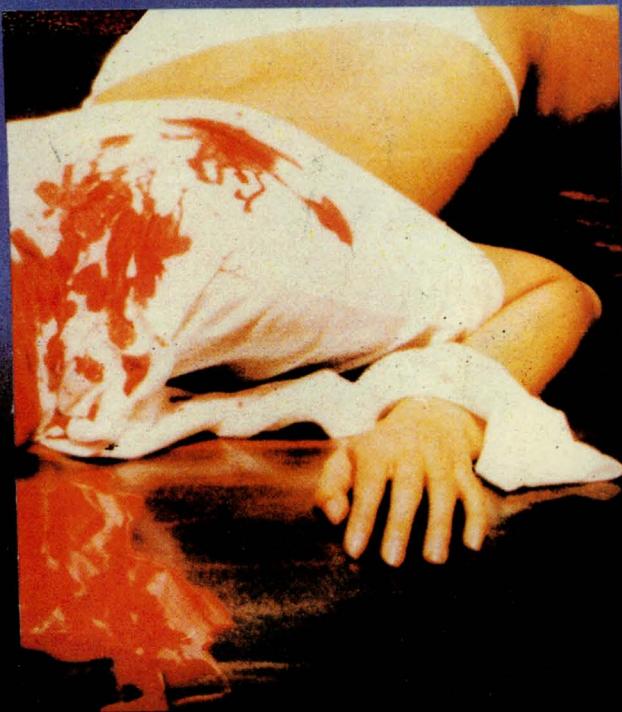
Выпуск 24

Сдано в набор 27.09.94. Подписано в печать 09.01.95 г.
Формат 60×88 1/16. Гарнитура Таймс. Бумага книжно-журнальная.
Объем 26 п.л. Печать офсетная. Тираж 10 000 экз.

Издательство Сигма, Львов, а/я 25

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Львовской книжной фабрике "АТЛАС"
290005, г. Львов, ул. Зеленая, 20

СТИВЕН КИНГ



В этой книге опубликован
последний роман Стивена Кинга
"Долорес Клэйборн"
получивший хвалебные
отзывы критиков.